1/1990

ISSN 0130—741X

А. СОЛЖЕНИЦЫН
Март
Семнадцатого

Г. НИКОЛАЕВ
Хранилище
Повесть

Р. КОНКВЕСТ
Большой террор

ПРОТИВОСТОЯНИЕ
Л. САМОЙЛОВ
Страх

А. ЖОВТИС
Воспоминания
о Ю. Домбровском

«Вечер над Адмиралтейством»

Рис. Ю. Куликова

Ежемесячный литературно-художественный и общественно-политический иллюстрированный журнал

Орган Союза писателей РСФСР и Ленинградской писательской организации

1/1990

Выходит с апреля 1955 года

СОДЕРЖАНИЕ

Ленинград
«Художественная литература».
Ленинградское отделение

ЛИТЕРАТУРНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

СЕДЬМАЯ ТЕТРАДЬ

В номере вклейка:
«Народный художник РСФСР Валентин Иванович КУРДОВ»

Старший технический редактор **Г. В. Александрова**
Корректоры **А. Ю. Семина, О. Б. Смирнова**

Сдано в набор 29.09.89. Подписано к печати 01.12.89. М-25018. Формат бумаги 70×108 1/16. Бумага кн.-журн. Печать высокая. 18,2+2 вкл.=18,55 усл. печ. л. 20,38 усл. кр.-отт. 23,82+2 вкл.=24,14 уч.-изд. л. Тираж 620 000 экз. Заказ № 238. Цена 95 коп.

Адрес редакции: 191065, Ленинград, Д-65, Невский пр., 3
Телефоны: главный редактор, заведующая редакцией — 312-65-37, первый заместитель главного редактора — 312-64-78, заместитель главного редактора — 312-70-35, ответственный секретарь — 312-61-18, отдел прозы — 312-65-95, отдел поэзии — 312-65-85, «Седьмая тетрадь» — 312-65-78, отдел публицистики — 315-84-72, отдел критики и искусства — 312-70-96, технический редактор и корректоры — 312-65-59

Ордена Октябрьской Революции, ордена Трудового Красного Знамени Ленинградское производственно-техническое объединение «Печатный Двор» имени А. М. Горького при Госкомпечати СССР. 197136, Ленинград, П-136, Чкаловский пр., 15

Олег
ТАРУТИН

◆◆◆

Л. Агееву

Последний день свой вылуща
в безбожии тревожном,
наверное, чистилища
мы не минуем все же.
И будет то чистилище
не Колыма-Майданек,
не страх и не узилище,
а нечто вроде бани.
И в бане той, в предбаннике
сидят по лавкам души,
содрав чинов подштанники
и званий побрякушки.
Все равноправно-голые:
от бомжа до чинуши,
эфирные, бесполые,
как пред блокадным душем.
Сидят они и роются
в земной пакетной рвани:
что там для них откроется,
пригодное для бани?
А банщик — глыба серая —
глядит унылой птицей:
где ж мыло милосердия?
Где ж совести скребницы?
И вдруг он вздрогнет радостно,
встрепещет белокрыло
и слез не сдержит сладостных,
исполнен новой силы.
Когда пред грозной банею
какой-то Ваня-Сеня
обмылком сострадания
поделится со всеми.

◆◆◆

Эх, Ладога, родная Ладога...
Из песни

Ладога! Отравленное Нево!
Боль твоя — в гранитные виски.
Неужели гибнешь ты без гнева
от людской палаческой руки?
От сыновней, Ладога, от нашей,
от которой сгинуть мудрено.
Что нам память — Валаам монаший,
лед блокадный, стаявший давно!
В торжестве беспамятности бравой
не плюем в колодец, а блюем,
воздаем за все тебе отравой,
от души, стократно воздаем.
Твоим рыбам — долго ли метаться
на волне и в гиблой глубине?
А твоим усопшим ленинградцам
каково на оскверненном дне?
Спят они в полуторках блокадных,
спят они в раскромсанных баржах...
Не прощай нас, Ладога, не надо,
чайкою последнею кружа.

Птичье счастье

Птичка Божия не знает...
А. С. Пушкин

Вот и славно, птичка Божья.
В этом мире так и надо:
много знать — себе дороже,
не спасенье, а надсада.
От утра бы до утра ты
размышляла обреченно
про свирепый мирный атом,
про дырявый слой озонный.
От утра бы до утра ты
горевала бы бессменно:
в этом зернышке — нитраты,
в этой ягодке — рентгены...
А листочки? А водица?
А зефир, эфир который?
А не знать — и все годится
и не выглядит раззором.
И гнездовье, что не мило,
и моторчик, что расшатан,
и птенцы твои — дебилы,
нелетучие мышата...
Слева, справа — сплошь отрава.
Птичка Божия беспечна.
Вот и люди — слева, справа.
Птично, вечно, человечно...

Городской пейзаж

Поздней осени одышка,
новостроек короба.
Хмурым вохровцем на вышке
смотрит ворон со столба:
«Ах вы, люди-человеки,
чьи-то жены и мужья...
Все вы зеки тут навеки
и у каждого — статья.

И мила вам эта зона,
ваши нары-этажи...
Никакого нет резона
вас, ребята, сторожить!»

И стального клюва дуло
он пихает под перо.
И сидит, сидит сутуло,
отвернувшись от метро.

Дачный поселок

Тихо падает листва —
пестрое собранье:
обновленье естества
через умиранье.
Дождик в воздухе висит.
Капли — единичны.
И осенний реквизит,
тусклый и привычный.
С настроением в ладу,
(вовсе и не мрачным),
точно кладбищем бреду
я поселком дачным.
...И дорожки-сектора,
и ограды-номера
сутью мне двояки.
Доктора-профессора,
торгаши, вояки...

Обелисков ширпотреб
реечно-сосновый.
А вот это — древний склеп.
А вот это — новый.
Вот участок — нувориш
мраморно-поросский.
Поневоле постоишь
с мокрой папиросской.
Снова домики-кресты
в зарослях смороды:
невысокие посты,
тихие доходы.
...Листопадная пора,
грустная отрада...
До свиданья, мне пора,
сектора и номера,
мокрые ограды.

Старый дневник

Над страницами-огарками
замираю, озадачен:
то, что юность мне накаркала,
состоялось однозначно.
Ну, а то, что намурлыкала,
почему-то не свершилось,
то ли время не дотикало,
то ль судьба перерешила.

Ах, как странно перелистывать
этот день позавчерашний,
весь исчерканный, неистовый,
и наивный, и бесстрашный.
Точно пифия пророчила
так темно и нелогично...
А сегодня — все разборчиво
на врученной мне табличке.

Экология

Кто сказал, что инопланетяне
наблюдают Землю ради нас:
как, мол, там лионцы, таитяне,
как, мол, там Калуга и Канзас?
Как живется шведам или грекам?
А вот этим? А еще — вон тем?
Как у них с правами человека
разных политических систем?
Смотрят, смотрят инопланетяне.
Только что уж, граждане, скрывать:
даже если ноги мы протянем,
им на это будет наплевать.
Что им — эти жадные приматы,
дым и копоть бешеных трудов,
их ракеты, ядохимикаты,
лишаи бетонных городов?
Тут все ясно, тут — неинтересно...
Неизбежен гибельный итог.

А смотрите: правда же — прелестно?
Это называется цветок.
А вот это (юркое) — синица,
а вот это (кольцами) — змея.
Все увидят, смогут насладиться,
соблюдайте очередь, друзья!
Ах, саванна. Львы на водопое.
Но вода, к несчастью, уж не та...
А вот тут... Да что ж это такое!
Снова загарпунили кита!
Это — заяц. А вот это — кречет.
Это — шмель, а это — крокодил!
Это — мать с младенцем человечьим,
я б сюда трубу не наводил.
Подрастет, небось, и докорежит
все, что не успели до него.
Буркнут наблюдатели: «Похоже...»
И вздохнет: «А мне их жалко все же...»
Хоть одно чужое существо.

Константин
ВАНШЕНКИН

ИЗ КНИГИ «МУЗЫКА ИЗ ОКНА»

Стансы

Суровые стансы! —
Подставив под ухо ладонь,
Кремлевские старцы
Погнали мальчишек в огонь.

На смертные муки,
По горьким и страшным местам.
Их личные внуки,
Наверное, были не там.

Без всякого толку
Под скрип их вставных челюстей
Швырнули, как в топку,
Цвет наших десантных частей.

◆◆◆

Окончился жестокий торг.
Смерть выиграла это дело.
Доставлено в московский морг
Его истерзанное тело.

На серебристом корабле —
Через ущелья и пустыни,
Леса, текущие во мгле,
И небеса в прозрачной сини.

Вблизи товарищей своих
Лежал в ночном холодном зале.
Сквозил туман. Рассвет был тих.
Родители еще не знали.

Он слышал дальнюю трубу,
Но высшего не слышал гласа,
Солдат в запаянном гробу
С окошечком из плексигласа.

◆◆◆

Здесь были бараки — несчастных и сирых пристанище,
Чья ниточка жизни рвалась, бесконечно слаба.
Когда это было? При Сталине или при сталинщине?..
Да полно! Хоть вы не играйте сегодня в слова.

«С конфискацией имущества...»

Имущество конфисковали.
Машину? Дачу?..
Не смеши!
С десяток книг нашли едва ли,
Что в доме были для души.

Приемник коротковолновый,
Когда-то собранный в кружке,
Но до сих пор почти как новый —
Уже в брезентовом мешке.

Приемничку взять вражий голос
Не составляет ничего.
Он брал когда-то даже полюс.
А вот теперь берут его.

◆◆◆

В заоконном птичьем гаме,
В час нетронутой росы,
Встать обеими ногами
На напольные весы,

Что случалось и доселе,
И почувствовать скорей,
Как они слегка просели
Под упругостью твоей.

Придержать руками груди
И с тревогой на челе
Наклониться к самой сути —
К зыбкой стрелке на шкале.

◆◆◆

Но, боже мой, скажи на милость,
Куда б ты ни был занесен,
Что трепетнее сохранилось,
Чем ласка женщины сквозь сон?

И многого иного слаще,
Зимою или по весне,
Не откровенность общей страсти,
А слитный шепот в полусне.

Виктор Попков

Вот ведь как! — судьба не сахар.
Но заплакать нету сил.
По ошибке инкассатор
Живописца застрелил.

Тот подумал у «Арагви»,
Что пред ним стоит такси,
Начал дергать дверь — а разве
Мало дури на Руси?

Жизнь потеряна задаром,
А ведь как была нужна!
Над московским тротуаром
Траурная тишина.

И над северной деревней,
Где усопший был рожден,
Плачет высь порою летней
Тихим маленьким дождем.

Бабки, этот дождик видя
Над холодной рябью рек,
Говорят о том, что Витя
Был хороший человек.

◆◆◆

Плывет как сон,
Пока еще окольный,
Прозрачный звон,
Пасхальный, колокольный.

Пролетный клич
В распахнутой лазури.
А здесь кулич
Под корочкой глазури.

И знак «ХВ»,
Что прежде не бывало,
Вчера ТВ
Уже передавало.

Во всем прогресс,
Как сообщают в прессе.
— Христос воскрес.
— Воистину воскресе...

◆◆◆

Ты за красных?
Я за разных.
Ты за белых?
Я за белок.

За кротов
И за оленей,
За китов
И за тюленей.

За зеленые
Просторы,
Заселенные
Под стоны

Сладостные —
Сил весенних,
Благостные —
Снов осенних.

За гусей
Под небесами
Жизни всей,
Где страждем сами.

◆◆◆

Последняя страница
Итогов и расплат.
На ней, как говорится,
Весь жизненный расклад.

— Там что, дисплей?
— Да что ты!
На этом рубеже
Компьютер или счеты —
Без разницы уже.

ИСТОРИЧЕСКАЯ ЭПОПЕЯ А. И. СОЛЖЕНИЦЫНА «КРАСНОЕ КОЛЕСО»

...На Ваше письмо от 20.09. «В круге первом» я уже обещал «Новому миру», которому он принадлежит и по памяти о прошлых усилиях А. Т. Твардовского. Но я предлагаю Вам рассмотреть встречный вариант: поместить в «Неве» полностью 1-й том «Марта Семнадцатого»... Для Ваших читателей такая публикация будет представлять тот особый интерес, что почти все события происходят в вашем городе,— к тому же события, совершенно оттесненные из памяти нескольких уже поколений, заставленные многим другим, но отнюдь не более важным.

Правда, это предложение я делаю при таком условии: если до этого времени начнется хотя бы частичная публикация «Архипелага ГУЛага» — печатание на родине я могу начать только с него...

11 окт. 1988 г. ***А. Солженицын***

«Март Семнадцатого» — третья часть («узел») грандиозной эпопеи «Красное колесо», летописи российских революций 1917 года. Повествование охватывает десятилетнее историческое действо — от реформ Столыпина до кануна Октябрьского переворота, а в ретроспективах углубляется и в XIX век, к самым истокам всех трех наших революций. Хронологически и композиционно «Март» предваряют «узлы» «Август Четырнадцатого» и «Октябрь Шестнадцатого».

Работу над первой редакцией «Августа Четырнадцатого» Солженицын закончил в 1970 году, вскоре после того, как был написан «Архипелаг ГУЛаг» (1958—1967). Но замысел всей эпопеи он вынашивал еще с 1936 года, когда в 18-летнем возрасте начал обдумывать план и делать первые наброски к циклу повестей «Люби революцию!» — будущему «Красному колесу».

«Я загорелся революционной темой и... уже никогда не сомневался в своем призвании, не видел ничего, что могло бы сбить меня с этого пути» [1]. Свое призвание писателю суждено было пронести сквозь все тяготы, какие только может обрушить на человека жизнь. Война, сталинские лагеря, ссылка, смертный приговор, объявленный ему врачами онкологической больницы, многолетняя травля, изгнание... Перечень далеко не полон. Но писатель работал в любых условиях. Когда армейская часть, в которой воевал Солженицын, вступила на территорию Восточной Пруссии, он, по свидетельствам однополчан, едва выдавалась передышка между боями, уходил осматривать местность (в августе 1914 года там была разгромлена армия генерала Самсонова) или делал записи в дневник. Дневник был у него изъят при аресте (февраль 1945 года). Солженицын не прекращал работу ни в лагерях, ни в Марфинской спецтюрьме — «первом круге ада». Записи тех лет не сохранились. Герой «Круга» Глеб Нержин, сжигающий свой многолетний труд,— персонаж во многом автобиографичный...

Менялись и убеждения писателя. В 1971 году Солженицын скажет: «Я понял ложь всех революций истории».

После опубликования на Западе первого тома «Архипелага ГУЛага» Солженицына 12 февраля 1974 года лишают советского гражданства и высылают из СССР. Поселившись в Цюрихе, Солженицын получает доступ к уникальным историческим архивам и в течение 2 лет создает документальную книгу «Ленин в Цюрихе», впоследствии вошедшую почти полностью в «Октябрь Шестнадцатого». Одновременно с этим начинается работа над второй редакцией «Августа Четырнадцатого».

---

[1] Интервью А. Солженицына журналу «Тайм» (1989). Цитируется в обратном переводе с английского языка. Полный текст интервью см.: «За рубежом», 1989, № 31, с. 21—23.

В 1976 году Солженицын переезжает в США. Покинуть Швейцарию писателю пришлось, помимо прочего, в связи с тем, что он намеревался активно включиться в политическую деятельность; статус же «нейтральной страны» запрещает любую политическую деятельность на швейцарской территории. Некоторое время Солженицын выступает с заявлениями и речами, но вскорости опять целиком уходит в работу над «Красным колесом». Гуверовский институт при Станфордском университете предоставляет в его распоряжение богатейший исторический архив. В 1979 году выходит в свет вторая редакция «Августа»; вслед за тем в течение девяти лет публикуются «Октябрь» и «Март».

«Красное колесо» имеет сложную структуру подзаголовков: «Повествованье в отмеренных сроках. Действие первое. Революция.» — и далее идет дробление на «узлы» (четвертый из которых, «Апрель Семнадцатого», еще не дописан). «Почему я использовал слово „узлы"? Я начинал с изучения 1914—1922 годов. Если бы я стал подробно переписывать этот период, книга получилась бы слишком большой, и поэтому я взял только те эпизоды, которые, по моему мнению, определили ход событий. Это узловые, самые решающие моменты, когда все было завязано в узел» [1].

Предлагаемый читателям третий «узел» эпопеи, «Март Семнадцатого» [2]— произведение несколько необычное по форме, в отличие, например, от «Августа», который, несмотря тоже на ряд особенностей, можно считать романом в традиционном понимании этого жанра. Если «Август» построен на всей «классической» атрибутике художественной прозы — углублениях в психологию героев, психологической мотивированности их поступков, обусловленности поступков характерами (именно в «Августе» раскрываются характеры героев, проходящих затем через все повествование, выковываются их взгляды), то в «Октябре» уже преобладает публицистичность; «Март» же — это как бы и проза, и стилистически отточенные дневниковые записи, и стенограммы, и научное исследование, и публицистика, слившиеся в единой ипостаси. Солженицын почти всегда дает собственную оценку событиям, разворачивающимся на страницах «Марта»,— иногда непосредственно включая в текст авторскую речь; иногда, напротив, искусно отстраняясь от происходящего, но всегда призывая читателя задуматься.

Раздумья над русской историей, основанные на многолетнем глубоком изучении ее, иногда заставляли писателя менять и свои собственные взгляды, переосмысливать собственные концепции — уже во время работы над текстом «Красного колеса». Так, во вторую редакцию «Августа Четырнадцатого» добавились главы «из Узлов предыдущих», посвященные реформаторской деятельности П. А. Столыпина. Однако наиболее, пожалуй, серьезной переоценке подверглись февральские события 1917 г. «Первоначально,— рассказывает писатель,— я исходил из концепции, которую сегодня разделяют большинство людей на Западе и на Востоке, а именно: главным, решающим событием была так называемая Октябрьская революция и ее последствия. Но постепенно мне становилось ясно, что главным и решающим событием была вовсе не Октябрьская революция и что это вообще не было революцией... Подлинной революцией была Февральская, Октябрьская же даже не заслуживает названия революции. Это был государственный переворот, и до 1920-х годов включительно сами большевики называли ее „октябрьским переворотом"».[3]

В свое время не только все сторонники Октября, но и многие его противники не приняли столь нетрадиционную концепцию. Но, думается, все, кто любит Родину и болеет ее болью, согласятся с великим русским гуманистом в том, что «Февраль — нам надо знать... Мы должны думать об опасностях будущего перехода. При следующем историческом переходе нам грозит новое испытание — и вот к нему мы совсем не готовы. Это — совсем новые для нас виды опасностей, и чтобы против них устоять, надо по крайней мере хорошо знать наш прежний русский опыт».

---

[1] А. Солженицын. Интервью журналу «Тайм» (1989).

[2] «Нева» публикует первый том «Марта Семнадцатого» (из четырех). «Август Четырнадцатого» будет опубликован в 1990 г. в журнале «Звезда», «Октябрь Шестнадцатого» — в журнале «Наш современник». Второй том «Марта Семнадцатого» «Нева» планирует опубликовать в конце 1990 — начале 1991 г.

[3] А. Солженицын. Интервью журналу «Тайм». Подробнее об истории создания «Красного колеса» см.: Кублановский Ю. Хроника, роман, эпос...//«Книжное обозрение», 1989, № 42, с. 4—5 и Паламарчук П. Александр Солженицын: Путеводитель.//«Москва», 1989, № 9, 10.

Александр
СОЛЖЕНИЦЫН

Рис. Г. Никеева

МАРТ СЕМНАДЦАТОГО

(23 февраля — 18 марта)

ДВАДЦАТЬ ТРЕТЬЕ ФЕВРАЛЯ

ЧЕТВЕРГ

1

В замкнутой тихости Царского Села Николай провёл шестьдесят шесть дней подле Аликс, своим присутствием смягчая ей безмерное горе потери. (К счастью, зимнее затишье на фронте позволяло такую отлучку из Ставки.)

От тревожной, мятущейся, убитой горем Аликс передалось и Николаю ощущение наступившей полосы бед и несчастий, которых сразу не изживёшь.

И ещё одна беда — что смерть несчастного легла чертой размолвки между ним и Аликс. Они и всегда по-разному видели Григория, его суть, значение, степень его мудрости, но щадя чувство и веру Аликс, Николай никогда не настаивал на своём. А теперь — не могла Аликс отпустить мужу, что он не предал убийц суду.

Условные знаки, используемые в книге, Солженицын оговаривает в 1-м узле повествования: «′, напр. 3′ — обзорная глава (без участия персонажей, дополнительно выясняет общий ход событий) /″, напр. 7″ — монтаж печатных материалов того времени. / В киноэкранных главах: == — монтажный стык (мгновенная полная смена кадра). В остальных случаях — плавный переход, постепенное изменение кадра.»

Когда 17 декабря в Ставке во время военного совета с главнокомандующими о плане кампании Семнадцатого года Государю подали телеграмму об исчезновении и возможной смерти Распутина — он, грешным образом, внутренне даже скорей облегчился: столько накопилось вокруг злобы, уже устал он слушать эту череду предупреждений, разоблачений, сплетен,— и вдруг объект общественной ненависти сам собой фаталистически исчезал, без того, чтобы Государю надо было предпринять какое-либо усилие или мучительный разговор с Аликс. Всё отпадало — само собой.

Простодушно же он настроился! Не представлял он, что почти тотчас ему придётся покидать и тот военный совет, столь долго устроявшийся, и Ставку — и мчаться к Аликс на целых два месяца — и заслужить град упрёков: что это — он своим равнодушием к судьбе избавителя-старца довёл до самой возможности такого убийства, а затем — и не желает наказывать убийц.

Да он и сам через полдня уже стыдился, что мог испытать облегчение от смерти человека.

И действительно: убийство было как убийство, долгая травля и злые языки перешли в яд и пистолетные выстрелы,— и не было никаких смягчающих обстоятельств, почему бы не судить. Но то, что жало укола выдвинулось из самой близи, из великокняжеской среды и даже от Дмитрия, мягкого, нежного, взращённого почти как сын, любимого и балуемого (берёг его при Ставке, не посылал в полк),— обессиливало Государя. Чем невыразимей и родственней была обида — тем бессильней он был ответить.

Кто из монархов так попадал? Лишь отдалённый, немой, незримый православный народ был ему опорой. А все сферы ближние — образованные и безбожные — были враждебны, и даже среди государственных людей и слуг правительства проявлялось так мало рачительных о деле и честных.

И разительна была враждебность внутри самой династии: все ненавидели Аликс. Николаша с сёстрами-черногорками — уже давно. Но — и Мама́ была против неё всегда. Но — и Елизавета, родная сестра Аликс. И уж конечно лютеранка тётя Михен не прощала Аликс ревностного православия, а по болезни наследника так и готовилась, чтобы престол захватили её сыновья, или Кирилл или Борис. И затем проявившаяся этой осенью и зимой вереница разоблачителей из великих князей и княгинь, с редкой наглостью наставляющих императорскую чету, как им быть,— и даже Сандро, тесный друг юности когда-то. Сандро договорился до того, что само правительство приближает революцию, а нужно правительство, угодное Думе. Что будто все классы враждебны политике трона, и народ верит клеветам, а царская чета не имеет права увлекать и своих родственников в пропасть. Вторил ему и его брат Георгий: если не будет создано правительство, ответственное перед Думой, мы все погибли. О себе и думают великие князья. Когда им плохо, они уезжают в Биарриц, в Канны. Император лишён такой возможности.

Теперь стыдно было перед Россией, что руки государевых родственников обагрены кровью мужика. Но и так душило круговое династическое осуждение, что в груди не изыскивалось твёрдости — ответить судебным ударом. И Мама́ просила — не возбуждать следствия. Николай не мог найти в себе безжалостной воли — преследовать их сурово по закону. Да при сложившихся сплетнях всякое нормальное судебное действие могло быть истолковано как личная месть. И всего лишь, что́ Николай решился сделать: определил ссылку Юсупову в его имение, Дмитрию — в Персию, а Пуришкевичу — даже ничего и не осталось, уехал со своим санитарным поездом на фронт. И даже эта мягкая мера была встречена бунтом династии, враждебным коллективным письмом всей великокняжеской большой семьи, а Сандро приехал и прямо кричал на Государя, чтобы дело об убийстве прекратить.

Они — совсем забылись. Они не считали уже себя подвластными ни государственному, ни Божьему суду!

А тут — дышала гневом Аликс, что Николай преступно мягок к убийцам и этой слабостью погубит и царство и семью.

И легла и протянулась на все эти два месяца в Царском — небывалая

прежде, длительная тягость между ним и Аликс, не уходящая обида. Уж Николай старался в чём только можно уступить, угодить. Разрешил все особые хлопоты с телом убитого, охрану, захоронение тут в Царском, на Аниной земле. И ото всех прячась, будто затравленные изгои в этой стране, а не цари её,— хоронили Распутина ночью, при факелах, и сам Николай с Протопоповым, с Воейковым нёс гроб. И всё равно — не смягчалась Аликс до конца, так и осталось её сердце с тяжестью. (Одинокими прогулками она ездила теперь тосковать и молиться на могиле. А злые люди подсмотрели и в первые же дни осквернили могилу. И пришлось поставить там постоянную стражу — пока восставится на том месте и закроется часовня.)

Так страстны и настойчивы были от Аликс упрёки в слабости, царской неумелости,— потряслось доверие Николая к самому себе. (А его-то и никогда не было прочного от юности, во всём он считал себя неудачником. И даже поездки по войскам, которые так любил,— убедился он: приносят тем войскам боевую неудачу.) И даже маленький Алексей, ещё совсем не мешавшийся во взрослые дела, воскликнул в горе: „Неужели, папа, ты их не накажешь? Ведь убийцу Столыпина повесили!“ И в самом деле: почему уж он был так слаб? Почему не мог он набраться воли и решимости — отца своего? Своего прадеда?

После убийства Григория тем более не мог Государь ни в чём идти на уступки своим противникам и обществу: подумали бы, что вот — освободился из-под влияния. Или: вот, боится тоже быть убитым.

Под упрёками жены и в собственном образумлении Николай в эти тяжкие зимние месяцы решился на крутые шаги. Да, вот теперь он будет твёрд и настоит на исполнении своей воли! Снял министра юстиции Макарова, которого давно не любила Аликс (и равнодушно-нерасторопного при убийстве Распутина), и председателя министров Трепова, против которого она с самого начала очень возражала, что он — жёсткий и чужой. И назначил премьером — милейшего старого князя Голицына, так хорошо помогавшего Аликс по делам военнопленных. И не дал в обиду Протопопова. Затем, под Новый год, встряхнул Государственный Совет, сменил часть назначаемых членов на более надёжных, а в председатели им — Щегловитова. (Даже в этом гнездилище умудрённых почётных сановников Государь потерял большинство и не мог влиять: не только выборные члены, но и назначаемые всё разорительней играли либеральную игру и здесь.) Вообще намерился он наконец перейти к решительному правлению, пойти наперекор общественному мнению, во что бы это ни обошлось. Даже нарочно выбирать в министры лиц, которых так называемое общественное мнение ненавидит,— и показать, что Россия отлично примет эти назначения.

Самое было и время на что-то решаться. В декабре неистовствовали съезды за съездами — земский, городской, даже дворянский, соревнуясь, чьё поношение правительства и царской власти громче. И прежний любимый государев министр Николай Маклаков, чьи доклады всегда были для Государя радостью, а работа с ним воодушевительной, а уволил он его под давлением Николаши,— теперь написал всеподданнейше, что эти съезды и всё улюлюканье печати надо правильно понимать, что это начался прямой штурм власти. И Маклаков же представил записку от верных людей, как спасти государство, а Щегловитов — другую такую же. Не дремали верные, что ж поддался душою Государь?

А тут ещё со многих сторон, и от дяди Павла, поступали сведения, что повсюду в столице и даже в гвардии открыто говорят о подготовке государственного переворота. И в январе, в начале февраля зрела у Государя мысль — нанести опережающий удар: вернуть на места своих лучших твёрдых министров и распустить Думу теперь же, и не собирать её до конца 1917 года, когда будет выбираться новая Пятая. И уже поручил он Маклакову — составить грозный манифест о роспуске Думы. И уже Маклаков составил и подал.

Но тут же, как всегда, обессиливающие сомнения одолели Государя: а нужно ли обострять? А нужно ли рисковать взрывом? А не лучше ли — мирно, как оно само течёт, не обращая особого внимания на забияк?

О перевороте? Так это же всё болтовня, во время войны никакой русский не пойдет на переворот, ни даже Государственная Дума, в глубине-то все любят Россию. И Армия — беспредельно верна своему Государю. Истинной опасности нет — и зачем же вызывать новый раскол и обиды? Среди имён заговорщиков Департамент полиции подавал таких крупных, как Гучков, Львов, Челноков. Государь начертал: общественных деятелей, да ещё во время войны, трогать нельзя.

Никогда ещё вокруг царской семьи не чувствовалось такое ноющее одиночество, как после этого злосчастного убийства. Преданные родственниками и оклеветанные обществом, они сохраняли только нескольких близких министров — но и их тоже, тем более, ненавидело общество. И верные тесные друзья, как флигель-адъютант Саблин, тоже оставались наперечёт. С ними и проводили святки, зимние вечера и воскресенья на малолюдных обедах, чаях, то приглашали во дворец маленький оркестр, а то кинематограф. Да ещё оставались неповторимо-разнообразные прогулки в окрестностях Царского, даже новинка: на снеговых моторах. А по вечерам Николай много читал семье вслух, решал с детьми головоломки. Да с февраля стали дети прибаливать.

Аликс же эти два месяца почти сплошь пролежала, сама как покойница. Она почти ничего не усвоила, не знала, кроме смерти Григория,— и этой своей верностью горю каждый день как бы ещё и ещё упрекала Николая.

Семейная атмосфера была любимая атмосфера Николая, и так, нетревожимо замкнутый, он мог бы прожить и год, и два. Не пропустил ни одной литургии, говел, причащался. Однако, по соседству теперь со столицей, не мог он в эти девять недель уклониться от дел государственного управления. В одну из этих недель открылась в Петрограде конференция союзников, у Николая не было желания появляться в её суете, и от России старшим там действовал генерал Гурко, зато изрядно надоедал Государю долготою и резкостью своих докладов. (Но пришлось принять в Царском делегатов конференции,— и так сжался Николай, так мучился — чтоб ещё они не стали ему давать советов по внутренней политике.) Ещё каждый будний день Государь принимал у себя двух-трёх-четырёх министров или видных деятелей, с бóльшим удовольствием — симпатичных ему.

Но оттого ли, что нота погребальности не утихала в их доме все эти недели, уж слишком затянулись головные боли и рыданья по убитому, где-то есть их и предел для всякого мужчины,— наконец стало потягивать Николая к немудрёной непринуждённой жизни в Ставке, к тому ж и без министерских докладов. На днях приезжал в Царское из Гатчины Михаил (жена его, дочь присяжного поверенного, дважды уже разведенная, не допускалась и не признавалась) и говорил, что в армии растёт недовольство: отчего Государь так долго отсутствует из Ставки. Где-то появился даже и слух, что на Верховное Главнокомандование снова вступит Николаша.

Да неужели? Вздор какой, но опасный вздор. Действительно, пора ехать. (Тут ещё так неудачно получилось, что и прошлое его пребывание в Ставке было коротким: тезоименитство своё он проводил с семьёю в Царском, вернулся в Ставку лишь 7 декабря, а 17-го уже был вызван смертью Распутина, и вот до сих пор.)

Но — совсем не легко было отпроситься у Аликс. Ей невместимо было понять, как он может её покинуть в таком горе и когда могут последовать новые покушения. Согласились, что он поедет всего на неделю и даже меньше — чтобы к несчастливой для Романовых первомартовской годовщине, дню убийства деда, вернуться в Царское и быть снова вместе. И наследника в этот раз она не отпустила с отцом, что-то он кашлял.

А Николай утешался тем, что оставляет государыню под защитой Протопопова. Протопопов заверил, что все дела устроены, и в столице ничто не грозит, и Государь спокойно может ехать.

Когда уже решён был отъезд — вдруг спала и эта тяжесть упрёка, разделявшая их два месяца. Аликс протеплела, прояснела, живо вникала в его вопросы, напоминала, чтоб он не забыл, кого в армии надо наградить,

а кого заменить,— и особенно недоверчиво и неприязненно относилась она к возврату Алексеева в Ставку после долгой болезни: зачем? не надо бы. Он — гучковский человек, ненадёжный. Наградить бы его — и пусть почётно отдыхает.

Но Николай любил своего работящего, незаносчивого старика и не находил сил отставить его. Да этого бы никак и не выговорить, неудобно. Связан с Гучковым? Так и Гурко, на той же должности, сейчас в Петрограде, по донесению Протопопова, встречался с Гучковым. И был связан с Думой. (И вот, десять дней назад, на докладе в Царском, налетел вихрем, голос как иерихонская труба: „Государь, вы губите и семью и себя! что вы себе готовите? чернь церемониться не станет, отставьте Протопопова!“,— такого бешеного не бывало при Николае рядом, он уж раскаивался, что согласился взять его.)

Вчера после полудня Николай ехал на станцию — как всегда под звон Фёдоровского собора, они оба с Аликс вдохновлялись колокольным звоном. По пути заехали к Знаменью приложиться.

Как раз прояснилось — и яркое морозное радостное солнце обещало добрый исход всему.

А в купе Николая ждала приятная неожиданность (впрочем, и обычный меж ними приём): конверт от Аликс, положенный на столик при дорожных принадлежностях. Жадно стал читать, по-английски:

«Мой драгоценный! С тоской и глубокой тревогой я отпустила тебя одного без нашего милого нежного Бэби. Бог послал тебе воистину страшно тяжёлый крест. Что я могу сделать? Только молиться и молиться. Наш дорогой Друг в ином мире тоже молится за тебя — так Он ещё ближе к нам.

Кажется, дела поправляются. Только, дорогой, будь твёрд, покажи властную руку, вот что надо русским. Ты никогда не упускал случая показать любовь и доброту,— дай им теперь почувствовать порой твой кулак. Они сами просят об этом, сколь многие недавно говорили мне: „нам нужен кнут!“. Это странно, но такова славянская натура: величайшая твёрдость, жестокость даже, и — горячая любовь. Они должны научиться бояться тебя — любви одной мало. Надо играть поводами: ослабить их, подтянуть...»

Кнут? — это ужасно. Этого нельзя представить, ни выговорить. Ни замахнуться. Если э т о й ценой быть царём — то не надо и совсем.

Но быть твёрдым — да. Но показать властную руку — да, это необходимо, наконец.

«Надеюсь, ты *очень* скоро сможешь вернуться. Я знаю слишком хорошо, как „ревущие толпы“ ведут себя, когда ты близко. Как раз теперь ты *гораздо* нужнее здесь, чем там. Так что вернись домой дней через десять. Твоя жена — твой оплот — неизменно на страже в тылу.

Ах, одиночество грядущих ночей — нет с тобой Солнышка и нет Солнечного Луча!»

Ах, дорогая! Сокровище моё!..

И как отлегло от сердца, что снова нет тучек меж нами. Как это подкрепляет душевно.

Как всегда в пути по железной дороге Николай с удовольствием читал, отдыхая и освежаясь, в этот раз по-французски — о галльской войне Юлия Цезаря, хотелось чего-нибудь вчуже от современной жизни.

Снаружи холодно было, да как-то не хотелось и двигаться, за всю дорогу не вышел из вагона нигде.

Николай замечал не раз: наше спокойствие или беспокойство зависят не от дальних, хотя бы и крупных событий, а от того, что происходит непосредственно с нами рядом. Если нет напряжённости в окружении, в ближайших часах и днях, то вот на душе и становится светло. После петербургских государственных забот и без противных официальных бумаг очень славно было лежать в милом поездном подрагивании, читать и не иметь необходимости кого-то видеть, с кем-то разговаривать.

А уже поздно вечером перечитал любимый прелестный английский рассказ о Голубом Мальчике. И, как всегда, выступили слёзы.

ДОКУМЕНТЫ — 1

Ея Величеству. Телеграмма.

Ставка, 23 февраля

Прибыл благополучно. Ясно, холодно, ветренно. Кашляю редко. Чувствую себя опять твердым, но очень одиноким. Мысленно всегда вместе. Тоскую ужасно.

Ники

Его Величеству

Царское Село, 23 февраля

(по-английски)

Ну, вот — у Ольги и Алексея корь. Бэби кашляет сильно, и глаза болят. Они лежат в темноте. Мы едим в красной комнате. Представляю себе твое ужасное одиночество без милого Бэби. Ему и Ольге грустно, что они не могут писать тебе, им нельзя утомлять глаза. ...Ах, любовь моя, как печально без тебя — как одиноко, как я жажду твоей любви, твоих поцелуев, бесценное сокровище мое, думаю о тебе без конца. Надевай же крестик иногда, если будут предстоять трудные решения,— он поможет тебе.

...Осыпаю тебя поцелуями. Навсегда

Твоя

2

Экран

В петербургском обокраденном небе,
клочках и дорожках его между нависами безрадостных фабричных крыш —
пробилось солнце. Солнечный будет день!
Гул голосов.
= И даже тёплый. Платки с женских голов приоткинуты, руки без варежек, никто не жмётся, не горбится, свободно крутятся
в хвосту, человек сорок,
у мелочной лавки с одной двёркой, одним оконцем.
Гудят свободно, язык не примерзает,
но и разве ж это человеческое занятие, этак выстроиться столбяно, лицом в затылок, в затылок.
А из двёрки вытискивается, кто уже купил. А несут и один, и другой — по две — по три буханки ржаного хлеба,
большие, круглые, умешанные, упеченные, с мучным подсыпом по донцу,—
ах, много уносят!
Много уносят — так мало остаётся! И не втиснешься туда, так глазами через плечи, иль со стороны через окно:
— *Белого много, бабы, да кому он к ляду. А ржаной — кончается! Не, не достанется нам.*
— *Бают, ржаную муку совсем запретили, выпекать боле не будут. Будет хлеба по фунту на рыло.*
— *Куда ж мука?*
— *Да царица немцам гонит, им жрать нечего.*
Загудели пуще бабы, злые голоса:
— *А може у него под прилавком? Дружкам отложил?*
— *Они — усе миродёры, от малы́х до больших!*
Старик рассудительный, с пустым мешком под мышкой:
— *Да и лошадёв кормить не стало. Овса в Питер не пропускають. А лошади, ежели ёе на хлебе держать, так двадцать фунтов в день, меньше никак.*
А из двёрки — баба. И руками развела на пороге: нету, мол.
Сразу трое туда полезли очередных, да не вопрёшься.
Закричала остроголосая:

— *Так что мы? зря стояли?*

Платок сбился, а руки свободные. Глаза ищут: чего бы? чем бы?

= Льда кусок, отколотый, глыбкой на краю мостовой.

Примёрз? Да нет, берётся.

Схватила и, по-бабьи через голову меча, руками обеими — швырь!!

= И стекольце только — брызь!

Звон.

на кусочки!

= Заревел приказчик как бугай, изнутри, через осколки, а по нему откуда-тось — вторóю глыбкой! Попало, не попало —

а всё закрутилось! суета! Суются в двери туда, сколько влезти не может.

Общий рёв и стук.

А из битого окна — кидают, чего попало, прямо на улицу, нам ничего не нужно: булки белые!

свечи!

головки сырные красные!

рыбу копчёную!

синьку! щётки! мыло бельевое!..

И — наземь это всё, на убитый снег, под ноги.

* * *

Возбуждённый гул.

= Валят рабочие размашистой гурьбой по бурому рабочему проспекту.

К гурьбе ещё гурьба из переулка. Много баб, те посердитей.

Валит толпа уже в сотен несколько, сама не зная, ничего не решено,

мимо одноэтажного заводского цеха.

Оттуда посматривают, через стёкла, через форточки. Им тогда:

— *Эй, снарядный! Бросай работу! Присоединяйсь. Х л е б а!!*

Остановились вдоль, уговаривают:

— *Бросай, снарядный! Пока хвосты — какая работа? Хле-ба!*

Чего-то снарядный не хочет, даже от окон отходит.

— *Ах вы, суки несознательные! Да у вас своя лавка, что ль?*

— *Значит, что ж, каждый сабе?*

— *Да ты ему — по стеклáм! по стеклам!*

Звон. Разбили.

На ступеньки вышел плотный старый мастер, без шапки:

— *Что фулиганите? У каждого своя голова. Себе в сусек, что ль, снаряды складываем?*

А в него — ледяным куском:

— *Своя голова?*

Схватился мастер за голову.

Гогот.

= А у снарядного-то и караул постаивает пехотный. Дюжина, с унтером.

Не шевельнётся, хоть и бей друг друга, нам-то что? Мы снаряды охороняем.

= Гурьба рабочих подростков.

Побежали! как в наступление!

И в широких раскрытых заводских воротах — что с этой оравой поделаешь? — стóрожа обежали, закрутили его,

полицейского — обежали —

и-и-и! по заводскому двору!

и-и-и! во все двери, по всем цехам!

Голоса из детского хора:

— *Бросай работу!.. Выходи на улицу!.. Все на улицу!.. Хле-ба!.. Хлеба!.. Хле-ба!..*

= Сторож схватился ворота заводить,

высокие сильные полотнища ворот вместе свести,
а уже и здоровых рабочих полсотни бежит снаружи — да с размаху! —
скрежет,
и одно полотнище сорвалось с петли, зачертило углом, перекособочилось,
теперь все вали, кто хошь.
Полицейский — руки наложил на одного,
а его самого — палкой, палкой! Шапку сбили, отстал.
= Разгорается солнышко. Переливается по снежинкам в сугробах.
Валит толпа — буянить, не скрываясь.
Гул голосов.

* * *

= Большой проспект Петербургской стороны. Пятиэтажные дома как слитые, неуступные, подобранные по ранжиру. Стрельная прямизна.
Дома все — не простые, но с балконами, выступами, украшенными плоскостями. И — ни единого дерева нигде. Каменное ущелье.
А внизу — булочная Филиппова, роскошная. В трёх окнах — зеркальные двойные стёкла, за ними — пирожные, торты, крендели, ситники.
Молодой мещанин ломком размахнулся,—
от него отбежали, глаза защитили,—
а вот так не хочешь?
Брызь! — стекло зеркальное.
И — ко второму.
Брызь! — второе.
И — повалила толпа в магазин.
= А внутри — всё лакированное, да обставленное, не как в простых лавках.
Чёрный хлебец? — тут утеснён. А буханки воздушные!
А крендели! А белизна! А сладкого!..
А вот так — не хочешь? — палкой по стеклянному прилавку!
А вот так не хочешь? — палкой по вашим тортам!
Отшарахнулась чистая публика, обомлелая.
И продавцы — не нашлись, раззинулись.
Бей по белому! бей по сладостям! Мы не жрём — и вы не жрите!
Не доводите, дьяволы!!..

* * *

Позванивая,
= от Финляндского вокзала по переулку, через суету возбуждённого народа на мостовой, пробирается трамвай.
Группка рабочих стоит, забиячный вид. Чертыхнулись:
— *Ну куда прёшь, не видишь?*
Вожатый трамвая стоит на передней площадке за стеклом, как идол, и длинной ручкой крутит в своём ящике.
Догадка! Один рабочий вскочил к нему туда, на переднюю площадку —
не понимаешь по-русски? Отпихнул его,
сорвал с его ящика эту ручку — как длинный рычаг накладной,
и с подножки народу показывая, над головой тряся
длинную вагонную ручку! —
соскочил весело.
Видели! Поняли! Понравилось!
Остановился трамвай, нет ему хода без той ручки.
Глядит тремя окнами передними,
и вагоновожатый посерёдке, лбом в стекло.
= Хохочет вся толпа!

* * *

= На Литейном мосту, перегораживая собою,
и на набережной рядом
стоят наряды полиции. Нет, толпу они не пропустят.
А толпы — и нет. А просто: мастеровые, от смены свободные, в город идут, по делу или быстро гуляя,
быстро гуляя, группами по пять, по нескольку человек, на ходу разговаривая.
Косится полиция. А и нельзя ж людям ходить запретить.
Косятся и на полицию из-под чёрных фуражек, треухов. Косятся, ничего не говорят. Вид у них мрачный.
= А по тот край моста — за углами остаиваются, густеют, соединяются.
И вот уже по проспекту — едва не толпой.
А впереди — мальчишки, с весёлым приплясом, да как барабанят, и орут:
— *Дай-те! хле-ба! Дай-те-хле-ба!*
= На зимнем небе — весенний весёлый свет. Растянутые облачка.

* * *

= А на Невском — какое же гулянье, в легкоморозный солнечный денёк! Да какие же санки лихие проскакивают. С колокольчиками!
Сколько публики на тротуарах, и самая чистая: дамы с покупками, с прислугой, офицеры с денщиками. Господа разные. Оживлённые разговоры, смех.
Даже что-то слишком густо на тротуарах. На мостовой — всё прилично, никто не мешает извозчикам, трамваям, а на тротуарах — стиснулись, как не гуляют, а в демонстрацию прут.
А-а, да тут и мещане, и мастеровые, и простые бабы, и всякая шерсть, втесались в барскую толпу, это среди рабочего-то дня, на Невском!
Но и чистая публика ими не брезгует, а так вместе и плывут, как слитное единое тело. И придумали такую забаву, сияют лица курсисток, студентов: толпа ничего не нарушает, слитно плывёт по тротуару, лица довольные и озорные, а голоса заунывные, будто хоронят, как подземный стон:
— *Хле-е-еба... Хле-е-еба...*
Переняли у баб-работниц, переобразили в стон, и все теперь вместе, всё шире, кто ржаного и в рот не берёт, а стонут могильно:
— *Хле-е-еба... Хле-е-еба...*
А глазами хихикают. Да открыто смеются, дразнят. Петербургские жители всегда сумрачные — и тем страннее овладевшая весёлость.
А мальчишки, сбежав на край мостовой, там шагают-барабанят, балуются:
— *Дай!-те!-хле!-ба! Дай!-те!-хле!-ба!*
= Там-сям наряды полиции вдоль Невского. Обеспокоенные городовые.
Где и конные.
А — ничего не поделаешь, не придерёшься. Это как будто и не нарушение. Глупое положение у полиции.

* * *

= А по Невскому, по сияющей в солнце стреле Невского, в веренице уходящих трамвайных столбов —
этих трамваев, трамваев что-то слишком густо, там какая-то помеха, не проедешь:
цепочкой стоят один за другим. Публика из окон выглядывает, как дура, не знает, что дальше будет.
Передняя площадка одна пустая.
Другая пустая, и переднее стекло выбито.

А по мостовой идут пятеро молодцов, мастеровые или мещане, с пятью трамвайными ручками, длинными!
и размахались ими, как оружием,
под общий хохот. С тротуаров чистая публика — смеётся!
= Помощник пристава, это видя,
деловито, быстро пробирается меж толпы —
уверенно идёт, как власть, по сторонам не очень и смотрит,
ничего дурного не ждёт, а если ждёт, так отважен,—
протянулся ключ отобрать у одного —
а сзади его по темени — другим ключом!
да дважды!
Крутанулся пристав, и свалился без сознания,
вниз, туда, под ноги. Нету.
= Хохочет, хохочет чистая невская публика! И курсистки.

* * *

= Ребристый купол Казанского собора.
Знаменитый сквер его между дугами античных аркад
забит публикой, всё с тем же весёлым вызовом лиц и заунывным стоном:
— *Хле-е-еба... Хле-е-еба...*
Понравилась игра. Барские меховые шапки, котелки, модные дамские шляпки, простые платки и чёрные картузы:
— *Хле-е-еба... Хле-е-еба...*
= А по бокам собора стоят наряды драгун, на добрых крупных конях.
И офицер их, спешенный, поговорив с высоким полицейским чином,
вскакивает в седло, даёт команду
не очень громко, толпе не слышно,—
и драгуны по полудюжине разъезжаются крупным шагом,
и так по полудюжине, в одном месте, в другом,
наезжают на тротуары! прямо на публику!
конскими головами и грудями, взнесенными как скалы!
а сами ещё выше! —
но не сердятся, не кричат, и никаких команд,—
а сидят там, в небе, и наезжают на нас!
= Деваться некуда, разбегается публика всех состояний, шарахается волной —
прочь от сквера, в соседние проезды,
в парадные, в подворотни. Кто в снежную кучу врюхнулся.
Свист из толпы.
И — гордо кони выступают по пустым местам.
Но как съедут — на эти же места, и на тротуары — снова толпа.
Правила игры! Никто ни на кого не сердится. Смеются.
= А подле Екатерининского канала, по ту сторону Казанского моста —
полусотня казаков-донцов, молодцов — с пиками.
Высоко! Стройно! Страшно! Лихие, грозные казаки с коней косо посматривают.
К офицеру подъехал в автомобиле большой чин:
— *Я — петербургский градоначальник генерал-майор Балк. Приказываю вам: немедленно карьером — рассеять эту толпу — но не применяя оружия! Откройте путь колесному и санному движению.*
= Офицер — совсем молоденький, неопытный. Смущённо на градоначальника.
Смущённо на свой отряд. И вяло,
так вяло, не то что карьером — удивительно, что вообще-то поднятулись, с места стронулись
шагом, а пики ровно кверху,
шагом, кони скользят копытами по накатанной мостовой,

через широкий мост и по Невскому.
Градоначальник из автомобиля вылез — и рядом пошёл.
Идёт рядом — и не выдерживает, сам командует:
— *Ка-рьер!*
Да разве казаки чужую команду примут, да ещё от пешего?
Ну, перевёл офицерик свою лошадь на трусцу.
Ну, и казаки, так и быть.
Но чем ближе к толпе — тем медленнее...
Тем медленнее... Не этак пугают... Пики — все кверху, не берут наперевес.
И, не доходя, совсем запнулись. И
радостный тысячный рёв!
заревела толпа от восторга:
— *Ура казакам! Ура казакам!*
А казакам это внове, что им от городских — да „ура".
А казакам это в честь.
Засияли.
И — мимо двух Конюшенных дальше проехали.
= Но и толпа ничего не придумала:
митинг — не начинается, ни одного вожака нет,— вдруг грозный
цокот
лица испуганные — в одну сторону:
= с Казанской улицы, огибая по большой дуге собор и стоящие трамваи,
громче цокот!
разъезд конной полиции, человек с десяток — но галопом!
но галопом!!! рассыпаясь веером, а шашек не обнажая — га-лопом!!!
= Страх перекошенный! и, не дожидаясь!
кинулась толпа, рассыпались во все стороны,—
как сдунуло! Чистый Невский перед Думой.
= И шашек не обнажали.

3′

(Хлебная петля)

В ноябре 1916 сквозь великие сотрясательные думские речи, сквозь частокол спешных запросов, протестов, столкновений и перевыборов Государственная Дума всё никак не добиралась до продовольственного вопроса, да и слишком частное значение имел этот вопрос перед общею политикой. В конце ноября назначен был какой-то ещё новый временный министр земледелия Риттих. Он попросил слова и почтительно извинился перед Думою, что ещё не успел вникнуть в дело и не может доложить о мерах. Его поругали, как всякого представителя правительства, но даже лениво, ибо сами ничего не ждали от собственной думской дискуссии, если она будет слишком конкретной. Да, продовольственный вопрос был важен, но не в конкретном, а в *общем* смысле,— и главное пламя политики уметнулось из Таврического дворца, скованного думской процедурой. Главное пламя политики, перебегая по обществу, взрёвывало то там, то здесь, даже больше в Москве. Там на начало декабря было назначено три съезда, и все три по продовольствию: собственно Продовольственный съезд и съезды Земского союза и союза Городов (не говоря о многих других одновременных общественных совещаниях; как шутили тогда: если немец превосходит нас техникой, то мы победим его совещаниями).

О продовольствии говорилось с дрожью голоса,— и правительство не смело запретить Продовольственного съезда, хотя и ему и собирающимся было понятно, что не в продовольствии дело, продовольствование России и без нас всегда как-то происходило, и как-нибудь произойдёт,— а в том дело, чтобы, собравшись, обсудить прежде всего *текущий момент* и как-нибудь порезче выразиться о правительстве, *раскачивая* обстановку. (Предыдущая революция показала, что её можно достичь только непрерывным раскачиванием.) Тоже всё это зная, правительство в этот раз набралось храбрости запретить два остальных съезда прежде их начала. Толпились на тротуаре Большой Дмитровки городские головы, земские деятели, именитые купцы, съехавшиеся со всей России, а полиция не пускала их в здание. Пока

князь Львов составлял с полицией протокол о недопущении, земские уполномоченные перешушукались, утекли в другое помещение, на Маросейку, и там „приступили к занятиям", то есть опять-таки не к скучной продовольственной части, но к общим суждениям о *политическом моменте*. В подготовленной непроизнесенной речи князя Львова было:

> На самом краю пропасти, когда может быть осталось несколько мгновений для спасения, нам остаётся воззвать только *к самому народу*. Оставьте попытки наладить совместную работу с нынешней властью!.. Отвернитесь от призраков! — *власти нет, правительство не руководит страной!*

И похоже было, что — так. (Как выразился Щегловитов, „паралитики власти что-то слабо боролись с эпилептиками революции".) Всё более вырастающий в первого человека России князь Львов, бурно приветствуемый, нагнал заседание своих земцев на Маросейке, и принятая там резолюция была ещё резче его речи. Съезды Союзов, избегая разгона, собрались на частных квартирах — и полиция не сразу решилась нарушить неприкосновенность жилища. Когда же пришла, резолюции уже были приняты или голосовались тут же, при полиции:

> ...Режим, губящий и позорящий Россию... Безответственные преступники, гонимые суеверным страхом, готовят ей поражение, позор и рабство!.. Этой бессовестной и преступной власти, дезорганизовавшей страну и обессилившей армию, народ не может доверить ни продолжения войны, ни заключения мира.

И правда, что ж оставалось власти? Либо тут же уйти (а пожалуй, уже так было запущено и допущено, что хоть и уйти), либо всё-таки эти съезды запретить?

А ещё собрался в декабре и съезд промышленных деятелей, и тоже обсуждать продовольственный вопрос. И на хвосте тех программных пылающих резолюций нашлось два слова для начинаний Риттиха:

> новые меры правительства только довершают расстройство.

Ибо это правительство никогда не найдёт выхода ни в чём.

А скромный малоизвестный Риттих возмерился и взялся вникнуть в подробности и выход найти. С первых же дней вступления в должность он установил: что хлеба заготовлена одна двенадцатая того, что нужно: сто миллионов пудов вместо миллиарда двухсот; что все партии и вся печать уже отговорили, что́ хотели, о твёрдых ценах, и забыли о них,— но твёрдые цены нависли над хлебным рынком, заперли его, и торговый аппарат бессилен извлечь хлеб из амбаров; позднеосенний съезд сельских хозяев, где было много председателей земств, кооперативов и крестьян, настаивал на повышении хлебных цен — так, чтобы эти цены оплатили стоимость производства, труда и ещё провоз от амбара до станции, который по ценам деятелей Прогрессивного блока предполагался нетрудоёмким и даже несуществующим, оплачивался так и быть за 20 вёрст доставки, хотя везли и 90, да по бездорожью.

Повышать цены этою зимой было уже упущено: деревня только ждала бы ещё более высоких. Гужевой же транспорт от амбара до станции Риттих сразу, с 1 декабря, взял на себя смелость оплатить („франко-амбар", то есть цена считается у амбара, а доставка сверх),— за что был тогда же гневно разруган в Государственной Думе: „Вы ломаете твёрдые цены!" Эта мера Риттиха заметно увеличила приток хлеба, но не настолько, чтобы, с прочным запасом, накормить русскую армию и русский тыл до осени 1917. Твёрдые цены оставались ниже рыночных, и когда по установившейся зимней дороге зерно высовывалось из деревни в город, оно тут же поворачивало назад в деревню и исчезало там. Частная торговля разыскивала там его, но — по высоким ценам. И призрак *хлебной повинности* или хлебной развёрстки заколыхался перед свежим министром земледелия. И у него достало решительности сделать этот шаг, уже не им одним прозреваемый в русском воздухе.

Риттих вовсе не намеревался отбирать хлеб силою, это было бы по русским традициям святотатственно и для русского правительства позором: как же можно — не купить хлеб, а отобрать у того, кто его вырастил? Хлебная повинность — ужасная мера принуждения, не вмещаемая в русские умы. Нет, идея Риттиха сводилась

> к тому, чтобы доставку хлеба перевести из области простой торговой сделки в область исполнения гражданского долга, обязательного для каждого держателя хлеба. Объяснить населению, что исполнение этой развёрстки является для него таким же долгом, как и те жертвы, которые оно столь безропотно несёт для войны.

В развёрстку вошли: потребности армии пуд в пуд, и рабочих оборонных заводов с их семьями (как уже и снабжали на многих заводах). Крупные же центры и непроизводящие губернии не были включены как потребители, ибо трудно было сообщить 18 миллионам крестьянских хозяйств как гражданский долг — снабдить столицы и Север. По срочности и по горячности Риттих взялся сам, на первых же

неделях своей деятельности, в декабре, сделать развёрстку по губерниям — на основании только что прошедшей земской переписи хлебного наличия и объёма ежегодного вывоза из губернии. И полученные так цифры

> были понижены, чтобы развёрстка не оказалась по каким-либо причинам затруднительной для исполнения.

Полученную цифру губернские земства должны были разверстать между уездами, уезды — между волостями, а волостные и сельские сходы — между дворами. И что ж? раскладка пошла весьма успешно,

> первоначально чувствовался, скажу прямо, патриотический порыв. Эта развёрстка была увеличена многими губернскими и уездными земствами на 10 % и даже более. (С просьбой о такой надбавке я обратился к ним — чтоб избытком накормить центры и Север.) Но сейчас же вослед в дело были внесены сомнения и критическое отношение к развёрстке. Сперва — равномерно ли сделана развёрстка? Эти подозрения были скоро оставлены. Тогда всё вниманье обращено, что развёрстка тяжело исполнима, что слишком много требуется от каждой губернии. Конечно, она тяжела, требуется очень много, но ведь, господа, и война тяжела.

Представителю ненавистного презренного правительства надо выражаться перед разгневанною общественностью мягко, оглядчиво:

> Всё же я думаю, господа, что те методы, которыми доказывалась непосильность развёрстки, являются едва ли правильными. Вслед за первым порывом земств проводить эту развёрстку всё внимание гипнотизировалось: достаточно ли после развёрстки будет обеспечено население? Это уже охладило порыв, который был к развёрстке, свело его с великой цели на расчёты мер и весов, сколько каждому оставить в запас, сколько можно уделить на нашу армию.

А у всех земских чрезвычайная чувствительность к местным интересам, они патриоты своего околотка. А вдруг будет неурожай, новые наборы, рук не хватит, хлеба не хватит, будьте осторожны, не везите лишнего...

> А теперешний крестьянин — крестьянка, ей легко внушить: хлеба не везти, чтоб не помирали её дети.
>
> И все губернии составили нормы потребления на 5-7 пудов выше, чем считались обычными в мирное время. Но при 150 миллионах человек это 900 миллионов пудов, то есть удержан весь внутренний оборот хлебной торговли. Губернии, всегда вывозившие десятки миллионов пудов, как Таврическая, оказались будто не могущими дать ничего, а в такую богатую, как Екатеринославская, ещё, оказывается, надо ввезти 14 миллионов пудов.

Сомнение было посеяно и так задержало развёрстку, что не в две декабрьские недели, как рвался Риттих, но лишь в феврале 1917 она дошла до волостей... И некоторые волости выполнили её, другие даже превысили, а кто и отказался. Риттих, однако, *не разрешил применять реквизиций:*

> Относительно нашего производителя уже слишком много принято понудительных решительных мер,

но —

> собирать сход ещё раз, быть может его настроение изменится, указать, что это нужно Родине, обороне...

И на повторных сходах развёрстка часто принималась. Или обещали доверстать, после того как выйдут озими. Первый результат развёрстки был тот, что крестьяне принялись усиленно молотить свой хлеб, до того покинутый в зародах. Поступление хлеба очень увеличилось уже в декабре и январе:

> за декабрь — 200 % среднего месячного осеннего поступления, за январь — 260 %. И каждую неделю всё выше.

Пережили гипноз и земства: требуется — дать, а сами потеснимся и проживём. Хлебная проблема безусловно сдвинулась и начинала решаться. Риттих надеялся, что к августу 1917

> великая цель развёрстки будет достигнута.

(Грозили голодом не ближние месяцы, замысел был — кормить лето.)

Тем временем подошло 14-е февраля и долгожданное открытие прерванных заседаний Государственной Думы. Русское общество с нетерпением ожидало взрыва, особенно от первого дня. Тем более готовились совершить такой взрыв лидер Прогрессивного блока Милюков и левый лидер Керенский: их уже заранее исторические речи должны были создать этот заранее исторический день Государственной Думы. С жаждою собралась публика на хорах Таврического дворца: какой оглушительный разгром ожидал правительство в ближайшие часы! И сам Председатель Родзянко предсмаковал не хуже других — но по деревянному уставу Думы не мог отказать министру, неожиданно попросившему слово. (Почти со времён Столыпина

отвыкли, чтобы министры сами просили слово,— уж они рады помолчать в ложе, когда их не слишком сильно бьют.)

Это был министр земледелия Александр Александрович Риттих, за три месяца почему-то ещё не сменённый, только что воротившийся из поездки по 26 хлебным губерниям (уже и доложивший Государю о своих намерениях). Он вышел на трибуну с тоном примирения — совершенно, конечно, не в рост пылающим политическим задачам Думы, и более чем на час сорвал её накал, да просто погубил исторический день и широкие принципиальные политические прения своею скучной продовольственной конкретностью,— всем процитированным выше.

Несколько лет правительство ушмыгивало из своей думской ложи, министры избегали выходить объясняться с Думою — и это было плохо, и поносилось заслуженно. Но вот министр выходил с подробными объяснениями, терпеливо присутствовал на целодневных прениях, готовно поднимался давать новые и новые объяснения,— и тем более не угодил!

Александр Риттих, выпадавший из традиции последних русских правительств — отсутствующих, безличных, параличных, сам из того же образованного слоя, который десятилетиями либеральствовал и критиковал, Риттих, весь сосредоточенный на деле, всегда готовый отчитываться и аргументировать, словно нарочно был послан судьбою на последнюю неделю русской Государственной Думы, чтобы показать, чего стоила она и чего хотела. Всё время её критика била в то, что в правительстве нет знающих деятельных министров,— и вот появился знающий, деятельный, и на самом ответственном деле,— и тем более надо было его отвергнуть!

Как ни смягчал он своим предупредительным, даже почтительным отношением к Думе:

> Я подчёркиваю, что я решился на эти меры не сам, а по одобрению и согласию, которые представляются весьма авторитетными: основания развёрстки были указаны Государственной Думой (шум слева), они повторены Особым Совещанием,—

так тем обиднее, что он взял *нашу* мысль, но проводит ее *не теми* руками! что он „искусно подставляет себя под знамя общенационального дела“. Риттих уже тем был нуден, что отсюда, с думской трибуны, рассказывал всем известное: как после тёплой сиротской зимы 1915/16 необыкновенно сурова зима 1916/17, с конца января почти три недели непрерывных мятелей и заносов, остановивших всякое железнодорожное движение и хлебный подвоз. И уж тем был особенно ядовит, что осмеливался не всю вину брать на обречённое бездарное правительство, которое одно только и мешало русскому счастью:

> Но нет уверенности, что поступательное движение хлебных поставок сохранится. И не весенняя распутица страшна, она наступит не во всех местностях сразу,— опасно неуклонно отрицательное отношение к действиям министерства земледелия со стороны *известного течения нашей общественной мысли*, такого крупного, что имеет способы внедрить свой взгляд в самую толщу населения. Все меры представляются этой критикой как принятые правительством, не пользующимся доверием, и стало быть неправильные и обречённые на неуспех. Зачем же держать флаг недоверия к правительству во что бы то ни стало, не вникая в сущность, не дав себе труда проверить последствия? (Шум слева. Голоса справа: „Дайте слушать, что это такое!“) Хотят, чтобы в самой толще нашей деревни знали: не делайте этого, не везите хлеба, потому, что к этому вас призывает правительство. (Шингарёв: „Неправда!“ Справа: „Браво!“ Воронков: „Много смелости!“) Меня упрекнули в смелости. А я — боюсь этой политики больше, чем всех распутиц, я боюсь, что она погубит дело. (Справа рукоплескания.) Крестьянский хлеб вы путём расчёта не получите: крестьянин сейчас не нуждается в деньгах. Вот если бы общественность внушала крестьянству, что этого требует война и родина, то хлеб пошёл бы вдвое и вчетверо быстрей. Где случайно не оказалось противодействующих сил, там мы видим результаты изумительные.

В некоторых губерниях хлеб так повалил, что поволостной развёрстки даже не делали, например в Самарской: до 1 декабря едва закупили 4 тысячи пудов, а за декабрь привезли 19 миллионов.

> Но там не проник этот яд: что это делается правительством, а потому не слушайтесь. Если бы мы все могли бы объединиться на почве простой искренности, не считаясь, кто к чему принадлежит, а только — желает ли своей родине добра...
>
> А что предлагают критики? Реальных непосредственных мер не предлагают, а только — новые обсуждения, съезды. Недавно осенью был этот гигантский съезд, и только подрезал и предрешил всю участь про-

довольственной кампании, теперь приходится отчаянными усилиями поправлять. Я со страхом смотрю на эту политику разъединения потребителей от производителей. Все земства признают меры правительства правильными, даже единственно возможными, и на всё ставится штемпель недоверия: это придумано правительством и может повести только к краху. Если, не дай Бог, этот крах случится, то, господа, *придётся разобраться, где его причина.* Неужели около этого громадного дела, которое имеет такое страшное значение для России, мы будем продолжать вести политическую борьбу? Я с волнением буду ждать ответа от Государственной Думы (Рукоплескания справа и в правой части центра.)

(Этим и опасно было его ненужное выступление, что он отрывал от Блока его правую часть, которая шла не обязательно только принципиально *против.* Он срывал тактику Блока — слитное психологическое давление на власть.)

И — ждал, сидел в министерской ложе, у подножья ораторов и лицом к депутатам.

Но Прогрессивный блок уж разумеется не стал обсуждать пустяковое заявление Риттиха, соотношеньем 2:1 Дума отодвинула это. А решили заслушать и обсуждать общее заявление Прогрессивного блока. И хотя оно по видимости касалось опять того же продовольствия, транспорта и топлива, но — в *общем* ракурсе, в том смысле, что ни один из этих вопросов нельзя решать как таковой, но прежде

необходимо, чтобы люди, управляющие страной, были признанными вождями нации и встречали бы поддержку законодательных учреждений... Власть, которой бы каждый гражданин мог радостно повиноваться.

А пока это не так, без коренного переустройства исполнительной власти, нельзя даже обсуждать ни продовольствия, ни транспорта, ни топлива. И пусть эта ничтожная так называемая власть ответит:

Что будет предпринято для устранения вышеизложенного нетерпимого положения вещей?

И так — снова могло политься торжественное течение думских заседаний, и выдающийся умник России и лидер её либералов и центра получал возможность произнести свою общеполитическую возгласительную речь,— очень высокого и широкого значения, разумеется не о хлебе. Милюков:

Отношения между правительством и Государственной Думой — единственный вопрос текущего момента.

Но не обошёл и Риттиха, чьи рассуждения

показали нам наглядно неспособность этих людей захватить вопрос во всей его широте и во всей его глубине. Самоуверенность, самодовольство, свобода обращения с фактами, неуважение к аудитории. Ни в одном намёке его речи не чувствуется понимания, что вопрос о продовольствии это не только...

не только... не только... о жевательных движениях зубов. Вопрос о продовольствии это — и почему преследовали попытки Земсоюза и Горсоюза самим, без правительства, решать народно-хозяйственные проблемы? И зачем закрыли Вольно-Экономическое общество марксистов?..

А Милюков способен действовать и самыми строгими научными методами. Да вот, пожалуйста,— диаграмма, в его руках диаграмма, и показывается всей Думе. Объяснений подробных он не даёт (без большой науки депутатам в это не вникнуть), но все могут видеть взлёт:

Вот кривая, которая высоко поднимается наверх после установления твёрдых цен. А вот когда она начинает падать,— когда появляется Риттих.

И отсюда все видят, что

твёрдые цены — вызвали хлеб на рынок!

То есть: пока выгодно было продавать — не продавали, а как стало невыгодно — тут-то все и повезли. Водопады падают кверху. И — не было „патриотического порыва", а раз Риттих предоставил такую выгоду, оплатил гуж до станции, то стало и выгодно сам хлеб продать ниже стоимости. Наконец, разоблачил Милюков и цифры Риттиха, что в декабре-январе по сравнению с осенью заготовка хлеба возросла до 260 %: так никто не считает, надо сравнивать с теми же месяцами предыдущего года —

и тогда заготовка упала в полтора раза и больше. Господину Риттиху верить не надо: он извратил идею, вырвавши её из связи, в которой она находилась. А её нельзя решить без решительного изменения внутренней политики.

А Керенский, в своей тоже исторической речи почти и не связывался с Риттихом:

этот господин, которого здесь в Думе многие называют „гениальным", этот первый ученик Столыпина свою школу прошёл на разрушении сельскохозяйственной общины

(тепло любимой издали и трудовиками и кадетами), весь его „патриотический порыв" — это классовый сговор помещиков. И получалось в обычном сумбуре Керенского, что свободная торговля так же плоха как и развёрстка, нетвёрдые цены как и твёрдые, экономический анархизм как и государственное насилие.

Тут ещё, при неполном зале, депутаты всё время сыпали в буфет, и нигде, кроме буфета, продовольственного вопроса не вспоминали, дискуссия шла общеполитическая, самая принципиальная.

Риттих, как терпеливый ученик, смиренно высидел весь день, так и не услышав больше о продовольствии ни от кого из думского большинства, а только из меньшинства — от правого профессора Левашова:

Огромные запасы важнейших продуктов искусственно изъяты из употребления и преднамеренно скрыты в складах городских ломбардов, банков, акционерных товариществ и компаний — в ожидании более высоких цен.

И называет много городов и примеров — скрытые запасы спичек, мыла, риса в кавказских городах, мануфактуры в Старом Осколе, муки и сахара в Тургайской области, на 2 миллиона кож в Нижнем Новгороде, искусственный нефтяной голод от каспийских нефтедобывателей,— это только всё уже раскрытое, но тысячекратно же не раскрыто? Одни воюют, а другие?

Однако, в чём только власть ни поноси,— либеральные думцы никогда не обвиняют её в потворстве промышленным компаниям и банкам.

Да им же надо голосовать теперь свой запрос:

Что будет предпринято для устранения нетерпимого положения?..

И надо же обсудить незаконность изменений в составе Государственного Совета!

И надо же запросить о незакономерных действиях относительно профсоюзов и рабочих организаций...

А 16 февраля, хоть день и будний,— Дума не заседает.

А 17 февраля — надо вести прения по запросам. И вот старательный этот Риттих, аккуратно явясь снова к началу, просто уже раздражая думское большинство, пристраивается теперь как бы к ответу на запрос (поскольку там и о продовольствии упоминалось) — и нельзя не дать ему слова,— и вот он опять на трибуне и опять о своём. Он отзывается и на крохи, что за два дня были брошены по его вопросу.

Я никак не мог понять, какая это кривая, о которой говорит член Государственной Думы Милюков.

(Почтительно, а тот его — просто „Риттих", и без „господина".)

С нашим статистическим отделением я просмотрел и понял, вернее — догадался. Оказывается, господа, это хлеб *заподряженный*, но не находящийся у нас. Действительно, когда свободная торговля была совершенно изгнана с рынка, был заключён ряд сделок о поставке хлеба. Эти сделки имели бумажное значение, поступление плачевное, а заподряд — к весенней навигации. Говорить о поступлении хлеба, когда есть лишь бумага о хлебе, такими диаграммами занимать внимание Государственной Думы я не считаю возможным. (Слева: „Совершенно правильно!" Центр и левая не поддерживают.) Разумеется, я докладывал относительно того хлеба, который не в предположении, но реально получен в наши амбары, в приёмные пункты близ железных дорог, в склады близ мельниц, в сушилки.

И вот тогда получается: в результате убеждения и вопреки твёрдым ценам — 260 %. Но если и так посчитать, как хочет г. Милюков, сравнивать месяцы не с осенью, а с прошлогодними теми же, то всё равно получится рост: в декабре — 196 %, в январе — 148 %.

Он не говорит — Милюков глуп или нечестен.

Я не позволю себе объяснить это теми мотивами, которыми член Государственной Думы Милюков объясняет *мои* слова и цифры. Я объясняю это простой ошибкой: кто-нибудь из секретарей... Что же касается заявления члена Государственной Думы Милюкова, что твёрдые цены *вызвали* хлеб на рынок...

то на земских собраниях только бы посмеялись. Риттих ссылается и на члена революционной 1-й Думы Жилкина, в те же самые месяцы, что и министр, объехавшего ряд губерний, он в газете напечатал: да, от твёрдых цен хлеб исчез, а с декабря появился, как расколдовало.

Прогрессивный блок молчит. Если истина не на нашей стороне — пропадай и истина.

Вообще говорить, что твёрдые цены вызвали хлеб на рынок, это я

понимаю в виде остроумного парадокса. (Милюков: „И это говорит министр!“, слева: „И это министр говорит, поразительно!“)

В Самарской губернии после воззвания о нуждах армии вдруг обильно повезли хлеб безо всякой развёрстки — и что ж? *Общественность* кинулась предупреждать крестьян: „Не верьте, а то будете голодать.“

Я считаю это очень близким к саботажу — ту *работу*, быть может даже и общественности, не знаю, как её назвать, разрушительную для интересов России.

К чему приведут крестьянские запасы, когда землю осквернит нога нашего противника? Быть может, сейчас решающий момент, и надо выбросить всё до последнего пуда, чтоб обеспечить успех. (Рукоплескания только справа. Милюков: „Надо иначе относиться к общественности.“) Что же, участь войны зависит только от снарядов, а не от хлеба? Можно ли хотя бы на минуту откладывать решение? Нужно единодушное обращение к России, к крестьянству — всё отдать ради войны и победы!

А что предлагает общественность и её Союзы? Не оплачивать гужевую перевозку, остановить развёрстку, вести учёт, учёт, и конечно побольше совещаний и, конечно, комитеты, составленные не из крестьян.

При таких комитетах вы ни одного пуда зерна не получите... Ещё внесли этот термин *аграрий*, покрывающий три четверти населения России. Я отлично помню обвинения, что спекуляция проникла в крестьянские классы,

и от этого спекулянта надо защитить городских потребителей. Непомерной защитой потребителя,

прямыми указаниями, что производителя надо сократить,— а его 18 миллионов хозяйств,— произвели этот страшный раскол, достигли, что главный производитель, крестьянин, вернулся со своими возами с базаров и перестал молотить хлеб, этот „аграрий“ ничего не стал везти на рынок, и если мы прожили с августа по ноябрь, то исключительно благодаря хлебу помещиков, которые продолжали везти.

Очень это неприятное для Блока соединение, что в „аграрии“ попали и крестьяне, не разделишь.

Тут были выпады лично против меня — первый ученик Столыпина, умоляю не поднимать меня так высоко. Я говорю: выход в том, чтобы вся общественность присоединилась бы к общему внушению крестьянам: везите всё до последнего! — и с волнением жду ответа, а меня упрекают в оптимизме. Но я безропотно снесу и буду счастлив, если всё обернётся против меня, а не против дела. Я понимаю, что нужно открыть известный клапан, надо найти виновного вне самих критиков, надо рушить систему, чтобы найти виновного. Так пусть нападают на меня, а деревенской России не мешают вывозить хлеба! (Рукоплещут только правые и правая часть центра.)

Простая человеческая интонация, которую редко услышишь с думской трибуны, разве только от бесхитростных неумелых крестьян. Среди думцев не принято виниться, но — всегда оправдываться, но со страстностью и едкостью — прерывать, уничтожать других.

Что бы, правда, сейчас забыть партийные догмы, лидерское самодовольство, расчёты и счёты с врагами, очнуться: ведь Россия может погибнуть! И объединиться всем и единой грудью воззвать к деревенской России: спасайте, братья, нас грешных! мы тут передрались и напутали... Воздух недоверия можно сменить на воздух доверия — и в далёких волостях и рядом в столице,— так что булочных громить не начнут. И обойдётся.

Однако и Царское Село с гордо-закинутой женскою головой не может уступить ни извилинки улыбки. И думские лидеры, затянутые инерцией вечных прений, возгласов с мест и голосований, возбуждениями, суждениями, разоблачениями и запросами, в этом тёмном закрытом зале, бывшем зимнем саду, не имеющем ни единого окна в Божий мир, а только мутно-стеклянный потолок, через который мерцающе проходят дневные отсветы, в перерывах заседаний — еще через восемь дверей, открытых тоже не прямо к свету, но в коридоры,— думские лидеры уже не могут остановиться, оглянуться, очнуться, переродиться.

Рука власти разобралась в своём конце верёвки — тёплая рука Риттиха ослабила её. Но отдалённая равнодушная рука Думы по-прежнему уверенно тянет свой конец. И — стягивается хлебная петля на питающем горле России.

Конечно, потянула достаточно и рука власти. Следующие ораторы напоминают, как затягивал её и министр внутренних дел Протопопов, задерживая постав-

ки уже осенью, в решающие недели, своим проектом отобрать продовольствие у министерства земледелия и вернуть свободные цены. Левый Дзюбинский уверяет, что есть ошибки в развёрстке по губерниям (даже, по думской страстности: во *всех* губерниях ошибки!) —

> Неумелость развёрстки в том, что она произведена именно без совещаний с общественными организациями.

И, конечно, есть злоупотребления в том, как развёрстка доводится до крестьян.

> Только при строго демократической общественности, когда всё население будет участвовать в комиссиях на строго пропорциональном представительстве...

(А на это нужны годы.)

> Думаю, что исчезновение с рынка хлеба — только случайное совпадение с опубликованием твёрдых цен. Post hoc, а не propter hoc.

(Уж где „хок", тут не перехокаешь... Просто сам по себе хлеб почему-то исчез.)

> Риттих нарушил твёрдые цены. Производителю *подарено* несколько десятков копеек на каждый пуд.

(Ты бы, мать твою за ногу, протащил груженую телегу девяносто вёрст по российской грязи — я б тебе сам подарил!)

Выпускают против Риттиха учёнейшего экономиста либерального лагеря Посникова, и он в просторной лекции долго, учёно разъясняет Государственной Думе и порочному министру: надо больше и больше обращать внимания на техническую сторону развёрстки.

> Развёрстка продуктов — дело крайне деликатное!

(это нам скоро покажут продотряды)

> она может явиться крайне опасной для спокойствия страны, её можно вести, только если на её стороне общественное мнение. А главное: как определить точные цифры, как рассчитать, сколько хлеба оставить для прокормления? Посников высмеивает вынужденно-поспешные, даже суматошные риттиховские сроки. И возвышенно объясняет нам, почему нельзя оплачивать крестьянского подвоза к станции: это не соответствует теории ренты и теории рыночных цен.

А ещё один многословный дотошный законник Прогрессивного блока Годнев (через несколько дней — министр Временного правительства), добираясь всё глубже к сути вещей, открывает нам такой корень зла: хотя Дума произвела закон, что скот можно убивать только 4 раза в неделю,— вопреки тому Риттих самовольно разрешил в предрождественскую неделю ежедневный убой скота.

Вот и всё, что либеральные ораторы находятся сказать против Риттиха. Левое крыло ошеломлено таким министром: со столыпинских времён с ними не разговаривали так убедительно и настойчиво. Неважно, прав или неправ Риттих по существу, но он — царский министр, и поэтому он обязан быть глуп, туп, бессловесен и пуглив,— а Риттих нарушил весь кодекс. И ораторы не стесняются говорить о нём, как если б не дали себе труда его слушать, тот же Дзюбинский беззазорно извращает только что говорившего, только что из зала ушедшего министра: Риттих-де обвинил крестьянство в непатриотичности. (Он как раз наоборот, изумлялся его патриотичности.) Но в этом зале слева направо можно нести всё, что угодно, большинство глоток за оратора. Правый вскрикивает с места: „Передержка! Что он врёт?!",— но уже нет их сил протестовать и обсуждать. Так и закрепляется ложь в стенограмме навеки.

А левый оратор взнёсся на трибуну даже не для того, чтобы путаться в продовольственных подробностях, но поведать нам:

> Никогда общественная атмосфера не была так насыщена жаждой обновления внутренней политической жизни, никогда не были *нервы так взвинчены*, и в то же время страна окутана такою мглой. Острота речей и страстность, с которой они выслушиваются...

освобождает от обязанности говорить по делу. А вот: почему не шлют на фронт полицию? Разве крестьянам — нужна полиция?.. И как смеет министр земледелия призывать крестьян к патриотизму, если само правительство не *уходит*, как от него два года требует общество,— где же тогда патриотизм самого правительства?

Да вот и решение продовольственного вопроса: пока у нас *этот* режим — у нас ни в чём не может быть справедливости. Из-за режима крестьяне и хлеба не везут.

> Истинный виновник — самодержавный строй. Правительство, которое не желает уйти,— будет свергнуто по воле и желанию народа!

Савич. Он — земец-октябрист. Состоя в Блоке, он должен быть согласен с левыми о немедленной смене правительства и о многом другом. Но находит мужество возразить своим соблочникам, что по продовольственному вопросу

> общественное мнение заблудилось. Очень мало лиц, которые разбираются беспристрастно и со знанием дела. И вопрос затуманен классовой рознью. Для блага государства надо найти среднюю линию.

Всё то, что происходило нынешней осенью, имеет глубокие и давние корни в психологии нашей страны и общества: издавна и правительство, и города, и наша интеллигенция привыкли смотреть на деревню, как Рим смотрел на свои провинции, как метрополия на колонии. Деревня — резервуар солдат и податей. Деревня должна дать возможно больше возможно дешёвых продуктов и потребить по возможно большой цене городские товары. И правительство, и города хронически обездоливали деревню. Мы привыкли думать, что раз мы много вывозим за границу, раз мы имеем в городах дешёвые сельскохозяйственные продукты и дрова, то всего этого у нас избыток. Но это было заблуждение, а теперь оно стало колоссальной ошибкой. Никогда у нас чрезмерных запасов не было. Чтобы заплатить подати, которые из неё выколачивались, купить водку, к которой она привыкла, приобрести товары второго сорта по большим ценам, деревня вынуждена была отчуждать не от избытка, а от голодания. (Слева рукоплескания: „Верно!") И создалось мнение, что с нашей деревней церемониться нечего, она всё выдержит и даст. И война отозвалась на деревне неизмеримо тяжелее, чем на городе. Из деревни выкачаны все зрелые мужские руки.

(Левые начали с аплодисментов, не предусматривая, куда Савич повернёт. Стихли теперь.)

Процент призванных там гораздо выше, чем в городе; в промышленность лили капиталы, промышленности давали освобождение от повинностей,— деревне не давали. От первых же затруднений с хлебом начались по отношению к сельскому хозяйству такие репрессии, которых промышленность никогда не испытывала: реквизиции по

ценам, подчас ниже себестоимости. („Верно!", неизвестно с какой стороны.) И вот, сперва перестали торговать. Но ужас пошел дальше: перестают сеять. И у городов и у правительства мысли не было, что деревня может когда-нибудь оказаться не в состоянии дать.

А осенью 1916 сельское хозяйство было добито психологически: началась

большая травля против „аграриев", сведение политических счётов.

„Биржевые ведомости" предлагали: *взять с аграриев контрибуцию*, понизив хлебную цену на полтинник. Ошиблись только в том, что крупное производство не может не выбрасывать хлеба на рынок, оно остановится тогда, а крестьянство — может без рынка и обойтись.

Полемика о ценах восстановила деревню против города. Многое испорчено. Деревня замкнулась. Она не имеет возможности ничего приобретать за деньги, и она от этих денег попросту отказалась. Будь цены немного повыше — и развёрстка прошла бы неизмеримо легче. *Правительство виновно в том, что слишком прислушивалось к тому гвалту*, который был осенью по поводу цен.

Но сейчас уже нельзя обойтись без развёрстки, потому что в обмен на продукты мы не в состоянии дать деревне товары, в которых она нуждается. Львиная доля того, что в стране имеется, идёт в города. Вы все получаете по карточке 3 фунта сахара в месяц, а деревня и фунта не имеет. И так во всём. Пусть Риттих сделал развёрстку не совсем так, как ему рекомендовали, но развёрстка есть хлебный налог, а сбор налогов нельзя основывать на одном патриотизме, нужна и власть. Теперь развёрстку надо выполнить силой власти.

(Стук сапогов и прикладов... Неизбежность идёт на Россию... Чтó бы далее ни случилось — от этого вопроса России уже не уйти. Вся история хлебной повинности тем и поучительна, что когда подходит необходимость, её готовы проводить деятели самых противоположных направлений. Только не всем дана властность и жестокость осуществить её.) Впрочем,

это не должны быть военные реквизиции, то будет грабёж, но какие-то принудительные меры придётся... И — застраховать деревню от низких твёрдых цен в будущем. Дайте столько, чтоб сельское хозяйство могло не погибнуть. (Рукоплескания в центре и в левой части правых. Кадетам и левым не нравится.) Иначе скоро нельзя будет пахать, сеять, собирать. Если нам нечем будет работать, то и не требуйте, чтоб мы что-нибудь сделали. Низкие цены на хлеб ещё и тем опасны, что гонят сельского хозяина трудиться в город, где он получит громадный заработок. А посевы — бросит.

Шульгин: Рабочие, приказчики, врачи, адвокаты, журналисты — они все могут без боязни отстаивать свои экономические интересы и оставаться патриотичны, но „аграрии" — ни в коем случае. И напрасно объединённое дворянство кровью своего сердца пишет резолюции; напрас-

но гвардия укладывает свой офицерский состав в бесконечных атаках,— они *аграрии*, и этим всё сказано. Аграриям что нужно? Полтинник на пуд, больше ничего.

В твёрдых ценах виновны мы все, потому что среди нас были люди, которые отлично понимали, куда мы идём. Но, *аграрии*, они не смели возражать, они должны были отойти и дать совершиться этой пробе. Они и свой собственный хлеб отдали по этим низким ценам. А вот крестьянство оказалось менее уступчивым. Я готов его за это осуждать, потому что я ведь не принадлежу к демократическим партиям, я вовсе не думаю, что vox populi — vox Dei. Но переупрямить ли миллионы людей, из которых добрая половина к тому же хохлов? Я думаю, наступило время отказаться от идолопоклонства перед твёрдыми ценами (голоса: „Правильно!") и одобрить действия министра земледелия.

Выступает полтавец и предлагает: для производящих губерний (для своей!) указать норму потребления и понизить качество пшеничной и ржаной муки — более простой помол.

Аграрий предлагает жертву... Но сидят Милюков, Керенский, Чхеидзе — они, наверно, и не понимают, что это — жертва. Да они — знают ли, что такое *помол*?

Выступает правый, Новицкий.— Дело совсем не в прокормлении Петрограда и Москвы, о чём больше всего заботятся, это — мелочь по сравнению с общегосударственной задачей.

Продовольственное дело в корне было поставлено неправильно, в корне ведено преступно, это была величайшая ошибка партии кадетов: на совещание, определявшее твёрдые цены для земледелия, для России, состоящей на 91 % из крестьян, послать делегатами Громана и Воронкова, у которых земля только на ботинках.

(Да ведь у всей кадетской партии так, кого же слать?)

А правительство не должно было так легко соглашаться на эти цены. Создать твёрдые цены на хлеб, обрабатываемый детьми на нетвёрдых ногах!.. Стомиллионное крестьянское население послало своих мужчин в первые ряды армии. Солдатка, обливаясь потом, варит, кормит детей и в это же время обрабатывает десятину. Три-четыре дня идёт на то, что доброму косарю на один день, а жнейкой в три часа. А в это самое время Громан и Воронков подают протест, жалкое создание маленьких городских людей, не знающих земли, не знающих великой России,— протест, что цены на хлеб назначены слишком высокие.

А Дзюбинский не знает *дела*, я б ему и курицу не поручил выкормить. Не знают дела и думские уполномоченные по хлебу, уйти бы им.

Какое гнусное оскорбление! — и это передовым представителям общественности! это лучшим выразителям народных интересов! Да лидеру кадетов и за себя надо оправдываться, нельзя же, чтоб ловили на каких-то диаграммках-цифрах. Щёки не горят, но — надо. Выступает с личным объяснением Милюков. О диаграммке — ну, решительно ничего не придумать. Но с цифрами всё-таки можно попробовать извернуться: да, он говорил по сравнению с предыдущим годом, но это не значит в абсолютных цифрах и это не значит в процентах к прошлому, а в процентах к годовому поступлению, в процентах, так сказать, к будущему. Может быть, Риттих и добыл больше, чем в предыдущие месяцы, может быть больше, чем в такие же месяцы прошлого года,— но почему это не ещё-ещё-ещё больше? Вот как надо было понимать, и Риттих вводит Думу в заблуждение, а лидер кадетов безупречно прав.

А больше — сказать о продовольственном вопросе ему нечего.

Но теперь, разбереженные до нутра, полезли на трибуну *аграрии*:

Городилов (Вятская губ.): Как крестьянин живу в деревне. Твёрдые низкие цены на хлеб погубили страну, убили всё земледельческое хозяйство. Деревня сеять хлеба больше не будет, кроме как для своего пропитания. Кто же, господа, виновник? Закон о понижении твёрдых цен издала сама Государственная Дума по настоянию Прогрессивного блока с участием Милюкова, Шидловского и Шульгина. Нас, крестьян, в Совещание не допустили, а сами кадеты жизни деревни совершенно не знают.

Вы, господа, обвиняете министров, а посмотрите, кто поднимает восстание в стране? Это Прогрессивный блок. (Справа голоса: „Браво!") Вы, господа, опять закрепостили нас, крестьян, и заставили крестьянских жён и солдаток сеять поля и отдавать хлеб по самым

низким ценам в убыток. За наш счёт хотят жить люди других классов. Все, кто сколько может с крестьянина взять — берёт. Поэтому деревня ничего не стала продавать городу. Слава Богу, нужды не имеем теперь, благодаря казённой монополии, которая прекращена.

(Водку не продают).

Разве могут быть твёрдые цены только на хлеб? А — на железо, гвозди, ситец? За них берут, кто сколько хочет, для купцов и фабрикантов твёрдых цен нет, они только для одного несчастного крестьянина. Вы, господа кадеты и прогрессивный блок, с целью понизили цены на хлеб, а обвиняете во всём правительство. Из своей среды шлёте и уполномоченных для продовольствия по всей стране. Ужели у нас нет людей избрать на местах, которые бы правили этим делом?

(Молдавский помещик): Хотел бы я видеть, как может центральное ведомство заставить многомиллионное крестьянство собрать хлеб, если крестьянство убеждено, что хлеб от него берут недобросовестно, не по той цене, по которой этот хлеб крестьянину стоит.

(Пензенский): Когда вините во всём правительство — на себя обернитесь сначала: вы сидели в Особом Совещании по продовольствию, ничего не понимая, и только помеху оказали. Войдя в Совещание, нельзя быть партийным. Мол, аграрии — такой класс, который надо давить, губить. А у вас мудрости нет, но претензий очень много. Те, кто в деревне живут, такого не понимают. Стыд один! Твёрдые цены — главнейшая причина нашей продовольственной разрухи.

На местных совещаниях, вырабатывавших цены, было по пять городских обывателей на одного земца, и они слышать не хотели, что цена не может быть ниже себестоимости. По твёрдым ценам — хлеб *пошёл* на рынки?

Я удивляюсь, как могут приводить такие соображения люди, хотя сколько-нибудь знающие условия сельского хозяйства. Или эти люди близоруки или отстаивают самолюбие.

Возвысилась стоимость производства хлеба — и бросились охотно продавать его по низким ценам? Если хлеб и шёл на рынок, то по горькой нужде — расплатиться с долгами летнего времени.

Какой же это патриотизм — губить страну, делать разлад в продовольствии? Никакого патриотизма у этих господ нет вовсе. Люди из партии народной свободы лишены чувства народной свободы. Что делать — мы и все знаем, а вот укажите — как? Может быть потому они и не указывают, что если б указали — получилось бы вроде несчастных хлебных цен. Сколько я ни присматривался к господам с левой стороны — у них очень много критики, очень много шуму, но никакого творчества не бывает.

И Риттиху возражает: ещё и сейчас не поздно повысить твёрдые цены — и по ним оплачивать развёрстку. Во всяком случае, эти цены будут ниже спекулятивных. А хлеб, оставшийся сверх развёрстки,— пусть продают по открытым вольным ценам, какие сложатся.

(Этот план в феврале 1917 излагает аграрий, зубр, помещик. И потому это — реакционный замысел, не приемлемый для вольнолюбивой публики. Но перечтём его глазами 20-х годов — и мы узнаем НЭП, приветствуемый как благословенная свобода.)

(Русский националист из Киева): Не может русский гражданин всё время оставаться в состоянии высокого подъема, когда детям хлеба нет. А мы уже больше года слышим, что самый важный вопрос — это борьба с правительством.

За что ни возьмись, хотя бы *хвосты* разогнать — нужна борьба с правительством. А вот, мол, будет правительство доверия — и сразу появится хлеб. Но кто проповедует правительство доверия? Те же самые группы, которые в 3-й и 4-й Думах не предвидели немецкой опасности, тормозили военные кредиты.

Фракция русских националистов давно предлагала отказатся от твёрдых цен. Не в том даже дело, что они установлены несвоевременно или неправильно определена себестоимость:

Твёрдые цены вообще не имеют никакого основания, хотя бы потому, что в течении года растут цены на остальные предметы. Если кругом всё нетвёрдо — как вы заставите быть твёрдыми цены на хлеб?

Разумные требования производителей понимаются как злые козни аграриев. А Блок предлагает непрактичные меры, не отвечающие здравому смыслу. Сейчас у нас продукты есть, мы лишь не умеем их доставить. Но может оказаться, что и продуктов самих не будет скоро.

(Курский помещик) — А в Курской губернии хлеб доставили, но лежит на

станциях, а он весь — сыромолотный, со снежком и льдом. При ненастной весне, при дожде — всё сгниёт. То собирали сухари на армию — и отдали крысам. То требовали скот на станции — и там он гиб от голода. Топлива нет — а в Петрограде нисколько не сокращается освещение, вечерняя торговля, театры, кинематографы. А сколько в Петрограде праздного лишнего населения,— зачем оно здесь? Разгрузить бы столицу.

(Эта мысль кажется наглой: нам, столичным, самим судить, не курскому помещику указывать. Петроград переполнен, да, но толпы беженцев — это всё армия свободы.)

(Депутат Воронежской губернии) — Мы достигли момента, когда уже нечего говорить о политике. И в Воронежской: станции забиты хлебом, а вагонов нет (а где хлеба нет — там вагоны есть). Государственная Россия мало знала хозяйственность, были уверены, что проживём без экономии,— а сельская Россия этой хозяйственностью жива. Когда поезда заносит снегом — женщины, подростки и старики безропотно идут с лопатами отрывать их. В Саратовской губернии триста быков умерло от голода, потому что не дали сена, стерегли его „для армии", будто быки не для армии. Берегите деревню!

— Де-ревню?? — изумляется Керенский.

Помогать *деревне*, забывая о городе? Но ведь *мы*-то живём для городской культуры, ведь без города деревня не может ничего совершить! город — артерия государственного творчества!

Так доказано, что твёрдые цены — плохо? Скобелев (с-д) и так повернёт:

Если правительство спокойно шло на твёрдые цены, то лишь для того, чтоб демонстрировать на спине страны их несостоятельность.

(Вот и урок, как уступать.)

Тарасов (вятский крестьянин, трудовик).— Что получили по твёрдым ценам мы, крестьяне? Керосин, железо, товары, ситец, сахар? Ничего.

В каком кругу живут те мародёры, которые так обирают крестьян? Ввиду послабления власти мародёры взяли всё народное богатство в свои раздутые карманы. Для нетрудящихся масс в городах и столицах я бы не обещал вам хлеба по твёрдым ценам. Но у нас его взяли — и накормят мародёров тоже. И тех, кто в театрах и кинематографах веселится перед народным плачем. У них раздаются разные там песни, танцы. Вот почему жаль давать хлеб по твёрдым ценам кому-нибудь, кроме армии.

Макогон (екатеринославский крестьянин): Кого вы видите в деревне? Одних старух с детьми в летнее время, да много домов пошло на развал. Кого вы увидите в поле? Седовласого старика 60 лет, кому время только на покой, со внуками и женщинами. И от этого старика вы хотите, чтоб он прокормил не только армию, но и всю Россию?

А в городах? Все дома заняты, молодые люди и средних лет, толпа праздных, заведующие и командующие, хоть отбавляй. И сколькие получили все отсрочки от воинской повинности?

Крестьянские дети сложили кости в боях — а эти? Крестьяне в последнее время поняли, что наших всех забрали — а кому-то дали отсрочки. И какую ж они цену заплатят тому старику за кусок хлеба — твёрдую или повышенную? Они получили цену жизни, остались на месте и спаслись.

Кто пострадал — крестьянин или помещик, различать не надо. Заплатите вы всем — и получите хлеб. Разве мыслимо отдавать, когда за пуд ячменя вы не купите полфунта гвоздей? Крестьянин боится будущего и страшного голода. Если и дальше твёрдые цены — пойдут посевы на сенокосы.

Один министр твёрдо сказал,— а мы ему опять препятствия? У нас голос маленький, мы не можем сказать, нам мало верят. Но правду вы должны понимать, и если всё в дальнейшем не будет усмотрено — то может выйти плохим отражением.

Конечно, в думских стенограммах пропорция изложения другая: каждый такой серый — на двух страницах, а кадетские профессора — на десяти и пятнадцати. Конечно, всех этих серых учёные думцы слушают брезгливо, все доводы мужичьи — как серая вода. То ли дело — свой Милюков, свой Посников, теория ренты. Это так говорится — Государственная Дума, молодой русский парламент, а на самом деле 80 % думского времени проговаривает всего 20 человек,— и этих 20 случайных политиков, очевидно, и надо понимать как истинный голос России.

И счастье, что среди тех двадцати есть Андрей Иванович Шингарёв — никак не случайный, но сердце сочащее, но закланец нашей истории.

Однако же, если ты в двадцати — то тебе надо живо поворачиваться и отвечать

часто. А если ты в кадетской партии — то не перестать же быть кадетом, но строгать лишь по той косой, как надо твоей партии, и защищать своего лидера, и свою повсегдашнюю правоту. Не забывать сверхзадачу своей партии и своего Блока: в конце концов важен не хлеб сам по себе,— важно свалить царское правительство. И если замычали с трибуны, что надо б отменить твёрдые цены,— открикнуть с места:

Сами не знаете, что это вызовет! С огнём играете!

А если лидер не сумел оправдаться в проклятых цифрах, так помочь же ему — надо выходить на трибуну: да, хотя поступление хлеба при Риттихе увеличилось, но можно считать, что оно уменьшилось — по сравнению с потребностью, сколько нам стало надо. Чтобы свести к нолю весь успех министра: он

не сообщил самого интересного — что предпринимается для будущего сельскохозяйственного сезона? Где забота министра о расширении посевной площади, доставке семян, машин?

(Ах, Андрей Иванович, э т о т бы сезон пережить, э т о т месяц, э т у неделю, даже сегодня до первого перерыва заседаний, как придут вести с улиц... Для критики поля́ неограничены: а говорил бы министр о будущем сезоне — можно бы разносить его, что не говорит о сегодняшней нужде.)

Министр не сохранил спокойствия, необходимого для государственного руководителя. Не такого выступления мы ожидали. Политика мешала ему делать священное дело продовольствия. Неосторожно, господин министр. Винил в неудаче твёрдые цены, Громана, Воронкова, печать... Да, конечно, прошлые ошибки были, и трудно представить, чтобы в огромном государственном деле не ошибались люди, им управляющие,

(но тогда чего же не может Блок простить правительству?)

или не ошибались бы критики со стороны. Ну, были назначены низкие твёрдые цены. Я не буду возвращаться к этому моменту. Возможно, что отдельные исчисления были неточны.

(И этот истинный сострадатель русского мужика, 14 лет назад ещё не член к-д, написал „Вымирающую деревню“, где подсчитывал сотые доли копейки крестьянского бюджета!)

Но несравненно более серьёзная ошибка, что не было государственной власти, которая проводила бы продовольственное дело планомерно. ...Передали продовольствие какому-то Вейсу. Да кто такой Вейс? (Г о л о с а: „Д у р а к! Н е м е ц!“)

Там, где Шингарёва ведёт партийный долг, он мельчится, а может быть и кривит. Изо всех сил защищает все виды общественных комитетов, особенно Земгор, приводит комичные заслуги каких-то дуто-научных сборников земских старателей, льготно-освобождённых от воинской службы. Не замечает, как противоречит себе:

Что это за недоумение, будто где-то можно обойтись без политики? Господа, ведь ваше собрание — политическое, вы — не продовольственный комитет. Политика — это существо государственной жизни. Если вы устраните политику — что же у вас останется? Величайшее заблуждение, что с каким-нибудь государственным вопросом можно и нужно не связать политику.

И тут же изломно возвращает правительству укор:

Не вводите вашей безумной политики в продовольственное дело! У нас диктатура безумия, которая разрушает государство в минуту величайшей опасности.

Но и в партийные минуты нет в его речах высокомерия и злобности, как у других лидеров оппозиции. Он выговаривает все эти партийно-обязательные фразы — а слышится его грудной голос, придыхательно взволнованный русскою бедой. Он указывает и подлинно слабые места у Риттиха: торопливость в переоценке российских возможностей, поспешливость убедиться в торжестве патриотического порыва — там, где, может, развёрстка была слишком легка, а вот Тамбовская никогда не вывозила больше 17 миллионов пудов, а на неё наложили 23,— и придётся сдавать с десятины по 30 пудов, а в Воронежской по 40...

Он сам в эти цифры вслушивается, всматривается, хмурится (их запомнить не худо б и нам, скоро придётся сравнивать),— он ощущает эти неоглядные просторы, застрявшие жизненные массы амбарного зерна, и тёмное (и разумное) мужицкое недоверие к городским обманщикам. И вдруг, как очнясь, свободную голову выбив из партийной узды, он объявляет опешившей Думе:

Министр прав, когда говорит: помогите и вы! Да, господа, хлеб надо повезти. Если отдавали своих детей, последних сыновей, то надо отдать и хлеб, это священный долг перед родиной.

А беспокойный, невиданно деятельный, неутолчимый в спорах министр земле-

делия — снова на трибуне! Но Дума не желает больше слушать его, и вся левая часть дико шумит, требуя перерыва.

Родзянко: Покорнейше прошу занять места. (Шум. Голоса слева: „Перерыв!“ „Перерыв!“ „Это неуважение к Государственной Думе!“)

Родзянко еле успокаивает. Первые слова речи Риттих произносит несколько раз:

Господа, с величайшим... (Слева шум: „Перерыв!“) Господа, я буду очень краток. Я с величайшим... (Слева шум.) Я с величайшим удовлетворением, скажу прямо (слева шум: „Постановление Думы!“), с величайшим удовлетворением, прямо с радостью выслушал ту часть речи члена Думы Шингарёва, где он так искренне говорил о призыве к народу, о гражданском долге. Министерство земледелия готово дать все объяснения в сельскохозяйственной комиссии Думы — как не допустить сокращения посевных площадей. Но, господа, я с величайшим смущением выслушал всё остальное из продолжительных речей членов Думы Милюкова и Шингарёва. Ведь вот второй оратор выходит из той партии, и что же нам приходится слышать? Член Думы Милюков обвиняет министра земледелия то — в преступном оптимизме, то уже — в пессимизме, не помню — преступном ли. О чём они со мной спорят, всё время доказывая, что я виноват? Тут и предмета спора нет: я чувствую себя неизмеримо более виноватым, чем они стараются доказать какими-то цифрами. Да, господа, днём и ночью меня гнетёт мысль, что я не сделал даже тысячной доли того, что должен был в эту страшную историческую минуту. (Справа рукоплескания.) К несчастью я простой смертный, а в это время Россия должна была бы выдвинуть людей титанической силы. Я виноват, что такой силы у меня нет.

Беспристрастно: ну, отчего бы таким тоном не говорить и лидерам оппозиции? Тогда б и столковаться не мудрено. Но титаны оппозиции кричат:

Аджемов: Уходите!

Милюков: Земля не клином сошлась!

Риттих: Да можем ли мы размениваться сейчас на чисто личную политику? Ведь это прямо ужасно. Господа, я мечтаю, что сюда выйдет не оратор, а просто человек, до самозабвения любящий Россию... Мне кажется, и быть может все это чувствуют, мы переживаем торжественную историческую минуту. *Может быть последний раз рука судьбы подняла те весы, на которых взвешивается будущее России.*

Но у нас-то суббота и воскресенье, заседаний нет. То — умер член Думы — некролог, траур, панихида, три дня деловых заседаний нет. Только 23 февраля в полдень, когда на Петербургской стороне началось то самое, да никто в мире ещё этого не понимает,— опять открывается рядовое заседание Думы с обсуждением надоевшего хлебного вопроса.

Уже громят петроградские булочные, толпа останавливает трамваи, теснит полицейские посты. Кем-то принесенные смутные слухи доходят до думцев в перерывах.

Но в безоконном электрическом зале с ранней ночью под стеклянной шатровой крышею всё выступают знатоки и эксперты либерального лагеря, уже и 24 февраля после полудня,— снова Посников, Родичев, Годнев, и, конечно же, каждый день Чхеидзе, и каждый день Керенский, и, наотмашь выплюхиваясь из этого надоевшего бесплодного вопроса, взмывом рук и возгласов,— не верить этому Риттиху!

Родичев: И да будет с ним покончено с сегодняшнего дня!

Чхеидзе: Господа! Как можно продовольственный вопрос в смысле чёрного хлеба поставить на рельсы?.. Единственный исход — борьба, которая нас привела бы к упразднению этого правительства! Единственное, что остаётся в наших силах — дать улице здоровое русло!

Так заканчивался двухсотлетний отечественный процесс, по которому всю Россию начал выражать город, насильственно построенный петровскою палкой и итальянскими архитекторами на северных болотах,

НА БОЛОТЕ, ГДЕ ХЛЕБА НЕ МОЛОТЯТ, А БЕЛЕЕ НАШЕГО ЕДЯТ,

а сам этот город выражался уже и не мыслителями с полок сумрачной Публичной библиотеки, уже и не быстрословыми депутатами Государственной Думы, но — уличными забияками, бьющими магазинные стёкла оттого, что к этому болоту не успели подвезти взаваль хлеба.

4

Названо было Саше — набережная Карповки, 32, а спросить не самого Гиммера, но его жену госпожу Флаксерман. Это оказалось на углу улочки Милосердия, нелепое название, наверное какое-нибудь благотворительное учреждение на ней, и прямо против чёрно-серого уродливого храма, глыб нарощенного камня, черносотенного гнезда Иоанна Кронштадтского,— в скудном освещении на убогой набережной Карповки он виделся чёрной горой.

От одного запаха ладана, который может донестись из церкви, Сашу всегда тошнило. Вот уж психоз эта вера, так психоз. Пока есть Бог — не может быть свободы.

Саша шёл к Гиммеру весь напряжённый, собранный и с жадным интересом. За годы военных болтаний по всяким дырам он так отвык от подлинной социалистической атмосферы! Эти три месяца, как он счастливо перевёлся в Питер, он использовал для обдумывания, поисков и рекомендаций, чтобы наконец повидаться с каким-нибудь заметным теоретиком социализма. Не всё это время он и искал, первый месяц просто наслаждался тем, что дома, что опять в Петербурге, и вступил в трудное состязание за Еленьку, почти упущенную. Но после первого отдыха стала нарастать интеллектуальная пустота, нехватка серьёзного разговора и серьёзного революционного дела. Простительно было обывательски закисать по захолустным армейским частям, как его до сих пор кидала судьба,— но уж в Питере-то?!

Однако и обезлюдел Питер за время войны, люди революционных настроений куда-то все рассеялись, истратились или припрятались, переличились, это не было то свободно кипящее общество, как раньше. Социалистические кружки в столице если и сохранялись ещё каким-то пунктиром, то настолько несоединены или увяли, что даже некуда пойти, не с кем потолковать. Направлений угадывалось много, а заметных личностей не было. И среди них сам Саша избрал Гиммера как недюжинного и к нему пробивался. Гиммер, подписываясь „Суханов“, был важнейший автор в горьковской „Летописи“ — почти, может быть, единственном петербургском журнале, который стоило читать. И хватка Гиммера, как ни приглушённая цензурой, была остро-политическая, а направление — нескрываемо циммервальдское.

Квартира оказалась в первом этаже. Открыл Саше не сам Гиммер и не жена его, но приятный подвижный молодой человек, в солдатской пехотной форме, а явно студент, и уже от этого сразу тут дохнуло своим. (Потом оказалось — брат жены, тоже как Саша попавший в армейщину, но ему и университета не дали кончить, теперь в Нижнем тянет лямку.)

Тут вышел и Гиммер.

В первую минуту, от наружности его, Саша был разочарован. Гиммер не только не походил на вождя, но даже и на орла теории. Ростом он был значительно ниже Саши, не только худой, но даже тщедушный. Гладкобритое лицо его было жёлто-серого цвета, с бескровными губами и неприятно безбровое. Однако со всем тем оно было и выразительно-энергично,— энергией не той, какую придаёт крепкое тело, а внутренним горением, воспалённостью взгляда. Тем горением, которое даёт нам только революционная мысль, никакая другая! — с узнаванием своего определил Саша, ещё только представляясь:

— Ленартович.

И ручка была маленькая и вялая, как из ваты.

— А я ожидал вас в военной форме,— сказал Гиммер.

— Я подумал — может быть для конспирации, в глаза не бросаться, так лучше? Да и вообще для свободы. Пользуюсь каждым случаем формы не надевать.

— А где состоите?

— Сейчас — в Управлении по ремонтированию кавалерии.

— Кавалерист? — поднял Гиммер те места, где должны быть брови. (Тому удивился, что кавалерия — самая непропагандируемая?)

— Да нет,— засмеялся Саша,— я даже не знаю, как к лошади подойти.

— И держат? — усмехнулся Гиммер.

— Там и другие такие ж есть знатоки, как и я. Там только надо бумажки писать и перекладывать. Да я и недавно, вот с ноября.

Квартира состояла из нескольких совсем маленьких комнат, соединённых все друг с другом. Они прошли маленькую столовую с незанавешенным окном в чёрный двор, где наискось стекла проходила внешняя железная лестница, и вошли в маленький кабинет с двумя зашторенными окнами, а на стене — небольшими портретами Маркса и Лассаля, и никаких больше глупостей не развешано, как это любят в городских квартирах. Эта прямизна и строгость очень обрадовали Сашу, здесь жили — духом.

— И какое ж настроение у офицеров в Управлении? — спрашивал Гиммер, ещё даже не посадив, с большой живостью.

Легко отвечал и Саша:

— Животов на службу родине не кладут. Очень большой штат. Старшие сходятся к двенадцати часам, чтобы вместе позавтракать, поболтать, с двух часов начинают уже уходить. Да все понимают, что кавалерия в этой войне куда меньше нужна, чем приходится её кормить.

— Нет, а — собственно настроение?

— Очень вольные разговоры. Вдруг один принесёт карикатуру из иностранной газеты: Вильгельм, расставив руки, меряет длину артиллерийского снаряда — а наш царственный идиот, став на колени и так же расставив руки, меряет у Распутина. Все офицеры смотрят — и смеются. Так что я могу держать себя довольно открыто. Но самые смелые из них, конечно — только до буржуазной конституции. И то — на языке.

Сели.

— Да, некоторая осторожность не лишняя, вы правы,— сказал Гиммер.— Я и на собственной квартире живу как бы полулегально.

— Почему ж застряли на „полу"? — улыбнулся Саша.

— Да потому что в мае Четырнадцатого меня приговорили к высылке из Петербурга. А я не захотел, не поехал. Тогда надо бы квартиру сменить — так лень, привык. И я стараюсь просто не слишком дразнить швейцара, хожу обычно с чёрного хода и чтобы не слишком поздно приходить. Да впрочем он знает, глаза закрывает.

— И никаких особых неприятностей?

— Нет. Даже на службе так и состою под своим именем.

Разговор легко пошёл, и Саша осмелился спросить:

— А где служите?

— В зануднейшем месте,— не кичился Гиммер и перед новичком.— В министерстве сельского хозяйства есть такой департамент земельных улучшений. А в нём — Управление по орошению Голодной Степи. Так вот — там. Удобно, что совсем рядом, тут, в конце Каменноостровского, на Аптекарском острове. И ещё удобно, что можно в служебное время много заниматься литературной работой. Там, знаете, всякие оросители, разбрызгиватели, водосбросы, я в них понимаю примерно столько же, сколько вы в конском деле,— но устроили хорошие люди, как всегда устраивают. И держат.

— Да, меня тоже. Нелегко было попасть.

Нет, первое неприятное впечатление прошло, и Гиммер начинал Саше нравиться, даже очень.

Всматривался быстрыми, тёмными жадными глазами:

— Ленартович — это фамилия истинная?

— Да.

— А псевдоним, кличка — есть?

— Псевдоним — нет, я собственно литературной работой ещё пока не... А кличка была, да. „Ясный".

(Давно была, мало пользовался. Какая у него там подпольная работа? И не было ничего.)

— Ясный. Хорошо,— оценивал Гиммер.— Может пригодиться.

Они сели через небольшой квадратный столик. За всё время их разговора никто не вошёл, не пытался что-нибудь предлагать, никакого намёка на угощение или питьё,— и эта нежеманность тоже понравилась Саше: чай с печеньем он мог выпить и дома, не для того добивался сюда. Была ли там где

жена, да и в этой комнате не видно ухаживающей руки, которая выбирает расположение, или поправляет. Хорошо. По-деловому — и сразу в разговор.

Саша весь собрался, понимая, как важно не показаться глупеньким или неосведомлённым. Но это ему и не грозило, он себя знал.

Гиммер не стал спрашивать ни о подпольной работе, ни о партийных связях: первого могло и не быть по молодости, второго, видимо, не было, раз вынырнул из неизвестности. Но стал спрашивать, сперва быстро перебирая, потом подробнее,— что читал, каких авторов, какие книги, на каких языках, за какими журналами следит. Из девятнадцатого века почти не спрашивал, а ближе к сегодняшнему дню. Обрадовался, что Саша владеет немецким, и спрашивал по современным немецким социал-демократическим авторам. Здесь он был очень подробен и о каждом журнальном органе судил категорично.

Очень живой, незаурядный ум. И — несётся в речи, стремителен, логичен, вот она, сила!

Больше всего интересовало Гиммера, циммервальдист ли Саша,— и Саше не надо было притворяться: он и был циммервальдист, ещё от начала войны, ещё прежде чем это название появилось, хотя самой-то *литературы* в военное время и достать не мог. Вот — читает „Летопись".

— Да,— с гордостью согласился Гиммер,— мы совершаем просто чудо: в условиях полицейского государства и во время войны легально выпускаем антиоборончекий журнал, единственный интернационалистский орган. Конечно, имя Горького очень помогает.

Горького Саша искренне любил: не ушёл в литературные изящества, а всё размешивает гнусную гущу жизни, и сердцем с рабочим классом.

— И ни одной минуты, с 14-го года, заметьте, не был патриотом!

Выдержать экзамен Саше оказалось легче, чем он думал, и только одною из приготовленных глубоких мыслей успел блеснуть в теоретической части. А дальше уже касались реального состояния революционных кругов в России — но это и было то самое важное, что привело его сюда: сблизиться с этими зажатыми скрытыми кругами! Где-то текло основное подземное русло, где-то пылало горнило — и Саша не мог больше жить в тоскливой оторванности. Конечно, за время войны всё это сильно придавлено, искажено?

Гиммер сухо, едко усмехнулся:

— Состояние наших социал-демократических организаций — ужасное. И не от разгрома, а от внутренней слабости. Я бы сказал: горючего материала в массах — больше, чем среди наших социал-демократов.

Но, действительно, у него — самые обширные знакомства во всех революционных кругах столицы. Благодаря его особому положению межпартийного литератора, не включённого ни в одну группку, он с полным основанием сносится со всеми. Его работы популярны и ценятся. Не организационно, но лично он связан со всеми социалистическими кругами Петербурга. А как редактор „Летописи" он имеет самые интенсивные связи с эмиграцией всех направлений. Так что ни одна попытка межпартийного блокирования (неудачная) не обходилась без его участия.

Знал он себе цену!

Замечательно, замечательно! Саша попал как раз куда ему нужно. Под рукой Гиммера он и сам ознакомится и поймёт, выберет себе наиболее подходящее направление.

— Но вы понимаете,— говорил Гиммер, у него была исключительно уверенная манера.— Социалистический, если можно так выразиться, генералитет весь находится в эмиграции, а отчасти в ссылке. Здесь сейчас в лучшем случае — социалистическое офицерство. Я имею в виду,— пошутил,— не офицеров-социалистов, как вы, это совсем единицы, а — средний командный состав среди социалистов. Так вот, он — очень средний. Это — второстепенные рутинёры. Политической высоты обзора у них нет. Теоретический уровень — почти никакой, пытаться глубоко осознать события — этого совсем нет. Даже лучшие утопляются — кто в думской игре, кто — в крохоборчестве по распределению продовольствия. Я уж не говорю о сотрудничестве с плутократией, как Гвоздев и его группа. Поэтому все как бы слепы, бредут абсолютно на-

ощупь. „Долой самодержавие!“ — это, конечно, понятно всем, но это ещё не политическая программа. Некоторые готовы даже поддерживать цензовую Думу, что уже никак не допустимо для пролетарской борьбы. Ни одна партия у нас, в общем, не готовится к социалистическому перевороту, не готова ни к каким действиям. Все мечтают, раздумывают, предчувствуют... А надо же что-то готовить. Это жаль, что вы — не в полку, легче было бы заваривать.

Полковую лямку тянуть — спасибо, уже побывал. Но социалистический генерал прав: в самом деле, что можно сделать для революции в управлении по ремонтированию кавалерии? Однако ответил уверенно:

— Я думаю, что я смогу быть полезным. Я — не в полку. Но для революции,— голос его дрогнул в несомненности чувства,— я готов в любой полк и под любой огонь.

Это и в самом деле было так. Саша Ленартович и в самом деле тяготился своей вынужденной томительной дремотой эти два с половиной военных года. Но он верил, что э т о будет! Как иначе?

— Да неужели же страна может простить все свои страдания, боли, оскорбления, издевательства от самодержавия? Страшно допустить такое предположение.

— Да,— хладнокровно приговорил серо-жёлтый безбровый вождь.— Это — неизбежно, и придётся вырезать поражённые ткани. Но вот при нынешних волнениях будьте осторожны: самодержавие обрушится с карой на всех подозрительных, чтоб навести террор. Эти волнения могут плохо кончиться. И если какие-нибудь записи компрометирующие, бумаги,— не держите у себя. Или спрячьте у других, или сожгите.

...К чему себя готовит человек и каким вырастает потом. Николай Гиммер был очень слаб от рождения, отставал от сверстников, созерцательный, с несчастным детством в разбитой семье, отец — опустившийся алкоголик. А мать, нищая дворянка, акушерка, зарабатывала ещё и перепиской рукописей Толстого. И к 17 годам Гиммер был захвачен толстовскими идеями, вегетарианец, и полагал принципиально отказаться от университета. От Толстого же набрался критики политического режима и экономического строя. Развиваясь дальше и всё влево, он попал за нелегальщину в Таганку, был освобождён оттуда в Пятом году толпой и ощутил себя революционером, затем и законченным марксистом.

5

Эта минувшая зима была наполнена архидраматической борьбой и могла бы завершиться пролетарской революцией в Швейцарии, а через неё и во всей Европе,— если б не подлая измена шайки вождей, измаравших, оплевавших, заблудивших всю швейцарскую партию, а прежде и гаже всех — из-за негодяя, интригана, политической проститутки Гримма. И старой развалины Грейлиха. И других грязных мерзавцев.

Поверхностному филистерскому взгляду, а таков взгляд большинства людей и даже революционеров, свойственно не замечать крохотных трещин в колоссальных горных массивах и не понимать, что через такую трещинку при умении можно развалить весь массив. Напуганному обывателю, наблюдающему всеевропейскую войну миллионных армий и миллионы снарядных разрывов, невозможно поверить, что остановить этот железный ураган (изменить его направление) доступно самой малой кучке, но предельно решительных лиц. Для того необходимо, правда, событие огромное — всеевропейская же революция. Но для европейской революции может достаточна оказаться революция в маленькой нейтральной, но трёхъязычной, но в сердце Европы, Швейцарии. А для того надо овладеть швейцарской социал-демократической партией. А если ею нельзя овладеть, то её нужно расколоть и выделить боеспособную часть. А для того, чтобы расколоть такую партию, как швейцарская,— не поверят оппортунисты и книжные теоретики! — нужно всего человек пять решительных членов этой партии, да человека три иностранца, способных дать местным товарищам программу, готовить им тексты и тезисы выступлений, писать для них брошюры.

Итак, чтобы перевернуть Европу, достаточно меньше десятка умелых неуклонных социалистов! Кегель-клуб.

В Кегель-клубе обдуманное осенью, вокруг Кегель-клуба и завязалось начало этой работы. После неудачи на ноябрьском съезде швецарской партии, сперва как бы лишь для психологического реванша *молодых*, Ленин составил им реальные практические тезисы — об их задачах в их борьбе. Углубление многих месяцев, даже чтение ничтожных швейцарских газет,— всё пригодилось тут. Потом вокруг тезисов стал собирать разъяснительные заседания с молодыми левыми. Пустили тезисы течь по всей Швейцарии. Замысел был: хотя бы одна самая крохотная местная партийная организация *приняла* бы их — и тогда законно можно было бы требовать, чтобы социалистические газеты их опубликовали,— и так тезисы потекли бы в обсуждение ещё шире. Искали, как напечатать тезисы листовками, как распространить их несколько тысяч (все — говоруны, безрукие, кто хандрит, кто притворяется,— никто не может толком распространить).

Начать вообще самостоятельное издание листовок? Но главная опора, вождь молодёжи, Мюнценберг ворчал, что *литературы* и без того хватает. (Как будто *такая* литература бывала у них когда!) Слабы швейцарские левые, дьявольски слабы.

И нетерпеливый взгляд революционера заметил другую желанную трещину, она обещала больше и быстрей: приближался новый съезд швейцарской партии, назначенный на конец января и специально посвящённый (верхушку вынудили обещать) *отношению к войне*. Замечательная это была возможность, чтобы растрепать, расколотить всё оппортунистическое руководство и на глазах швейцарских масс расстрелять его неотклонимыми жизненными вопросами: допустимо ли довести Швейцарию до войны? допустимо ли потомкам Вильгельма Телля умирать за международные банки? допустимо ли... и т. д., и т. д., тут можно много наработать. Такой съезд был ещё потому особенно опасен для оппортунистов, что в сентябре будущего 17-го года предстояли выборы в парламент, и как бы теперь ни постановили они — *за* отечество или *против*,— партия на выборах неизбежно расколется или даже перестанет существовать — а то и нужно нам!

Оппортунисты смекнули и стали маневрировать: нельзя ли вообще отложить опрометчиво обещанный съезд, нельзя ли *вообще никак* не решать военного вопроса, пока, мол, Швейцария ещё не воюет, или уж решать военный вопрос, когда кончатся все войны?

И они ещё не знали, *как* будет нанесен им удар, *как* будет поставлено: не просто „за отечество“ или „против милитаризма“, но — с беспощадной решительностью: невозможно бороться против войны *иначе* как через социалистическую революцию! Голосовать, по сути, уже не по поводу войны, а: за или против немедленной экспроприации банков и промышленности! В Кегель-клубе деятельно готовилась резолюция для съезда — Платтен написал, слабо, Ленин пересоставил от имени Платтена. (Работа нелёгкая, но благодарная. Надо было всеми интернациональными силами помочь швейцарским левым.) Надо было заострять по всем направлениям: немедленно демобилизовать швейцарскую армию! защита Швейцарии — лицемерная фраза! именно *швейцарская* политика мира — преступна! Успех мог быть колоссален: такая резолюция швейцарского съезда вызвала бы самую восторженную поддержку рабочего класса всех цивилизованных стран!

Но — оппортунисты зашевелились. Конфиденциально узналось, что верхушка готовит *отложить* съезд, каковы наглецы! В таких случаях — предупреждающий удар! отнять инициативу! И поручили Бронскому на собрании цюрихской организации выставить резолюцию — „против тайной закулисной агитации за отодвигание съезда! признаки впадения в социал-шовинизм, осудить!“. А была возможность подправить подсчёт голосования — и сделали так, что резолюция принята! Хор-роший удар по центристам! — они ведь боятся прослыть шовинистами.

Но так обнаглела их шайка, что и этого не испугались: через день же собрали президиум партии и сбросили маску. (На президиуме были и Платтен, и Нобс, и Мюнценберг, так что всё известно достоверно.) Старый Грейлих

полез порочить всю цюрихскую партийную организацию: в ней, мол, много дезертиров, мы за них поручались перед властями, и можно бы ожидать, что именно в вопросе защиты родины они будут... А другой кричал: если партия будет так мараться, мы, сенталленцы, выйдем из неё! эти товарищи невысокого мнения о швейцарских рабочих (и даже с намёком, что *иностранцы* мутят)... Ещё один закатился до шовинистической истерики: идите вы с вашими формулами международных конгрессов! Обсуждение военного вопроса во время войны — безумие! в такие минуты всякий народ, мол, соединяется в общности судьбы. (Со своими капиталистами...) Как же демобилизовать армию, если она защищает наши границы? Да, если Швейцарии возникнет опасность, то рабочий класс пойдёт её защищать! (Слушайте, слушайте!) Но бесстыднее всех вёл себя Гримм. Председатель Циммервальда, Кинталя — и такой подлец в политике: что ж, война начнётся — а нам поднимать восстание?.. Делал гнусные намёки против *иностранцев* и молодых. И, соединяясь с шовинистами, 7 против 5, с ничтожным перевесом именно его, гриммовского, центристского голоса — отложили съезд на *неопределённое время* (считай — до конца войны)... Неслыханно позорное решение! Полная измена Гримма.

Ах, мошенник, скотина, предатель, бешенство берёт! Так тем более теперь развернуть в партии войну как никогда! Оставалось одно: сбить Гримма с ног! Всё упиралось в Гримма — и важно было сейчас же ошельмовать его, разоблачить, сорвать маску.

Как в драке ищет рука, какой предмет подсобнее схватить и ударить, так и мозг политического бойца выхватывает молниевидные извилины возможных ходов. Первая мысль была: Нэн! Необычно, что Нэн, не очень-то левый, голосовал за нас. Значит: выгоднее всего опрокидывать Гримма через Нэна! А как? Написать в газету Нэна открытое письмо, *публично* назвать Гримма мерзавцем и что невозможно дальше оставаться с ним в одной циммервальдской организации!.. Нет, не так, пусть в с е пишут открытые письма в газету Нэна, все, кого только найдём,— и под этой лавиной открытых писем и резолюций протеста похоронить Гримма навсегда! Каждая минута дорога, повсюду собирать левых — и направлять против Гримма!

Драматический момент. В Шо-де-Фоне присоединился верный Абрамович. В Женеве колебались Бриллиант и Гильбо.

А в Цюрихе вечер за вечером собирались левые и молодые, вырабатывали методы нападения. И стало понятно: открытых писем — мало. Надо совершить *политическое убийство* — чтобы Гримм уже не встал никогда.

И вот какая форма. Не теряя часа, подхватились вместе с Крупской, Зиновьевым, Радеком, Леви, все силы, какие были в тот момент,— и за много кварталов пошли к Мюнценбергу на квартиру. И тут, когда все решительные собрались,— Вилли позвонил по телефону и вызвал к себе Платтена, не объясняя ему, в чём дело, а — срочно! Надо было взять его в западню, неожиданно. Платтен последнее время явно боялся — и Гримма, и раскола, не хотел учиться интернациональному опыту, проявлял себя слишком швейцарцем, ограниченным швейцарцем, как впрочем и Нобс. (Если вспомнить — откуда взялись они? В Циммервальде они просто *записались* в „левые“...) Так вот, надо было взять Платтена врасплох, за горло.

Он вошёл — и когда увидел не одного Мюнценберга, как ожидал, а шестерых, плотно сжатых в комнатушке, трое впритиску на кровати, и все мрачные,— на большелобом открытом его лице, не приспособленном играть, выразилась растерянность, тревога. Хоть одного бы он искал себе в союзники или ободрительного! — но не было ни одного. Затолкнули, посадили его в угол — дальше от двери и за комодом, в тупик, а вшестером — ещё надвинулись, кто на стульях, ещё нагнулись, кто на кровати. И Мюнценберг (так по ролям) — звонким дерзким голосом объявил: м ы, вот все мы, наша группа, решили немедленно и окончательно рвать с Гриммом и опозорить его на весь свет! Платтену — выбор: или с нами, или с Гриммом. Платтен заёрзал — а подвинуться некуда, заволновался, переглядывал лица, искал, кто помягче, но и Надя смотрела как застывшая ведьма. Платтен лоб вытирал, мял подбородок свой бесхарактерный, просил отсрочки, подумать,— он говорил, а все шестеро не шевелились, хмуро молчали и смотрели на него, как на врага (это забавник

Радек всё придумал),— и это было самое страшное. Платтен растерялся, подавался, он предлагал: не надо же так сразу! послать Гриму предупреждение, предостережение... Нет!!! Всё — решено!!! И остаётся Платтену только выбор: или — с нами, в честном интернациональном союзе, или — со своим швейцарским предателем, и опозорим обоих вместе! И отвечать — сейчас же!

Двумя руками схватился Платтен за голову. Посидел.

Сдался.

Брошюру на опозорение поручили Радеку писать. И он — в ту же ночь, в одну ночь, искуривая трубку свою, без всякого труда мог написать, лентяй. Но — не написал. И ещё много часов пришлось Ленину ходить с ним по Цюриху, уговаривать и поджучивать, чтоб написал, да похлеще, как он один умеет. Всё-таки, журналист — несравненный!

Следующий шаг — напали на Гримма в заседании Интернациональной Социалистической Комиссии. Сам Ленин не пошёл, чтоб не выставляться, а Зиновьев, Радек, Мюнценберг и Леви напали, что деятельность Гримма в Швейцарии — преступление, бесчестие, педерастия! — а потому он должен быть исключён из циммервальдского руководства! (Свергнуть с престола.) Тут же напали на Гримма и в мюнценберговском молодёжном Интернационале. Тут же возникла идея добиваться внутрипартийного референдума — устроить съезд теперь же, в марте! А мотивировка референдума была (пришлось самому написать) лучшее во всей кампании: что отсрочка съезда есть *поражение социализма*!

Что поднялось! Какая буча и пыль! Ч-чудесно!!! Вожди партии заревели от негодования, кинулись в опровержения! — кто ж может выстоять в социализме против смелого резкого принципиального обвинения слева?! Один обвиняющий голос может свалить тысячу оппортунистов!

Ч-чудесно! Это — удалось! Это — и нужно было!

Ещё на кантональном партсъезде удалось собрать за резолюцию левых одну шестую часть голосов — это было крупной победой!

Но и — высшей точкой кампании. Стала она спадать.

Гримм бешено напал на референдум — и испугал наших молодых.

Лисье-осторожный Нобс публично отмежевался от референдума.

А Платтен — а Платтен смолчал, раскисляй... Вот так и строй на нём борьбу. Нет, он безнадёжен. Он не хочет учиться, как организовать революционную партию.

И даже брошюру Радека — отказались печатать: „Напечатаем — выгонят из партии!“ Ну и *левые*! Ну и вояки!..

А Гримм, почувствовав нашу слабость, собрал архичастное совещание и пригласил левых. Мюнценберг и Бронский, конечно, не пошли. А Нобс и Платтен поплелись... к хозяину.

Нет, они на три четверти уже свалились к социал-патриотизму. Нет, левые в Швейцарии — архидрянь, бесхарактерные люди.

Запутывать, замазывать разногласия вместо того, чтобы их заострять,— какая ж это подлость!

А тут совершилась возмутительная история с Бронским. На общегородском собрании выбирали правление, несколько избранных отказались, поэтому список спустился ниже — и счастливо захватил Бронского, Бронский вдруг попал! Так обнаглевшие правые заявили, что с Бронским дружной работы не будет, они отказываются. А Нобс был председателем — и согласился выборы аннулировать!

И Платтен — скушал эту оплеуху...

Ленин сидел на собрании — молча, но вне себя! И уже на минуту не заснул в ту ночь.

Вообще от этих ежедневных собраний — нервы швах, головные боли, сна нет.

Да вся швейцарская партия — насквозь оппортунисты, благотворительное учреждение для мещан. Или чиновники, или будущие чиновники, или горстка, запуганная чиновниками.

Разбежались левые от нашей помощи — и в Цюрихе, и в Берне. У одного Абрамовича хороши дела, но он далеко. А Гильбо и Бриллиант колеблются.

И вожди молодых, даже острый резкий непреклонный Мюнценберг,— потянулись на компромисс. Мюнценберг! — и тот отклонил брошюру Радека! (И уехал Радек в Давос, подлечиться, тоже замучился.)

Было бы смешно, если бы не так гнусно. Видимо, в Цюрихе — конец возни с левыми...

Но — не надо жалеть, хоть и проигрыш. Знал всегда, как гнилы европейские социалистические партии. Теперь и на практике сам испытал.

Не надо жалеть. Что было сделано — не пропадёт совсем бесследно. После нас, преемники наши — а создадут левую партию в Швейцарии!

23 февраля назначено было собрание левых — и даже не состоялось: просто не пришли, никому не нужно. Собирался Ленин доклад делать — сходил впустую, вернулся в бешенстве. В бешенстве на всю ночь.

Он завидовал — Инессе, Зиновьеву, как они там где-то ездили, выступали с рефератами: там видишь перед собой не социалистических мещан, а — свежих людей, рабочих, толпу, и влияешь сразу на массу.

Тут много было и других расстройств. С Радеком — вперемежку дружба и ссоры (он невыносим, когда в академизм лезет), а Инесса и Зиновьев восприняли их разлад тяжело. То ссора с Усиевичем. (А с Бухариным и не вылезали из ссоры, хорошо хоть не вынесли на публичность.) То Шкловский растратил партийную кассу. То Инесса вздумала „пересматривать“ вопрос о защите отечества — и сколько же лишних убеждений пришлось потратить.

В письмах. Так и не приехала в Цюрих ни разу.

Скоро год...

6

Правильно говорят: тюрьма да сума дадут ума. В чём хочешь дадут. Прежде-то Козьма по пустякам попадал, сразу и выпускали. А теперь предъявили 102-ю статью Уголовного уложения: преступная организация, направленная на свержение...

Как и вся Рабочая группа, арестован был Козьма Гвоздев 27 января — но пристигло это его при воспалении лёгких, и дали ему три недели дома отлёживаться, только вот пять дней, как в тюрьму забрали. А ребята уже здесь и месяц.

Дома-то лежать куда полегше — и притекают новости, и газеты читай, и можно письмо отослать-получить, и знал Козьма, как весь рабочий Питер перебудоражен арестом их Группы, и Гучков хлопотал грозно. Поднялся шум в их заступу, и не было туги, что вот теперь им сидеть долго, никакого тяжкого наказания не должно бы лечь: ни на кого же не опускалось, всё в стране плыло как пьяное, и вон даже убийц не арестовывали,— хотя нашего-то брата всегда легче сажают, а возвышенных — не-е... Но с ареста Группы был Козьма как в спине переломан, как палками избит весь: дело делал неправильное? или неправильно? Значит, не совладал все концы стянуть, не укрепил, как надо. Да как его было от начала делать? Большевики кричали: стачколомы! предатели! А большие газеты писали: „они — настоящие патриоты“,— и так заляпывали перед большевиками. Но самим заявить: нет, мы не патриоты! мы революционеры! — перед большевиками всё равно не оправдаешься, а перед правительством будешь изменник, тут вас и разгонят.

Так ведь — и патриоты.

То и обидно, такое положение: ни в какую сторону не оправдаться, хоть вовсе дела не делай.

За эти месяцы почтил Козьму двумя письмами сам Церетели из ссылки. И ведь скажи: в Сибири сколько лет, а понимает дело лучше многих питерских. Да, Ираклий Георгиевич, написал ему Козьма, вот так и я ищу-добиваюсь: кроме нужд рабочего класса есть же и нужды самой промышленности, не останавливать её нашей борьбой. И есть нужды воюющей страны и армии. И всё это надо суметь зараз пролить через одно русло. И в Европе как-то же умеют, а почему не мы? Да военное поражение России и отзовётся раньше всего на ком? — на нас же, рабочих. Классово борись-борись, но не так же, чтоб войну проперетъ.

А что ж — пушки хлопайте, чем хотите? А наших кройте в окопах — не жаль?..

Но приехал в декабре французский министр труда, и хоть в груди темнилось, в голове темнилось, а выговаривал Козьма за быстроспешными советчиками: „Ознакомить через вас пролетариат и демократию Франции и весь цивилизованный мир, как русское правительство собственными руками разрушает оборону и стремится погубить свою страну. При удобном случае оно не задумается совершить и ещё одно клятвопреступление, предать своих союзников.“ Объявились в декабре германские мирные предложения, и совали секретари речь: „добиться контроля пролетариата над действиями дипломатий!“. И другие члены группы, два десятка, поддаваясь чужому уму, выступая там и сям — чего только не наболтали. Ещё удивляться, что правительство столько времени терпело. С декабря уже так и зажалась группа: не большевики ворвутся громить, так полиция, и отправят всех в Сибирь. 3 января из Военного Округа пришло Гучкову письмо: „Рабочая Группа — противоправительственное сообщество, обсуждающее низвержение правительства и заключение мира. Поэтому на каждом заседании Группы должен присутствовать специально назначенный чиновник.“ Всего-то! во время такой войны имеет правительство такое право, а помеха будет только листовкам. Так Борис Осипыч Богданов, главный теперь секретарь Группы, напёр: „Не допустить такого издевательства над свободой!“ На следующие дни являлся чиновник — отменяли заседание, собирались втихомолку. Тут подходила февральская сессия Думы — и наседал Богданов: демократия должна вмешаться в затянувшееся единоборство между цензовым обществом и самодержавием! самое время ударить! И так объяснял обоесторонне: если и дальше терпеливо сдерживаться — это значит пропустить роковой момент небывалого падения престижа царской власти; а если вызвать рабочий Петроград на улицу, но в неудачный момент — этот призыв может стать роковым для Рабочей группы. Но и жертвы только тогда преступление, когда они излишни для революционного дела. Предпочтительней всего — петиционное движение, но с революционными лозунгами.

И всё это теперь проводилось не в заседаниях Группы, а между членами её, сокрыто, и сокрыто же слались агитаторы по заводам готовить выступление к созыву Думы. А тут — задержали нескольких членов московской группы (и Пумпянский попался там), обыскали непримиримую самарскую,— и Богданов заметался: момент борьбы пришёл, нельзя его упустить! И принёс — „Письмо к рабочим всех фабрик и заводов Петрограда“. Де — собирайте собрания, читайте и обуждайте. Пользуясь военным временем, правительство закрепощает рабочий класс. Ликвидировать войну должен сам народ, а не самодержавие. Насущнейшая задача момента — учреждение временного правительства! Демократии нельзя больше ждать и молчать! Теперь мы выросли, и пойдём *не там* и *не так*, как 12 лет назад к Зимнему Дворцу,— мы пойдём с властными требованиями, и пусть не будет среди нас ни одного изменника, который скрылся бы домой от общего дела!

Страсть не хотел Козьма такое пускать — но и удержать не мог. Да каково бы Рабочей группе смолчать, если даже бунтующие баре поносили самодержавие хуже нельзя. И никого их не трогали!

Против сердца из последних, выпустил воззвание.

И ещё две недели после того не арестовывали Рабочую группу.

Бунтующих бар — не трогали, а рабочую скотинку — всё ж схватили.

Кому что дозволено.

А Ацетилен-Газ — сбежал, не попался.

И кто только не донимал Рабочую группу в предательстве. А вот все они свободные остались, а Рабочую группу посадили.

Тюрьма да сума дадут ума.

Обидно, что Сашка Шляпников, небось, торжество правит: вот, мол, лакеи,— служили вы, служили, за свою службу и в тюрьму угодили. А я всё время наперекор — и на воле.

Только Александр Иваныч Гучков и защищал их: по арестному следу тотчас собирал видных думцев, печатал заявление, что это — тяжёлый удар по национальной обороне, погашает в массах веру в плодотворность общей

работы и только усилит брожение в рабочей среде. Да Коновалов выступал в самой Думе, что Рабочая группа была патриотичной, служила обороне и умиротворению политических страстей; что Рабочая группа была оплотом против других опасных течений в рабочей массе, а правительство бессмысленно разрушило её; совсем же не вмешиваться в политику рабочие никак не могли, когда все другие вмешиваются, а правительство — так прямо ведёт страну к гибели.

Козьма и его однодельцы в Крестах уверены были, что Протопопов уже сам напугался, их арестовавши, что правительство не выдержит, долго им сидеть не придётся.

Гнело Козьму не то, что из тюрьмы не выпустят,— а то, как ему на воле жилось под травлей. И как он с делом не управился.

Нет в жизни простоты и прямого пути, а всё закручено и у всех головы закрученные. И меж ними вот — равновесь.

И гучковский комитет — тоже вода тёмная. За отечество они вроде и стояли, а денег своих тоже нигде не упускали, даже и сильно приращивали. За отечество —да, но и власть в том отечестве они хотели сами захватить, это верно.

Уже из-под домашнего ареста, сносясь, передал Козьма и убедил: не надо к открытию Думы общей забастовки. А — все к станкам. Дольше бастуем — свои же силы ослабляем. Наши же интересы зовут нас к станкам.

Как мог, так вёл Козьма. Настрелился. Всё что-то упускал, не так делал, прошибался, и все были недовольны. А посадили — заботы с плеч. Отдохнуть теперь на тюремных нарах.

Да не отдыхалось, скребло. Не манило и освобождение: опять идти в контору на Литейный, и опять всё та же затурмучка.

Пока в тюрьму принимали — прикоснулся Козьма и уголовников. И опрокинулось всё, как ни царя нет, ни Думы, ни социал-демократов,— а вот упрут сейчас твои любимые сапоги с лакированными голенищами, на пол не ставь, да смотри и с ног не снимут ли. Четвёртый десяток жил Козьма в исполегающем слое, ниже которого будто и не бывает. А вот, узнавалось, и пониже вас люди есть: тёмные, буйные, от которых и самое скромное имущество береги, да опасайся, чтоб они тебя самого революционно не сковырнули. На воле такие люди порознь живут, на село, на слободу — один-два, конокрад или вор известный, жулик, мазила, порою в шайки стягиваются, но шайками вместе их никто не видит, а в тюрьме они вот собраны. Поглядишь: а вот ежели э т и когда плечами двинут соединённо — так что будет?

А приняли Гвоздева в больничную камеру, и тут нашёл он двух своих — Комарова с Обуховского и Кузьмина с Трубочного. Жалко не с Богдановым. Пока по одиночкам их не рассовали — заняли три койки рядом,— и уж вот толковали вдоволь.

В каменном мешке — а думка вольна.

Перетолковали все рабочегруппские дела — и ни хрена не вывели: как же им правильно было?

А из давнего вспомнили такую называемую „махаевщину". Откуда она взялась? — никто не знал, а среди социал-демократов никак её не звали иначе как „махаевщина" и запрещали знать. Оттого ли „махаевщина", что рукой махнуть? Говорилось по той махаевщине, что интеллигенция — это паразитский класс, который живёт за счёт рабочих, а хочет господствовать надо всем обществом. Для того интеллигенты пока льстят рабочим, что они — самая прогрессивная часть человечества, а между тем внушают идеи, которых рабочие не в силёнках ни проверить, ни оценить. Такой обман есть и социализм: всё это подстроено, чтобы белоручкам захватить власть. По махаевщине же выходило: не надо рабочему классу брать власть, пока он не имеет образования,— обманут его, а надо вести борьбу только экономическую.

А ещё жив, невесть где, Ушаков — наш, рабочий. Заклевали его. Он тоже говорил: зачем нам царя свергать? Трудящийся не может быть у власти, потому что необразован. А захватят власть господа интеллигенты. Так лучше пусть царь призовёт выборных от народа и будет с ними советоваться.

Вроде и верно, а?..

А ведь был же и Зубатов, вспоминали теперь с ребятами. Зубатова тоже прокляли социал-демократы и чтоб его не вспоминать иначе, как чёртом. А он, с крупных полицейских постов, то же самое говорил рабочим: зачем вам конституция? зачем вам политические свободы? — всё это нужно только вашему врагу, буржуазии, чтоб усилиться самой, и против власти, и против вас же. А вам нужен 8-часовой рабочий день и повышение заработков,— так этого вам самодержавие ещё лучше добьётся от фабрикантов, вы ему — верные сыновья, правительство вас и поддержит, а буржуазия — она-то и бунтует против государства.

А может и верно?

И одно время, в их троих ещё неразумную молодость, говорят, зубатовцы брали в Москве полный верх, и социал-демократов забили.

А вот, почему-то не вышло.

Надёжа рабочего — только свой брат рабочий, верно.

Ежели переворот, то без образованных — никак не обойтись ведь. Как же без них страною управить? Ведь на какое ремесло кого нанесло. Государство вести — обык особенный.

А доверься образованным — они сразу и запутывают.

Закружилась, запуталась и Рабочая группа — и всё рабочее дело — и даже матушка Русь — и нет концов.

Уж поздно было, а сон в башку не входил, отоспались тут.

Раскинулся Козьма на койке, руками-ногами на все четыре угла, волоса его вольные вперепут, с верхней губы чуть усишки покалывают, не брил их этот месяц домашнего ареста,— и смотрел, смотрел в свод потолка. Беловато-серый, ровный, а где отколуп, где пятно — на каждое смотришь как на что-то важное, койкой плывёшь под ним, как под небом.

И повёл вполголоса:

Ах, во том ли стружке, во снаряженном...

А свои ребята рядом подвязяли:

Удалых гребцов сорок два сидят.

Как это с песнями? Совсем о другом, а о твоём тоже:

Как один-то из них, добрый молодец,
Призадумался, пригорюнился.

Ещё и от другой стены стали вытягивать — наше-то, общее, все знают:

Эх, вы братцы мои, вы товарищи!
Сослужите вы мне службу верную...

А просить-то — изо всего целого мира только и осталось, только и выдохнуть:

Киньте-бросьте меня в Волгу-матушку,
Утопите вы в ней грусть-тоску мою...

Так попели немного, всё протяжные, всё грустные,— на сердце помаслилось, утишело.

И так, волос не распутавши, в подружку-подушку — унеси меня на ночь, да подальше!

7′

(К вечеру 23 февраля)

Для петроградского полицейского начальства события этого дня — и возникновение, и ход их и окончание — остались необъяснимой случайностью. Ни единый сигнал осведомителя не предупредил о них, да видно и из партийных вожаков никто вчера вечером заранее ничего не задумывал.

Разве только вот что: революционеры всегда придираются к какому-нибудь *дню*. 9 января у них не вышло, в день открытия Думы не вышло, а сегодня какой-то у них „международный женский“.

Немногие забастовки начались сегодня утром на Выборгской и Петербургской сторонах, когда там недостало в лавках чёрного хлеба. Почему вдруг недостало? В пекарни отпускалось ровно столько же ржаной муки, сколько и в предыдущие дни, из

расчёта полтора фунта на жителя, а на рабочих по два. Правда, никто не проверял пекарей, даже и мысли о таком контроле не возникало. (А между тем многие из них стали не выпекать хлеб, но продавать муку в уезд, где она была вдвое дороже.) Недостать могло по единственной причине: возникшему неудержимому слуху, что мука перестанет доставляться в Петроград, что скоро в городе будут ограничения в хлебе, то ли меньше его будет, то ли выдавать по карточкам,— этот слух мог возникнуть как отзвук думских прений и проекта городской думы вводить карточки. Этот слух мог быть развеян настойчивым правительственным объяснением, либо уж введением карточек, устойчивого распределения,— но ничего подобного не сделано, и слух загорелся: надо запасаться, сушить сухари! А так как в руки отпускали сколько угодно, то покупали вдвое и втрое,— и кому-то хлеба не хватало.

А те рабочие, которые с утра забастовали,— по известной изученной тактике, чтоб самим было легче,— шли на соседние заводы, силой выгонять других. Само собою были закрыты администрацией ещё вчера крупный Путиловский завод и его верфь — из-за того, что уже несколько недель на этом военном заводе упорно нарушался порядок работ — с какими-то дикими требованиями, как будто по чьему наущению: сразу добавить половину заработной платы. Но за весь этот день закрытие Путиловского не успело с Нарвской стороны ни распространиться, ни повлиять на столицу, и как раз Нарвский район оставался спокоен. На Франко-Русском заводе на Пряжке собрался трёхтысячный митинг, высказывались и бастовать, и против, были голоса против войны, но говорили и за, все бранились о недостатке чёрного хлеба, а разошлись спокойно, не забастовав. Не были затронуты волненьями ни Охта, ни Пороховые, ни Московская и Невская стороны. Забастовки распространялись там, где они начались,— на севере столицы, а пока оттуда не был закрыт переход мостами — перенесены в Литейную и Рождественскую части. Так набралось за день забастовщиков больше 80 тысяч. Иные заводы были сшиблены с работы только к вечеру, как Воздухоплавательный рабочими с Вулкана, другие, как Трубочный, и за весь день сбить не могли. В Арсенал (Литейная часть) посторонние рабочие не пускали пришедшую ночную смену, а те норовили прорваться к себе на работу. Но коснулась полиция первых разогнать — ночная смена сама ушла.

Не любили полицию, все до последнего переняли кличку „фараоны“.

А быстрей забастовок в этот день распространилась по столице новая шутка: отнимать трамвайные ручки. Всем понравилось, огненно-весело распространилось по городу, полутора десятком вагонов закупорили все линии, а сотня трамваев сама уехала в парки. (Вечером в Лесном рабочие опрокинули один прицепной вагон, но как озорство,— и стояли рядом, не мешая полиции поднимать его.)

Другая мода пошла — бить стёкла в лавках и разорять, а то и грабить. Начали с булочных и с мелочных лавок, но когда толпа валила по Суворовскому или по Большому Петроградской стороны и подростки впереди били уже кряду все магазинные стёкла — как было толпе удержаться? — стали грабить и овощные, и зеленные, сгребали и выручку из кассовых ящиков. Вечером на Смольном проспекте ограбили уже и ювелирный.

И везде до прибытия полиции толпа разбегалась. Толпа нигде не хотела биться, без труда разгонялась полицией повсюду, но, рассеянная в одних местах, упорно и тотчас собиралась в других. Правда, за день случились и нападения на полицейских и на заводских мастеров, несколько их отправлены в больницу, кто без сознания или с вывихом челюсти, или с переломом руки. А кроме сторонников порядка — увечий не понёс никто. При всех разгонах,— а на Большой Дворянской разгоняли толпу в четыре тысячи, на Литейном, на Невском по тысяче не раз,— не был повреждён ни один демонстрант. Нигде не было применено оружие, и за весь день в городе не раздалось ни выстрела. Не был высунут за весь день и ни один красный флаг, ни лозунг, толпа не была никем никак подготовлена, и не замечалось у неё руководителей,— даже у Казанского собора, самого чувствительного места столицы, самого излюбленного революционерами, откуда всегда всё в Петербурге начиналось.

К вечеру стал восстанавливаться порядок и на Петербургской стороне и на Выборгской, снова беспрепятственно пошли по всему городу трамваи, возобновилась и обычная вечерняя жизнь Невского, хотя рабочие необычно присутствовали здесь, *гуляли* среди барственной и состоятельной публики, тем пугая её. Патрули городовых под руководством приставов „сортировали“ публику, изгоняя пришельцев с чёрных окраин, с молодёжью это опять приняло характер игры, довольно беззлобной.

Так в этот день обе стороны начали, как нехотя, самонавязанный как бы спектакль.

В ходе дня градоначальник Балк просил для полиции армейской помощи — и получал наряды из полков 9-го кавалерийского из Красного Села и 1-го Донского, только что прибывшего в Петроград и пополненного новичками. Донцы лениво вели себя, но кое-где всё же помогали.

И поскольку днём привлекались к действиям отчасти и войска, то поздно вечером

в градоначальстве совещание возглавил командующий округом генерал Хабалов. Командующий же петроградской гвардией (а главным образом гвардия — по одному названию — в Петрограде и стояла) генерал Чебыкин незадолго перед тем уехал в отпуск — и командиром гвардейских частей и, значит, начальником охраны столицы стал полковник Павленко, недавно с фронта, ещё не долеченный после тяжёлой контузии, больной и совершенно не знакомый даже с расположением петроградских улиц.

Департамент же полиции, ни начальник петроградского Охранного отделения генерал Глобачёв не имели сведений объяснить происшедшее сегодня и не могли указать на мотивы выступления. Они не исключали стечения случайностей, среди них — и наступившую хорошую погоду. Уже много месяцев Охранное отделение предупреждало о нарастании революционной ситуации вообще. Но именно в эти последние дни — ничего не предвидело. И — по какому же поводу возникло?

Голод? Никакого голода в столице не было. Купить можно было решительно всё без карточек, а по карточкам — сахар. Благополучно было с маслом, рыбой солёной и свежей, битой птицей. Да полиция уже две недели не касалась продовольствования Петрограда, оно было передано отдельному специальному действительному статскому советнику Вейсу, может из-за передачи и вышла какая задержка с выдачей муки пекарям. Этого Вейса никто не ведал, не видел, не чувствовал,— но Государь знал же, кого назначать. Вероятно, следовало теперь объявить населению, что муки достаточно.

А все остальные признаки были благоприятные, начальник Охранного отделения склонялся предположить, что завтра волнений вообще никаких не будет.

И на совещании в градоначальстве никто не предложил и не принял никаких решительных мер.

Несмотря на ранения нескольких полицейских и заводских мастеров — не предложено было кого-либо арестовывать или разыскивать.

Лишь приказано было войскам на завтра быть готовыми занять отдельные районы города.

Градоначальник обо всём писал рапорт министру Протопопову, который, впрочем, и своими глазами всё сегодняшнее мог видеть.

А надо ли было командующему Хабалову докладывать в Ставку Верховного? Да как будто ничего такого не произошло, о чём должен был докладывать боевой генерал.

Была уверенность, что порядок завтра будет водворён. И участники совещания разошлись спокойно после полуночи, с Гороховой разъехались по спящему мирному полутёмному городу.

А заседания совета министров в этот день вообще не было: они обычно собирались по пятницам.

8

Если из-под ватного одеяла чуть высунуть нос и открыть глаза — увидишь грубо белёную стенку дощатого домика при огоньке ночника, недавно таком перепуганном, но всё ж не задутом, а постепенно укачавшемся, усмирившемся, а с ним и все тени очертились определённо по стенам. И — полно и глубоко под морозными звёздами молчание Мустамяк, самого далёкого глухого петербургского дачного места.

Эта старая тахта, одни пружины провалены, другие выпирают, так и не подсохла хорошо, ещё не прогрелась от осеннего насырения, от вымораживания за всю зиму, хотя они топили уже больше суток и дров не жалели. В этот раз переночевали в Петрограде только одну ночь, а вчера поздно добрались сюда. Но ни в первый петроградский вечер, ни в дороге, ни в сиденьи тут у огня, ни сегодняшним медленным просторным днём — Георг не открыл главного, от чего решительно менялась вся обстановка.

Ещё они ходили гулять под лёгким снежком и в гости обедать на другую дачу, в знакомую профессорскую семью, и Ольда как бы рассеянно выдавала их отношения, обмолвясь „ты“, или ладонью на его руку, остерегая от лишней рюмки,— так что её любимые старички предположить не могли, что Ольда Орестовна была с ними двумя знакома лучше, чем со своим спутником. ,,Sic itur ad astra!“ * — повторял Воротынцеву старичок своё первое суждение о первой книге Андозерской.

Женщина выдающихся качеств, как Ольда Андозерская, имеет свои осо-

---

* Так идут к звёздам *(лат.)*.

бые трудности в построении интимной сферы. На научные работы и успехи укатили лучшие её годы, и за это время разобраны были в мужья возможные спутники, достойные её. А ещё стесняло — само профессорство: не спутник для женщины тот, кто ниже её. Как говорится, замужество есть шапка на голову женщины, шапка для боярыни. Ольда любила, и вслух повторяла Марину Мнишек:

Чтоб об руку с тобой могла я смело
Пуститься в жизнь — не с детской слепотой,
Не как раба желаний лёгких мужа.

Покрыть голову не той короной — это на всю жизнь, и погибла жизнь, уж лучше непокрытой.

И Ольда Орестовна сумела так утвердить себя в глазах всех, что не доводилось ей встретить сожалительного взгляда, а приняли все, что такой незаурядной даме и не нужен обычный удел. В этой наблещенной и льстящей броне она и ходила посегодня — но втайне знала, что внутри неё вот посквозило неуверенностью, неполнотой. И даже вдыхая волнующий запах старых книжных корешков (а раскроешь книгу — удар запаха! потом он слабеет, но всё ещё уловим) — в самые счастливые часы работы, стало проступать ей, как не было прежде, что ведь она — одна, одна. Столь несомненно превосходная — но и никем не доискиваемая?..

В октябре ей вздумалось привлечь этого случайного полковника, и даже усилия не понадобилось, так радостно и послушно он пошёл,— даже грозило оказаться и скучным. Но он удивил и занял соединением мужества и безопытности,— резвый, необструганный. Как деревенский парень смышлёный, за пахотой не ходивший в сельскую школу, без внятия, что оно такое, грамота, для кого Г — только коса, а С — серп, не буквы, а подучить его — уже б и гимназию кончал. Но он занял те шесть дней её так самоуверенно, как будто всю жизнь она и ждала только его. Расспрашивал о чём угодно — о Германии, Франции, о теориях, о сегодняшнем университете,— только обминул спросить о самой женской жизни её, как бы вообще не предполагая этой стороны,— всё из той же неграмотности?

Ольду тоже затянуло тогда, но хотя допытывала она Георга о жене, скорее из привычки со всех сторон обглядывать всякое встреченное лицо, событие,— а представить себя открыто связанной с офицером оставалось невозможно. Но вот он уехал, писал хотя редко, но пылко, а эти зимние месяцы всё больше мрачнело, гневилось, пошатывалось вокруг, и свой собственный озноб начинал бить явственней,— и Ольде вдруг так просто уяснилось: вот именно он бы и был ей муж! Из своей профессорско-интеллигентской среды всякий будет измерен: а как он соотносится с профессором Андозерской? — и если мельче, значит, вышла по безвыходности. А боевой полковник? никому и в голову не придёт прикладывать эту мерку, все примут как её чудачество: выйти за офицера! Если на маленькую голову её, начинённую мыслями, не находилось точёной короны — пусть будет просто шапка, но с которой струилось бы мужество на зябкие плечи.

И она звала его — приехать сейчас в Петербург. И ожидая последние недели и встретив позавчера у себя на Песочной, окончательно решила, что с Георгом она соединяется, что минуло время забав и время переборов, и в её тридцать семь лет нельзя жаловаться, что союз плох. Конечно, нужно ждать конца войны. Но при его нетёсаной увальности ещё сколько потребуется разъяснений, советов и поддержки, пока он пройдёт не такой-то простой путь разъединения с нынешней женой, это тоже могут быть бои, к которым он совсем не готов, конечно.

Но чего она никак не ждала, какой нелепости никто б и предположить не мог,— он объявил ей только сегодня вечером. Опять долго сидели на чурбаках перед распахнутой печной топкой как перед камином, всё клали, всё клали дрова и не сводили глаз с огня, в благодатном пышеньи его. Рядом с Георгом Ольда весело уничтожалась в малости своего роста, малости рук, малости ног, а он по-разному умещал её, складывал, изгибал, всю забирал, играл с её волосами, то распушивал вкруг головы, то стягивал над затылком и окунался лицом как в пену. И вдруг — рассказал...

Изумительная своеродная тупость! Не потому так поздно рассказал, что хотел бы скрыть (хотя, видно, побаивался), а искренне считал, что это второстепенно и почти не относится к их блаженству в этом далёком доме у пляшущего огня. Рассказал, что ещё тогда, в октябре, воротясь к жене, тут же немедленно и открыл ей...

Как? То есть — к а к? Сам? Без повода? К чему? Зачем? Хотел ли он (сладко у сердца, котёнок в незнакомых руках) уже тогда, в неделю готовый, начать расставание с женой? Он объявил ей своё *решение*? Нет... Так тогда — зачем же?

Обрушилась крыша, выбило стекло, морозный воздух тёк на них через пролом, уже не действовали больше законы огня,— а он так-таки ничего не понимал, для него ничего не изменилось, всё так же тянул её к себе на колени.

Но из котёнка отяжелев в утюг клиновидный, Ольда осела, отсела, требовала объяснений. Тут столько нужно было понять: *что* он имел в виду, когда объявлял жене? (Трудней всего было добиться.) И как вела себя жена? И как потом он? И опять она?.. Оказалась тут долгая история, Ольда сжигалась, а Георг не мог точно всё рассказать, потому что в голове у него перепуталось, что за чем шло и кто точно как говорил, он не думал, что это когда-нибудь понадобится. А почему он ни в одном письме ни разу...? Да всё потому же. И — долго описывать, вот рассказать проворнее. Но от этого открыва тогда в октябре и до его сдачи...

— Какой сдачи?

...как изменилось его соотношение и с женой и с Ольдой, он понимает?

Нет, честно: не понимал, ничего не изменилось.

Не изменилось, если он никогда серьёзно об Ольде не думал.

А в этом письме жены, тогда в Ставку..? Да я уже сказал. Нет, ты вспомни точно! Стало неуместно при печном огне. Давай снова зажжём лампу. И опять — за стол. О, как томительно. Так тогда и поужинаем второй раз? Да хоть и поужинаем. И снова вопросы и снова ответы. Что же именно ты написал ей из Могилёва? Ну, вот этого, убей, никогда не помню, написал и тут же отвалилось, я своих писем не перечитываю. О, как скучно! Собирались часов в восемь лечь, смотри — второй час ночи. Ну что об этом, прошлом,— опять и опять?

Спать, спать, он влёк её и согревал, сам искренне не изменясь, и верить не хотя, не замечая, что Ольда могла измениться вот тут уже, у печки. И быстро заснул, глубоко, покойно, так что и верчение Ольдиной бессонницы нисколько не будило его. Он заснул счастливым бревном, оставив ей все задачи и все решения.

И вот ночные часы, уже выныривающие к утру, Ольда раскладывала аналитично, по элементам, и достраивала полноту картины при недостающих клетках. Прижимаясь к этому горячему, дурному, всё более ей необходимому бревну, она восполнялась от него теплом и во сне его решала его будущее, даже бесповоротнее, чем сутки назад. Раз уж так, то не откладывать было того, что прежде допускало постепенный ход.

ДВАДЦАТЬ ЧЕТВЕРТОЕ ФЕВРАЛЯ

ПЯТНИЦА

9

— Ты спростодушничал неимоверно. Со стороны даже нельзя поверить, ты же не мальчик. Ты естественно уезжал на фронт — и хорошо. Зачем же ты завёл с ней разговор?

Не отвечал, не шевелился почти.

— Чтобы понять себя? Но это ты и должен был сделать сам. Ты не дал

проясниться, окрепнуть собственному чувству. На это немало времени надо, но оно у тебя как раз было. А ты сам оттолкнул его.

Да, Георг теперь понимал вполне. Он раскаивался.

— Такие грузы нельзя перекладывать в сердце ничьё другое. А ты всё вручил ей, как *она* решит. Ты нашу с тобой судьбу вручил ей.

Ну, не очень-то. Он только...

— Как же нет? Смотри сам... И почему ты мог подумать, что она будет решать в твою пользу или тем более в нашу с тобой? Редкая женщина не будет удерживать мужа во что бы то ни стало. Женщина не может возвыситься и рассуждать беспристрастно.

Ничем-ничем нельзя ему отгородиться от беседы. А вылезать из-под одеяла в похолодавшую комнату незачем, и за окном пасмурно.

— Эти несколько месяцев проверять себя, советоваться,— должны были мы с тобой. А когда уже стало бы ясно нам — тогда бы объявили ей.

Ну, может быть это тоже не совсем честно...

— Дорогой мой, мы — нуждались в таком периоде. У нас с тобой сближение произошло слишком стремительно. Я не считаю, что... Но и не так же быстро! Мы себя обокрали, чего-то у нас теперь нет, и нужно время, чтобы это восполнить.

Шерстью подбородка молча водил по худенькому предплечью.

— А она, конечно, сразу поставила тебе ультиматум.

Ультиматум? Никакого.

— Да вот то́ письмо! Самый настоящий ультиматум: немедленно выбирай! одну из нас не увидишь!

— Да какой же это ультиматум, Ольженька? Это просто — раненый крик.

— Да никакой не раненый крик, дурачок. Это самый настоящий ультиматум. Вызов и борьба. Насилие над твоим несозревшим чувством,— вот тут его и давить, когда ты открылся по простодушию. Она — в выигрышном положении: у нас с тобой только розовое начало...

Нет, алое! — это не словами...

— ...ещё никакого прошлого,— а у вас там десять лет, сотни уютных привычек, общих воспоминаний, знакомых, вырваться кажется невозможным: всё крушить? ломать? всем объяснять?

— Но знаешь, если и получилось у неё так, то не из расчёта... Не из расчёта принудить и вернуть, а — выход из горя, хотя бы путём жертвы... Она готова уступить...

— Где ты видишь жертву? Она жертвует тем, чего у неё уже не было. Только подтверди, что я — первая и несравненная! Она рискует, не рискуя. Достаточно зная тебя, как ты её — не знаешь.

— Но ты — тем более не...

— Нет, я — знаю! Даже вот по этим её приёмам. Она „отпустила" тебя — и этим сразу победила! И угрожала самоубийством. Бессовестный приём. И ты — сдался!

Очень омрачился.

— Хотя это касалось и моей судьбы тоже. Ведь ты сдавался — за нас обоих.

— Судьбы! Вот начнётся весеннее наступление — может убьют, и не то что судьбы, и не то что меня, а и вообще никакого Воротынцева на свете не останется.

Стихла:

— Жалеешь, что — нету?

— Раньше не жалел, а вот стал.

— Не жалей. Для смерти — может быть. А для жизни... Я — никогда и не хотела. Ребёнок превращает мать — единственно в охранительницу, и это сковывает всё творческое, останавливает развитие личности.

Но — не уклоняться:

— Ты нарушил не счастье её, а беспечный покой. Я ведь — не на её место пришла. Она тебя потеряла за годы, когда вы ещё оба этого не знали. А теперь — ринулась скорее подчинить тебя вновь.

С сожалением поглядывала на этого воина, такой растяпа против женского тканья. Искала понеобидней:

— Ты был — глинокоп. Тебе ничего не попадалось кроме глины. Прости меня, ты просто ребёнок.— Поцеловала, приласкалась.— Но так жить нельзя. Ты погибнешь.

Чуть приласкала неосторожно,— а он совсем, оказывается, и не ребёнок. И — разорвана вся лекция, рассыпались доводы как из прорванной корзины, она ещё пыталась держать связь речи, убежденье сейчас важнее всех забав,— но нет, не слышал уже всё равно.

И опять лежали, куда спешить. Подниматься — так сразу дрова готовить, кончились. А не поднимаясь — вот тут, у плеча и на ухо, как ангел или бесёнок, тихим методическим наговором, ещё сколько ему можно неуклонно вложить.

Он слушал, слушал, и:

— Всё-таки это ужасно. Меня удручает. Неужели между мужчинами и женщинами — как на вечной войне? Так жестоко, расчётливо, сложно? А я думал — только тут и отдыхают.

Не убедила.

Бои-то ему и предстояли, а он никак не готов.

— Как обмывают порез — не в горячей воде, не в тёплой, а в холодной,— вот так надо и тебе с Алиной объясняться. Твоя ошибка, что ты распустил всё в теплоте и сам в том раскис. А в *таких* делах нельзя быть добреньким: это и есть море тёплой воды, в нём всё безнадежно размокает.

— Да, но... Ты как-то неправильно думаешь, что я её — не люблю? Ты пойми, я её — люблю, Алину!

Вот этого — она как раз не принимала. Этого наверняка не было. Если б он любил Алину (это — не ему) — он не пошёл бы в руки так готовно, за несколько взглядов, сразу. Но и надо же цель поставить. Как идти. Он этого не умеет... а самое было бы безболезненное:

— Послушай, не надо рубить жестоко, не пойми меня так. Но... было бы легче, если бы у неё появился утешитель. Ты не думаешь? Это возможно?..

Настолько не понял — не поддержал, не расспросил, как не заметил.

Не глинокоп, но — глина сам и которая плохо лепится. Надо бы здесь остаться подольше. Нужны — ночь и день, ночь и день, ночь и день, чтоб его пропитать собою и этим соком выместить всё, чтоб не мог бы он жить без Ольды во всём себе. Это — входит. И в такого — особенно входит. И Ольда — умела входить.

Да уж полдня прошло! Проголодались как! И дрова заготовить. Вскочили. Одевались. На остатках, околках кипятили чай, грели котлеты. Бодро побежали с санками, бревно подвезти.

Воздух был снежный, от выпавшего ночью. Нерушимая карельская хвоя ещё держала на ветках снежный напад. На сколзанках Ольда прокатывалась с разгону, по-девчёночьи, держась за его локоть, сдвигая ботиками снег с темнеющего льда, а Георг подбегал рядом.

Всё в мире казалось весело, исправимо.

Привязали бревно, притащили, пилили на козлах двуручной звенящей пилой. И Георг всему в ней удивлялся: да как ты бойко бегаешь... да как ты тянешь, пусти, я сам. И пилишь неплохо, это просто редкость.

— Я же в таком глухом уезде росла, почти деревня!

Уже и пар от них валил. Ну-ка, как сердечко, дай попробую. Да у тебя оно под самой кожей, вот тут, выпрыгивает.

И меняясь в голосе и в руке:

— Хватит пилить, пойдём! Я сам докончу, а пойдём!..

10

* * *

С утра по петроградским улицам было расклеено объявление:

„За последние дни отпуск муки в пекарни для выпечки хлеба в Петро-

граде производится в том же количестве, как и прежде. Недостатка хлеба в продаже не должно быть. Если же в некоторых лавках хлеба иным не хватило, то потому, что многие, опасаясь недостатка хлеба, покупали его в запас на сухари. Ржаная мука имеется в Петрограде в достаточном количестве. Подвоз этой муки идёт непрерывно.

Командующий войсками Петроградского Военного округа
ген.-лейт. Хабалов“.

От уговариванья — не верилось. Слухам всегда больше верится, чем властям.

И откуда этот Хабалов взялся, с фамилией раззявленной, похабной, хабалить — значит нахальничать. И зачем бы это обывательским хлебом распоряжаться — командующему войсками округа?..

* * *

Градоначальник (начальник городской полиции) генерал-майор Балк, назначенный недавно, из Варшавы, а Петроград ещё зная мало, сегодня с раннего утра объезжал главные места сосредоточения полицейских нарядов. Выходил из автомобиля и обращался к строю со словами уверенности, что чины полиции поработают даже сверх сил — для спокойного положения на фронте. И звучали ответы и выражал вид полицейских, что — понимают.

Но в бравости своей были уже отемнены. Все они знали, что им запрещено применять оружие, а против них — можно. Они знали своих вчерашних раненых и избитых в нескольких местах столицы. Им стоять на постах уединённых — мишенями для гаек и камней, когда войска усмехаются сторонне, а толпа видит, что власти нет.

В закрытом дворе городской думы — в самом центре города, а населению не видно, был стянут большой отряд городовых и жандармов. Балк объявил им: распоряжением министра внутренних дел тяжело раненые вчера два чина полиции получат по 500 рублей пособия. (А им жалованья-то в месяц было 42 рубля, многие рабочие больше них получали.)

* * *

На Обводном канале поутру к Невской Бумагопрядильне подвалила толпа тысячи полторы и стала камнями в окна швырять, во все этажи:

— Эй, бросай работать, о т с т а л ы е!

Высовываются к стёклам с опаской, под камень бы не угодить. Кто плечами жмёт, кто показывает: „нет, идите своей дорогой!“. А кто: „да, мол! сейчас мы их тут, сейчас!“.

Когда человек работает — трудно отрывается. Но уж оторвётся — тоже назад не дозовёшься.

* * *

С раннего утра, едва собрались рабочие на заводе Щетинина, на комендантском аэродроме,— митинг. Оратор Пётр Тиханов призывал:

— Товарищи! Моё мнение такое: мы должны все как один приступить к насильственному обоюдному делу, и только таким путём мы добудем для себя насущного хлеба. Товарищи, запомните ещё: что долой правительство, долой монархию и долой войну! Вооружайтесь кто чем может, болтами, гайками, камнями, выходите из завода, крушите лавочки с руки!

И все рабочие вышли, ворвались и во двор соседнего завода Слесаренко, выгнали всех оттуда. Тиханов дальше:

— А теперь, товарищи, взойдём на железную дорогу и сделаем передышку.

Взошли на полотно, остановили пассажирский поезд. Отдохнули. А потом:

— Пошли всей кучей к Государственной Думе, на транвай никто не садитесь, а вдоль транвайной линии начинайте действовать по лавочкам!

При разгроме лавочек лиховали новобранцы, задержанные при заводе на учёте: им всё равно на фронт скоро, нечего терять!

* * *

Собралась на завод „Айваз“ утренняя смена, три с половиной тысячи,— ей кричат: всем на сходку! И не свои, но пришлые ораторы держали речи, и не о хлебе (хлеб айвазовцам выдавало начальство), а что с этим правительством больше жить невозможно, всем бросать работу и идти в центр города. И поддержат их все заводы.

* * *

На всей Выборгской стороне завод Эриксона — самый обеспеченный и самый мятежный. Кому по хлебным лавкам, а эриксоновцам — на Невский! Бастовать — так не по домам сидеть, а пусть буржуи трясутся.

Только Сампсоньевский проспект после завода — узкий, и две с половиной тысячи эриксоновцев колонной своей — весь закупорили. А впереди, ещё много не доходя до Литейного моста,— на конях казаки, выстроенные ещё с последних фонарей, при первом брезге утра.

Жутко. С шашками кинутся если сейчас — порубят, деваться некуда, не защититься и не бежать.

Однако уже — и сошлись, спёрлись в узости.

А фланговый казак тихо: „Нажимайте посильней, мы вас пропустим“.

Но офицер скомандовал казакам: ехать рассыпным строем на толпу. И первый — врезался, пробивая путь конём.

А казаки — подмигивают рабочим. И — стягиваются гуськом, в коридор за офицером. И — тихо, по одному, не давя, и шашек не вытаскивая.

И рабочие, от радости невиданной:

— Ура-а-а казакам!!!

Всем заводам дорога чистая к мосту.

* * *

Толпа простого народа с Выборгской и Полюстрова густо подвалила к Литейному мосту. А дальше путь — крепко загорожен: полиция пешая и конная, и больше двух казачьих сотен, и рота запасного Московского батальона.

Стояли и глазели. Мирно.

Тут подъехавший полицейский генерал вышел из автомобиля, расставил ноги против толпы с предмостного подъёма и громко спросил всех сразу, оглядывая:

— Почему не работаете, стоите без дела?

В толпе все вместе сильны, а ответить — надо отделиться, сразу ты ничто. Толпа любит разговаривать вся вместе. Но всё ж из передних, посмелей, решились:

— Муку, ваше превосходительство, населению почемуй-то не раздают...

— А гонят спекулянтам.

— Народ, видишь, голодает, а спекулянты-те наживаются.

— Грят, велено пекарням ржаного боле не выпекать.

Генерал:

— Неправда!

— Ну как неправда, люди говорят.

— Всё неправда! А вот хотите,— свеже пришло ему,— вот вы четверо, поедемте со мной сейчас в градоначальство, и я вам в продовольственном отделе покажу все книги и накладные прибывающей муки. Поедемте, не бойтесь! Один хоть прямо сейчас со мной в автомобиле, а остальные приходите следом, тут ходу двадцать минут. А? Кто сядет?

Запосмеивались. Заподталкивали друг друга. Да всё в нарошку, никто б не пошёл: как это? — от толпяной силы оторваться — и туда отдаться в руки им, в *учреждение*? Дураков нет!

Не шли. Балк сел в автомобиль, но не завернул на мост назад, а попросил пропустить его — дальше, на Выборгскую!

Толпа расступилась, немало кто и поклонился проезжающему генералу.

Балк сделал небольшой круг по Выборгской — до Сампсоньевского

моста. Если не очень вглядываться — как по улицам ходят да что там внутри заводов,— так будто всё и в порядке.

По Большой Дворянской (вчера тут четыре тысячи было разогнано конными городовыми) — на Троицкий мост. Тоже и на Петербургской стороне спокойно. Можно думать, сбудется предсказание начальника Охранного отделения, что всё обойдётся мирно. С этим поехал на совещание к Хабалову, на его квартиру у Литейного же моста, на Французской набережной. Хабалову не надо и телефонных донесений ждать, и сапог натягивать,— из окна всё видно.

* * *

А донесения в градоначальство просто не успели. А на Петербургскую сторону Балк углубился мало.

Именно здесь вчера первые начали бить лавки, хлебные и мелочные,— обошлось, понравилось. И сегодня именно здесь продолжали. С утра разграбили мясную лавку Уткина на Съезжинской,— хотя не о мясе шёл спор, а как-то само пошло: камнями — в стёкла, там одна баба вперёд, за ней и все, и — кур, гусей, свиные окорока, бараньи ноги, куски говядины, рыбины и масло плитами безо всяких денег захватывали и уносили. (В тот же день пошла полиция с обысками по соседним домам. У кого и нашли, а кто подальше жил — тю-тю, всех не обыщешь.)

И чайный магазин заодно разграбили: чай-то, он в руках лёгкий, а дорогой, чаю полгода не покупать — економично. (Захватили городовые двух баб и одного подростка, увели.)

А откуда-сь-то поутру уже и толпа стянулась из малых улиц тыщи три — просто люди-жители и ученики разные, в формах своих и без форм, и студенты — вывалили с Большого проспекта на Каменноостровский, всю мостовую забили — и наддали к Троицкому мосту. Пробовали петь, но недружно получалось, не все знали, что ли.

Казачий разъезд нагнался на толпу — разбеглись.

Разбегались легко и кажется без обиды: вы — гонять, а мы — бежать. Привычно.

* * *

Стоят солдатики перед Литейным мостом.

Стоят не слишком бравые, иные ремнями как кули увязаны, еле туда в шинель упиханы, но форма единая, винтовки единые к ноге,— и оттого как бы строги. Стоят, молчат — и оттого строги.

А — что будут делать, ежели...?

Это — девкам лучше всего узнать. Мужчинам штатским к военному строю подходить не положено, неприлично: а ты, мол, почему не в нашем строю? Да и опасно: какой-нибудь там пароль пропустишь — хлоп тебя на месте!

А девкам — льготно. По две, по три под ручку собрались — и подкатили к самому строю, зирками постреливая, посмеиваясь или семячки полускивая:

— Чего эт'вы, мужики, сюда притопали? Немец — не здесь, ошиблись.

Ежели что штрафно или смешно — так это на вас ложится, не на нас: войскам на улицах делать нечего всурьёз, а мы — бабы, у себя на Выборгской, вот, семячки лускаем.

Солдату из строя — не очень отозваться, дисциплина. Только улыбнётся какой украдкой. Девки-то — кому не понравятся? Ещё молоды, фабричной сидкой не замотаны, губы свежие, щёки румяные.

Да к строю самому вплоть не подойдёшь — впереди прапорщик похаживает. Хмурый очень. А сам-то молоденек, тоненек.

— Ваше благородие, что это вы больно хмурый какой? Или невеста изменила? Так другую найдём.

Засмеялся:

— А какая на замену?

— Да хоть я,— облизнула губы. Разговор совсем вблизи, девки слышат,

солдаты нет, полиция нет. И, ещё зырнув по сторонам: — Слушай, неужель в народ пришли стрелять, а?

Аж залился:

— Да нет конечно! Да позор такой. Ничего не бойтесь, мы не тронем!

Стоят и казаки конные поперечной цепью. Смирны, рабочие с ними заговаривают, те отвечают. Тогда из толпы стали прямо подныривать под казачьих лошадей, и так пробираться дальше. Казаки не мешали, посмеивались. Тут подъехала конная полиция и загоняла пронырнувших назад.

* * *

А меж тем солнышко пробилось и заиграло не по-питерски. Морозец спал, только что не тает. С крыш капель посочилась.

По Большому проспекту Васильевского без трамваев далеко видны хлебные хвосты — по одну сторону и по другую. Стоят смирно, стёкол не бьют, а слух тревожный:

— Завтра-послезавтра хлеба вовсе продавать не будут. Теперь в городе — заведующий продуктами новый, немец, и желает два дни подсчитывать, выпекать ли дале хлеб.

А то неделю целую передавали: взрослым будет по фунту, мальцам по полфунта,— отчего и хвосты сбились.

А посередине, по трамвайным рельсам, близится шествие. Ещё передей бежит детвора — в шапках с растопыренными ушами, в пальтишках, домашних кофтах, у них-то и главное веселье. Скудный один красный флаг, да и тот подлинялый. Не много и голосов, но все молодые, искрича поют, вызывательно. Девушки в пуховых косынках идут длинными изгибистыми рядами, все сцепясь под локти. Рабочие парни, в пиджаках на вате, смотрят сурово. Улица расступается перед ними — и хлебные хвосты загибаются, и прохожие к стенам домов.

— Пошли с нами, чего стоите? На Невский, за хлебом!

Нет, обыватели не решаются, шествие не увеличивается. Так — ещё вырывистей голоса:

— Вставай, подымайся...!

Погода тёплая, солнышко светит.

Поперёк улицы стоит цепочка неуклюжих бородачей-солдат. Офицер в полушубке показывает им пропустить шествие.

* * *

Кому время пришло — это подросткам. Озорство — и дозволено, надо ж! Что к чему — это взростным знать, а нам! — с палками по Лиговке бегут и в мелочных лавках стёкла — бей! бей! бей!

В шести разбили — дальше пробежали. И не поймаешь.

* * *

А собралось нас, чёрного народу, видимо-невидимо. Всю Пироговскую набережную уставили, и на Полюстровскую крыло и на Сампсоньевскую. Со всех заводов поуходила Выборгская сторона, изо всех улок выперла к набережным — тысяч сорок нас, право. А — чего дальше?

Так-то стоять час-по-часу и в хвосте можно, так там хоть с буханкой тёплой выйдешь, а тут чего? А всё ж таки: в хвосте стоять надсадно, как пригнули тебя, упинайся кому-сь в затылок. А здесь вольней, сами себе хозяева,— вот, пришли и стоим!

Горит Нева, вся в солнце, в снежных искрах. И перегораживает и манит.

Мы — и не Питер вовсе, мы — так, слобода приписанная, для работы на их, на бар. Вроде и не на их — а всё на их. Вона-ка их чистый город — башни, башенки, дворцы да парки, так и отстроились особно, а наш люд — пиханули за Большую Невку. И никогда справедливости не будет: они повсегда будут чистенькие, а мы — корявые.

Не только мост перегородили, а у сходов с набережной к реке тоже стоят наряды полицейские.

И чего стоим, спроси? Ещё раз посмотреть на их город издали? Вроде город же единый, и трамваи единые ходят, и для того мостами соединёно, а вот — спрашивай правду! Нету нам ходу! Вечор на этом самом мосту, на Литейном, кажный трамвай в город посерёдке моста останавливали, значит вхаживали околоточные с городовыми и шли по вагону проверяли ездоков, на глаз. Да только глаз у них мётаный, как свинчатка бьёт. По рылу, по одёжке, а то и руки покажи, документа не нужно: выходи! За что? Выходи и всё. За что такое, в чём я повинен? Выходи проворней, меньше разговаривай. А то — и за плечики, за локотки. А остальные, свои, кто к образованным потесней,— те себе поехали дальше, зазвонил трамвай.

Заразы эти и трамваи, жисть бы их и не видать. Это ж придумали: чтоб ногами совсем не ходить, от дома до дома и то на колёсах.

И ничего там, в городе, заманного нету для нас, ржаником нашим и не торгуют, а ихними нежностями не напитаешься, все тамнии забавушки, кафетушки — ногою пни, и одёжка ихняя несуразная — дорогая, а вся в дырах, не греет. А вот — перегородили! Перегородили как не людям, и играет сердце обидою: на Невский! Айдате на Невский!

А ежели через Неву прямо? Лёд ещё крепок, не весенний. Снег небось по колено, не хожено?

Как вот на бабу, бывает, загорится, как будто ни кой другой не бывало: никни, и всё! Хотим — на Невский!

* * *

В полдень зазвонили сразу все пять телефонов в градоначальстве: прямо через Неву! по льду! гуськом! пошли вереницы людей непрерывные!.. Ниже Литейного моста!.. И выше Литейного моста! На Воскресенскую набережную, в нескольких местах!.. И к городской водокачке!

Во многих сразу местах! по глубокому снегу торят тропки! по-шли!!

А что полиции делать? Оружия сказано — не применять. На гранитных набережных левого берега стоят полицейские наряды у ступенек — но если беспорядки надо прекратить без толчка, без ушиба, без ссадины,— чем же они эту массу остановят?

Остаётся — пропускать?

Вот достигли левого берега, прут по ступенькам вверх. Где фараоны, в обхватку рук, силятся будто задержать, а где — как дремлют, не видят.

А что? — идут ребята, не озоруют, а не написано правила такого, что нельзя через реку пешком идти.

* * *

А на всех главных улицах центра публика — поплотнела, еле на тротуарах умещается, расширенное гулянье. Опять же и — солнечный, легкоморозный весёлый денёк. Чистую публику ещё больше тянет — что-нибудь да выкинуть, назло властям. Ждут рабочих на зачин.

* * *

По Знаменской улице, по глубокому разъезженному снегу, одноконный извозчик-старичок в санках вёз седока к Николаевскому вокзалу. И увидели, как по Невскому бегут толпы людей и что-то кричат. Извозчик перепугался, встал с козел и погонял концами возжей (в Петрограде извозчикам кнуты запрещены), повернул в переулок к Лиговке:

— Да чо ж они делают! Чичас война, а они бунтуют, кричат. Чичас их залпом ударят — могут и нас побить!

* * *

В парикмахерской у Аничкова моста. Стригут, бреют, вежеталят, как всегда. Деловых людей не больше, не меньше, чем обычно.

— Да-а, в воздухе пахнет демонстрацией, господа!

— Странно, что полиция не принимает никаких мер.

— Ох, подозрительно мне это бездействие. Что-то мрачное затевают

власти. Удивительно: дают демонстрантам свободно по улицам ходить, будто заманивают.

* * *

По Каменноостровскому в сторону центра повалила новая семитысячная толпа — быстро они собрались, да ведь почти все не на работе, учреждения тоже закрывались. Из окон лазаретов помахивали раненые. Перед толпою кричали, плясали, забиячничали мальчишки и девчёнки.

Пристав велел прекратить шествие. Не послушали.

Тогда, отступая со своим нарядом, он приказал конно-полицейской страже по соседству — выехать на проспект и рассеять толпу.

Зацокали лошади, выехали кривым крылом конные городовые. Смешанная публика — и мастеровые, и мещане, и почище, и гимназисты, и студенты, быстро очистила мостовую, пошла по панелям. Оттого сгустилась — и из этой большой густоты, уже при конце проспекта, против Малой Посадской — грохнули из револьвера в полицейский наряд! П е р в ы й выстрел этих дней!

Но — не попал, ни в полицейского, ни в кого. И — затолкался быстро в толпе, не обнаружили. Да толпа и не выдаст.

Сгущена толпа на тротуарах — как в ожиданьи высочайшего проезда. Только через дорогу вольно переходят, валом.

И теперь — по ту сторону, уже на Малой Посадской — из того же револьвера, или согласовано у них,— в ы с т р е л! Второй!

И закричала женщина, случайная. Упала. Ранена в голову. А в городового опять не попал!

Послали за каретой скорой помощи.

А голубчика — опять не поймали: густо стоит публика, и не выдаёт, не показывает.

Реалист у края панели закричал, что — вот именно этот городовой застрелил женщину.

Тут же подошёл полицеймейстер, при всех проверил у городового патроны в револьвере. Ещё было время проверять правду. Все на месте. И в канале ствола нет порохового нагара.

Реалиста Титаренко задержали.

Та женщина в больнице умерла.

* * *

Сколько по льду ушло охотников, а нас перед Литейным мостом — как и не убыло. И подполняются, и подполняются.

И даже оно само так получается, без умысла, задние подпирают, а мы исплотна — вперёд да вперёд, под самые головы лошадиные. Так вот, по вершку, а лезет толпа на лошадей. Лошади отфыркиваются, головами мотают, отпячиваются,— у лошадей-то сознание есть.

А конные чуть отступят — так и пешая полиция отходит, само собой.

Так по вершку, по вершку, беззаметно, из вершков — сажени, вот уже и у моста.

Полиция окрикнет — так ведь никто ж вперёд и не идёт. А напирают сзади просто. Не бранимся и мы в ответ, разве кто огрызнётся. Бабы — про хлеб добавят. Ежели на полицейских вот так бы близко часто смотреть вплоть — тоже ведь люди. Тоже подумать — и они на службе, и у них семьи и дети.

— А ваши бабы за хлебом стоят в хвостах?

— А где ж им брать?

— А что ж мы их не видим?

— А что ж им, нашу форму натягивать?

А уже мы почти и на мост ступаем. Тут поперёк ещё драгуны, кони в два ряда.

Вот теперь ежели рвануть — будут рубить? нет? Как бы с лиц драгунских вычитать? — не скажут же при полиции вслух.

Да ведь эвона сколько мы протоптались — что ж нам теперь, это всё пропятиться?

И как-то само возникает, ни вожаков же не было, ни сговора, только переглянулись чуть и заорали:

— Ура-а-а-а!

А сами ни с места. Сильней, и сзаду тоже:

— Ура-а-а-а-а!

Да вдруг — как толканули поршнем по мосту, это ж могут, толпа, с ног сбивает. И все:

— Ура-а-а-а-а-а!

Полицию ту прорвали и не заметили, а на драгун: ну-ка?..

Не бьют! не бьют! шашек не шелохнут, а кони пятятся.

— Ура-а-а-а-а! — пронесли через конницу! И — по мосту! И — по мосту бегом!

И — четь моста! И — полмоста!

А там — всего ничего, дюжина городовых — а шашки вон!

И у полковника — лицо зверячье. И у других не мягше: будут рубить! Будут рубить, сколь поспеют, а сами лечь готовы, да!

И остановилась тысяча перед дюжиной. Всё ж таки первым без головы остаться...

Но кто позадей, значит догадался, поднял и кинул — сколотого острого льда кусок — в городового! Тот схватился, кровью залитый, шибко залитый, и шашку выронил.

А как кровь пролилась — побежали через них. И кто-то по пути из снежной кучи выдернул — лопата! Она ещё страшней, если размахнуться!

Не рубят! Пробежали.

— Ура-а-а-а!

На Невский теперь! (А зачем — сами не знаем.)

А задних там оттеснили, они вопят:

— Кровопийцы, хлеба!

— Опричники!

— Фараоновы рожи!

А нам дорога пока свободная, ноги лёгкие:

— На Невский!

* * *

Не так понимать, что жизнь города прекратилась. Всё себе шло.

В редакции газеты „Речь“ готовились к годовщинному банкету, будет сам Милюков и все вожди ка-дэ.

Из Луги приехал ротмистр Воронович (скоро мы о нём узнаем), сидел в гвардейском Экономическом Обществе — никаких беспорядков не заметил, и никто ему не обмолвился.

Да и многие в городе ничего не заметили. Генерал Верцинский на извозчике по городу ездил, ничего не видел, только слышал с Невского шумы. Вечером поехал в театр, как многие.

Да сам премьер-министр князь Голицын испытал сюрприз, что не мог проехать обычной прямой дорогой от себя с Моховой — и в Мариинский дворец, на заседание правительства. Пришлось крюку дать.

На совете министров в этот день были разные рутинные дела, городских волнений не обсуждали: и Протопопов на заседание не явился, а беспорядки эти сегодня от полиции переданы властям военным, с них и спрос.

11

Брякнула звонком, ворвалась Вероника с Фанечкой Шейнис:

— Ой, тётеньки, на минутку! Литературу зря брали, сейчас не до неё, положить, с ней и влипнуть можно, как Костя!

У Вероники — быстрота движений и решений, с прошлой осени, новая.

— Какой Костя?

— Мотин приятель, Левантовский, из Неврологического. Речь кричал к рабочим, полиция схватила, а в кармане сложенный лозунг на бязи: „Да здравствует социалистическая респу...“

— Ты что, тоже будешь речь к рабочим говорить? — тётя Агнесса с одобрением.

— Не знаю, как придётся! — смеялась Вероника.

И толстенькая добродушная Фанечка:

— Как придётся. А почему б и нет?

— Вероня, Фанечка, подождите, поешьте немного! — хлопотала тётя Адалия.

— Ой некогда!

— Ну вот паштета. И холодца.— Уже тарелки ставила.

Девушки присели как были, в шубёнках и в шапочках, на края стульев.

А тётя Агнесса, сильно волнуясь, третью спичку ломая перед ними, в досаде:

— Вот, задержала ты меня! Разве можно в такие часы дома сидеть! Мы всё пропустим! Что видели, девочки? Где, расскажите?

Паштет пошёл, однако. И с непробитыми ртами:

— Сперва у Сименса-Гальске, на 6-й линии. Кричали им, свистели. Сперва не шли, а потом хлынули — ну, тысяч пять...

— ...Да больше! Семь тысяч! — выкатили из ворот...

— ...И — к Среднему! А конные городовые — ну, куда, их мало! А тут же близко — казаков человек десять, и полиция позвала их на помощь...

— А они!!! При всей толпе, ни слова не отвечая! — молча простояли! толпу пропустили! — и за толпой поехали, опять молча!!

— Сзади! За толпой! Как будто ни в чём не бывало!

Сияли девочки.

— Да скоро и в переулок свернули. Самим стыдно!

— Это поразительно! Казакам — и то стыдно!!

— А один казак пику обронил — так ему из толпы подали, по-дружески!

— Да-а-а! — дрожащую папиросу тянула, тянула тётя Агнесса и расхаживала по столовой.

А тётя Адалия на стул опустилась и сидела с зачарованной улыбкой.

— А потом толпа разделилась. Мы пошли с той, которая к Гавани. Тут стали ломать заводские ворота снаружи, чтоб и этих снять, подковный завод.

— Нет, ещё раньше вот тут, на 18-й линии, лавку громили — и на улицу хлеб выбрасывали, прямо на мостовую!

— Дожили мы, Даля, дожили! — Агнесса ходила и всеми суставами выхрустывала.— К а з а к и переменились!!! Ну, тогда *им* конец!

— Трамвайщики из депо с утра не хотели выезжать: обеспечьте сперва хлебом!

— Да им езда! Один вагон толпа уже стала толкать, опрокинуть. А солдаты за плечи оттаскивают, вагон спасти, потеха!!

— Гимназисты — марсельезу поют, народ учат!

— Вообще — настроение у всех, тётеньки! Идите и вы скорей, ещё что-нибудь увидите! А мы — побежали. Если Мотя позвонит, скажите не учимся! Да он и сам, конечно!.. А Саша не звонил?

— Надо вызвать стрельбу! Добиться стрельбы! — напутствовала тётя Агнесса.— А так — всё пропадёт даром, поволнуются и кончится.

Фанечка уже утаскивала Вероню. Захлопнулась за ними дверь.

— А Сашу — не могут заставить давить? — сильно тревожилась тётя Адалия.— Учреждение не должны бы?

— Ну, Сашу ты не знаешь? Уж он никогда!

— А если заставят всех военных?

Агнесса закурила новую, но тут же стала гасить:

— Нет, пошли! А то я одна пойду. Ты подумай: может быть именно этого дня и ждали, именно его мечтали на календаре увидеть — все, отдавшие...

Прислушались у форточки. Как будто издали — рабочая марсельеза, голосами молодыми.

— Эх,— махнула рукой Агнесса и пошла одеваться,— и марсельезу не так поют, разучились с Девятьсот Пятого.

12

24-го, в пятницу, вызвали один взвод учебной команды Волынского запасного батальона в караул на Знаменскую площадь. Командовать послали штабс-капитана Цурикова, весёлого лихого офицера, после ранения доздоравливающего в запасном, не знающего тут ни солдат, ни даже всех унтеров. А в помощь ему назначили фельдфебеля 2-й роты той же учебной команды старшего унтер-офицера Тимофея Кирпичникова — поджарого, с хмуроватым неразвитым лицом, короткой шеей, уши плоские прижаты. Давний волынец, ещё с мирных лет, унтер того типа, который службу знает отлично,— может, ничего другого, но уж её-то знает.

Из своих казарм пошли во всю длину Лиговки и в последнем доме её перед площадью спустились в просторную дворницкую, в подвал, где китайская прачечная. Там — скамьи были, можно было и сидеть, винтовки составив пирамидками. И курить, не все сразу. А снаружи — двух часовых.

Штабс-капитан не остался тут, ушёл в Большую Северную гостиницу, посидеть за столиком.

Жизнь солдатская, что-нибудь всё равно заставят: не ученье, так вот сидеть тут, в шинелях перепоясанных, друг ко дружке изтесна. Хочешь — молчи, хочешь — старое переговаривай, уже все про тебя знают, и ты про всех. Не солдатам, но дружкам-унтерам рассказывал не раз и Тимофей про свою сиротскую жизнь, разорённую семью, отца-шорника, мачеху,— и как только в армии нашёл он свой дом, да повезло ему попасть в гвардию, в Варшаву.

Это значит, для того их посадили, чтобы снаружи не видно было солдат, будто никого нету. Стесняются перед народом. А часовые у подворотни — мало ли что.

Но не так долго посидели, с часок. Прибежал Цуриков, ещё с лестницы кричит:

— Кирпичников!

— Тут, ваше высокбродь!

— Командуй „в ружьё"!

— А что такое? — Тимофей себе цену знает, не так уж сразу перед всяким офицером, не на каждую команду выстилается. Он и сам в школу прапорщиков метил, добивался. Не послали.

— Идут!

— Кто идёт?

— Да чёрт их знает, выводи!

Ну, скомандовал „в ружьё", разобрали винтовки, потопали по лестнице.

А снаружи — солнце, мороз лёгкий.

На убитом, уезженном снегу развернулись фронтом против Невского, поперёк него.

Видели: по Невскому, по мостовой, надвигается толпа. И — два флага над ней красных.

А обстановка нисколько ж не боевая: теснится публика прямо на солдатские ряды, сзади и сбоку, и подговаривает, да не отчаянно, а весело так, подбивисто: „Солдатики, не стреляйте! Смотрите, не стреляйте!"

Кирпичников, оглядясь, офицер не вблизи, тихо:

— Да не бойтесь, не будем.

И что в самом деле за задача такая: среди города, среди народа стоять — и в народ же стрелять? Солдатское ли это дело?

А попробуй — команды не выполнить?

А толпа с флагами — валит, ближе. И почерней одета и почище, и из простых и из образованных. И кричат:

— Не стреляйте в народ, солдаты!

Но и сами не верят, как играют.

Штабс-капитан стоит не слишком струной, не строго смотрит. И никакой команды не подаёт.

Кирпичников подошёл к нему, тихо:

— Ваше высокбродь, они ведь идут — хлеба просят. Пройдут — и разойдутся, ничего.

Штабс-капитан посмотрел, плечами пожал. Он — в вольном полёте, тут ненадолго задержался, что ему служба здесь.

Да Тимофею и самому тут надоело, но задержали его в батальоне как хорошего обучающего.

А передние в толпе замялись. Смотрят на офицера, не идут дальше, на площадь.

Штабс-капитан улыбнулся, отмахнул ладонью лихо: проходи, мол, проходи!

Толпа разделилась — и стала огибать оба фланга солдатского строя. Сперва робко, потом смелей.

Потом кричать стали:

— Молодцы, солдаты! Спасибо!

А дальше громче:

— Ура-а-а!

А там, дальше, на площади,— вот тебе, стали собираться к царскому памятнику на коне. Нисколько не расходятся.

Худо дело. За это нас не погладят.

И там — заговорили крикуны с мраморного стояла.

О чём — сюда плохо слышно.

А то бы и послушать.

Из его роты ефрейтор Орлов, питерский рабочий, важивал его тайком на одну квартиру на Невской стороне. Простая квартира, рабочая, в посёлке Михаила Архангела. И из других запасных батальонов там приходило солдат пяток. И два студента всё-всё разъясняли им, какие были цари, все кровь народную лили и за счёт народа пировали. И — такие же все дворяне, и такие же — петербургские все правители. А теперь, вкупе с иными генералами, торгуют кровушкой русского солдата. И измену — передают немцам. И Распутин к этому приложен, а царица с ним валяется. И вот куда мы идём. И вся эта война нашему народу совсем не нужна.

Чего и правда, чего и наболтали. А сердце аж захолонывает.

Придумал штабс-капитан, махнул: уводи!

Верно. Нам теперь хуже тут стоять.

Ушли пока в дворницкую.

13

ЭКРАН

Меж четырьмя бронзовыми конями Аничкова моста
мчатся живые два! — красавцы-кони! —
извозчика-лихача —
мчат легковые санки, в них ездоки —
солидный господин, уверенный и с улыбкой,
и дама рядом, с меховым воротником, в широкой шляпе с перьями.
Но на самом скате с моста — кони поёжились, замялись, заплясали на месте,
извозчик откинулся — изумлённо или в страхе,—
= молодой мастеровой в поддёвке, шапке набекрень —
стал на пути, не побоялся, руку поднял —
и так остановил коней. Одного за узду — и обходит,
показывает взмахом: слезай, мол, слезай!
Извозчик — надулся, лопнет, а господин —
господин монокль откинул, улыбается, недоразумение просто:
— *Т о в а р и щ! Зачем же так? Я тоже — за свободу! Я — корреспондент „Биржевых Ве...“*

= Но не для того парень под скок становился:

— Биржевой? Накатался! Сле-зай!

= За локоть сдёрнули с саней господина.

Господин — своё загалдел, дама — закудахтала, но слезают, извозчик — своё,

= ну! взамен вспрыгнули с двух сторон приятели:

— Гони!

Извозчик ощетинился:

— А кто мне заплатит?

— А вон, видишь? —

показывают:

= На Фонтанку легковых извозчиков пяток свернули, уже без седоков. И ждут, денег не спрашивают.

= Парень в санках в рост, обеими руками размахнулся вольно — да на плечи извозчику, хлоп!

— Е-дем!

По-ка-тили!

Покатили ребята, не спрашивай, почём,— да вдоль по Невскому! Вдоль по Невскому

если глянуть вдаль

= что-то люда много на мостовой и трамваев слишком густо.

= Ещё какой-то если трамвай идёт, не стал —

перед ним мальчишки на рельсы, лет по 15, он тормозит,

прыгают к нему на переднюю площадку

и ручку из рук вырывают!

И — поди не послушайся. Ещё ж его и ругают! Вагоновожатый пожилой

усмехается горьковато, к стенке откинулся. Это ж — работа его, и обидно: ключ отдавать соплякам.

= Уже унесли, побежали! Ключом трясут и кричат!

= Пассажиры в трамвае —

по-разному.

А в общем что ж? — выходить, да пешком.

* * *

На Казанском мосту,

как проглядывается Спас-на-Крови вдоль канала

смешанная толпа рабочих, баб, по одёжке видно, что с окраины, и подростков.

— Дай-те хле-ба!

— Ха-тим есть!

И не все, но голоса отдельные стягивают, тянутся вместе стянуть:

Вставай, подымайся, рабочий народ!
Иди на борьбу с капита-а-а-лом!

И — вырвался вверх красный флаг! Подняли там в середине.

И крик молодой надрывный звонкий, одинокий:

— Долой! полицию! Долой! правительство!

А — хода им нет: тут же — конница,

кончилась песня,

драгуны наезжают конными грудями на рабочих — и теснят их вбок — туда, вдоль канала.

Негрубо, без шашек — туда, к Спасу-на-Крови.

И флага не стало — упал, убрали.

Гул неразборчивый. Крики злые.

Утихающий ропот. И только мальчишеские сдруженные весёлые голоса:

— Дай-те-хле-ба! дай-те-хле-ба!

= А на тротуарах — публика почище,

хорошо одетая.

Смотрят зеваками сочувственными,

но радости — как будто и поуменьшилось.

* * *

Церковь Знамения.
Памятник Александру III, на красном граните. Император-богатырь, вросший конём навеки в параллелепипедный постамент.
Тяжесть, несдвигаемость.
И — пятнадцать конных городовых,
отлитых молодцов, живые памятники,
с шашками наголо, не усмешечками, как казаки,—
цокают
навстречу. А — шутить не будут.
А — не будут!?
Из глубины от нас — сви-и-ист! ви-и-изг!
А тут, через площадь от Лиговки — ломовые сани тащатся,
воз дров.
Сви-и-ист! Ви-и-изг!
И чья-то рука протянулась —
хвать полено!
да и — метнула в конного.
Со всей его гордостью, твёрдостью — а поленом в харю! Не хотел?
Метко наши ребята бросают — чуть не свалило его, схватился за лицо, кому не больно? —
И лошадь завертелась.
А — пуще свист на всю толпу! и — орут!
и десяток бросился к тем поленьям — разбирать да швырять,
из-за воза как из-за баррикады.
Двое конных было сюда — а тут нас и не возьмёшь.
Полено! — полено! — полено! — полетели как снаряды!
И помельче летят — то ли камни, то ли лёд.
А — визгу!
Перепугались лошади. Закружились — прочь уносят.
В коне их сила — в коне их и слабость.
А одни ускакали — другим конным тоже не оставаться —
завернули — и прочь, туда, к Гончарной.
= Один только коняка не шелохнулся —
Александров. Конь-то — из былины.
И — Сам.
= Площадь — свободна, и всю запрудила толпа с Невского.
И что ж теперь? — Митинг!
И где ж? Да на постаменте ж Александровом, другого возвышенья и нет.
Взбираются, кто как горазд.
Крепко ты нас держал — а вот мы вырвались!
И кричат — кто что придумает, люди-то все случайные, говорунов ни одного:
— *Долой фараонов!*
Ура-а-а-а!
— *Долой опричников!*
Толпа-то на площадь вся вывалилась, а в устье Невского, замыкая его —
полусотня казаков.
Чуть избоку на конях, снисходительно. Щёголи.
Так получилось — они тоже вроде на нашем митинге.
С нами!!
— *Братьям казакам — спасибо! Ура-а-а!*
— *Ура-а-а-а-а!*
Ухмыляются казачки́, довольны.
А ура — гремит.
И что ж им, чего-то делать надо?
А — раскланиваться придумали.
Раскланиваются на стороны.

Как артисты.
Кто и — шапку снимет, поведёт низко чубатой головой.
С нами! Казаки — с нами!

14

Одно горе всегда выталкивает другое. Корь как тёмный огонь охватывала одного ребёнка за другим — и подняла мать совсем было сломавшуюся сердечную машину, и утвердила её на ногах, и отодвинулось всё раздирающее, гнетущее, не дававшее ей подняться уже третий месяц.

Началось со старшей, Ольги, всё лицо покрылось красной сыпью, сильно,— на 22-м году уже не детская болезнь, опасно очень. Потом — у Алексея, не так сыпь на лице, как во рту, и глаза заболели. Охватила корь сразу кольцом, от старшей до младшего, и уже ясно стало, что из этого кольца вряд ли вырваться остальным, подозрительно кашляли и те. Разделила детей, но поздно: сегодня было 38 с сильной головной болью уже и у Татьяны — главной сиделицы, умелицы, неутомимой помощницы матери во всех практических делах. Слава Богу, ещё держались две младшенькие. Александра Фёдоровна попала как в круговой бой, со всех сторон враг (да она так и привыкла за последний год...), а помощь малая и не решающая. Затемнив шторами комнаты заболевших и в своём привычном платьи сестры милосердия, она переходила от одного к другому возвратившейся твёрдостью шага.

И в первый день та же корь перекинулась на взрослую Аню Вырубову, которая и вовсе должна была перенести тяжело. Со страшного 17 декабря взяли её из её одинокого домика и держали у себя в Александровском дворце, опасаясь, чтоб и её не убили так же, как Григория Ефимовича, угрозы приходили ей давно, а она и вовсе была беззащитна, на костылях. Теперь она разболевалась при своих двух непрерывных сиделках, в другом крыле дворца, куда, через протяжения апартаментов, государыне и дойти было нелегко, её отвозили туда в кресле, и она просиживала там час утром и час вечером. У Ани разыгрался ужасный кашель, жгущая внутренняя сыпь, но главное — она не могла дышать, боялась задохнуться, сидела в постели,— она ещё кроме всего была мнительная, легко поддавалась панике. Умоляла: в первом же письме к Государю просить его чистых молитв за себя, она очень верила в чистоту его молитвы, и пусть заедет поклониться Могилёвской Божьей Матери. (Той монастырской иконе Аня очень верила, бриллиантовую брошь отвозила к ней.)

Сами по себе сиделочьи обязанности не только не были трудны государыне,— она считала себя прирождённой сестрой милосердия ещё и до госпитальной практики этой войны. Бывало, она посещала и чужих больных неафишированно, и сама выхаживала своих, Анастасию — от дифтерита, Алексея — во всех его болезнях. Но теперь сама она была так подорвана и разбита, на пороге сорока пяти лет называла себя руиной.

Слава Богу, сейчас Алексей болел не в тяжёлой форме, для него всякая болезнь — насколько страшней. Но — что теперь будет с ним вообще, после смерти Друга? Убили — Единственного, кто мог спасти наследника. Теперь можно было только мучительно ждать неотвратимого несчастья. Григорий когда-то предсказывал, что через 6 недель после его смерти жизнь наследника будет в большой опасности и вся страна окажется накануне гибели. Правда, вот истекло уже 9 недель, но страх не исчез.

И как раз этой чёрной осенью Друг стал предсказывать лучшее: что выходим изо всего дурного, что осилим врагов. Впрочем, когда в последнее свидание в домике Ани Государь попросил при прощании: „Григорий, благослови нас всех“,— Друг внезапно ответил: „Сегодня — ты благослови меня“.

Предзнавал?

И государыня, как предчувствовала, в декабре виделась с ним едва ли не через день,— она искала поддержки в той смертной травле, которою была окружена. Сгустилась вокруг столичная ненависть и злословие — и с самыми близкими встречалась царская семья под покровом ночи и тайно.

В самый день убийства государыня послала Аню отвезти Григорию икону, привезенную из Новгорода. Воротясь, та рассказала, что поздно вечером Друг едет знакомиться в дом Юсуповых с Ириной. Государыня удивилась: какая-то ошибка, Ирина в Крыму. А — не придала значения, не предупредила. Как постигает нас затмение! Утром 17-го позвонила дочь Григория, жившая при отце: как уехал поздно вечером с Юсуповым, так и не вернулся. И тут ещё не придала значения. Через два часа позвонили из министерства внутренних дел: постовой полицейский показывает, что пьяный Пуришкевич, выбежав из дома Юсупова, объявил, что Распутин убит. Потом военный мотор без огней отъехал от дома. Но и тут, уже поняв, что случилось дурное, государыня не могла поверить в смерть Божьего человека! Затем стали звонить сами убийцы (но ещё она не знала, что убийцы!): Дмитрий, прося принять к чаю в 5 часов. Отказала ему. Затем — Юсупов, прося позволения приехать с объяснением, звал к телефону Аню. Не позволила ей подходить, а объяснения пусть пришлёт письменно. Вечером принесли бесстыдное трусливое письмо Юсупова, где клялся великокняжеский лжец, что Григорий в тот вечер у него не был: была вечеринка, перепились, а Дмитрий Павлович убил собаку. Лишь через два дня у проруби близ Крестовского острова нашли галошу Григория, затем водолазы нашли и тело: руки-ноги его были спутаны верёвкой, пальцы правой руки сложены как для креста, огнестрельные раны, рваная рана от шпоры — били шпорой,— но и ещё был жив, когда бросали связанного в воду: лёгкие ещё действовали, вскрытие нашло их полными водой.

А гнилая столица ликовала, все поздравляли друг друга: ,,злого духа не стало!“, „зверь раздавлен!“.

Разве это не было — убийство?? Разве это был не такой же случай террора, за которые революционеров заслуженно казнили? Убивали великих князей — и революционеров казнили, а убили мужика великие князья, вместе с крикливым извращённым Пуришкевичем,— и все хвалили, и никто не ожидал наказания! Но хуже: и растерявшийся ослабленный Государь не решался коснуться убийц! Как же можно простить злодейское хладнокровно задуманное убийство — и не наказать никого? Даже не арестовать, даже не судить,— простить? Но тогда в государстве не остаётся никакой справедливости и никакой защиты для остальных! Ведь лютые замыслы могут ползти и дальше, ненависти хватает. То-то Николай Михайлович в ноябре предупреждал в Ставке: *начнутся покушения!* Так это был — общий замысел великих князей?

За все годы — как-то не страшилась покушений царская семья. Да после убийства Столыпина и не было покушений. Казалось, это ушло навсегда.

Как же можно дозволять, чтобы нас попирали ногами?

Не было пределов всепрощению и слабости Государя! Постоянно оглядчивый только на мир и лад, Государь ни от каких событий не накоплял в себе грозы.

А династия не только не почувствовала себя обвинённою, но — обвинительницей! Великокняжеская семья в полный голос требовала, чтоб Государь не смел наказывать убийц,— как будто в убийстве и преступления нет. И между собою звонили, захлёбывались по телефонам, и писали по почте,— и зловредная Марья Павловна-старшая, и бывшая сестра Елизавета, и княгиня Юсупова, мать убийцы (государыне доставили её перехваченное письмо к государевой сестре Ксенье: жаль, что не довели дела до конца и не убрали *всех, кого следует*; теперь остаётся *её* запереть!).

С династией, с большой семьёю монарха, как и с великосветскою средой, от самого начала и до конца не найден был тон. Не состоялось сближение даже с императрицей-матерью — а тем более, что мамаша прислушивалась ко всем столичным сплетням. Пrограничились и другие многие обиды. Марья Павловна просила руки царской дочери для своего прожоги, кутилы Бориса,— государыня в ужасе отклонила такой брак, спасая свою девочку,— и нажила себе нового смертельного врага. Две черногорки, Милица и Стана, с которыми так были дружны когда-то (со Станой вместе волновались за стеной, когда подписывался Манифест 17 октября), и даже особенно — на

сокровенной почве мистики, и вкруг мсьё Филиппа и потом Григория Ефимовича,— сёстры-черногорки давно уже были лютыми врагинями, замышляющими, как посадить на трон своего Николашу. Но — и ни с кем во всей огромной великокняжеской семье не осталось ни сердечных связей, ни даже дружественности,— разве только с дядей Павлом, хотя он был обижен наказаниями. А вот любили Дмитрия как своего сына — и как он отплатил! У всех были свои счёты, свои причины обид, и даже монахиня Елизавета, родная сестра Александры, давно стала непримиримым врагом и не желала даже выслушать никаких объяснений о Григории. Великокняжеская клевета сама ринулась на соединение с клеветой великосветской, приёмная дочь великого князя Павла Марианна Дерфельден распространяла слух, что государыня спаивает Государя спиртными напитками, другие — что тибетскими зельями,— и какая же беззащитность у царской четы против этого злословия! Где, как, в какой форме, кому надо было опровергать, что Государь пьёт лишь за обедом обычную мужскую рюмочку?

Этой печальной зимой в Александровском дворце разрешили себе лёгкое отвлечение — позвали на три концерта, в крыле у Ани, маленький румынский оркестр,— и уже злословила вся столица, что во дворце — оргии.

И — спешили бросить свои обвинения! После визита Николая Михайловича в Ставку — приезжала в Царское всегда надутая и обиженная Виктория, теперь жена Кирилла, а прежде жена брата Эрнста, и по праву родства дерзко учила Александру Фёдоровну, что́ надо и чего не надо делать. Взбалмошный Сандро, муж Ксеньи, добивался у государыни аудиенции, когда она пластом лежала в постели этой зимой, умученная всем пережитым,— и Государь не в силах был отказать, только ту защиту выставил, что молча присутствовал при его обличительном, оскорбительном, отвратительном лживом монологе.

„Господи, что я сделала? Что я им сделала?“ — рыдала или замирала Александра после этих встреч, упавши лицом в руки. Против сплочённости династии она была бессильна.

Вся эта зима была временем писем и разоблачений. Уже какая-то из княгинь Васильчиковых, даже не взяв приличествующей высочайшему обращению бумаги, вырывала неровно листки из случайного блокнота и небрежным торопливым почерком гнала: „вы не понимаете Россию, вы иностранка, уйдите от нас“!

— Идёт охота на твою жену, как ты не понимаешь! — восклицала государыня мужу.

Простивши всем оскорбителям, всем наглым поучителям, даже не снимая мундиров с придворных чинов, даже Родзянке простив распространение записи своей беседы с Государем, только и сделал он в защиту: эту Васильчикову и болезненно-болтливого Николая Михайловича, перешедшего меру в великокняжеских сплетнях, выслал в их имения.

А в защиту супруги ото всех остальных нападчиков — нечем было ему разразиться.

Всей великокняжеской семье всего-то царского неудовольствия могли они выразить: не послать им в это Рождество подарков.

Государь — не был защитой супруги.

Защиты у неё не было. Только — Бог и молитва.

Она особенно любила и утешалась 36-м псалмом: Не ревнуй злодеям, не завидуй делающим беззаконие, ибо они, как трава, скоро будут подкошены. Покорись Господу и надейся на Него. Перестань гневаться и оставь ярость: делающие зло — истребятся, уповающие же на Господа наследуют землю.

А само собою эти месяцы не останавливалась в нападениях вся думская клика, и все Союзы, и бушевали в Москве беззаконные съезды их, понося власть. Государыня бы с чистой совестью передо всей Россией отправила бы в Сибирь — Львова, Гучкова, Милюкова, ехидного Поливанова, и это было бы только спасением России! Как можно терпеть внутреннюю измену, когда идёт война? Но Государь не только ничего не предпринимал против них, но искал, как уступить им: не посоветовавшись с женою, удалил старого Штюрмера, и несколько раз порывался пожертвовать даже преданным Прото-

поповым, и взял в премьеры вероломного Трепова, флиртующего с Родзянкой, и давал ему руководить собой (а его надо было повесить!). И ещё сколько сердечных уговоров стоило убедить Государя изгнать последних враждебных министров, и взять честного князя Голицына, и джентльмена Беляева наконец военным министром.

Будучи тут, в Царском, Государь сам вёл все дела и приёмы. Отъехав теперь на несколько дней в Ставку (отпустить его — снова было терзанием и страхом его новых ошибок), он оставил запись и назначение приёмов, хотя и второстепенных. Государыня могла и не выполнять за мужа этого распорядка, да ещё при болезни детей, но долгом чести считала вытянуть назначенное.

И так сегодня, сменив лёгкое платье сестры милосердия на тяжёлое шерстяное (какое попалось, государыня не очень их выбирала, а во время войны не сшила ни одной новой вещи),— вышла в зал и через немоготу, с головою занятой, старалась быть достаточно внимательной, принимая целую череду докучливых иностранцев — бельгийца, датчанина, испанца, перса, сиамца, двух японцев, это полтора часа, потом ещё кой-кого неотложных,— а потом и помощника дворцового коменданта генерала Гротена.

Дело в том, что, хотя государыне никто ничего не доложил, она вчера за вечерним чаем узнала от близких друзей-гостей, флигель-адъютанта Саблина и от Лили, жены флигель-адъютанта Дена, о том, что в Петрограде были беспорядки, громили булочные. Но такие вещи государыня хотела бы узнавать и через своих официальных лиц! Она вызвала Гротена и поручила ему выяснить у Протопопова — что там? Протопопов успокоил по телефону, что ничего серьёзного. Сегодня же с утра, говорят, беспорядки продолжались даже хуже, и вызывали казаков,— Гротен ездил к Протопопову и привёз успокоение: беспорядки уже спадают, всё это передано в военные руки, генералу Хабалову, завтра всё будет спокойно.

Ещё не раз за день отвлекали государыню и к телефону, день был такой раздёрганный, и захотелось ей умиротвориться, заглянуть в свою любимую церковь Знаменья.

Хотела взять с собой двух младших дочерей — Марию и Анастасию, но в горлах у них доктора обнаружили подозрительные признаки. Ах, так и будет!.. Поехала без них.

Морозец был всего 4 градуса, бледное солнце, а воздух показался совершенно дивным, изумительным — каким только может быть чистый морозно-снежный воздух в самый канун весны.

В дневной полутьме и тишине церкви опустилась на колени. Поставила свечки за всю семью, и молилась за всех. Пусть пламя свечей подымет её молитвы к небу! А особенно — за слабого духом Государя. Чтобы в нынешнем своём тяжёлом одиночестве в Ставке, без тепла от жены и от сына, но перед чередою неотклонимых государственных дел — был бы сам он неуклонен, нешаток, достоин той твёрдости, которой жаждет страна.

Делающие зло истребятся. И потомство нечестивых истребится. Потомство же праведника в благословение будет.

15

Ликоня была для Саши Ленартовича какое-то заклятье, искус. Её недоуменно-загадочные поводливые глаза так и играли перед ним все эти годы, хотя за всю войну он приезжал только два раза коротко. Когда же ему приходилось видеть её — то всякое свиданье она ударяла в сердце как первый раз! и всякий раз новая! В этом маленьком лице скрывались неизмеренность очарования, всякий час поворачиваясь чем-то новым.

Саша понимал, что Ликоня — все звали её так, а он для себя и для неё Еленькой, Ёлочкой — никак не подходит к направлению его жизни и к размаху ожидаемой борьбы. Он хорошо представлял истинный идеал русской женщины:

Не для пошлых и низких страстей
Ты таила на сердце богатства свои.
Ты нужна для страдающих братьев-людей,
Для великого общего дела любви.

Женщина должна быть — помощница, соратница, и сама по себе энергичная деятельница на общее благо.

По всем Сашиным воззрениям, женщина не смела играть такую роль в жизни революционера, какую уже взяла Еленька,— или уж во всяком случае должна была тогда быть и сама революционеркой. Она же — отдалась самой изломанной буржуазной моде, неприятному модернистскому стилю,— так что даже покладистая Вероня не могла с ней далее дружить, разошлись совсем,— а не мог Саша выбросить её из мыслей ни на день, презирал свою слабость — и не мог. И всякую свободную минуту — прожигающе вспоминал её. И даже мог уразуметь, что она нескрыто подражает загадочной Комиссаржевской, что всё это может быть только поза,— а тянуло к ней одурчиво.

Если бы не война, не армия, и он все эти годы был бы в Петербурге — может быть он сумел бы подчинить её своему духу, своей воле, направить как надо, и даже воспитать для себя, и всю завоевать. Но из армии, а она в Петербурге, среди всего этого яда,— ничего он поделать не мог. Она и нисколько не была им занята, и нисколько не пыталась привлечь,— на письма отвечала ему изредка, коротко, малосмысленно — а он так же бессмысленно эти письма хранил и даже (стыдно) целовал, испытывая нежность к самим листикам.

Подчинить своей воле! — куда там. Она даже с матерью своей не считалась, жила не по её понятиям, а своим (а отец её умер давно). А за военные годы, как можно догадаться, она с кем-то и сходилась, и так же легко разошлась,— а Саша как затравленный дурак любовался издали её фотографией,— ни в чём, никогда он не вёл себя так несамостоятельно, так ничтожно!..

Что ж, у каждого должны быть пороки. В других отношениях Саша был чрезвычайно удавшийся индивидуум — так где-то должны были его настичь недостатки. Пусть уж лучше — такой и в таком виде, самому даже отчасти приятно: красивый порок. Странный цветок на революционере.

Но и обременительный же. Сколько он требовал лишних усилий и лишнего времени. Сам перевод из Орла в Петербург этой осенью потребовал стольких хлопот и не всегда принципиальных приёмов, обращаться и понравиться влиятельным лицам, хотя и вполне прогрессивным, но не хотелось бы к ним обращаться. Он и в Орле уже состоял в офицерско-канцелярской должности и, не будь Еленьки, его б и не тянуло сюда, мог бы и там устойчиво дослужить до конца войны, устроен неплохо, и был там весёлый земгоровский кружок с самыми лучшими общественными устремлениями. Но уж тогда б он и вовсе упустил Ёлочку.

Но хотя и приехав — нисколько не добыл. Чтобы здесь потягаться за неё — он должен был не только отказать себе в разумном досуге, в чтеньи полезных важных книг, но не свою играть роль, но попадать в странные компании и даже унизительные для себя обстоятельства.

А Ликоня — именно такая: переливчатая? переменчивая? — её нельзя выпускать из рук, надо быть всё время рядом и заниматься пристально ею.

Сегодня как раз и был один из самых безвыходных случаев: в Александринке среди бела дня, в будни, когда весь трудящийся народ на работе,— там собирался весь театральный, и это бы ладно, но и весь притеатральный мир, какой-то сбор ночных призраков днём,— присутствовать на генеральной репетиции какого-то, будто бы небывало особенного, четыре года готовимого спектакля режиссёра Мейерхольда по лермонтовскому „Маскараду“,— так можно было понять, что Мейерхольд сделал там больше и важнее Лермонтова. Нечего было и думать отговорить Еленьку, чтоб она не шла,— она не могла пропустить такого праздника искусства! Но и невозможно было попасть туда вместе с ней — потому что билеты на такое торжество разумеется не продавались, а льготно распространялись среди заведомых членов того призрачного мира, и кто не доказал своего первейшего понимания тонкостей

сцены и не мог вести диалога на восхитительных ахах — тому, уж конечно, билета достаться не могло.

Да кроме того, как все дневные деловые люди, Ленартович был всё-таки на службе. Хотя, конечно бы, отпросился.

Вот в такие минуты он и чувствовал остро, что Еленьки ему не удержать. Что она как привидение ускользает, если и замкнуть кольцо рук,— и своей покачливой нетвёрдой походкой движется в мире этих призраков, куда ему никогда не будет доступа. А мир-то — совсем не призрачный, но даже слишком реальный, где красивой женщины не минуют все глаза и все руки. И там премножество всяких липких неотвязных хлюстов.

Да и вся эта обстановка утончённых духовных красот, томных стихов, страдающей музыки, мягких тонов, мягкой мебели, полумрака,— уводит она к отвлечённым мечтам, забываешь о суровой действительности. По-настоящему, Саша ясно понимал, что всё его влечение к Еленьке — губительно, что она ему не подруга, что для сохранности своих убеждений и своего революционного пути он конечно должен от неё отказаться — сам, первый.

А — не только не мог отказаться, но вот на службе не мог усидеть сегодня, представляя её там в чужой скользкой обстановке. Ревновал. Мутило. И бессмысленно, но и безотказно, потянуло его хоть прийти туда к разъезду, встретить её в вестибюле, с кем она выйдет? И — попытаться отобрать её у сопровождающих, хоть тут. (И какой ты сразу позорно лишний и неумелый становишься...) А, может быть, выйдет одна?

Окончание спектакля могло быть часов около четырёх пополудни, ещё засветло. А может быть на полчаса раньше? Не пропустить бы. Саша придумал предлог, под каким уйти, но и в три пополудни показалось ему поздно — он постарался улизнуть ещё раньше.

А между тем на улицах продолжались вчерашние волнения. Был солнечный весёлый нехолодный день, никак не препятствующий демонстрациям,— и все тротуары были затолплены студенческой молодёжью (мало кто учился, молодцы), отчасти рабочими да и просто обывателями.

На этих взволнованных улицах Саша почувствовал себя двойственно: он сиял навстречу этому вы́сыпавшему студенчеству, он был — частица их родная, но по шинели они могли принять его только за подавителя, которому завтра велят — и он будет их разгонять и расстреливать.

Такое недоразумение можно было бы выяснить, только в каждом отдельном месте вступая в разговор и выражая толпе своё сочувствие. А время до театра ещё и было, да как радостно влиться в такую толпу, вообразить себя снова студентом.

Тротуар был весь полон молодёжи. Студенты и курсистки весело громко то скандировали:

— Дай-те-нам-хле-ба!

То запевали на протяжный разинский мотив:

— Почему-у нет хле-э-эба?

И хохотали.

И так хотелось Саше позабавиться вместе с ними, да мундир не позволял. Но он стоял в их тесноте и со смыслом улыбался им. Весёлые глаза курсисток уже поняли его и приветливо светили.

А по мостовой шагом проезжала сотня молодых донцов — тоже весёлых почему-то, с улыбками и даже переговорами к тротуару.

Молодёжь стала кричать:

— Молодцы донцы! Ура, донцы! Наши защитники!

И казаки довольно кивали.

Саша не понял, спросил соседей. Объяснили ему, что сегодня в разных местах города казаки показали, что они не поддерживают полицию, а сочувствуют толпе.

Вот как? Вот так новость, небывалый поворот!

Ах, сколько ещё силы молодой, какие ещё возможности! Если на третьем году войны демонстрации проводят с озорством, как бы в шутку, играя в волнения, а не волнуясь.

Да не в такую и шутку. Заворачивая через площадь, проскакал на вороном коне раненый конный полицейский — в чёрной шинели, в чёрной шапке-драгунке с чёрным султаном, а с лицом окровавленным. Он с трудом держался на лошади.

А донцы вослед ему, издеваясь, закричали:

— А что, фараон, получил по морде? Теперь держись за гриву, а то закопаешь редьку!

Да-а-а-а... Потрясающий поворот! Саша шёл дальше под большим впечатлением, даже забывая свою цель.

Вот так, когда-нибудь, при его жизни, и даже ещё в молодости,— вдруг?..

Революция! Волшебное слово! Как его нам напевают в детстве! Дивное мелькание красных знамён с косыми древками сквозь дымы ружейных залпов! Баррикады! — и гавроши на баррикадах! Взятие Бастилии! Пламенный Конвент! Бегство и казнь короля! Высшее самопожертвование и высшее благородство! Фигуры героев, застывающие в изваяния! Слова, застывающие в веках!

Какое земное чувство может сравниться с чувством революционера? Это светлое упоение, распирающее грудь, выносящее выше земли! Для какого более высокого дела мы можем быть рождены? Какой более счастливый час может пересечь жизнь поколения? Унылы и темны те жизни, которые не пересеклись с революцией. Революция — больше, чем счастье, ярче, чем ежедневное солнце,— это взрыв красного зарева, взрыв звезды!

И Саша вполне мог быть Гаврошем в Пятом году, ему уже было пятнадцать,— но баррикады состоялись в одной Москве, а гавроши не ездят из столицы в столицу. А вся остальная революция протекла как-то незримо, без этих знамён, прорывающих ружейные дымы,— больше в рассказах и впечатлениях интеллигенции, да в коротких перестрелках экспроприаций или выстрелах смелых террористов. Революция Пятого потому и потерпела поражение, что не была полнозвучная, полноцветная.

А тогда — какая ж надежда была у Саши дожить до следующей? Настоящие большие революции так часто не сходят на землю. Предстояло ему бесцветно проволочить свою жизнь в безысходной российской мерзости? И первым, самым мучительным её видом была армейская служба. Не четыре года в армии — четыре года тупящего кошмара доживал Саша, затянувшуюся болезнь. Он носил мундир как какие-нибудь пыточные вериги при железном воротнике. Как насильственной заразой вводили в него эти военные команды, военные знания — а он старался не запоминать, не знать, внутренне отталкиваться, и особенно от строя, от ведения огня. К счастью, удалось ему перекинуться на разные тыловые околичности и так сохранить себя для будущего (а что за будущее, если без революции?).

Но! — бессмертная диалектика! Как ни презирал Саша военную форму, а уже стал поневоле к ней и привыкать. И к военным жестам. И даже к отданию чести. И даже заметил, что у него это неплохо получается. (И даже Ликоне нравится.) И если форма сшита по фигуре (а он в Орле сшил хорошо), то она делает мужественным, этого не оспоришь.

И что в самом деле интеллигенция, всегда презирающая спортивные и военные упражнения, а физического труда лишённая,— что ж интеллигенция отдаёт эту мужественность и эту действенность — всю врагам, офицерам, полиции, государству? Интеллигент даже не может себя защитить от физических оскорблений. А для того чтобы вступить со всеми в бой — надо и мускулы иметь, и военную организацию. Вместо мягкой распущенности, домашнего халата, эканий и меканий — да быть гладко выбритым, подтянутым, в ремнях, с твёрдой стремительной походкой,— чем не хорошо? Только помогает завоеванию мира. (Ликоне нравится, да, но не настолько, чтоб этим и увлечь.)

16

В Петербурге особенно заметен этот размах: от поздней осени, когда и дней почти нет,— и до расцвета лета, когда нет почти и ночей. Здесь особенно

заметен к весне быстрый прирост света — и каждый год Фёдор Дмитриевич зорко за ним следит и радостно отмечает его явления, записывает приметы. Весна — это значит скоро ехать на Дон. Хотя главная жизнь Фёдора как будто плывёт в Петербурге — а нет, душа-то всё время на Дону, и рвётся туда!

Так и сегодня, ещё совсем зимний день — но солнечный, но с крыш к полудню — звучная, даже гулкая, дружная капель, и этот первый уверенный стук весны, эти множественные вкрадчивые ступы её ударяют в сердце. А уж яркость и глубина света — ещё днями раньше нагляжены приметчивым глазом.

И рад, что весна, что разомнётся скоро за плугом в поле, с лопатой в саду,— и ещё спешней того успевать до весны продвигать роман! В станице — работы, работы, не попишешь. А в эту весну — уговорились, приедет в станицу Зинаида. Знакомиться с сёстрами. И с донской жизнью. Увидеть хозяйство. Что будет? Что будет? И сладко, и страшно. И — тем больше пока успеть написать и отделать дорогих, душевных страниц.

Сколько видено и пережито казаков, и сам же казак,— а один вот выдвинулся, видится всё время,— черночубый, высокий, малодоброжелательный,— как он подъезжает к водопою и встречается с женой соседа. А казачка та — соединённая из нескольких станичных баб, которых Феде самому досталось повалять в шалашах, у плетней, под подводами, или только поласкать глазами. (Одна-то из них — больше всех других, только она неграмотна и никогда этого романа не прочтёт.)

Фёдор Дмитриевич Ковынёв продолжал квартировать у своего земляка в Горном институте и работать институтским библиотекарем,— так был ему и кров, и постоянный приличный заработок, какого литературная работа принести не может. Но счастливые и главные часы его были — когда ему доставалось писать. А счастливые телефоны — все литературные: самой редакции в Басковом переулке, и сотрудников её по разным местам города. И из своего дальнего угла на Васильевском острове, откуда не всегда он мог выехать в любимую редакцию, такая поездка забирала много времени,— он любил иногда и позвонить по телефону, узнать новости.

Да теперь ходить по Петрограду — только расстраиваться: все стали какие-то жёлчные, нервные,— и приказчики в магазинах, и чиновники в учреждениях, и извозчик курит под самым носом седока, и даже ломовые — бьют перегруженных лошадей и ещё сами садятся на воз. А солдаты в караульной амуниции толкаются в Гостином Дворе, в Пассаже,— дико смотреть: что они, с поста ушли или из караульного помещения? А ещё, городские власти любезно разрешили солдатам бесплатную езду в трамваях — как уважение к защитникам отечества. И теперь если солдату надо один квартал пройти — он ждёт трамвая. Шляющиеся их толпы завоевали весь трамвай, и уже стали недовольны, что частная публика тоже хочет ехать. С кондукторами не считаются, забивают вагоны, обвисают гроздьями с площадок.

Вчера Фёдор Дмитриевич не выходил из института, хотя слышал, что кое-где громили булочные, трепали мелочные лавки. Сегодня как раз по телефону узнал, что по Невскому полиция не пускает — и, как всегда в таких случаях, сразу замялось сердце в радостной надежде: а может что-нибудь *начнётся*? Всё общество, всё окружение, все петербургские друзья Фёдора Дмитриевича постоянно жили этой надеждой: да *начнётся* же когда-нибудь?!

Будний день. И с работы не так удобно отлучиться, но что-то и не сиделось. А пройтись коротко по Васильевскому!

Пошёл, сама погода наружу тянет. Пошёл, лицом своим не нежным, а ловя первый солнечный пригрев, и шапкой и плечами охотно подбирая капли с крыш.

Прошёлся — но только и повидал жиденькую молодёжную демонстрацию на Большом проспекте, никем не разогнанную, не задержанную. Да один остановленный трамвай.

Вернулся опять на службу. Но слухи доходили весь день и будоражили. И как закрыл в конце дня библиотеку — так отправился Фёдор Дмитриевич в центр, своими глазами посмотреть. Получится из *этого* что, не получится,— а свой глаз всё сметит, сохранит. Да в записную книжку.

Но сколько ни шёл до Казанской площади — ничего так особенного не увидел. А Казанский сквер весь был запружен народом, но и тут ничего собственно не происходило: не стреляли, не били, не хлестали нагайками, не давили лошадьми. Иногда конные казаки, но проездом бережным, чуть перегоняли волны народа через цветники к колоннаде — и снова всё устанавливалось.

Видеть верховых казаков на петербургских улицах всегда было для Феди мучение и раздвоение. Мучение, что их прислали сюда палачествовать, стыд, как будто это он сам, клеймо это он на себе носил. (Не могут себе полицию завести, какую им надо, всё валят на казачье имя!) Но и всё равно радость и гордость от одного лишь казачьего вида и от фырканья славных коней, взращённых и справленных на Дону.

Однако сегодня казаки как-то ласково вели себя, и не бранили их из толпы, и Феде это так и помаслило по сердцу.

Кое-где, огораживая, стояли серые солдатские ряды с малиновыми погонами, толпа вплотную теснилась к ним, иногда местами вскрикивала чему-то „ура",— но не было ничьих никаких действий. Всё было — добродушно, где с любопытством, где с лёгким переругиванием.

Ничего серьёзного произойти не могло.

И Федя сам проникся этим мирным добродушным настроением, ничего уже не ждал, и записывал в свою неизменную записную книжечку только — типы, одежды и выражения.

Солнечный день ненахмуренно переходил в красный закат, однако набирая и холодка. Красный как предвещающий радость? А может кровь? Поверх городских громад ложился алый свет на пятые этажи Невского, на стеклянный купол Зингера. И как всякий закат в стынущее таянье был почему-то печален.

И сперва это мирное народное добродушие, а затем эта печаль — перебрали, перебрали к себе Федино сердце. И на мирном расходе толпы он тоже отправился домой, уже размышляя только о своём внутреннем.

Неужели он был на неотвратимом пороге женитьбы? Какой такой „пятый десяток" он всегда всем тыкал? Вот — и нет пятидесяти! Самая пора, вполне сок, для мужчины. И вообразить себя, вольного, окольцованным — невозможно. А и сладко: уже соединиться, слиться безраздельно и навсегда. И лестно взять молодую, и сколько страсти ещё впереди.

Но и страх отчаянный: погубить женитьбой не столько даже жизнь, сколько писательство. Щедро награждены мы жизнью, но и скупо: каждый возраст один, никогда потом не нагоняем, и каждый выбор в жизненном разветвлении почти неисправим. И упустить можно целый мир, а выиграть — никогда мир целый. До сих пор спасительно осторожно Федя всегда решал — нет и нет. Но с Зинаидой пошло так пробуравливая, взнимая, перепластывая,— так и врезалась она в его жизнь.

И он — в её. Что ж он наделал? Ведь сына погубил ей он — что поленился к ней в деревню, вызвал в Тамбов. И в Тамбове он её не поддержал. Он что-то, кажется, совсем не то делал. И ещё вослед чуть не добил её своей глупой ложью. Так — несло их и врезало друг в друга. Видно, судьба.

Зимой приезжала Зинуша в Петербург — и какая ласковая, приёмчивая, как всегда мечтается подруга, без ошеломительных взрывов. Не в Тамбове осенью — вот здесь она его припалила до конца. Уж так съединились с нею слитно, подладно, такой — готовен он был и предаться.

А Петьку — Зинаида охотно и примет.

Но, как всякий человек в новой обстановке, совсем же не предвидела она, сколько чужести и враждебности встретит она в станице — как русская. Совсем нелегко будет понравиться сёстрам, и всем вокруг, и войти женой в казачью судьбу. Может и очень удаться, а может и не стать.

Она-то хотела повенчаться ещё перед Доном, чтобы туда приехать уже супругами,— но Федя-то знал, что никак нельзя. Это — нельзя.

С этой новой разбережей брёл Федя, не замечая вполне уже обычного Невского, вышел к Дворцовому мосту. Подстывающий закат поднимался по шпилю Петропавловки всё выше, всё уже,— с острия уже стекая в небо.

Как ни живи, как ни решай, а какое-то чувство занывное, что в любви нельзя решить правильно — никогда.

И одно только верное правильное — тетрадочка с первыми главами донского романа. И идти скорей, садиться за них опять — и млеть над каждой строкой.

17

У начала Съезжинской улицы, близ Кронверкского, лежал опрокинутый одиночный моторный трамвай. Когда его валили, здесь, должно быть, много было народу, а сейчас уже и мальчишки на нём своё отсидели, отпрыгали, убежали в другие места. И прохожие почти не останавливались около него, мало задерживались, будто вид трамвая, поваленного среди улицы, был обыкновенным. Может, перед тем они видели необычнее или ждали такое, куда спешили.

Но один высокий прохожий в инженерной фуражке и тёмном суконном пальтишке с полевой кожаной сумкой через плечо, как носят офицеры,— остановился, руки в карманы, суконный воротник без меха поднят на шее. И так стоял, стоял у поверженного.

Трамвай был грязно-зелёного натурального цвета, каким бывает кожа иных больших животных,— и как такой большой рабочий буйвол он лежал, издыхая или уже издохнув, на грязном снегу. Стеклянный лоб его был в трещинах: перед тем, как забить животное и свалить, его перелобанили. Побит и помят был бок, на который его повалили, дребезги стекла там резали его. Далеко за спину и неестественно вывихнутый лежал хобот с привязанной верёвкой. Четыре мёртвых чугунных круглых лапы торчали вдоль земли — и видно было, как повредился рельс, когда выворачивали лапы. А ещё — брюхо несчастного животного, никому никогда не видное, с его потайными нависами, зашлёпанными уличной грязью, теперь было выставлено на посмеяние.

И хозяева не шли за раненым. Все покинули его.

И как же его — теперь проще всего поднять?

Ободовский наклонялся к телу его, и через верхние стёкла просматривал, что с нижним боком, и обходил вокруг, заглянул в тамбур вагоновожатого, и пощупал приводную дугу. Уже к сумеркам было, когда он побрёл дальше.

Ему немного оставалось, тут на Съезжинской они и жили, чуть не доходя круглого заворота на Большой проспект.

Привычным тёплым мягким объятием и поцелуем в губы встретила его Нуся. И с мгновенной переимчивостью, развитой у них, переняла от мужа мрак — и на это невольно сразу поправились её подготовленные возбуждённые рассказы.

Нуся сегодня далеко не ходила, а многое видела тут, поблизости. Слушала удручённое описание упавшего — а она как раз и знала, как этот трамвай останавливали: он шёл под охраной, на передней площадке пристав и требовал от вагоновожатого не заминаться, ехать дальше. Но из толпы двумя кусками льда пристава ранили в ухо, вагоновожатый соскочил на другую сторону, потом ссаживали всех пассажиров.

Пётр Акимыч обедал, как всегда не замечая еды. Он двигал всею кожей головы, и уши двигались нервно.

Толпа! Странное особое существо, и человеческое и нечеловеческое, вся на ногах и с головами, но где каждая личность освобождена от обычной ответственности, а силой умножена на число толпящихся, однако и обезволена ими же.

Чего больше всего и было за день тут, в округе,— это били стёкла: в хлебопекарне на Лахтинской, в хлебной лавке Ерофеева по Гесслеровскому, в мясной лавке Уткина, в мелочной Колчина, во фруктовых магазинах,— со зла. А при каждой толпе есть кто-то, подростки или взрослые, кто и в выручку руки запускал. А ещё малые группы, без толпы, разграбили на Большой Спасской мясную лавку и чайный магазин.

Такие ж случаи и на Охте, Петру Акимовичу рассказывали,— били стёкла, а выручку уносили. А в центре — нет.

Эта выручка, унесенная во многих, значит, местах по Петрограду, делала события непоправимыми, как делает их и стрельба: чтобы не искали виновных — надо завтра опять бить и грабить дальше.

А что было в центре! — это он видел сам. Никогда не думал, что до этого придётся дожить: стоять у Казанского собора, у заветного центра всех революционных студентов уже тридцать лет,— и видеть, как открыто поют, никто не мешает,— „Вставай, подымайся", выбросили красный флаг — и сердце само невольно, по старому такту, подпрыгивает.

Человеческий челночок — из двух пар глаз, мужчина и женщина, они всегда вместе, они во всём согласны — и струною взгляда и струною чувств невидимо подправляют друг друга, как держать им, когда хлестнёт с разных сторон. Двуполюсная магнитная стрелка устанавливается сквозь эти бурные силы.

И ключ рассказа, ключ отношенья ко всему, что видели за день,— поворачивается.

И во многих местах казаки — ничем не препятствуют! Через Николаевский мост пропустили целую толпу подростков и женщин. Нейтральность казаков — это самое поразительное во всём, такого ещё не было никогда!

Охватывало восторженное предчувствие.

Грабёж магазинов, конечно, мерзость, но такое всегда при массовом движении.

— А разве в Иркутске в Пятом это было, Петя?

— В Пятом не было, так в Шестом было везде.

Настроение двоилось.

Этот упавший, бессмысленно изгаженный трамвай, чудесное творение рук.

После ареста Рабочей группы Ободовский так негодовал — собственными кулаками дробил бы министерство внутренних дел, само здание их бесчувственнное! Ослы тупоумные, они неспособны развиваться, не понимают, что такое был и мог быть для них Гвоздев! Не понимать оттенки — признак ослов!

Но вот поднялось — кажется, нам на выручку, самое н а ш е?

И опять сейчас закишат все эти *социал-демократы*, слово-то какое безобразное,— и те, которые нахрапом, и те, которые заумно змеятся между десятью поправками и оговорками?

— И что ж, нам идти в баррикадники, Петя?

Нет, не иркутское настроение.

Одновременно — страх, что рухнет всё, налаженное с Пятнадцатого года,— всё военное снабжение, вся арттехническая подготовка,— что же будет с нашим наступлением весной?

Эти волнения на оборонных заводах на некоторых, на Путиловском, даже подозрительны, как бы чувствуется скрытая рука?

Нет, подозрительно второй день бездействие власти: ни одного выстрела, ни одного ареста. Как будто подготовленный уличный спектакль: неужели — грандиозная провокация? и будет невообразимая расправа? Неужели власть бездействует умышленно, чтобы вызвать волнения ещё большие — и потом утопить их в крови?

На сто лет? Ещё на сто лет!! Несчастная наша страна!

А может быть наоборот: колеблются? пойдут на уступки? Уберут идиота Протопопова? Согласятся на ответственное министерство?

Неужели, наконец, весь этот ужас может ослабиться? Или даже — рушиться?

Несдвигаемое, нерушимое — и вдруг рушится?..

И наступит светлое равноправное общество, где тупые чинуши на жирных окладах и в бляхах нагрудных звёзд не будут загораживать все пути? Ни у кого не будет равнодушия к общественному благу?

Сердце выпрыгивает: о, победи, революция!

И опадает: во время такой войны! до чего же некстати! Безумие...

— Стоял я, Нуся, около Казанского, в этом пении под флагами,—и, поверишь, не только не был рад, но готов был, как поп примиряющий, с распростёртыми руками уговаривать толпу: братья! не надо! потерпите ещё немного! Ведь какое время! Ведь только немцам на радость! Подождите ещё весеннего нашего наступления! Вот скоро всё кончится — и тогда...

18

Что Алину оставить никак нельзя — это Воротынцеву было совершенно ясно. Да он ведь и не собирался! — его самого поразил тот счастливый перехват дыхания, когда Алина написала, что — освобождает... Нет! — он отвечает за неё, и будет её беречь, и обязан вернуть ей равновесие, которое так неразумно нарушил (как мог рассказать?? — сам не понимал). Она слабенькая, вот как её сокрушило, что и за месяцы не придёт в себя: слала и слала ему упречные письма, то бессильные, то яростные,— а он не давал себе раздражиться, отвечал уговорчиво, как ребёнку, писал часто (к штабной писанине ещё одна добавилась),— и только когда придумала, что приедет к нему в штаб армии,— вот тут отказал твёрдо, это было б уже невыносимо.

Все эти упрёки он заслужил, да, вполне,— но, пожалуй, они становились такими бичующими, что уже сам себя в этом злодее не узнавал. И хотя ведь он сам же всё рассказал, и её не оставил,— она снова и снова требовала больше, и как непременного условия: чтоб он вернул ей уверенность, что она для него — лучшая и несравненная. Но, по совести, вот тут ему стало трудно солгать. И писала ему, будто он в летние лагеря отлучился, не как в Действующую армию, где давно он мог погибнуть, где уже перенатянут был его счастливый жребий. И так она гневалась, и так ужасалась, что ещё станет другим известно,— выступило ему: а ей бы, кажется, легче потерять его убитым, чем ушедшим к другой.

А весеннее наступление всё ближе, и все офицеры спешат съездить в отпуски зимой, пока живы, предложили и Воротынцеву. В штабе Девятой только три месяца — он и не думал об отпуске. Но в первую же минуту откинуло: к Алине? прямо под эту грызню? Ни за что. А если... А что, если? Теперь ведь не от полка. Пока, правда, жив... Что ж, никогда больше к Ольде не припасть? Невозможно!! А она всё время его звала, звала, то пришлёт рисованное — какие-то зверьки, таинственная девочка с зелёными глазами, какие-то ребусы, приезжай, отгадаем вместе,— и сладил он себе дюжину дней, три дня туда, три дня назад, и минуя Москву помчался прямо в Петроград — и даже Вере тут не объявился, не смущать её, пусть не знает.

И во всю дорогу он не усумнялся в своей поездке и только думал: шесть дней — да это один вздох, не хватит. А от минуты как достиг Ольдиного дома — восстало всё как новое, и ещё сильней, жарчей,— будто они оба помолодели, поозорнели. Опять всего изнутри как пересвежили: грудь — другая, дыханье другое, глаза другие, весь — счастливый.

Как будто для этих встреч, для этой воронки вкружливой он и жил всегда.

А вот так, так легко-весело, как на ребусы смотрел,— не оказалось. В этот раз что-то и понуживало. Тут тоже был свой обряд, обряд говоренья-слушанья. Особенно всю поездную дорогу до Мустамяк, пока они обречены были к одному говоренью. Знать-то Ольда множество чего знала, но уж очень учительно, отчего сразу становилось из интересного скучновато. Как будто в обводе её опыта уже и заключалась вся главная жизнь.

Об объяснениях тогда осенью с Алиной, что он открылся и чтó из этого потянулось,— Георгий избегал Ольде в письмах: на письме не передать, да и в рассказе передашь ли, тут столько сложного, неназовимого. Тогда обошлось благополучно, в Петроград Алина не поехала, можно не вспоминать. Да и неприятно, как всякий просчёт. Но теперь при встрече скрыть — тоже как бы нечестно. Томило. И здесь, не сразу, рассказал.

И вот — не предвидеть было: как Ольда взволновалась, как стала подробно и перекрестно выспрашивать и сколько ещё о том говорила, заснуть было нельзя. А с утра, чуть глаза размежили,— снова и снова. Вот эти разговоры на сутки уже стали ему и тяжелы. Это опять было учительно, даже нудно,— и здесь тоже упрёки! Из того, что он делал промахи, Ольда вывела, что теперь она будет направлять его по своим оценкам, внушать план, как поступать. И такой иногда тон, что если вот сейчас она не скажет Георгию суровой правды, то и никто ему не скажет. Она думала за него как уже за своего мужа, так уверенно говорила, что — мужем своим признала его, будто они уже и под венцом побывали. Почти так подразумевалось и в гостях у соседа-профессора, и Георгий подумал: нет. Да если был бы он сейчас и свободен,— вот так прямо? Нет. Слишком ли много в ней настойчивого, даже властного?..

А между тем весь её внушаемый план к тому и сводился, чтобы он боролся *за неё*. И Георгию стало перед ней же неловко, чтобы ей возразить. А она так понимала его молчание, что он впитывает, и развивала дальше.

Впрочем, если это — голосом певучим, уговорчивым, у тебя при плече журчит,— так хоть и пусть. В уговоры не так-то можно и вслушиваться, что́ пропустить, не отозваться. Эти докуки соскальзывали, а девочка с зелёными глазами была вот она. Да не с такими уж зелёными, как раскрашивала карандашами, всего-то с призеленью. Тут всё двоилось. Рядом с собою он ощущал Ольженьку как сокровище, он и всегда наверное будет ждать её зова и томиться без неё. Но к Алине оставался долг и вечно ноющее чувство, к Ольде не было такого.

Сама ж говорила, что время — бесценный помощник, и сама ж вот торопила, что теперь уже откладывать нельзя. Что — откладывать?..

А тут ещё стала Ольда учить жутковато, как доброта губит в личном, как порезы надо лечить холодом, и как бы надо Алине утешителя...

Георгий не показывал вида, всё опасаясь обидеть, а сердце в нём — заныло.

Он не заметил точно, когда именно и отчего, от какого именно толчка. Да может он и проснулся уже с необъяснимо-занылым сердцем.

Как появляется этот первый наслой душевного стеснения — мы не всегда замечаем, отчего. Когда вчера гуляли по безлюдным Мустамякам с забитыми на зиму домиками и ходили к профессору — уже что-то тяжелило или потягивало куда-то вон.

И днём бегали за бревном и пилили весело,— а что-то сжимало и сжимало, неуклонно.

За таким стесненьем если не уследишь — то легко ошибиться: это сжатие сходно бывает и от предчувствия беды в будущем и от раскаяния в уже совершённом. Эти два мрака очень сходны.

От Ольдиных уговоров? Как будто нет. Хотя и они вложились. Но было что-то и обхватней.

Когда же он пошёл колоть дрова и уже стоял в одном кителе распаренный, в облоге разваленных плах с желтоватым щепенистым телом,— вдруг обняло такой тоской, так схватило! — уворовало прочь сердце, почернели снега, и вдруг показалось невыносимым ещё дальше оставаться в этой хвойной снежной дачной тишине.

Он внушал себе, что это — дико, он ехал две тысячи вёрст за этим жарким уединением, а другое всё — всегда его. Но — не внушалось. Внутри потемнело, обвалилось,— и ничто не утешало.

Ощутись это слабей — он сробел бы, постеснялся сказать Ольде и остался бы через силу.

Несколько часов назад была радость — и вдруг безо всякой причины обвалилось.

Пошёл с охапкой наколотых дров, кинул под печь и сказал:

— Ольженька, что-то мне стало сердце тянуть, не по себе. Что-то у меня предчувствие, что ли, какое-то дурное.

И ушёл, не дожидаясь ответа. Принёс вторую охапку, грохнул на первую, тогда:

— Давай — раньше уедем, а?

— Нет! нет! — оживилась она.— Так тихо! так хорошо! в кои веки мы вместе!

Но видела его лицо. Подошла, притянулась, снизу вверх смотрела:

— Я тебя успокою.

Георгий — голосом уставшим, как перебитым:

— Вот не знаю... вот не знаю... Вдруг стало мутно.

Но и её лицо стало теперь несчастным, темнота погналась по маленькому лбу, на глаза.

А ведь бывает — что и успокаивается, внезапно, как началось.

Они собирались уезжать отсюда в воскресенье днём. А сейчас была пятница, впрочем, уже и за полдень.

Ольда нешуточно отемнилась, даже и обидой. Строго поджала губы.

Да и стыдно мужчине — гнать куда-то по предчувствию или сомнению. (О сомнении — он не дал Ольде и догадаться.) Ладно, остаёмся, а там посмотрим.

Не так уж долго и до ранних северных сумерок. Раскалили печку и сидели на чурках перед открытой топкой, всё в огонь. И Георгий устыдился, что вдруг стало ему в тягость оставаться тут. Какая женщина прежде одарила его одной десятой этой радости, как Ольда!

Она опять пыталась много говорить, теперь и о другом, но он её утишил, чтобы молчала, и долго нежно держал на коленях, прижатой бочком к своей груди, даже именно к сердцу. Почему-то если вот так прижать и держать, то тревога тает. В домике темно, свет один — от горящих дров, как в пещере, двадцать тысяч лет назад: мы укрыты от опасностей, есть у нас пища, есть огонь, и если мне, сильному, так легчает от твоего прижатия, то насколько же тебе! От врагов, от мороза, от голода, от смерти только и нужны — теплота и лад между нами. А слов не надо. Да мы ещё, может, и говорить не умеем.

Уж какие сладостные у них бывали вечера — но благодарней этого не было.

И — нежная, нежная тихая ночь, всё время в обнимку.

19

Так и знал, так и знал Михаил Владимирович, что народное негодование неминуемо прорвётся! Даже французская делегация говорила недавно: „Вы заслуживаете лучшего правительства, чем есть!“ И вот — правительственная политика начала давать свои роковые плоды! Она вызвала недоверие всех мыслящих русских кругов к своему государственному аппарату! Строй государства с каждым днём отставал от самосознания общества! По вине этого правительства и создалось роковое разъединение власти и народа! Своей манерой повелевать оно и сеяло первые семена будущей революции! Уже с 1914 года Председатель Государственной Думы, да и другие, пророчили, что правительство не справится, наделает массу ошибок! И действительно: противоречивые, лишённые единого плана и мысли распоряжения правительства неуклонно увеличивали общую дезорганизацию всех сторон жизни. Все распоряжения высшей власти как бы направлялись к особой цели: ещё более запутать положение страны. Можно было не обинуясь утверждать, что правительством руководит распутинский кружок, а сам он служит интересам Германии!

Да и чего можно ждать от этих ничтожных людей, кто случайно появляется у власти и не умеет проявить ни одного высокого порыва? Они не могут добровольно отрешиться от власти, ибо им не хватает любви к народу. Той самозабвенной любви к народу, которою кровоточат все сердца народных представителей — и вдесятеро от них огромное тревожное сердце Михаила Владимировича!

А привело себя к крушению правительство потому, что сопротивлялось общественной самодеятельности, усилиям всего общества помочь об-

щей беде — безо всякой же задней мысли, с одной целью поддержать правительство в трудную минуту! Тревога России об обороне была так естественна и необходима! — но единение страны вселяло в правительство страх,— и все старания Государственной Думы успокоить, а не возбуждать население оказались бесплодны. Чьей-то невидимой рукой упорно вносилось в народ раздражение и недоверие!

А зловещим олицетворением этой преступной политики стал гнусный Протопопов — перебежчик и двурушник! И всей Государственной Думе, и всему Прогрессивному блоку было оскорбительно, что этот видный успешливый их член оказался такой низкий изменник, падко кинулся в лагерь правительства, но Михаилу Владимировичу Родзянко оскорбление было двойное, ещё и личное: что этот ничтожный человек годами замещал его в председательствовании Думой, что Родзянко прежде сам предлагал его в министры, правда, промышленности-торговли. Но каково ж было его изумление, когда Протопопов, воротясь главой думской делегации из заграничной поездки,— пришёл с отчётом не к Михаилу Владимировичу, но был вызван к Государю *помимо* него! — и так начались их таинственные и позорные переговоры со Штюрмером о министерстве внутренних дел. Возмущению Михаила Владимировича не было границ.

И вот — народное негодование прорывалось! Вчера были в Петрограде волнения, которых Михаил Владимирович не мог оставить без внимания: рабочие покидали заводы и большими толпами шли в центр города — правда, с неизвестной целью: не к Государственной Думе. Сегодня, справедливо (да и с чувством возмездия) ожидая продолжения волнений и желая разгадать это народное движение,— Родзянко, покинув думские прения полыхать часть дня без себя, самолично поехал туда, откуда движения начинались: на Васильевский остров и Выборгскую сторону. И ему самому довелось наблюдать величайшее волнение рабочих женского пола, повидимому — из-за неравномерности продажи хлеба. И снова толпы шли к центру с неизвестною целью.

А чем избывал всегда Михаил Владимирович — это инициативой и энергией. Кто-кто, но не он мог бы быть безучастным зрителем развала государственности! Ещё не успел его автомобиль воротиться с заречной стороны, а его проницанию уже представилась и вся картина: преступное и беспомощное правительство пожинало плоды своей тёмной политики! Прорвалось именно то, о чём всегда предсказывали лучшие люди общественности!

Глубоко глядя, дело было, конечно, не в хлебе — но в народной обиде на то, как обижало правительство его народных избранников. Дело было не в хлебных перебоях, а в политическом недоверии населения к власти. Почему бы вдруг стало не хватать хлеба? Потому что население не везёт зерновых продуктов на рынок. А почему оно не везёт зерновых продуктов на рынок? Потому что не доверяет *этому* правительству и опасается неумелых распоряжений властей.

Потому что меры, которыми разрушается снабжение России продовольствием,— не просто неумение или непонимание, но чьё-то намеренное расстройство тыла, чтоб затруднить продолжение святой борьбы.

Итак, дело-то, конечно, не в хлебе, и ситуация требует радикального лечения. Но даже и в узком хлебном вопросе можно было оказать народу решительную помощь, вместе с тем принципиально потеснив правительство, а заодно нанеся и сильнейшее поражение Протопопову: ведь Протопопов всё время боролся за захват продовольственного дела от министерства земледелия в министерство внутренних дел,— так вот теперь от всяких вообще государственных чиновников, ото всех этих Вейсов да передать хлебное дело Петрограда — петроградской городской думе! Это значит одновременно: и передать в верные руки общественности, которые заботливо горячо схватятся за дело — и ещё раз показать всей столице и всей стране неумелость, бездарность и обречённость правительства.

А когда что закипало в объёмной груди Родзянко (склонять свою фамилию по падежам он не одобрял и не разрешал) — то этому ревущему

пламени мало кто мог противостоять. Так и сейчас: деятельный думский вождь прежде всего бросился на квартиру к Риттиху. Тот был простужен и с сильным насморком сидел дома. Давя его всею своей крупнофигурностью и значением такого домашнего визита, Второй Человек государства легко получил согласие министра земледелия: занятый всем необъятным движением хлеба из далёких углов страны, он легко уступал внутристоличное распределение, а скрытой здесь общественной мины не увидел.

Теперь надо было так двигаться в недрах правительства, чтоб обойти стороной изменника и подлеца Протопопова, пока он не узнал и не догадался. И уговорил Родзянко Риттиха — просто жаром своим оплавил, что только быстрое действие здесь может спасти Россию: ехать немедленно к военному министру, а через того воздействовать на премьера князя Голицына.

И хотя путь этот был необъясним с точки зрения закономерной, но в вулканическом родзянковском дыхании всё пробилось — и часа через два в роскошном своём думском кабинете он получил телефонный звонок, что сегодня же вечером в Мариинском дворце состоится совещание по предложенному им плану.

Именно: председатель Государственной Думы, несколько думцев, председатель Государственного Совета Щегловитов, городской голова и несколько членов правительства. (Протопопова они и сами не любили и не позвали.) Собраться — не для стенограммы, но для делового сговора.

И вечером в синебархатном зале состоялось это экстренное совещание. Неутомимый трёхжильный Риттих докладывал всё то же, что и в Думе, но без протестов оппозиции. Что запасов ржаной муки в Петрограде — более полумиллиона пудов (не считая военных складов, где значительно больше), значит, больше 700 тысяч пудов хлеба. Даже при раздутом до двух с половиной миллионов населении Петрограда — это, на потребляющих ржаной, по фунту в день на человека, если не будет никакого подвоза. Что опасения, проявляемые населением, не имеют основания, а вытекают лишь из тревожных слухов. Что острый мятельный перебой железных дорог — уже позади, завтра же прибудет 100 вагонов с подгородней станции Любань, и будут рассасываться заторы узловых станций, в марте должно приходить не меньше 35—40 вагонов каждый день, а каждый вагон — это тысячи пудов муки. Что проблема скорей в лошадях, которых в Петрограде до 60 тысяч, и большая доля хлеба скармливается им. И что у правительства нет возражений передать хлебное дело городскому самоуправлению. Зато мяса — 180 тысяч пудов, и столько же у армейских уполномоченных, а из Сибири надвигается 1000 вагонов мороженого мяса, сколько не могут даже принять холодильники Москвы и Петрограда.

Родзянко это выслушал и настаивал, что продовольственное дело должно быть немедленно передано городскому самоуправлению.

Так и правительство согласно.

И холодно взвешенный, твёрдый, сообразительный Щегловитов тоже мгновенно поддержал своих обычных противников.

И оказалось — никого против!

Правда, придётся менять некоторые статьи законов: расширить права городских самоуправлений. Но правительство взялось сегодня же ночью составить проект таких изменений и завтра же заявить его в Думе. Родзянко дыханием благородной груди заверил, что Дума примет законопроект в самом спешном порядке. Щегловитов обещал, что не задержит и Государственный Совет.

И в тёплом единении решили единогласно (как ничто нигде уже давно): пока назначить общественных представителей для надзора за выпечкой хлеба. А как только городская управа сумеет — так и заберёт всё заведывание себе. А во второй половине марта начнут действовать и хлебные карточки.

Правда, сколько-то дней, недели две, понадобится на процедуру, знал Родзянко свои думские затяжки и своих говорунов о постороннем, — но

всё равно, одержанная им сегодня победа была колоссальна! Наконец-то хлебное дело перейдёт в честные и расторопные руки общественности!

И он везде успел сегодня: и Думой продолжал руководить — и спас столицу от голода!

20

Вчера на могилёвском вокзале Государя встретил обычный состав штабных офицеров во главе уже с Алексеевым: он вернулся до истечения отпуска, а Гурко уехал в свою гвардейскую армию. Не виделись почти четыре месяца, и приятно было Государю снова усмотреть немудрящее несановное котоусое лицо своего неизменного начальника штаба. Тепло обнялись. Но следы нездоровья ещё очень были на нём видны, держался силой воли. Государь пожурил его, что так спешил из Крыма — мог бы и ещё полечиться две-три недели. Но Алексеев выразил, что хочет участвовать сам во всей подготовке весеннего наступления.

Он только-только вернулся, ещё не успел и вникнуть в дела. В Управлении поговорили с ним полчаса — не на служебные темы, а так просто. И остался Николай на долгий вечер — один, в отвычном одиночестве.

Правда, отрыв от Аликс никогда не был полным: каждые несколько часов что-нибудь между ними да проскакивало. Так и вчера вечером примчались две телеграммы: одна от Алексея, что он чувствует себя хорошо и жалеет, что не с отцом, не поехал в Ставку, и другая от Аликс — что Алексей и Ольга заболели корью. И Николай тотчас же ответил телеграммой.

Так и случилось, не миновало: подозрительный этот кашель, этот кадетик, игравший с Алексеем десять дней назад. А уж если началось, так наверно теперь и все схватят, и уж лучше скорей все заодно, только бы без осложнений. И хорошо, что не взял Алексея сюда,— каково было бы заболеть ему здесь! Но и как же беспокойно будет теперь для Аликс! Хотя бы ей сократить — под предлогом кори — государственный приём.

А стал разбирать вещи и приводить в порядок комнату, и смежную спаленку,— сиротливо стало около походной кровати Бэби, где разложены были его маленькие вещи, фотографии, безделушки. Как согревал его сердце сын, какая надежда — и вечная тревога — росла в нём!

За обедом увидел всех союзных военных представителей, по которым соскучился за два месяца. Объявил им о кори детей — все огорчились очень. И старик генерал Иванов бородатый был за обедом — такой милый, такой чудесный рассказчик.

С вечерними часами — одиночество врастало в душу. Было в нём и возвышающее, очень успокаивающее — такая тут стояла тишина, никакого человеческого шума не донесётся, слышно, если в ветре пошевельнётся железная обивка подоконника. Но и — тем острей не хватало присутствия Аликс, и мирного при ней получасового пасьянса каждый вечер. Эта тишина — она и угнетает. Надо будет найти работу. И надо будет по вечерам возобновить игру в домино.

Уже больше суток он не видел своей Sunny — и тянуло писать ей письмо. Вчера же перед сном и начал писать. А сегодня приложил для Алексея новую радость — вручённый представителем орден от короля и королевы бельгийской, то-то порадуется новому крестику.

А тем временем слышней проступали и прорабатывались в Николае последние наставления Аликс, ещё повторенные и в том её письме, которое он нашёл у себя в вагоне: будь твёрдым! будь повелителем! пришло время быть твёрдым.

Да, она права — и с большим душевным усилием Николай готовился стать непременно и только твёрдым. Да он уже — и чувствовал себя твёрдым. Да, чувствовал. В этот раз он приехал в Ставку совершенно твёрдым.

Но тут — не надо и перебрать. Быть повелителем — не значит ежеминутно огрызаться на людей направо и налево. Очень часто совершенно

достаточно бывает спокойного резкого замечания, чтобы тому или другому указать на его место. А ещё чаще — нужна только ясная твёрдая доброта и справедливость,— и люди проникаются, понимают, думают наилучше.

С этим сознанием, с этим размышлением — как научиться быть по-новому, по-монаршему твёрдым — окончил вчера письмо, и вчерашний вечер,— и с этим же сознанием проснулся и начинал новый день.

А день наступил — ни признака весны: пасмурный, ветреный, потом повалил густой снег. Всё охолаживало душу.

Пришла ещё одна телеграмма от Аликс, о здоровьи детей: кажется, начиналась корь у Татьяны и Ани Вырубовой.

Ставочный — строго распорядный, малословный, тихий день. Несмотря на дурную погоду стала душа Николая расправляться. Жизнь здесь была — род отдыха: не было приёма министров, не было этих запутанных напряжённых проблем, претензий, конфликтов с Думой. Сходил к Алексееву послушать доклад — о неподвижности фронтов, о мелких случаях, переформированиях, генеральских назначениях, а все решения были заранее подготовлены. Потом — приятный часовой завтрак со свитой. Хотели ехать в обычную прогулку на моторах за город — но уж очень густо валил снег, не поехали.

Из-за этой снежной бури опоздал и дневной петроградский поезд, с ним — и ожидаемое письмо Аликс,— а уже очень хотелось письма.

Но пришла ещё телеграмма: заболевают Таня и Аня.

Ответил телеграммой: не переутомись, бегая от одного больного к другому, мой кашель меньше, нежнейшие поцелуи всем.

Кое-как дотянул до вечернего чая — а уже принесли и письмо от Солнышка. С жадностью читал — и все подробности болезни, в каких комнатах расположились, где завтракают, где обедают. Алексей и Ольга грустят, что болят глаза и нельзя писать отцу, а Татьяна (единственная в мать — и волей, и дисциплиной, и тёмными волосами), ещё вчера не отдавшись болезни, прилагала письмецо от себя.

Страдала Аликс, как Ники ужасно одиноко без милого Бэби — и как самой ей одиноко без мужа.

И особо напоминала: если будут предстоять трудные решения — надевать тот вручённый ею крестик, уже помогший в сентябре Пятнадцатого года.

Как всегда, в восемь вечера — обед, с союзными военными представителями и избранными людьми свиты.

После обеда дал Аликс ещё одну телеграмму — благодарил за письмо, всем больным горячий привет, спи хорошо.

А отослав телеграмму — почувствовал ещё незаполненность и сел писать ответное письмо.

Ещё раз благодарил за дорогое письмо. Сейчас беседовал с доктором Фёдоровым, он расспрашивал, как развивается болезнь. Он находит, что для детей, а особенно для Алексея, абсолютно необходима перемена климата после того, как они выздоровеют, после Пасхи. Оказывается, у него — тоже сын, и тоже болел корью, и потом год кашлял — из-за того, что не смогли сразу вывезти. На вопрос, куда же лучше всего детей послать,— назвал Крым! Ну, так думал и сам Николай! Великолепный совет! — и какой это отдых будет и для тебя, душка! Да ведь комнаты в Царском после болезней придётся дезинфицировать, а вряд ли ты захочешь переезжать в Петергоф — да ведь насколько лучше Крым! и как давно не были, всю войну.

Рисовалось Николаю это новое счастливое устройство семьи с весны — и он тепло расплывался над письмом. Сколько вставало радостных ливадийских подробностей, всего не напишешь. Но мы спокойно обдумаем всё это, когда я вернусь. Надеюсь, что я вернусь скоро — как только направлю все дела здесь, и мой долг будет исполнен.

Сердце страдает от разлуки. Я ненавижу разлуку с тобой, особенно в такое время.

Ну, дорогая моя, уже поздно. Спи спокойно, Бог да благословит твой сон!

21′

(К вечеру 24 февраля)

План охраны столицы составлялся ещё в 1905 году. Но тогда в Петербурге стояла вся полная гвардия, её не брали на японскую войну, десятки тысяч отборных, потому и не пригодились. А теперь вся гвардия ушла на фронт, а в Петербург, по поливановской идее стягивать запасных в крупные города, натянули гарнизон в 160 тысяч, и бо́льшая часть под видом гвардии,— но это были еле набранные никудышние войска, и расчёт был только на полицию, конную стражу, жандармов, всех-то — немного за тысячу. Принять ещё надёжных боевых войск отказался Хабалов в прошлом месяце: нет казарм, везде набито запасными. Но ещё в ноябре министр внутренних дел Протопопов хвастливо показывал Государю цветно-раскрашенный план Петрограда, разделённый на 16 районов, к каждому прикрепляется своя войсковая часть и полиция. А кто кому будет подчиняться? У Протопопова было много забот, и он придумал: в случае чего серьёзного — военным. (Полицию, специально приспособленную к охране города, подчиняли проходным незнающим военным.)

Когда сегодня в половине первого пополудни градоначальник Балк доложил генералу Хабалову по телефону, что полиция не в состоянии остановить скоплений и движений на главных улицах, Хабалов покряхтел и решился нехотя: хорошо, войска вступают в третье положение. Передайте своим подведомственным чинам, что они теперь подчинены начальникам военных районов.

И обещал, для лёгкости совместного управления, сам, со штабными, переехать в градоначальство сегодня. Балк позвонил Протопопову, тот ничего не добавил. А военный министр Беляев посоветовал Хабалову: если будут переходить Неву по льду — стрелять так, чтобы пули ложились впереди них. Нельзя, Государь непременно выразил: обойтись без оружия.

Итак, в градоначальстве, на Гороховой-2, создался штаб командующего, кабинет Балка наполнился военными. Полицейские чиновники прекратили приём посетителей, но по телефонам всё звонили состоятельные граждане за успокоением. Вокруг градоначальства не было простора и помещений для войск. В маленький каменный двор был введен жандармский дивизион, подходившие же войска располагались на узкой Гороховой и на Адмиралтейском бульваре.

Что же делать с толпами? Хорошо поняв свою безнаказанность, они, в одном месте рассеянные конными отрядами, без применения оружия, тут же сгущались в другом — и такие перегоны продолжались несколько часов кряду, по всей длине Невского от Николаевского вокзала до Мойки.

На Гороховую стекались полицейские донесения. Были толпы по тысяче, по три тысячи, сегодня первый день появлялись кой-где и красные флаги. Были ранены городовые на Литейном проспекте, на Знаменской площади, на Петербургской стороне, и некоторые тяжело, за эти два дня ранениями и ушибами пострадало 28 полицейских, но ни полиция, ни войска не произвели ни единого выстрела, никого не ранили холодным оружием, никого не ушибли при разгонах. У Калинкина моста, как и в других местах, толпа пыталась опрокинуть вагоны трамвая, но тут городовые помешали и за то были осыпаны железными гайками, из метавших подростков задержан 17-летний Розенберг. На вечер полиция хотела ставить в вагоны трамвая охрану, но трамвайные не захотели так работать и отвели пустые вагоны в парк. Движение трамваев вовсе прекратилось.

Второй день сплошные волнения раскатывались по всей столице, из 300 тысяч рабочих сегодня бастовало до 200 тысяч, но вот к вечеру всё стало утихать, и когда поздно собрались в градоначальстве все полицеймейстеры и все начальники военных районов — то положение вновь, как и вчера, не казалось серьёзным. Ведь толпы — разошлись, успокоились, как будто ничего в городе и не происходит? Может быть сегодня толпа была несколько сердитее, чем вчера, но в общем всё равно благодушна, стихийна, случайного обывательского состава, не видно никаких агитаторов, вожаков, никакой организации.

Может быть, всё и обойдётся само собой? Хотелось бы так верить — и мирно настроенному Хабалову, не готовому ни к каким сражениям, и выздоравливающему от тяжёлого ранения полковнику Павленко, и приехавшим уже на второе сегодня совещание начальникам Охранного отделения и Жандармского управления. Сегодня утром на квартире Хабалова их всех заверили уполномоченный Вейс и городской голова, что мука отпускается в ежедневной норме, не снижалось, и хлеб выпекается, никаких причин к мятежу не видно. Происходили беспорядки и раньше десятки раз, и всегда кончались.

А если всё же завтра опять? Не было указания применять оружие, значит продолжать и завтра ту же бескровную тактику рассеивания. Вот только — про-

явили нерешительность в разгоне донские казаки? — так вызвать из новгородской губернии гвардейский кавалерийский полк. (О казачьих полках в Петрограде был зимой спор: Ставка требовала их на фронт, Двор хотел иметь их в столице.) „А почему казаки не разгоняют нагайками?“ — удивился Хабалов. Из старших казачьих офицеров ему ответили, что нагаек — нет у них, это боевой полк с фронта.— „Так выдать им по полтиннику, пусть себе изготовит каждый“.

Кто-то спросил: а как настроение в войсках? Даже неуместный вопрос: войска есть войска, какое у них может быть „настроение“? Охранный генерал Глобачёв ввернул, что рад бы знать настроение в войсках, но ещё до войны генерал Джунковский провёл высочайше одобренный циркуляр о том, что Охранным отделениям запрещается иметь внутреннюю агентуру в войсках. И с тех пор никакими усилиями этого не удалось изменить, и Охранное отделение не может знать вредные элементы, которые там безусловно есть.

А вообще по данным агентуры левые *верхи* застигнуты врасплох благоприятностью для них обстановки. Сегодня у них решено: если завтра опять соберутся толпы, то — настойчиво агитировать, а при сочувствии — расширить беспорядки до вооружённого выступления.

М-может быть так. Может быть не так.

А если наступающей ночью попытаться арестовать зачинщиков, по их домам?

Но — есть ли такие зачинщики? Оставалось неясно. Налететь на ночные квартиры вихрем и арестовывать без разбору каждого сорокового? Такого не может позволить себе законная власть. Во всяком случае Охранное отделение произведёт несколько обысков. В рабочей среде, разумеется, выше нельзя посметь.

Балк попросил: поскольку многие полицейские вчера и сегодня пострадали в одиночку — больше их по одному не ставить, посты сдвоить. Хабалов разрешил.

А — что ещё?..

Вот, они все сидели вместе, Верховной властью назначенные военные и полицейские руководители столицы, кроме их руководящих министров Протопопова и Беляева, остававшихся эти дни более, чем спокойными. Сидящие здесь — что бы могли угадать, предложить более решительное или действенное? Что вообще можно предпринять против прущей народной толпы? Более решительное оставалось только — рубить шашками, стрелять. Но одна память 9 января 1905 года подавительно висела над ними всеми, одни газетные либеральные полосы заставляли губернаторов бледнеть и оправдываться в своих мерах. А ещё тем более теперь, в разгар войны,— как же пролить кровь своего народа? И своя рука не подымалась, и Беляев предупредил: трупы на Невском произвели бы на наших союзников ужасное впечатление!

О б ъ я с н и т ь чернолюдью? Так везде и развешан приказ командующего. А когда Балк позвал рабочую делегацию от Литейного моста ехать с ним, смотреть приходные хлебные книги — ведь не поехали. Хотя пущенный злой слух работает: а вдруг перестанут хлеб выпекать? кто прячет муку за высокими стенами?..

Петровские шрамы, та разлиновка, которою так гордился наш голландский император, навсегда вросли и въелись между русскими сословиями.

Вместо диспозиции войск на завтра — догадаться бросить войска этой самой ночью на работу? — нарядами в военные пекарни, из военных запасов напечь хлеба вдвое, втрое, да войсками же и развозить добавочный хлеб по булочным, чтобы видел народ: вот, не разгонять вас идём, а кормить, и хлеба завались!

Кто это смеет так догадаться? И это — ведение действительного статского советника Вейса.

А что беспрекословно обязаны были эти власти — письменно доложить своему начальству о полных событиях минувшего дня.

Однако ежедневные рапорты столичного градоначальника не могли нарушить образца, установленного ещё Николаем I: сперва — движение больных по госпиталям, потом — несчастные случаи с воинскими чинами, лишь под конец кратко о событиях в столице — которые вообще не должны были иметь место. Эти рапорты писал особый умелый чиновник, хорошо знавший форму и очень красивым почерком. Большие события не вмещались в тот рапорт — да большие, кажется, и не произошли?

Да министр внутренних дел и сам пребывал в Петрограде, и сам был осведомлен о волнениях, и без этого рапорта. Но считал бы уроном для своего положения серьёзно докладывать императору о столь ничтожных событиях, как эта беготня по улицам. Ведь он всегда уверял Государя, что справиться с бунтарями ему не стоит ничего. О чём же теперь суетиться писать?

А по военной линии генерал Хабалов и сегодня, как вчера, решительно не находил, о чём бы ему докладывать в Ставку Верховного: его войска не сделали ни одного выстрела, не имели ни одного ушиба, не произвели ни одного серьёзного манёвра.

Так и 24 февраля никакого доклада о столичных событиях Государю подано не было.

Очень близко к истине будет сказать, что в этот обманчиво-тихий вечер 24 февраля столичные власти уже и проиграли февральскую революцию.

22

Полфевраля большевики звали рабочих на Невский — те не шли. И вдруг вот — сами попёрли, не званные. Нет, стихия народа — как море, не предскажешь, не управишь.

Звали на Невский и к Казанскому — нарочно, отвлекая от меньшевицкого призыва идти к Думе в день её открытия, как звала Рабочая группа, ещё до своего ареста. И опять непредвиденно: сам арест гвоздёвской группы рабочие перенесли спокойно, не поднялись. А к Думе 14 февраля беспременно хотели идти. Эту меньшевицкую затею надо было во что бы то ни стало сорвать: хоть никуда не идти, только бы не к Думе! И большевики двинули в массы такую типовую резолюцию: не поддерживать Думу, а прекращать войну и низвергать царское правительство: ,,правительство доверия"— буржуазный лозунг, только ослабит революционное движение пролетариата; Государственная Дума помогает войне, она бессильна принести народу облегчение, и меньшевики зовут к Таврическому предательски.

Меньшевики и эсеры, легалисты и оборонцы всех мастей зашевелились, зашипели: вы отталкиваете прогрессивные элементы буржуазии! нет, 14-го — все к Думе, с поддержкой!

Ай, позор! А мы больше всего боимся — несбыточных мещанских надежд. Нет, не пустим рабочее движение в объятия либералов! Никто не идите к Думе, а все — на Невский!

А межрайонцы откололись, они сейчас никакого выступления не хотели: рабочий класс не готов к революции, и армия не поддержит. Вообще они фракционщики, не хотят действовать слитно. Да у них и деньги, видно, большие, платят стачечным комитетам, Путиловским едва не овладели, держатся независимо. Да собрали к себе лучшую пишущую молодёжь, выпускают листовки чаще других: „хлеба!", „равные права евреям!" и „долой войну! долой войну!". Но „долой войну"— ещё плохо понимают рабочие массы, и большевики с этим лозунгом поосторожней.

Да у большевиков ещё и провалилась типография в Новой Деревне, и даже к 9 января листовки не смогли выпустить. Всё устной передачей: на Невский, с красными знамёнами.

А ещё ж есть меньшевики-интернационалисты, у тех ещё своя позиция, раскололся волос начетверо, полный разброд социал-демократии.

Но полфевраля проборолись БЦК и ПК с ними со всеми — и таки сорвали: 14-го к Думе рабочие не пошли!

Шляпников сам проверял ревниво: надел буржуазное пальто, шляпу, взял под ручку, как барышню, курсистку, и долго бродил с ней по Шпалерной, выжидая, не будет ли массового движения. Нет, не было, разве человек пятьсот,— а то стояли любопытными кучками только прислуга барских домов, дворники да прохожие. А Невский — всё-таки кишел конной и пешей полицией,— и учащаяся молодёжь сбиралась большими группами и пела песни. *Наших* — боялись больше!

А почему рабочие и на Невский не пошли — сама большевицкая головка виновата, перемудрили: чтобы верней от меньшевиков отделиться, решили и день сменить, вместо 14-го — 10-го, в годовщину суда над депутатами. Но никто не вспомнил, не сообразил: ведь это — последние дни масленицы, даже все военные заводы 9-го и 10-го законно не работают, все рабочие по домам блины едят,— кого же вытянешь на демонстрацию? Спохватились, перенесли стачку на 13-е,— но уже не все знали, оповестить не удалось.

Ладно, не состоялось „на Невский", но не состоялось и „к Думе",— всё равно победа большевиков.

И вдруг вчера — всё с а м о! Здорово! Застигнутые БЦК и ПК собирались, где могли, и совещались, Шляпников — со своими недотёпами, Молотовым и Залуцким, а там и с ядром сормовичей, и все — до раззёва ртов: никто рабочих не звал, с чего они вдруг?

Но уличные демонстрации всегда хороши. Чем бы они ни кончились — они всегда ведут к обострению борьбы. При уличной демонстрации — всегда что-нибудь случится. Солдаты эти дни держались очень пассивно, вяло оттесняли публику, вяло заграждали путь, вступали в разговоры и даже некоторые ругали полицию. Хорошо! От всякого стояния против демонстраций войска разлагаются, слушают демонстрантов и что-то усваивают. Хотя всё ещё у толпы не хватает злости. Как повернуть её решительно от желудка к политическим требованиям?

Но и власти оба эти дня вели себя что-то очень уж вяло — поразиться, как нерешительно. Ни одного выстрела — и даже ни одного ареста. Пошёл даже слух среди товарищей, что это — правительственная провокация: мол, нарочно запускают движение, дают разростись, чтобы потом потопить в крови.

Но Шляпников этому не поверил сразу. В действиях властей, и особенно в сегодняшнем уговорительном хабаловском объявлении, он почувствовал — истинную слабость власти, очень похожую на ту внезапную слабость 31 октября, когда он безо всяких сил переборол их! Они — просто не уверены в себе, они — не знают, что делать. А между тем, никак не сопротивляясь движению, они и проигрывают.

Но и — что было делать нам? Как овладеть движением и как обойти остальных социал-демократов? Какие бросить стержневые лозунги? В производстве у нас — одна плохонькая листовка про озверелую буржуазную шайку, и та от руки, и та может быть с политическими ошибками? А момент, может быть, самый решительный, ещё важней, чем был в октябре,— как не ошибиться? Минует эта пора — и оборотному взгляду будет всё понятно. Но — как быть сейчас?

Ах, нет у Саньки Шляпникова ленинской головы! И — эх, нет рядом Сашеньки, распроумницы!

Ясно, что: не дать остыть! Чтоб забастовка не кончилась за два-три дня! Доводить борьбу до предела, до схваток с полицией (где не получаются — подтолкнуть!), до уличных битв, пусть до кровавой бани! Если и пойдёт в отлив — всё равно эта баня не забудется и не простится, и даже поражение — есть победа!

Но движение, возникшее так неожиданно и сразу во всех местах,— невозможно поправить! Нет влияния, людей, даже связных по районам. У нас, как и везде, любят болтать, петушки наскакивают, вроде Васьки Каюрова, а публика пустая, революционеров настоящих нет. И теперь вместо того, чтобы стать при массах на улице вождями,— все надежды положили только на стихию, а сами собирались по квартирам на Выборгской и толковали до одури: какую тактику выбрать, которой, может, никто и выполнять не будет. Да наверно надо, чтоб нас вся Россия поддержала? Да наверно надо бы всеобщую всероссийскую стачку подымать? Да кого посылать, когда с одним Питером не справимся? С армией связаться? За полгода не связались — в день не свяжешься.

Тьфу! Хорохорились против оборонцев, а у самих сил — совсем нет.

И оставалось Шляпникову: брести по столице, да смотреть самому, что делается,— улица и есть важней комнатных размышлений. Днём через мосты не пускали, к вечеру схлынывало, всё открывалось,— Шляпников и вчера и сегодня ходил вечерами на Невский толкаться и наблюдать.

Вчера — была непринуждённость, обстановка обычная, всё открыто, все гуляют, и даже полиция выпроваживала с Невского рабочую молодёжь как бы в виде игры.

А сегодня, во-первых, не было гуляющих солдат и даже офицеров — очевидно перешли на казарменное положение. Иногда разъезжали взводы казаков. Потом: трамваи, извозчики, автомобили быстро заметно редчали, прежде обычных сроков. Но пешеходы на Невском не так редели, и Шляп-

ников видел тут много рабочих, совсем в неурочное время, а полиции не было — гнать их с чистой столичной улицы. И в таком окружении франтоватая фланирующая публика, хотя никто прямо, кажется, не мешал ей,— не чувствовала себя свободной для развлечений, и тоже исчезала. И раньше времени закрывались кондитерские, кафе, рестораны, гасли роскошные витрины, всегда торговавшие до глубокой ночи.

Утренние хабаловские объявления кое-где уже были полусодраны.

Дух буржуазного Невского был сломлен — и вот безо всякого боя, в темноте, его забирала тёмная толпа. Собирались в кучки.

Вдруг на углу Невского и Литейного, где перестали пересекаться трамваи, несколько кучек сдвинулось с разных сторон — и стала толпа! И на чём-то сразу же нашлось подняться первому оратору. Шляпников не узнал его, но видно был опытный — закричал уверенно, сильно и сразу к делу, не с копеечными лозунгами меньшевиков, а наверно межрайонец:

— ...Глухая ночь правительственной реакции!.. Обман обороны отечества!.. Дёшево обошлась им победа в Девятьсот Пятом! Но прибавилось у нас опыта за двенадцать лет! Долой кучку бандитов, затеявших войну! Распутное правительство...

Бойко нёс. И слушали — без возражений. Открывалось Шляпникову, что уже можно лозунги ставить смелей и смелей. Опять опережали межрайонцы.

— ...Отомстим насильнику на троне, царю-последышу! Погибель царским прихвостням, народоубийцам!..

И тут услышали все, хотя мягко ступали копыта по снегу: по Невскому от Знаменской прямо на них ехали казаки!

Оратор замолчал. И провалился. Все зашевелились, обернулись — в тишине ещё слышней был ход подков.

Но странно ехали казаки: рассыпным строем, поодиночке, и не только оружия не вынимая, а даже рук не держа на рукоятях шашек, и не выхватывая нагаек,— тихим шагом, как будто задумавшись, куда им дальше.

Как может ехать всадник в сказке.

Толпа стала раздвигаться к тротуарам, но не разбегалась, и даже посреди улицы остались многие. Уже и не боялись. За эти дни появилась и на казаков надежда.

Казаки молча, тем же медленным шагом, так же поодиночке, бережно въехали между людьми, разве крупом кого толканув,— и так проехали через разреженную толпу, а на просторе снова сблизились — и дальше, не задержась, не оглядясь.

И из толпы, и с тротуаров — зааплодировали, закричали:

— Браво, казаки! Браво, казаки!

И толпа — опять смыкалась, и тот же оратор вылез и продолжал: что надо вовлекать армию в революционную борьбу.

Потом расходились, уже без понуждения, и кричали:

— Завтра — опять на Невском!.. Приходите завтра на Невский!

Шляпников ни во что не вмешивался. Теперь он крупно зашагал по темноватому пустеющему проспекту. Ему до Павловых было больше пяти вёрст.

Только бы не угас пыл у рабочих: ещё день — ещё день — ещё день, раскачивать, а на работу не возвращаться.

Прямо бы — на крыльях радости нестись, вот сейчас товарищам расскажет, там у Павловых соберутся на всю ночь.

Но почему-то радости полной, настоящей — Александр Гаврилович не ощущал, заметил. Кажется — этого только и ждал, для этого жил! — а вот...

Или — начинал уставать? Столько уже месяцев — то под слежкой, то переодеваясь, с фальшивым паспортом. Ездил опять в Москву и на Волгу — везде слабо, нигде ничего не готовится, и никакой всероссийской забастовки сейчас не раздуть, он знал. А в Питере — тайные встречи на адвокатских квартирах — с Чхеидзе, с Керенским, и те закатывали истерику,

что большевики — сектанты, и Шляпников 14 февраля погубил подготовленное торжество демократии, помог царскому правительству.

Может, и правда где что не так сделал. Спросить некого.

Или — просто устал от подпольщины?

И вот в сегодняшние дни забрала ему почему-то не радость, а, как Сашенька выражается: меланхолия.

ДВАДЦАТЬ ПЯТОЕ ФЕВРАЛЯ

СУББОТА

23

А проснулся Георгий — ныло опять в груди, разнимало тоской хуже вчерашнего.

Испарилась куда-то вся радость, вчера ещё спасённая у огня. Хотелось — уезжать. Но вчера уже обиделась — как ей теперь повторить? Ольда не привыкла, чтоб ею вертели. Но и оставаться ещё до завтрашнего полудня казалось пусто, немыслимо.

Да проснулся, как назло, рано.

Вскоре и она.

Встретились глазами — а уже не всё на лад. Что-то сдержанное пролегло в глазах, разделяя.

Но и молчанье чуть-чуть продлись — будет размолвка. А говорить — опять она будет об Алине?

И толчком:

— А поедем в город?

И она неожиданно: ладно, едем.

И печки уже не разжигали. А наружу вышли — так даже теплей, чем в дачке.

Тропка такая, что под руку неудобно. Отдельно.

Вот, Распутин убит, так что? Пока он был жив, редко кто не мечтал: хоть бы его убрали! И сперва — ликование было, особенно в образованном обществе, все поздравляли друг друга, даже — приёмы, банкеты.

— У нас штабные офицеры — тоже, искали шампанского выпить.

Да, произошло убийство, как бы единодушно желанное всем обществом. Впрочем, разве это — первое убийство, которому общество аплодировало? Но совсем оно не к добру. Прошли недели — и стало хуже, чем с Распутиным: теперь не на кого больше валить. И это пятно: убили великие князья. И никто не наказан — тоже пятно.

— Это да. Обхожу роты, в одной новой дивизии, беседую. Встаёт старый солдат: ,,А пущай бы нам ваше высокоблагородие высказали, почему это сродственники Государя императора, кто забили Распутина, на свободе позастались и суда на них нет?“

Да ведь законы даже не приспособлены к такой дикости: арестовывать великих князей как убийц. И можно себе представить, как защита злоупотребляла бы, и поносила трон.

Удивительно, как Распутин долго держался — в тоне, в роли. И что-то же советовал. И советы принимались.

— И с каким уровнем? Как он мог дорасти до государственных советов?

— Значит, какая же природная трезвость ума. И уменье ответить не впросак. И очевидно религиозный экстаз — умел же он, ничтожный пришлый мужик, так убеждать епископов, что они возвышали его. Тут уж на женщин не свалишь. Только банкиры играли им.

— Но какой бы ни был у него здравый смысл — унижает каждого из нас, подданных, что государственные вопросы могут решаться на таком уровне. И каждый думает: что ж это за монархия?

— Конечно, это всё — ужасное несчастье. Может сердце отказать в терпении...

Пришли на станцию раньше времени. Всего несколько человек на платформе, утоптанный снег кочковатый. Всё ещё света северного мало. И мрачные ели густо у станции.

— А всё же — ты с осени изменилась. Ты уже не так это всё поддерживаешь.

— Нет, ты ошибаешься. Поддерживать трон — в этом я не изменилась. Даже: сейчас ещё нужней, чем тогда, сплочение твёрдых верных людей. Ведь сколько же умных и твёрдых, но все рассеяны, друг друга не знают — и бессильны.

Сумочка не мешала за кистью, она сплела пальцы в перчатках,— и было бессильное умоленье в этом жесте, но была уже и сила.

— Да не нужна им наша помощь. Никто из них её не спрашивает. И — некому предложить, и — нет путей, доступа нет на сто вёрст. Ты же не можешь придумать — к а к.

Брови Ольды и лоб дрогнули вместе:

— Так что ж — не спасать страну?

— Страну — спасать. Но укреплять трон помимо воли трона — абсолютно невозможно. Как помогать тому, у кого нет воли? Как только соединяешь себя с троном — вот ты и скован всей там налегшей, прилипшей рухлядью.

— Нет, ты не монархист,— печалилась она.— Ты и осенью так же говорил. А время было взяться — тогда, на поддержку.

Гудел поездок, подходя. Доболтал вагончики, остановил. Вошли. Дачный вагон слабо нагрет печкой от середины, и там вблизи сидят.

— Холодно тебе будет?

— Нет, ничего.

Поколебался. И:

— Тогда... я тебе не всё сказал.

— А как?

Всего — и теперь не выразишь. И — долго.

— Да разные мысли бродили. Но не точные. Оказалось всё очень-очень сложно. И не в думских кругах найти союзников.

— Да уж не Думе в рот смотреть. Тот же Распутин для Думы был — просто находка. Не такие уж могучие „тёмные силы", как раздувалось. Молва всегда нагораживает избыточное, это закон молвы. А нечистота прилипает и на всех уровнях. Выступать против Распутина стало в обществе очень выгодно. Каждый, кто заявит, что он — жертва Распутина, сразу становится фаворитом общества, обеспечена повсюду горячая поддержка.

Нравилась ему эта сдержанная ровная страсть её, как она всегда говорила об общественном. Чуть-чуть запрокидывая голову.

И затолпились в Петрограде слухи, да какие. Что убийством Распутина начинается новая эпоха террора. Даже будто: стреляли в Протопопова, уже! Уже хотели отравить генерала Алексеева! Задумано убить императрицу и Вырубову! Не где-нибудь, а среди знати спорят: убьют ли только императрицу или Государя тоже. Уже называли и полки, в которых готовится заговор. Потом — что заговор великих князей, и будет государственный переворот, а то: перед Пасхой будет революция. О заговорах среди гвардии — из десяти мест.

— И ты думаешь — есть доля правды?

— Думаю: всё болтовня. Но ходит. То будто: на союзнической конференции в январе постановили: взять русское правительство под опеку и посадить англичан и французов в русский генеральный штаб.

Воротынцева передёрнуло.

Немощные карельские деревца за окном. Заснеженная долина речушки.

Слухи — напирают, измучивают, не бывает дня без их горечи пустой. То: к февралю подпишут сепаратный мир. То: ожидается железнодорожная и всеобщая забастовка. То: вот, через полчаса перестанут давать ток

и остановятся трамваи. Но — кто говорит! В придворном мундире, камергер, вдруг называет, правда, в небольшом обществе, Зимний дворец — вороньим гнездом! Вообще, среди придворных — очень много предателей, они больше всего и сплетен пускают, подлаживаются к обществу. О царской семье — любые мерзости, будто у них оргии...

— И всё это — свободно вслух?

— Совершенно! Сейчас говорят — всё, что хотят.

Все те же скудные хвойные стволики в снегах — и вдруг оскалится гранитный валун.

Как будто и легче стало в движении. Наверное, в этом всё дело — требовалось движение.

А нет. Та вчерашняя посасывающая пустота — всё же осталась в нём.

Неловкость между ними как будто разрядилась. Он снова любовался её поводимой головкой, и выражением строгой рассудительности, которое очень шло к ней. Но странно звучал их разговор — как знакомые встретились в вагоне. Куда делась их обоюдная слитная радость?

А — что было перед самым убийством? Эти *съезды* разгорячённых тыловых героев, безо всякого намерения обсуждать что-нибудь полезное, а только как-нибудь проголосовать уже готовую ядовитую резолюцию — и распустить её по всей России тучами прокламаций. И даже если не проголосуют — всё равно распустить: например, что правительство *умышленно* ведёт Россию к поражению, чтобы с помощью Германии ликвидировать Манифест 17 октября! Всеобщая жажда успеть прослыть либеральными охватила и дворянство, на дворянских съездах тоже злобствование: „постыдный режим", это считается нормальным определением российского государства. И нет сильного весомого голоса, который бы прогремел: да остановитесь вы! нельзя же так лгать!

Голубая фуражка начальника станции. Вошли молочницы с вёдрами.

До сих пор не замечали, не слышали людей. А тут открылись их уши. И в вагоне, уже изрядно наполненном, они различили разговоры о каких-то питерских волнениях: о разбитых магазинах, остановленных трамваях.

Воротынцев насторожился, но Ольда отмахнулась:

— И такое бывает, в феврале уже было, и на Петербургской стороне.

Но затем они разборчиво услышали, что сегодня — трамваи вообще нигде не ходят.

Вот так так, значит и конка от Ланской к Строганову мосту тоже наверное не ходит? Тогда нельзя сходить на Ланской, как думали,— а ехать до Финляндского.

Какой-то мещанин позади них рассказывал, что вчера вечером подле вокзала сунулся в переулок — а там в полной темноте, без огней, без звука стоит спешенный казачий отряд, затаился, пики составлены, только лошади тихо фырчат. Затаились — и ждут.

Вот как? Значит, дело серьёзное. И вот когда Георгий выбранил себя: зачем они поспешили? Как хорошо там было вдвоём! Какая это в жизни редкость, и что за характер проклятый — всё отбрасывать и всё вперёд куда-то?

Виновато погладил запястье Ольды, за перчаткой.

Она печально улыбнулась.

24

* * *

С утра на петроградские линии вышло мало трамваев — и вскоре все ушли или остановились без ручек.

Утренние газеты вышли не все. В типографию „Нового времени" ворвалась толпа рабочих, разбила несколько стёкол, сняла типографов. Но газета вышла.

На Петербургской стороне человек 800 подошло к государственной типографии, чтобы сорвать рабочих,— но были рассеяны пешими и конными городовыми.

* * *

День рассвёл с восемью градусами мороза, безветренный, с лёгким снежком.

Улицы все были хорошо убраны, дворники работали усердно, как всегда.

Сенная площадь изобиловала продуктами всех видов, дешёвыми колбасами.

На уличных стенах появилось новое объявление генерала Хабалова: если работы на заводах не возобновятся со вторника 28 февраля (воскресенье и понедельник давались для осадки) — то будут досрочно призваны новобранцы ближайших трёх призывов. О демонстрациях и уличных беспорядках, избиениях полиции — ничего не поминалось.

А вчерашнее хабаловское объявление уже было и содрано во многих местах.

* * *

От завода к заводу бродили активисты, заставляли всех бросать работу, кто ещё не бросил вчера. На Невскую ниточную мануфактуру ворвались чужие, останавливали машины, их задержал надзор. Забастовали даже мастерские арсенала Петра Великого, хотя эти рабочие числились военнообязанными. И пошли снимать Металлический завод.

Близ девяти часов утра рабочие Обуховского завода на Невской стороне, прекратив работу, тысяч пятнадцать, вышли на улицу — и с пением революционных песен и одним красным флагом двинулись в сторону города, по пути снимая с работы карточную фабрику, фарфоровый завод. На проспекте Михаила Архангела толпа была встречена нарядами конной полиции и рассеяна — уговорами, а там нагайками и ударами шашек плашмя. У 18-летнего обуховца Масальского отобран тот красный флаг. На нём оказалось: ,,Долой самодержавие! Да здравствует демократическая республика!“

* * *

А полиция, подчинённая теперь воинским частям, телефонно докладывала им дислокацию, какие заводы забастовали, где какой непорядок. Многие офицеры и названий тех не знали.

* * *

На Каменноостровском проспекте в булочной швейцарца Крузи приказчики заявили, что булок больше нет. Но публика обнаружила булки, уложенные на телегу с заднего хода. Очередь разбила три больших стекла. Пристав распорядился — и эти триста булок были тут же проданы.

* * *

По Косой линии Васильевского острова шёл городовой с двумя подручными дворниками. Толпа рабочих решила, что он ведёт арестованных,— накинулись, отняли шашку, ею же покрестили до крови, зубы выбили.

* * *

У казачьей казармы перебинтованный казак (вчера сбросила лошадь) просил прохожих передать рабочим: вы не затрагивайте казаков — и мы вас не тронем.

* * *

На Выборгской стороне среди бастующего многолюдья — кой-где митинги. Вот поднялся оратор — по одежде рабочий, но по языку с привычкой выступать:

— Довольно нас эксплоатировали! Долой их всех! — жандармов! полицию! фабрикантов! правительство! Война для нас гибель, а для буржуазии выгода! Довольно лили нашу кровь!

После него поднялась на тумбу нервная девица из аптеки, с писклявым голосом. Сначала её высмеивали, а потом всё больше слушали: заворачивала круто туда же — „долой! долой! долой!“.

* * *

Часть толпы пришла *снимать* Трубочный завод артиллерийского ведомства на Васильевском острове. Многие его мастерские не желали бастовать. У ворот стояла рота запасников лейб-гвардии Финляндского батальона. Из толпы насмехались над её командиром подпоручиком Йоссом, а один слесарь угрожал кулаком к носу. Подпоручик выхватил револьвер и уложил его на месте. И толпа сразу разбежалась. Но задержали реалиста 6-го класса Эмилия Бема, у которого отняли заряженный револьвер казённого образца.

Труп убитого слесаря отправили в военный госпиталь под конвоем семи казаков, но те по пути без сопротивления отдали труп толпе.

* * *

Воинские караулы стояли близ многих правительственных зданий, у почты, телеграфа. Также — и на Фонтанке у дома, где живёт Протопопов.

Городовые, чаще по двое, стояли в центре на всех обычных уличных постах.

Воинскими частями охранялись мосты, речные переходы с окраин в центр. И ещё кой-где перегораживали, но как? — разомкнутыми цепями на шаг солдат от солдата, и ничему не мешали: районы не замыкались же вкруговую, публика обходила их, насачивалась с двух сторон, ругалась, кричала — в конце концов всех и пропускали. И сами солдаты об офицере думали: и глупый же приказ. А толпа только уверялась: везде прорываться!

* * *

Гнал санный извозчик с двумя офицерами по Троицкой площади — и на пересечении с Кронверкским, на завороте, угодил полозом в жолоб трамвайного рельса. Дёрнуло, завизжало железом — застрял.

Соскочил извозчик, вышли и полковник с капитаном.

А от дальней чёрной толпы рабочих к ним двинулись, даже и побежали — полудюжина, опережая остальных.

Что это?

Да и поперёк площади шли туда-сюда разные, тоже чёрные,— и тоже стали стягиваться.

А полиции — нигде не видно.

А уж слышаны рассказы, как ссаживают господ с извозчиков,— и на знакомой площади своего русского города, среди соотечественников офицеры замялись — в отчуждённости. И капитан положил руку на эфес — хотя разве выдернет?

Но бежали чёрные, как на игру, весело:

— Что, господа офицеры? Или площадь узка?

— Что ж ты, дурак, зевло распахнул?

Дружно схватились, вытолкнули.

И на чай не взяли.

* * *

К генералу Хабалову в градоначальство пришла депутация петроградских пекарей: после вчерашнего объявления генерала о достаточности муки все обрушиваются на них: почему не пекут? значит — прячут и воруют? Хабалов обещал им вернуть из армии полторы тысячи мобилизованных пекарских рабочих. (Кто остался — многие пьянствуют, работать не заставишь.)

* * *

Между тем на Невском толпы набирались и бродили — частью рабочие с окраин, а много своих, из центральных районов,— студенты, особенно много из Психо-неврологического, курсистки, подростки, и много праздной городской публики. И уж, конечно, все городские подонки за эти три дня притянулись. За вчера и позавчера у толпы создалось чувство полной безопасности, она привыкла к патрулям и что они не трогают.

Всё же пристав Спасской части задержал до полудня человек шестьдесят, заводя их в замкнутый каменный двор на Невском против Гостиного Двора. Тут по Невскому от Знаменской площади повалила большая толпа. Пристав послал в Гостиный Двор за условленной помощью к командиру пехотного караула — и тщетно ожидал с четырьмя полицейскими, увещевая наседающую разъярённую толпу. Воинская помощь не пришла. Тогда он сам прорвался в Гостиный Двор и просил помощи от стоявшей там сотни 4-го Донского полка. Сотник ответил, что имеет задачу лишь охранять Гостиный Двор. Другой казачий офицер согласился помочь, но опоздал: толпа уже смяла полицейских, освободила арестованных, а надзирателя Тройникова повалили на землю и били поленом по голове, пока не потерял сознания.

* * *

На подходах к Литейному мосту с Выборгской стороны и сегодня стягивалось много тысяч рабочих. Навстречу толпе выехал по Нижегородской улице старик-полицмейстер полковник Шалфеев с полусотней казаков и десятком полицейских конных стражников. Поставив из них заслон у Симбирской улицы, Шалфеев один выехал вперёд к толпе и уговаривал ее разойтись. Толпа в ответ хлынула на него, стащила с лошади, била лежачего кто сапогами, кто палкой, кто железным крюком для перевода рельсовых стрелок. Раздробили переносицу, иссекли седую голову, сломали руку.

А казаки — не тронулись на помощь. (Толпа на это и рассчитывала.)

Бросились выручать конные городовые, произошла свалка. Здоровый детина замахнулся большим ломом на вахмистра, тот сбил нападавшего рукояткой револьвера. Из толпы бросали в конных полицейских льдом, камнями, затем стали стрелять. Тогда ответили выстрелами и полицейские.

После первых выстрелов казаки (4-й сотни 1-го Донского полка) повернули и уехали прочь полурысцой, оставляя полицейских и лежащего при смерти на мостовой Шалфеева.

Тут подбыли от моста другие городовые, конные и пешие, и оттеснили толпу.

* * *

Петроградская интеллигенция жаждала событий, но всё ещё не верила ни во что крупное. Карташёв на квартире у Гиппиус сказал: ,,всё — балет, ничего больше‘‘.

* * *

После 11 часов утра с окраин Петрограда уже не поступало донесений: повсюду начался разгром полицейских участков. Чины полиции скрывались или были преследуемы и убиты.

25

Вышли на перрон — приятный лёгкий морозец, и срывается лёгкий снежок. На вокзале — всё обычно. Но вышли на пасмурную площадь — трамваи действительно не ходят, и не ползёт через площадь обычная медленная вереница гружёных ломовых, и редко проскакивают занятые извозчики. С Симбирской улицы выходило свободное какое-то шествие с красным флагом — а полиции не видно было нигде ни человека.

Поразился Воротынцев.

Ожидающих извозчиков не сразу и найдёшь, обошли здание. И просят неимоверно, впятеро дороже. Сели в санки. Ольда подрагивала, хотя не холодно. Георг поправил полость на её коленях и держал обе руки в одной своей.

Поехали через Сампсониевский мост. Нет полиции на перекрестках. Почти нет и военных. И не столько идущих уверенно прохожих, сколько бродящих никуда. Или стоящих группами, рабочие. Улицы были людны — а казались безлюдны, оттого что не было обычного колёсного и санного движения. Какой-то пасмурный праздник. На Посадской улице все лавки — заперты, окна закрыты щитами.

А город и без того-то был не сияющим, как минувшей осенью, но запущенным, даже и грязноватым.

На Каменноостровском — торговали, роскошные магазины — без хвостов, а попроще — с хвостами. Никто ничего не громил, да вот и городовые попадались, постами по двое. Нет, в одной булочной разбиты были стёкла, торговли нет. Теперь встречались и извозчики, иногда автомобиль. А что-то висело больное в воздухе.

Извозчик по пути тоже рассказал им: одни фабрики бастуют, другие полуработают. А то — озоруют: видят, господа на извозчике едут, останавливают и ссаживают.

Мол, и вас бы не ссадили. Глупое, действительно, было бы положение — с дамой и против толпы, и — что делать?

Проехал наряд конных городовых. С тротуаров дерзко кричали им, не боясь. Они не оглядывались.

А вот и Песочная набережная у заснеженной Невки — и чистый упругий снег под полозьями, здесь — никакого разорения. Тут хоть забудься и дальше. Но не проходило в груди дурное грызение, которое выгнало Георгия с дачи.

Поднимались изогнутой лесенкой в их ротонде.

— Всё это мне начинает не нравиться,— качала Ольда головой.

Сбросили верхнее — и сразу обнялись, как будто давно не обнимались. Постояли, молча покачиваясь.

— А узнаю-ка через телефон, что где делается,— сказала Ольда.

И стала звонить из коридора в одно, другое, третье место.

А Воротынцев переходил, курил, садился. В этой квартире такой был для него приёмистый, обнимающий уют — а сейчас почему-то сердце не на месте.

И глупо, что вернулись с дачи.

А может быть ещё глупей — вообще, что приехал в Петроград. Не зря ли он вообще ездил?..

В спальне появился на стене увеличенный портрет Георгия с фотографии, которую он ей прислал с фронта.

Этим Ольда признала его, приняла, ввела в свой дом.

А — кем?

Было и гордо от этого. И — смущение.

Пришла Ольда. Узнала: рабочих через мосты в центр не пускают, они тянутся там и сям по льду через Неву. В разных местах избивают полицейских. У Казанского собора с утра — маленькие группы студентов, их разгоняют. А сейчас по Невскому от Московского вокзала прошла большая возбуждённая толпа к Гостиному Двору. Отряд драгун помешал полиции разгонять толпу, толпа кричала драгунам „ура“.

Ничего себе.

Всё то же ощущение, как всегда: наверху нет твёрдости.

Какая-то серая пустота. Невозможно бы сейчас — лечь, даже просто бездействовать, впустую разговаривать.

— А знаешь, позвоню я Верочке. Что ж теперь скрываться?

— Конечно.

Пошёл в коридор, повертел ручку, попросил барышню дать телефон Публичной библиотеки, второй этаж, выдача, он его не помнил.

Соединили. А там и Верочку позвали довольно быстро.

Вера только охнула в трубке — но меньше, чем он ожидал.

— Ой, как хорошо, что ты отозвался!

Странно.

— Я — в Петербурге.

— Знаю! Уже третий день знаю.

— Откуда???

— От Алины. Телеграммы. И даже телефон.

Так и обвалилось. Холодно-горячим.

— От Алины??? Почему? Откуда?..

— Она зачем-то телеграфировала тебе в Ромон — и ей ответили, что ты в Петрограде.

Так и обвалилось. Ещё валилось, валилось, даже нельзя охватить. Неисчислимо. Вот он было предчувствие, не обмануло.

— А — ты что?..

— Я отвечала: ничего не знаю. Так и есть. Хотя, честно сказать, сразу поверила. Но я так боялась, что ты не объявишься мне.

Пытался сообразить своё нужное быстрое действие — и не мог. Обвал! Снизил голос, чтоб Ольде не донеслось:

— А — что она?..

Что с ней сейчас? Боже, что с ней?

— Мне — не верит. Обвиняет — меня. Проклинает тебя. Говорит... Ну, да приезжай, Егорик.

— Нет, что говорит?

Молчанье.

— Что говорит? Скажи скорей! Едет сюда?

— Не знаю. Нет, возможно... Вообще не знаю.— И по телефону можно было различить в Вереинькином голосе страдание.— Да приезжай скорей.

— А что? Плохо?

— Да... вообще...

— А что именно?

— Ну, там... Приезжай.

Обваливалось дальше и дальше, рухалось до конца.

Всё, что строено эту зиму,— всё обрушилось. И опять весь кошмар снова?.. И даже удвоенный?

Трубку держал, а в потерянности замолчал. Как одурел, ничего не мог придумать. А Верочка:

— Что на улицах делается...

И до чего ж не повезло. Как же не подумал, что она может телеграфировать, никого в штабе не предупредил.

— Около Гостиного — тут большая свалка, в окна видим. Смяли полицию, бьют. С красными флагами ходят по Невскому.

Да, ещё это же. Но это всё — полуслышал. А главное — не мог сообразить, что нужно делать.

— Но ты приедешь к нам сегодня? Няня волнуется!

Сразу всё в голове поворачивалось, целый мир. Теперь невозможно возвращаться прямо в Румынию, не избежать ехать в Москву. Сплести, что была срочная командировка. Но тогда побыстрей и ехать. Но не поверит! — если б сам не открылся в октябре, идиот.

— А что там около Московского вокзала?

— Там-то бурней всего эти дни. Тебе билет? Я сама пойду брать, а то ты ввяжешься.

Вот влип, так влип, ещё эти уличные волнения, действительно ввяжешься, нелепо.

— Егорик! Ну, ты можешь ехать к нам? И я тогда иду домой. Только Невский минуй, не пересекай. Как-нибудь от Фонтанки слева приезжай. Ты...— через паузу,— на Песочной?..

Наконец всё довернулось и решилось. И ломящее предчувствие — мрачно заменилось ясным действием.

— Да. Еду. Через час буду.

Но ещё докручивал ручкой резко отбой — а уже понял: с э т и м он не может выйти к Ольде. Он — всё равно не может ей передать, насколько и почему это ужасно. А если открыть — она начнёт снова воспитывать и учить его, как твёрже себя вести с Алиной, а это невыносимо, потому что она не понимает. И если открыть — сейчас невозможно будет уехать, а нужно остаться и разговаривать, разговаривать... Невозможно.

Стыдно лгать любовнице, но петроградские события давали ему единственную возможность вывернуться. (А что он такое от Веры услышал? — он едва сейчас вспоминал.)

Ольда с испугом встретила его лицо.

— Да...— бормотал он,— очень серьёзно...

— А — что?

— Около Гостиного — полицию избивают. А около Московского вокзала что-то ещё хуже.

Да он конечно бы ей всё сказал! Если б она не отпугнула его вчерашними упорными внушениями. Была какая-то запретность — с ней это всё обсуждать.

— Как разыгралось! — не сводила Ольда с него глаз, и он побоялся, что угадает.— Что ты думаешь?

Он молчал.

— Ну, не Девятьсот же Пятый,— уговаривала она себя и его.— Уже бывало. И в октябре, в тот самый день, когда мы познакомились, помнишь?

Да, правда, тогда было похожее. Так недавно. Тогда ещё не было у него этих маленьких плеч. Прошлые часы он совсем к ней остывал. А сейчас, как расставаться,— стала опять мила, желанна. Счастье моё неожиданное! Спасибо тебе за всё. Но — очернело во мне, стеснилось, и ты не можешь утешить. А вслух:

— Надо мне поехать кого-нибудь в штабах повидать, понять. На что ж рассчитывают? Как же можно так запускать? Вот тебе и... Самодержавие без воли — это, знаешь...

Делать-то надо же что-то. Сами же говорим.

Да, верно. Так.

— Но ты же к вечеру вернёшься? — то влекла вперёд, а вот уже удерживала.

Положение, и попрощаться открыто нельзя.

— Если не разыграется. Если там не понадоблюсь.

— Но тогда — хоть завтра! — ещё же завтрашний день наш!

Он вздохнул.

— Ну, ты по крайней мере скажешь мне в телефон — что и как?

— Да, конечно!

Поедим?

Нет, уже не сидится, всё колышется, корёжится.

— Но ещё же мы не расстаёмся? — сильней встревожилась Ольда.

— Да кто его знает,— недоумевал он с отсутствующим лицом.— Чемоданчик на всякий случай возьму.

— А ты — не к *ней* поедешь? — вдруг догадалась и впилась ему в китель.

— Ну, с чего ты взяла? — почти искренно изумился он.

Вот повернулось: скрывал жену как любовницу.

— Это — нельзя! — внушала Ольда большими глазами.— Я буду ревновать! Теперь ты — мой!

— Да ну что ты?.. Да откуда?..

Вот — и миг прощанья. Она подняла, положила ладони ему на плечи и с сияющими глазами выговаривала:

— Для меня твоё появление — как второе рожденье моё. Я столько ждала!.. Я уже теряла надежду, что дождусь... Я шла как через пустыню... Я всю эту зиму вспоминала твой последний взгляд тогда, у моста. И верила, что мы будем вместе. Я верю и сейчас! Я — люблю тебя! Люблю!

Он снял с погонов её ладони и целовал.

Он был плох с ней последние часы. И ещё хуже был бы сейчас, если б она требовала остаться. Но вот она легко освобождала его — и вспыхнуло перед ним, какая ж она драгоценность! И как он самозабвенно любит её! И пожалел, что даже — мало она ему говорила. И ещё недохватно он её целовал!

У неё трогательно неловко искривилась верхняя губа:

— Мужчины почему-то придают большое значение годам женщины. А для женщины... Ну, разве я для тебя стара?

— Я такой молодой, как ты,— не касался...

Продолжение следует

Я его запомнил идущим с завода, где он работал судовым клепальщиком. Он шел, выставив правое плечо, бормоча свои стихи, не замечая вокруг ничего. Мы, сами сочиняющие первые стихи, знали, что это идет поэт Рувим Моран. Он уже печатался в одесских и николаевских журналах и газетах. До сих пор помню начало его стихотворения в николаевском литературном журнале «Стапели»:

Еще с утра старался серый Буг
Похожим стать на море. Но до волн
Не дорастала зыбь. Ее судьбу
Решали сваи...

Это был 1929 год. Мне было шестнадцать, я работал на том же судостроительном заводе, а Морану было двадцать лет.

Он всегда писал стихи, изредка их печатал, но лишь в 1968 году в Казани вышел его тоненький единственный сборник, где были с десяток оригинальных стихотворений и переводы татарских поэтов. Последние годы Моран несколько раз печатался в Московском Дне Поэзии. Его знали как переводчика, а книга собственных стихов писалась всю жизнь. Он умер в 1986 году. Рукопись «В поздний час» осталась на письменном столе. Сейчас она готовится к изданию в «Советском писателе».

Поэт большого дарования, коммунист, фронтовик, военный корреспондент газеты «Красная звезда», о котором писал в своих мемуарах Илья Эренбург, Моран, невинно репрессированный после войны, всей своей гражданской и поэтической жизнью заслужил общественное признание.

Марк ЛИСЯНСКИЙ

Рувим МОРАН

Земля и небо

Мы увидим все небо в алмазах, мы увидим, как все зло земное, все наши страдания потонут в милосердии...
Чехов. «Дядя Ваня»

Так вот: над нами небо не сверкало
Алмазами, как нам пророчил МХАТ,
Когда этапом гнали нас в Ямало-
Ненецкий округ, в город Салехард.

Теперь глазами тех на небо глянем,
Кто за бараками на рыжем льду
Справлял, простите, малую нужду,
Пренебрегая северным сияньем.

С ответным равнодушием людей
Встречалась равнодушная природа,
Там, где клеймо тридцать седьмого года
Навеки отпечаталось на ней;
Когда в лагпунктах Коми, Колымы
Отцам, бессильно бросившим ломы,
Сулили деревянные бушлаты,
А дети, взятые в специнтернаты,
Зубрили по складам: «Рабы — не мы...»

Я сам прямой преемник этих мук,
Игрушка надзирателей и сук,
Зе-ка послевоенного призыва,—
Земля не для меня была красива,
Пленяться небом было недосуг.
Я сам в Тюменской тундре изнывал,
Где нефть и газ открыл теперь геолог,
И мне сиянья северного полог
Лишь выход в преисподнюю скрывал.

Полярной ночи тает маета,
Алмазные в ручьях дробятся блики,
На теплых кочках — бусы голубики,
Но вечная под ними мерзлота...

Говорят, что судьба близорука
И нет-нет перепутает нить.
Трудно вымолвить слово «разлука»,
Каково же ее пережить?

А живешь... И любуешься небом,
И постылой землей дорожишь,
И над горьким, нерадостным хлебом,
Сам себя презирая, дрожишь.

И, толкуя, что только невежды
Могут верить в желанную ложь,
Еле тлеющей искре надежды
Сам погаснуть в душе не даешь.

И не знаешь: чего это ради
Не совсем еще кровь запеклась?
То ли черпаешь силу во взгляде
Ненаглядных, задумчивых глаз,

То ли матери долг свой сыновний,
Может быть, ты успеешь отдать,
То ли с дочерью взрослой, как с ровней,
Ты хотел бы хоть раз поболтать,

Или в бурях жестокого века
Уцелевшие силы губя,
Убедиться, что ты не калека,
Что беда не сломила тебя...

И влачишь, и влачишь, словно цепи,
День за днем,
день за днем,
день за днем;
И кочуешь по тундре и степи,
И творишь чудеса под ружьем.

Не тебе этот подвиг зачтется —
Ты лишь славы рабочая тень...

Что ж, пусть дразнится
солнечный день —
Звезды ви́дны тебе из колодца!

Может быть, в глухоте и спасенье,
Но дышать... Как дышать в духоте?

А расспросит у голи стоустой:
— Как на воле у вас, на ветру?
Ан, и там с кислородом негусто,
Так уж лучше обратно в нору.

◆◆◆

Сама себя радость питает,
Сама себе лавры сплетает,
Зачем толкователи ей?
Поэзия горю нужней.

Она от безумья уводит
И без провожатого входит
В отверстые раны сердец,
И шут, и делец, и гордец

Слова принимает живые,
И вдруг понимают впервые,
Что были всю жизнь лишены
Того, чему нету цены.

Не ходит она на котурнах.
А как ее слушают в тюрьмах!
Там, в камере, строчка гостит
Орфеем, сошедшим в Аид.

Печален мой голос негромкий
И в сердце стоящих у кромки
Обрыва и ждущих беду,
Быть может, я отклик найду.

◆◆◆

Не книгу я прочел — я крестный путь прошел,
Немного в памяти, в воображенье больше.
Как после этого, о, Боже,
Садиться просто завтракать за стол?!

Мир все готов простить, что прошлым стало,
Готов забыть... Да что там мир! А я?
Но вот, кумиры свергнув с пьедестала,
(Не речь, а кровь из горла захлестала),
Грядет Свидетель, Жертва, Судия!

Един в трех лицах — в миллионах лиц,
И мертвые, истлевшие в могиле,
Как в Страшный Суд из бездны поднялись
И голосом его заговорили.

Одна лишь книга. Одинокий крик
В ночи, вернее в суете полдневной.
Один лишь голос — скорбный, страстный,
гневный,
Но отзывом он грозен и велик.

Как хочется смягчить его суровость!
Как неуютна эта прямота!
...А если, все же, мировая совесть
Не выдумка, не праздная мечта?

Старая пластинка

Не знаю, что стало со мною,
Душа моя грустью полна.
Г. Гейне

Я не знаю, я даже не знаю,
Что мне душу встревожило вдруг:
То ли рана заныла сквозная,
То ли вспомнился умерший друг.

Но в глубокой тиши снегопада
Мне овчарок мерещится лай,
И пила, и кирка, и лопата,
И забытый Создателем край.

Как ворочающийся спросонья
Зверь в берлоге — так память моя
Залегла в своей лагерной зоне
И не слышен ей шум бытия,

Не доходит к ней ветер весенний —
Только боль в темноте, в мерзлоте...

Сибирский гость

Скажи мне, ветка...
М. Лермонтов

Вдали от буранов разгульных,
Метущих по мерзлой земле,
Графически голый багульник
В богемском расцвел хрустале.

Когда ты грустишь, разуверясь
В разумности хода вещей,
В Даурии выросший вереск
Тоску твою гонит взашей.

Казалось бы, что́ тебе в этом
Безжизненном прутике хилом,
Как ножки кобылки сухом?
А брызнет он робким и милым
Туманно-сиреневым цветом
И в горле растопится ком.

О, Боже, все реже и глуше
Я сон вспоминаю, в котором
Не очи цветка в хрустале,
А чьи-то замерзшие души
На жизнь мою смотрят с укором,
В посмертном оттаяв тепле...

Публикация И. БОРУЦКОЙ-МОРАН

Николай
НОВИКОВ

◆◆◆

В потухающем небе столбы
С фонарями — горящие спички.
В говорящее море толпы
Из подъезда скользнешь по привычке.
Из-под арок дворовых сквозит,
Пахнет сыростью резко и крепко,
Свет фонарный по лицам скользит,
Выявляя природную лепку,
И листва городских тополей
Еле слышно шуршит, оживая,—
Это силы магнитных полей
Миллионов надежд и желаний.
Что мы ищем? Кого мы зовем?
Духота наливается звоном,
Словно в воздухе предгрозовом
Сыплет искрами, веет озоном.
Столкновенья неверий и вер,
Как движение льдин в ледоходе.
Что ты скажешь, мой друг, например,
О своей суверенной свободе?
Вот глаза просияли в толпе —
Словно нить протянули к тебе.
...Ничего ты не скажешь об этом:
Повернешься и двинешься следом.

◆◆◆

Что ни век, то век железный,
Но дымится сад чудесный,
Блещет тучка; обниму
Век мой, рок мой на прощанье...

А. Кушнер

Человек повергнут веком.
Век воздвигнут человеком —
Стоэтажный небоскреб:
Сталь, чугун, бетон и пластик,
Арматура звезд и свастик,
Квадратура снов о власти,
Пресыщение утроб...

Век поставлен и прославлен,
Человек же им раздавлен,
Перемолот, обращен
В обезличенную массу,
Объярлыченную в классы.
Шел на пушечное мясо.
Надо — пеплом станет он.

Что — жестокий! Что — железный!
Век, нависнувший над бездной
Человеческих скорбей.
Человек растил и строил,
Но недорого он стоил,
Заключен в общаги стойл
И бараки лагерей.

Человек обманут веком.
А затем ли вскормлен млеком,
В муках явленный на свет?!
Век стоит — почти достроен,
Разрушения достоин.
Но он высится, спокоен:
Нет ему замены. Нет.

Монологист

Желанье говорить
При неуменье слушать
Подобно, может быть,
Уменью оглоушить.
Ах, эта страсть роптать
Умно, красно, речисто...
Монологист — под стать
Как бы монополисту.
О эта страсть учить,
О камень поученья!
Его не размочить,
Как черствое печенье.
Так чем же одарить
Смущавших наши души
Уменьем говорить
И неуменьем слушать?

◆◆◆

Пасмурным светом равнины укутаны,
Много ль тепла от зимы до зимы?!
Куст бузины пламенеет на куполе,
Солнце закатное — куст бузины.
Он и запомнится,
Врежется,
Вплавится
В огненно-мрачном сиянье своем.
С росписью старою
Сырость расправится
Старый кирпич занавесит быльем.
Кто тут замажет щербины и трещины,
Двери навесит и выметет срам?
Ночью какие-то старые женщины
Ходят молиться в заброшенный храм.
В странных потеках капели и дождика
Виден им Лик и старинный оклад,
Тот, что в квартире висит у безбожника,
Там, где трофеи охоты висят.

Геннадий
НИКОЛАЕВ

ХРАНИЛИЩЕ

Повесть

1

Сначала — поездом, «пятьсот веселым», битком набитым амнистированными, до сто пятьдесят седьмого километра, потом — генеральским «газиком» до гарнизона, ночевка в холодной гарнизонной гостинице, а рано утром — бросок на бронетранспортере.

Мощные прожекторы по четырем углам. Белые искрящиеся валы снега. Площадка перед зелеными воротами с ярко-красными звездами на каждом створе. Проходная из белого силикатного кирпича. Бетонный забор с колючкой поверху, три ряда влево, три ряда вправо. Фонари над забором — цепи огней, уходящие вдаль. Мрачная чернота леса, снега́, глушь — «точка»...

В лучах прожекторов, в слепящем пятне, черный на белом, стоял, расставив ноги, долговязый лейтенант — новенькая портупея, кожаные перчатки, хромовые сапоги, под правым локтем пистолет.

Мы выбрались из чрева машины — солдат, везший охране завтрак, младший лейтенант, мой сопровождающий, и я — с документами в зубах. Солдату лейтенант небрежно махнул — валяй! — и тот потащился с термосами и рюкзаками к проходной. Меня задержал, вскинув руку — ни с места! Я предъявил документы.

Не снимая перчаток, он меланхолично изучал паспорт, страницу за страницей, вчитывался в каждое слово, сравнивал фотографию с натурой. Раздвоенный кончик носа его побелел, дыхание белыми дудочками осело на густых черных усах. Странное тревожное чувство неуверенности охватило меня — а вдруг что-нибудь в бумагах не так...

Подошел часовой в тулупе до пят, с автоматом на груди — лицо багрово-красное, ресницы густо заиндевели, края воротника и шапки-ушанки, туго завязанной на подбородке, в белом куржаке. Я и не заметил, откуда он вынырнул, словно возник из прожекторных лучей и мороза.

Младший лейтенант — в легкой куртке и в сапожках — уже начал потирать уши и постукивать нога об ногу. Бронетранспортер урчал на малых оборотах, из открытого люка струился теплый воздух.

Да, там, внутри, было неплохо: тепло, пахло горячим двигателем и свежим хлебом, хлеб даже забивал, был главнее. Полтора часа тряски и грохота, но мы с младшим лейтенантом с чего-то вдруг распелись, как два щегла в одной клетке, и пели почти всю дорогу...

Лейтенант, проверявший документы, выпучил на меня глаза, поцокал языком:

— Олабьев? А в справке — Оладьев!

— Не может быть!

— В паспорте Олабьев, а в справке... Так что, гражданин Оладьев, придется р-разворачиваться!

Я выхватил справку.

— Где? Где Оладьев? Олабьев!

Лейтенант прыснул, заблеял от удовольствия. Младший лейтенант с облегчением выматерился.

Они сдали меня с рук на руки, как ценную вещь или важный документ: один расписался в том, что сдал, другой в том, что принял.

— Ну, попался, Олабьев. Теперь не потеряешься, живым или мертвым вернут в гарнизон,— пошутил младший лейтенант.

— А можно живым? — обратился я к лейтенанту.

Он усмехнулся одной стороной рта, неопределенно пожал плечами. Лейтенантик захохотал, ладонью двинул меня в плечо, с прыжка ловко юркнул в люк.

Бронетранспортер взревел, развернулся, в нетерпении затрясся всем корпусом. Из проходной выбежал солдат с бачками и рюкзаком, забросил тару на броню, столкнул в люк, в подставленные руки, вскарабкался сам, с грохотом рухнул в нутро. Рванув с места, бронетранспортер пропорол левым боком снежный вал и умчался, оставив после себя выхлопную гарь и мазутные капли. Лейтенант погрозил кулаком.

От ворот вела широкая дорога, отороченная с обеих сторон высокими валами отброшенного снега. Только теперь я разглядел, как тщательно убран снег — словно по линеечке выведены края дороги и отворотов, ровненько прорыты траншеи-тропинки со срезанными, приглаженными боками.

На площадке перед казармой солдаты делали утреннюю зарядку. Человек тридцать до пояса голые по команде махали руками, вскидывали ноги в кирзачах, приседали нараскоряку, падали на снег, отжимались на руках.

Казарма — одноэтажное приземистое здание из кирпича под железной крышей. Двенадцать окон: шесть слева от входа, зарешеченные — темные, шесть справа, без решеток — светились. На каждую половину приходилась своя печка — из труб струились, истончаясь, белесые дымки. Было полное безветрие, мороз — за тридцать. Снег скрипел, похрустывал под нашими ногами.

В прихожей лейтенант молча указал на вешалку — широкую доску с ввинченными крючками в два ряда. Нижний ряд был занят шинелями, тулупами, полушубками. Под ними выстроились валенки — па́рами, скрепленные за голенища хомутиками с номерами. На доске, как на полати, в строгом порядке покоились шапки-ушанки — звездочками на парад, каждая точно по линии, проходящей через крючок и хомутик на валенках.

Подивившись этакой чинности, я усомнился вслух, дело ли держать обувь и одежду в холодной прихожей.

— Солдат должен быть закален, как сталь! — ответил лейтенант.

Из правой половины доносился бодрый дикторский голос — орало радио.

Я снял казенный полушубок с единственной болтавшейся пуговицей, повесил на свободный крючок. Лейтенант молча перевесил его, жестом пояснив, что так, как повесил он, будет правильнее, потому что не нарушает симметрии.

Дотошный аккуратизм, любовь к симметрии, эти вылизанные дорожки, эта странная вешалка, эти педантичные повадки лейтенанта, его вытянутые вперед губы с торчащими усами, делавшие его похожим на какого-то зверька,— все это почему-то напоминало русского царя Петра Третьего в стране Снежной Королевы.

В левой половине располагался жилой отсек, три проходные комнатки: в крайней — кабинет лейтенанта, в средней — спальня на двоих и в ближней — пищеблок.

Моя койка — напротив койки лейтенанта: такой же белый конверт из одеяла и простыней, подушка — пельменем, полотенце — на спинке. Над койкой лейтенанта — портрет Сталина в форме генералиссимуса: величавый старец смотрел безразлично, с холодным прищуром.

— Может, перевернем? Лицом к стене,— предложил я.

Лейтенант глянул исподлобья.

— Ахинею какую-то несешь.

— Почему ахинею? Перед генералиссимусом надо стоять навытяжку, руки по швам...

— Не нравится, вали в казарму, у меня особых гостиниц нет,— хмуро сказал лейтенант.— И запомни: это моя личная комната. Пускаю тебя как гостя.

— Тогда все ясно. В принципе могу и с солдатами.

— Оставайся,— пробурчал лейтенант.

Я сунул портфель под вешалку, на которой сиротливо висел полушубок лейтенанта. В углу чугунно поблескивали пятикилограммовые гантели и двухпудовка.

Мы перешли в кабинет. На окне решетка. В углу у окна несгораемый сейф. Два стола встык, напротив друг друга, по стулу за каждым, книжный шкаф. В шкафу — уставы, «Краткий курс», «Вопросы ленинизма» и «Экономические проблемы социализма в СССР» Сталина, знаменитая брошюрка Ворошилова «Сталин и Красная Армия», книги Жданова, Кагановича, еще чьи-то... У левого стола тумба с кнопками и телефонной трубкой на рычагах.

Сильно пахло сапожной ваксой. В пищеблоке тоже на полную громкость орало радио: тот же дикторский голос вещал про успехи в сельском строительстве. Мне вспомнился вчерашний поезд, набитый амнистированными...

— Умываться — в пищеблоке,— сказал лейтенант, махнув рукой в глубь помещения.— А все остальное — на свежем воздухе. У нас так...

Сняв трубку, он нажал на одну из кнопок.

— Сержант Махоткин слушает! — донеслось из трубки.

— Сержант, взять двух солдат, поправить площадку у ворот. Понял?

— Товарищ лейтенант, разрешите? — проскрипела трубка.— А, может, когда обед подвезут, опять порушат, тогда заодно?

— Выполняйте,— сухо, без всякого выражения сказал лейтенант.

— Есть, товарищ лейтенант!

Опустив трубку, лейтенант постоял в задумчивости, затем не торопясь разделся, повесил на вешалку портупею с пистолетом, шинель, шапку и шарф. Тщательно причесался перед зеркалом между шкафом и вешалкой. Одернул китель и снова осмотрел себя в зеркале.

Был он высок, строен, даже изящен в своем ладном отутюженном кителе, синих галифе и начищенных до блеска хромовых сапогах. Пуговицы сияли, подворотничок белел ровной тонкой полоской. Худое вытянутое лицо казенно сухо, круглые янтарные глазки сидят по-волчьи близко, гладкие черные волосы зачесаны назад, виски и щеки впалы — во всем облике подбористость, спортивная упругость.

Он открыл сейф, вынул внушительную стопку журналов наподобие амбарных книг.

— Начнешь прямо сейчас? — спросил, усаживаясь за стол.— Садись!

Я сел напротив. Он раскрыл журнал, сделал короткие записи — поставил время прибытия и убытия бронетранспортера, а также зафиксировал мое появление на «точке». Положив журнал сверху, он придвинул всю стопку ко мне. «Приемки-сдачи объекта», «Пломбы на складе», «ЧП», «Проверка сигнализации», «Поступление — выдача», «Инструктаж личного состава»...

Сильно мешало радио, но лейтенант, видно, привык к нему, не обращал внимания.

— Мне-то зачем все это? — спросил я, перебрав журналы.— Я же не журналы приехал проверять — Хранилище!

— Хранилище?! — Лейтенант даже присвистнул.— А ну-ка, документы!

Я достал свои бумаги, и лейтенант по-новой принялся изучать их.

За окном чуть посветлело, свет прожекторов уже не был таким слепящим. Дружный топот солдатских сапог то нарастал, то удалялся — ребят гоняли, видно, действительно до седьмого пота.

— Так, так, так...— задумчиво бормотал лейтенант, вчитываясь в бумаги, желая придраться к чему-нибудь и не находя ничего.— Значит, само Хранилище?

— Само,— кивнул я.— Работа срочная...

— Вижу! — перебил лейтенант.— Да еще трех солдат! Трех не могу — одного дам.

— Одного мало.

— Сегодня — одного. Завтра — видно будет.

Лейтенант собрал журналы, сунул в сейф, закрыл на ключ. Похоже, он был обескуражен промашкой с журналами.

Снаружи в сторону ворот прошли три фигуры: двое с широкими лопатами и метлами, третий — налегке. Лейтенант вытянулся к окну, проводил солдат хищным взглядом.

— Ну, инженер Олабьев, готов к работе на объекте? — торжественно спросил после некоторого молчания.— Все есть?

Приборчик, журнал, секундомер, три рулетки, фонарики, пачка мелков, шпагат с гайкой — все это я положил в портфель, предварительно переложив запасное белье и прочие дорожные мелочи на койку. Лейтенант болезненно поморщился, глядя на груду вещей на койке, но, видно, решил махнуть на меня рукой — не перевоспитаешь!

Снаружи выключили освещение. Лейтенант озабоченно взглянул на часы. Снова слазил в сейф, вынул какой-то странно изогнутый ключ. Затем быстро оделся, и мы вышли в коридор.

По обеим сторонам темнели глубокие проемы — метровые стены, стальные двери, сейфовые замки. Торцовое окно было забрано решеткой. Открыв одну из дверей, лейтенант скрылся в темноте бункера. Пробыл он там не больше минуты — беззвучно исчез и беззвучно появился. Пока я натягивал в прихожей полушубок, он зашел на правую половину и вскоре вышел с солдатом — совсем юным, маленького роста, с голубыми глазами и каким-то опавшим, изможденным лицом. Гимнастерка висела на нем, широкий ворот открывал тонкую длинную шею.

— Вот, Слижиков,— сказал лейтенант, кивнув на солдата,— в помощь. Орел! От себя отрываю...

Я протянул Слижикову руку, он вяло пожал.

— Зовут-то как?

— Сашко́м,— сказал он тихо.

Выйдя из помещения, мы двинулись друг за другом по узкой траншее, прорытой в снегу,— впереди лейтенант, за ним я, замыкающий — Слижиков. Чем дальше от

казармы, тем выше становились валы отброшенного по бокам снега, тем глубже траншея. Лейтенант то и дело вставал на носки и, вытягивая шею, крутил головой, как суслик у норы, осматривал снежные покровы справа и слева.

По дороге с песней, печатая шаг, прошли строем солдаты. Видны были лишь колышащиеся лопаты и метлы. Да песня гремела на всю округу:

Так пусть же Красная
сжимает властно
свой штык мозолистой рукой,
и все должны мы
неудержимо
идти в последний смертный бой!

Внезапно из узкой глубокой траншеи мы вышли на просторную площадку, целую площадь, очищенную от снега. Белое открытое пространство, белая гладкая дорога и впереди, прямо перед нами — бурый фасад приземистого, поражающего своей необычайной тяжестью здания. Огромные стальные ворота, а их было двое — симметрично центральной опорной колонне, массивной и толстой, как ножка боровика,— вздымались до самой кровли, в них свободно могли разминуться два нагруженных с верхом самосвала. Торцевые балки перекрытия, покатая крыша на две стороны под метровым слоем снега, могучие шарниры и запоры ворот — все было такой прочности и такой мощи, что казалось принадлежностью не склада, а крепости. Красновато-бурый цвет зданию придавал сурик, потемневший от солнца, ветра и дождей. В левом полотне ворот имелась дверца для прохода — как бронированная плита.

Осторожно, двумя пальчиками в перчатках приподнимая пломбу, лейтенант осмотрел ее со всех сторон, чуть ли не обнюхал. Сорвав ее, открыл металлическую коробку, щелкнул тумблером, набрал цифровой код. Приникнув щекой к металлу, жадно прислушался. Странным ключом, тем самым, что хранился в сейфе, отпер внутренний замок проходной двери, потянул на себя.

Черный проем озарился тихим сполохом, граница света и тени упруго качнулась внутрь. Лейтенант шагнул через порог, мы — следом. Придержав дверь, он подсунул снизу кусок резины, чтобы не захлопнулась.

В полумраке четко зазвучали шаги — пятно света от фонарика запрыгало из стороны в сторону, скользнуло по стене, высветило электрический шкаф с кнопками. Звонко щелкнул пускатель — включилось дежурное освещение. Раскатистое эхо выкатилось из мрачной глубины.

Пространство разгрузочной площадки, где мы стояли, походило на полость огромной пещеры. В углах и вверху, над кран-балками клубилась мгла, чудились какие-то изломы, узлы сплетений, поблескивала изморозь. Вдоль стен в специальных гнездах стояли шкафы непонятного назначения. На крючьях, как застывшие змеи, висели не то провода, не то канаты. По стенам на кронштейнах тянулись кабели, трубы. На полу возле электрического шкафа аккуратными штабелями были уложены бруски и доски.

Постепенно глаза привыкли. Впереди в сумраке проступили каркасы стеллажей, заполненных чем-то сплошь зеленым. Опорные колонны по центру Хранилища уходили вглубь, сливаясь в еле различимый частокол. Лампы в плоских тарельчатых фонарях едва освещали проезды и проходы между ровными прямоугольными призмами стальных конструкций, но и то, что было видно, впечатляло мощью и мертвенным порядком.

Я подошел к стеллажам. Зеленое распалось на ровные ряды ящиков, стоящих друг на друге, впритык, ровными штабелями.

Ящики, ящики, ящики — армейские, защитного цвета, с железными ручками и защелками, запломбированные, проштемпелеванные черными условными знаками и астрономическими номерами. Ящики, ящики, ящики — призмы-секции, уходящие в смутно видимую даль...

Хранилище не отапливалось, но, несмотря на тридцатиградусный мороз снаружи, в нем не было холодно. Тепло, которое ощущалось здесь, было какое-то странное. Тепло батарей обычно пахнет краской, паклей, замазкой, оно ласково, приятно, домовито. Тепло электрических спиралей слишком жестко, как бы струится, сушит воздух, вздымает легчайшую пыль. И то и другое — живое тепло. Тепло, которое ощущалось в Хранилище, было каким-то затхлым, застойным, мертвенным, словно исходило от спящих летаргическим сном. Оно возникало неизвестно откуда — ни по бокам, вдоль стен, ни на центральных колоннах — нигде не было обогревателей, тепло существовало как бы само по себе, вместе с зелеными армейскими ящиками, которыми были плотно забиты стальные стеллажи в обоих пролетах.

Я ходил между абсолютно похожими друг на друга стеллажами в каком-то странном изумлении, будто попал в сказку, к злому волшебнику, который все это придумал, чтобы до смерти заморочить попавшего сюда, в эти мрачные катакомбы. Никогда в жизни не видел я прежде ничего подобного, не мог даже представить, что подобное

возможно. Поражало не то, что в одном месте собрана столь гигантская разрушительная мощь, а само это заботливо потаенное сооружение из стеллажей, призм, ящиков, лабиринтов, имевшихся в таком невероятном количестве, что обязательно должно бы быть объявлено миру как восьмое или бог его знает какое по счету чудо света.

Я вернулся на площадку, где стояли, ожидая меня, лейтенант и Слижиков. Заметив мое состояние, лейтенант усмехнулся:

— Ну что, богатыри, хватит на двоих?

Я взглядом перекинул вопрос Слижикову — Сашок как-то болезненно улыбнулся, пожал плечами.

— Ну что ж,— лейтенант взглянул на часы,— сверим и — с богом!

Мы сверили часы.

— У каждой секции свое освещение. По окончании работы все должно быть отключено,— строго предупредил лейтенант и, козырнув, удалился.

Мы стояли с Сашком в этой сумрачной пещере и молча смотрели в ее нутро. Мне почему-то вспомнилась уборка картошки в годы войны. Нас — четверо: бабушка, мама, сестра и я, а перед нами пятнадцать бесконечных соток, бурые поникшие кусты, едва различимый в дождливом мареве край поля, где кончается картошка — наша жизнь, наш труд и наше проклятие. Черное низкое небо, холод, ветер, грязь... Здесь ни дождя, ни ветра, ни грязи, но ощущение громадности и тягостности предстоящей работы было таким же.

Прежде всего надо было подумать над тем, как организовать работу, чтобы в отпущенное время снять реальную геометрию хранящегося Продукта. Сложность заключалась в том, что никто не знал, сколько ящиков находится на каждом стеллаже и в каком порядке они расположены относительно друг друга. «Абсолютно похожими» они казались лишь на первый взгляд, на самом деле картина могла оказаться весьма пестрой. Хранилище загружалось постепенно, эпизодически, расположению ящиков не придавали в ту пору никакого значения. А оказалось, что все имеет значение: и сколько ящиков, и как они располагаются на стеллажах, и какие проходы между стеллажами, и даже толщина досок, из которых были сделаны ящики, тоже имеет значение...

Я вынул из портфеля приборчик, включил на самом малом диапазоне чувствительности — красный глазок заморгал то слишком торопливо, тревожно, то как бы пережидая что-то, медленно, с паузами. Синхронно со вспышками раздавались сухие щелчки, словно внутри прибора сидела птица с красным глазом: когда глаз открывался, она клювом била по крышке, просилась на волю...

Сашку приборчик понравился. Приложив к уху, он заулыбался, мечтательно, сущий еще ребенок, не ведающий, какая страшная сила пробуждает эту «птицу»...

2

Ребята считали, что мне крупно повезло: из пяти молодых специалистов-физиков, принятых летом в «фирму» (так мы называли наш проектный институт), начальство выбрало для этого дела меня. Вряд ли я был способнее других. У начальства свои виды и никто не знает, везет вам или не везет, когда выбирают именно вас.

Все мы находились в одинаковом положении — и по должности, и по зарплате, и по семейным обстоятельствам: все недавно женаты, всем нужно жилье, разумеется, отдельные квартиры. Поэтому подвигов мы жаждали еще и по вполне земным мотивам. Однако настоящего дела так все и не было — мы ощущали себя странным придатком к строительному отделу: по их заданиям рассчитывали биологическую защиту от излучений — стены из бетона со свинцовой и чугунной дробью, чугунные откатные двери, свинцовые плиты и лабиринтные проходы для каких-то неведомых зданий, в которых будут размещены неведомые аппараты. Какие могут быть подвиги, если рабочее место у тебя — письменный стол и кульман, орудия труда — линейка, арифмометр, карандаш и резинка. Судя по строительным чертежам, мы догадывались, что где-то там, в неведомых краях создается, вздымается могучая и грозная техника, но посмотреть на нее, пощупать ее нам еще не удавалось. Таинственные разговоры технологов, выходивших покурить в общий коридор из-за «чекиста», то есть из специально выгороженных для них помещений, куда требовался дополнительный пропуск, разговоры эти, ничего не проясняя, лишь еще пуще разжигали наше нетерпение. Нам казалось, что именно здесь, в этой «фирме» делают *супербомбу*, и мы жадно ловили обрывки разговоров, фамилии директоров объектов со странными индексами вместо названия, строили догадки и жаждали того дня, когда нас наконец-то допустят до главного — до *нее*. Мы не сомневались, что *она* нужна, наша, советская *супербомба*. Мы верили, что *она* станет благом для страны и всего мира, отрезвит зарвавшихся империалистов, разрешит все проблемы. И мы мечтали участвовать в ее создании, готовые отдать ей все силы ума и души. Но время шло, а нам ничего не говорили,

никуда не пускали, ничего не показывали. Кабинетная возня с бумагами изрядно нам поднадоела, и мы откровенно зевали, обсуждая варианты, куда бы дать деру, в какой-нибудь еще более экзотический «ящик».

И вдруг в первых числах декабря утром, едва мы появились в нашей тесноватой на пятерых комнатке, зазвонил телефон. Секретарша, называвшая нас «мальчиками» и обязательно по имени, сообщила, что Леню Олабьева, значит, меня, срочно требует Виктор Иванович, главный инженер. Я спустился на лифте на второй этаж. В кабинете у главного сидел, свободно откинувшись на стуле, тучный сивоносый мужик — явно не из нашей «фирмы». Виктор Иванович представил меня ему, сказав при этом, что вот, дескать, вполне подходящий специалист, но мне его почему-то не назвал. Мужик небрежно кивнул, рубанул ладонью наискосок, указав на стул. Я сел. Он придвинул мне оттиснутый на ротаторе бланк расписки. Я уже знал, что сие означает: прежде чем знакомить с документом, берут расписку в том, что не разгласишь тайну, что ознакомлен с карой, она указана тут же, в тексте расписки.

Я расписался. Мужик подтянул расписку себе под локоть, как карту из прикупа, затем раскрыл плотную папку и, крутанув ее на полированном столе, подтолкнул ко мне, дескать, теперь читай. Я расправил вставшую валом страницу, глаза поскакали по строчкам.

«Совершенно секретно

...что привело к значительным потерям готового Продукта, разрушениям производственных... и человеческим жертвам...

На основании вышеизложенного

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Произвести проверку хранилищ с целью... реальной геометрии укладки Изделий, а также условий хранения. Для проведения... в каждое хранилище направить специалистов-физиков.

Срок исполнения — десять дней.

2. По результатам... представить физические расчеты... Рекомендации... принимать к немедленному...

Срок исполнения — десять дней.

3. Войсковым частям и командам, осуществляющим... оказывать всяческое содействие... выделять по требованию специалистов...

Министр»

— Выезжать — завтра,— сказал главный инженер.— Ты как? Сможешь?

И хотя дома у меня было напряженно, я твердо, не моргнув глазом, согласился. Сивоносый, глядевший из-под тяжелых припухших век, перекатил глаза на главного инженера и прикрыл их в знак одобрения.

3

Поначалу ящики на стеллажах были однотипные, уложены аккуратно, ровненько, и до обеда мы лихо прошли почти десять рядов по обоим пролетам, особо выделяя лишь те, на которых имелись хоть малейшие отклонения от нормы.

Ничего хитрого в этих замерах не было. Если стеллаж был заполнен нормально, я подсчитывал число вспышек приборчика по секундомеру, заносил в журнал и делал отметку, что стеллаж такой-то в норме; если же ящики отличались размером, расположением или их не хватало до заполнения, то Сашок взбирался с мерным концом на стеллаж, я же с рулеткой оставался внизу и мы делали замеры по всем трем направлениям — по высоте, в глубину и в ширину — каждого ряда ящиков на этом стеллаже. Сашок был в кирзовых сапогах, я — в валенках, у него ловчее получалось, но частенько и я взбирался на тот или иной стеллаж, чтобы самому убедиться, правильно ли произвели замер.

Меня жгло нетерпение. Во-первых, любопытно. Во-вторых, тревожно: где-то уже «клюнул жареный петух», значит, и тут есть реальная опасность. И еще одна причина была торопиться. Перед самым отъездом опять запил отец, придрался к Юльке, не так воспитывает ребенка, довел до слез. От нее рикошетом досталось мне, я сорвался, наговорил грубостей и отцу, и жене, и теперь страшно страдал от первой в жизни размолвки с Юлькой. Душа моя рвалась к ним — к милой, нежной моей Юльке и к маленькой Елке. Я знал, что им плохо без меня, что я нужен им, особенно сейчас, когда дома кавардак, но ни позвонить, ни дать телеграмму отсюда не мог...

Столкнувшись с халтурной раскладкой ящиков, мы решили чуть подвинуть один, слишком выпиравший углом, но как ни тужились вдвоем, как ни хрипели и ни вскрикивали «р-раз, два, взяли!», ничего у нас не получилось — ящик будто сплавился

со стальным листом, на котором лежал. Да и так ли уж нужна была эта симметрия, подумал я. Бог с ними, как стоят, так пусть и стоят. Как физик я знал, что симметричное расположение более опасно, но догадывался и об опасности нарушений симметричных систем.

Сашок оказался смышленым парнем. Из глухой деревни Северного района — дале, как он говорил, болота́ да ягель,— а, гляди-ка, и в геометрии шурупит, и в уме быстро считает, без ошибок. Прыгая со стеллажа на стеллаж, перебегая с рулеткой по проходам, он все высвистывал какую-то незнакомую мне мелодию, а то, вдруг забывшись, начинал напевать слабым, но приятным тенорком: «Ой-ё-ё-ё-ё-ё-ё...». Мелодия мне очень понравилась.

Во время перекура я спросил его, что за песню он напевает. Он смущенно засмеялся:

— А че?

— Ниче,— в тон ему ответил я.— Нравится.

— Ну?

— Вот те и ну. Что за песня? Ой-ё-ё-ё-ё-ё-ё,— напел я.

— А зачем вам? — осклабился он.

— У меня аккордеон, вернусь домой, подберу по слуху.

— Аккордеон?! — Сашок даже рот открыл от удивления.— Какого цвета?

— Голубой, перламутровый, немецкий.

— Большой?

— Маленький, вот такой,— показал я от плеча до пояса.

— Ух ты, птица-мечта!

— А ты что, музыку любишь?

— Ага.

— Играешь на чем-нибудь?

— На мандолинке, чуток.

— А есть инструмент?

— Дома есть. От бати остался.

— А он что...

— Нет, нет, он живой, ушел от нас, а мандолинка вроде как на память. Боле-то ничего не оставил. Ох, он здорово играл! И меня научил.

— А песня? — напомнил я.

— Ах, эта...— Сашок разулыбался, опустил глаза.— Сам сочинил.

— Сам? — удивился я.— Как? Расскажи!

— Не знаю, бурчал, бурчал и набурчалось. У меня часто в голове звучит, крутится всяка музыка — и по радио, и киношная, и своя.

— Запоминаешь? Свою-то?

— Ага. А много ее, хотел нотам обучиться, да где там. В нашей дыре плакучей...— Он беспечно махнул рукой, засмеялся.— И так музыки навалом, все кому не лень сочиняют, без меня хватает.

— Кто у тебя дома остался? — спросил я.

— Кто... Мамка, бабушка, младший братишка.

— Отец давно ушел?

— А как мамка ослепла, так и ушел.

— Ослепла?! Отчего?

— А болела чем-то и ослепла. На глаза подействовало.

— И сейчас не видит?

— Ага.

— А как же,— начал было я, но запнулся на слове «отец».

— А ничего, уже привыкшая. Мы с ней даже в лес ходим, за грибами, за ягодами.

— Да ну?! Как же она собирает?

— А так. Я полянку найду — с груздями или с рыжиками, она — на коленки и ползком, от гриба к грибу, ощупью. А клюкву или чернику вообще лучше ее никто не собират. Ловко, шустро. Она вообще проворная. Бидончик на шею — и пошла! Раз на змею наткнулась, на гадюку. Но змея не тронула, зашипела только, уползла. Мама жуть как перепужалась, а потом — в смех. Вот, говорит, меня и змея не трогат, никому не нужна. Смех-то такой — со слезами. У нее всегда так. Засмеется вроде весело, смотришь, а глаза — мокрые. Жа-алко, ну просто сердце заходится...

— Ты, когда отслужишь, домой?

— А как же! Они ж без меня пропадут. Бабка стара, братан — шкет. Пенсия, сами знаете, восемнадцать рублей. А жить на что? Бабушка вообще без пенсии, всю жизнь в колхозе. Я им посылаю иной раз конфет, печенья — из гарнизона. В районе вообще ничего нет...

— Да, тебе надо возвращаться,— сказал я, подумав о своих: тоже, поди, ждут, а может, нет?

И — нашла такая минута, нахлынуло такое теплое чувство к Сашку — поведал ему то, что второй день жгло и мучило душу: боль и отчаяние из-за ссоры с Юлькой, тоска по ней, раскаяние за грубые, сгоряча слетевшие слова. Еще вчера казалось, что между нами вообще все кончено — столько обиды, горечи и презрения было в ее голосе! Теперь-то я вроде бы начинаю кое-что понимать...

Рассказал Сашку и про тяжелую обстановку дома, про пьющую троицу — деда, бабушку и отца, про вечно убегающих из дома маму и сестру, про тщетные попытки лечить отца. Никогда и ни перед кем я еще так не исповедывался...

— Послушай,— сказал он, перейдя на «ты»,— тебе надо домой. Они ж там вообще. Да и ты — представляю, на душе кошки скребут, да?

— Еще как! Не кошки — тигры!

— А нельзя договориться, пусть замену пришлют или нам, солдатам, прикажут. Че тут мерять-то, проще простого.

Меня так и подмывало рассказать о приказе и о той аварии, которая этот приказ вызвала, но привычка держать язык за зубами взяла свое. Я лишь сказал Сашку, что работа только на первый взгляд простая, на самом деле сложная и важная, а главное — срочная. Не дай бог промедлить с расчетами — любая случайность может обернуться страшной бедой не только для охраны и гарнизона, но и для всего края. Сашок слушал недоверчиво, видно, не мог взять в толк, что бы это такое могло быть.

— А в ящиках-то че? — простодушно спросил он.

— Оборонная продукция.

— Снаряды какие?

— Точно, снаряды.

— Так они что, взорваться могут?

— Могут. Если их неправильно уложить.

— Ох ты. Еще и уложить правильно.

Сашок поплевал на палец, загасил огонек самокрутки (курил он махорку), чинарик бережно спрятал обратно в кисет. Я загасил сигарету об пол.

Мы полезли на пятнадцатый ряд — разнобой тут был на всех стеллажах.

4

Ужинали на лейтенантской половине, в пищеблоке. Кроме печки, тут стоял обеденный стол, четыре стула, посудный шкаф и рукомойник с ведром, которое надо было периодически выносить. Обслуживал это нехитрое хозяйство Слижиков. Он же принес два котелка с кашей и термос чая, а также полбуханки хлеба с двумя кусочками масла граммов по двадцать в каждом. К перловой каше, сваренной на воде, прилагалось по паре рыбешек, обжаренных в постном масле. Каши было вдоволь, хлеба и чая — тоже.

Мне впервые приходилось отведывать армейских харчей — и рыба, и каша, и хлеб, пшеничный, хорошо пропеченный, показались с голодухи очень вкусными. Я сказал лейтенанту, что впервые ем армейский хлеб. Он посмотрел неодобрительно.

— Каждый должен проходить через армию. В обязательном порядке! Армия — школа жизни. А ты почему не служил? — строго спросил он, как будто я тоже его подчиненный.

Я объяснил, что на нашем факультете был лишь небольшой курс военного дела, обычные же офицерские сборы после окончания института не проводились из-за острой потребности производства в кадрах.

— Производства?! Выше армии ничего нет! Армия в условиях враждебного окружения — все!

— Армии нужны вооружения, без оружия армия — толпа...

— Народ — толпа, верно,— перебил лейтенант.— Народ! Но армия — не толпа. Это колонны и шеренги. Единая воля, единая власть. Армия — кузница революционного духа, всеобщей дисциплины, железного порядка. Армия — сила сама по себе. Слыхал о «приливных волнах» Мао Цзе-дуна?

— Злая фантастика!

— Это реальность! Массы, готовые погибнуть ради великих идей, есть самое мощное оружие.

— «Великие» идеи, за которые надо положить горы трупов...

— Бескровных побед не бывает.

Я был голоден, но каша застревала у меня в горле. Кое-как выпив кружку чая, я поблагодарил Сашка, стоявшего у печки, и ушел в спальню.

Не раздеваясь, прилег на свою койку. С противоположной стены на меня взирал генералиссимус. Лицо его бронзово застыло, в припухших глазах — холодная пустота. Фотография, не портрет живописца — натура запечатлена с документальной точностью.

Помню, как-то зимой, не то в сороковом, не то в сорок третьем, нас с сестренкой

ночью разбудили. Мне было лет десять-одиннадцать. Взрослые — дед, бабушка, мама — стояли возле черного репродуктора, на лицах благоговейное внимание: вот-вот начнет говорить Сталин. Отца на фронт не взяли, забраковали по зрению и слуху, он преподавал на курсах младших командиров, жил в казарме, дома бывал редко. В квартире было жутко холодно, отопление не действовало, тепло удерживалось от плиты на кухне, где мы все и спали. Я залез на табуретку. Из репродуктора доносились щелчки, сухой потреск, покашливание, невнятный гомон далекого зала, и вдруг — обвал, бешеный шквал аплодисментов, выкрики: «Слава! Ура! Сталину! Родному!». Бабушка прошептала со слезами на глазах: «Господи! Появился!». Дед прицыкнул на нее, еще ближе склонился к репродуктору — уже тогда он был туговат на оба уха. «Великому! Да здравствует! Сталину! Ура!» Реву, казалось, не будет конца. Дед глотал слезы, покрякивал. Его родной брат, дядя Василий, неделю назад после семилетнего заключения проследовал из северных мест через наш город в ссылку — на пять лет. У нас он смог побыть несколько часов — отметился в МВД, сходил со мной в баню да посидел за скудным нашим столом... Дед крякал и глотал слезы умиления. Бабушка и мама тихо плакали. Меня трясло от холода и ожидания. Я приплясывал на табуретке и тихо подвывал, пока дед не схватил меня за ухо. Не помню, о чем говорил тогда Сталин, помню странную смесь восторженного преклонения, охватившего меня, и горечи из-за несправедливого наказания — до боли вывернутого уха.

Теперь казалось, что портрет смотрит прямо на меня, упорно ловит глазами — наваждение да и только! Я отвернулся к стене, но и затылком чувствовал его взгляд...

Однако вскоре меня сморило. Перед глазами запрыгала изрытая яминами дорога, в ушах загремело от тряски в бронетранспортере, замелькали лица начальников — гражданских, военных, попутчиков в поезде. Выползло бурое тяжелое Хранилище — я почувствовал, как упруго, до предела сжата под ним земля, как медленно, едва заметно вминается, раздается под его чудовищной тяжестью...

Приснился мне отец. Он и в моем сне был пьяный. Как часто с ним бывало в последнее время, он рвался на балкон, в нем клокотала ораторская страсть. Я, мальчишка, держал его из последних сил. Безотчетный страх холодил мне спину, я боялся, что отец вырвется, выскочит на балкон и тогда... Он был крупнее меня, и его сильные руки выскальзывали из моих, мы рывками двигались по комнате, натыкаясь на мебель, роняя стулья. Ему удалось вывернуться, он оттолкнул меня — я отлетел на кровать, полутораспальную, с панцирной сеткой, на которой комом валялись простыни, одеяло. Что могло случиться на балконе, я не знал, но страх буквально душил меня, лишал голоса и воли. Пока я барахтался в несвежем белье, выбирался из ямины продавленной сетки, отец уже был на балконе. Наконец, и я очутился там, рядом с ним. Под нами, на сколько хватало глаз, простиралась бескрайняя степь, заполненная народом. Люди показывали на нас, что-то кричали. Кричал и отец — я пытался зажать ему рот, но он отбрасывал мою руку и что-то выкрикивал. Вдруг, рассекая толпу с трех, четырех, пяти направлений, к нам быстро двинулись какие-то люди — в черных шляпах и в кожаных пальто, все похожие друг на друга. Они шли цепочками — от далекого горизонта, все ближе, все теснее захватывая круг под нашим балконом. Отец продолжал кричать. Я оттаскивал его от перил, он медузой скользил в моих руках, вытекал, снова лез к перилам и кричал, кричал, кричал. Кошмар тянулся бесконечно, одному справиться с отцом было не под силу, я звал на помощь. И тут даль над горизонтом грозно сгустилась, вспыхнула, ослепительно засияла громадным полукругом, который взмыл ввысь, превратился в яркий клубящийся шар. К шару с земли потянулась черная, страшная, как бы свитая из кишащих змей нога... Я рванул отца вниз, на бетонный пол балкона. Он рухнул на меня, я увидел его белое искаженное лицо, вытекшие от пекла глаза и черный рот, раскрытый в оскале...

Проснулся я ночью, оцепеневший от страха. На соседней койке похрапывал кто-то, бормотал бессвязное. Кошмар продолжал мучить меня и наяву. Казалось, это отец пытается подняться с кровати, чтобы снова выскочить на балкон. Я косился на соседа, ожидая, что вот-вот он встанет и тогда придется подниматься и мне. Но тут я разглядел в лунном свете портрет напротив, над койкой, и вспомнил, где я.

Быстро раздевшись, я залез под одеяло. Казалось, засну мгновенно, но одеяльце было тонкое, и я стал замерзать. Не помог и пиджак, которым я укрылся. Идти же в холодную прихожую за полушубком не хотелось. Да и не спалось уже, сон перебился, я ворочался с боку на бок, тревожные мысли не давали покоя.

Как там дома? Утихомирился ли отец? Удалось ли маме справиться с ним? Не запаникует ли Юлька? Выдержит ли? Простит ли меня? Я-то ее уже давно простил... Эх, плюнуть бы на все и прямо через тайгу — домой!

В сумраке комнаты на меня смотрел со стены Сталин. Казалось, это он похрапывает и посвистывает, блаженно сощурив веки. Лейтенант был какой-то каменный — спал в майке и трусах под таким же жиденьким одеяльцем, что и у меня. Фонарь за окном чуть раскачивался (видимо, поднялся ветер), и Сталин с портрета как бы подмигивал мне с заговорщическим видом...

5

На следующий день с утра я напомнил лейтенанту про обещание выделить еще двух солдат. Он поморщился, мотнул головой.

— Не дам.

— Тебя знакомили с приказом министра?

— Твоего министра. У меня свой есть. И свои приказы. Все, Оладьев, к-кру-у-гом! Ш-а-агом арш!

Я стискивал кулаки, с трудом удерживаясь от подмывающего желания дать с маху в эту кривую высокомерную усмешку, в тупое переносье, торчащее между волчьими глазами каким-то странным волдырем. Он был выше меня ростом, но у́же в плечах. На нем была форма офицера, на поясе висел тяжелый пистолет...

Я отвернулся, вышел в коридор. Пожалуй, впервые в жизни я так остро ощутил свою беззащитность. Возмущение сменилось отчаянием: как, не теряя собственного достоинства, заставить лейтенанта выполнять то, что является действительно чрезвычайно срочным и важным.

Я нашел Сашка. Еще вчера ему пришло в голову, чтобы не терять время на переходы, брать обед и ужин с собой в Хранилище. Оказывается, он уже договорился обо всем с лейтенантом, и мы отправились нагруженные заплечными термосами с кашей и чаем — остатками завтрака. Хлеб — две буханки — Сашок нес под мышками. Сашка больше всего радовало, что хоть ненадолго избавится от тягостных обязанностей прислуживать лейтенанту.

Мы шустро, без раскачки взялись за дело, но не прошли и двух рядов, как снаружи донеслись какие-то странные звуки. Гортанный голос выкрикивал что-то невнятное и следом раздавалось какое-то хлопанье, словно били палками по ковру, подвешенному для выбивания пыли.

— Что это? — насторожился я.

— Строевая,— ответил Сашок.— Лейтенант гоняет. В раж вошел...

— Пойду взгляну,— сказал я, доставая сигарету.

На площадке перед Хранилищем, печатая шаг, маршировала колонна — шесть рядов по пять человек в ряд. В гимнастерках, в сапогах, в шапках-ушанках. Лейтенант — в одном кителе — бежал сбоку приседающим шагом, вытянув шею и хищно оглядывая марширующие ряды. Колонна шла на меня — напряженные лица, остекленелые глаза, вздернутые подбородки.

— Р-ряз!.. Р-ряз!..— вскрикивал лейтенант.— Носочки — выше! Удар — всей ступней! Р-ряз!.. Р-ряз!

Солдаты тянули носочки, лупили всей подошвой, но лейтенант был недоволен. Лицо его, раскрасневшееся, возбужденное, было перекошено гримасой азарта и боли.

— Р-рядовой Копаница! Зад! Зад подтяни! Как баба на базаре! Р-рядовой Кудрявцев! Грудь! Грудь вперед! Интел-лигенция, твою так! Р-ряз! Р-ряз!.. Кру-у-гом... арш!

Колонна четко развернулась и, не сбиваясь с шага, потопала по плацу от Хранилища. Лейтенант боковыми прискоками понесся за колонной. На краю площадки колонна развернулась и под хлесткие команды двинулась снова ко мне. Лейтенант заметил меня, поманил.

— Послушай! — придушенно зашептал он, когда я подошел к нему.— Слушай-слушай!

Как дирижер, взмахами руки, он рубил такт, выставив ухо и прижмурив глаза для полной сосредоточенности.

— О! Слышишь? О! — Он вскидывал палец, отмечая какие-то одному ему ведомые сбои.— О! Опять! Р-рядовой Копаница! Задница! Задница торчит! Выбиваешься!

Я, признаться, ничего не слышал. Топают нормально, какого ляха ему надо от ребят.

— Р-ряз!.. Р-ряз! Молодцы! Р-ряз!.. Р-ряз! О! Хорошо! Кру-у-гом... арш! Сержант Махоткин! Ко мне! Бегом!

Шагавший в первом ряду сержант рванул вперед, по дуге подбежал к лейтенанту.

— Покомандуй-ка, а я посмотрю,— сказал лейтенант.— Что-то они не дотягивают сегодня...

— Р-ряз!.. Р-ряз!.. Р-ряз! — подхватил Махоткин и прискоками, как и лейтенант, пошел за колонной.

Задумчиво покусывая кончик уса, лейтенант следил за маршем. Казалось, он не замечал ни мороза, ни ветра, что порывами вздымал и закручивал над площадкой снежную пыль.

— Р-ряз!.. Р-ряз!.. Р-ряз! — простуженно рявкал сержант.

— Я из них сделаю образцово-показательный взвод,— сказал лейтенант.— В Кремле буду служить! Вот цель! Перед Новым годом ждем министра с инспекционной

поездкой. А ты, Оладьев, путаешься под ногами.— Он кинул на меня насмешливый взгляд.— В Кремле! Понял? Ол-ладьев...

— Слушай, ты! Если еще назовешь Оладьевым, ей-богу, врежу!

Я схватил его за отвороты кителя, резко оттолкнул. Лейтенант поправил форму, полоснул холодным прищуром.

— Ладно, еще потолкуем,— с каким-то клекотом сказал он и пошел вслед за сержантом.

— Р-ряз!.. Р-ряз!.. Р-ряз!

Я вернулся в Хранилище. Сашок сидел на досках возле электрического шкафа и курил. После яркого света его съежившаяся фигурка была едва различима.

— По-моему, сумасшедший,— сказал я, кивнув в сторону площадки.

— Нормальный,— вяло отозвался Сашок.— Ну что, пошли?

И мы снова полезли на стеллажи.

Разнобой был и в размерах ящиков, и в их раскладке на стеллажах: то тут, то там обнаруживались пустоты, ящики были брошены небрежно, вкривь и вкось — тут уж каждый стеллаж пришлось заносить в журнал, предварительно произведя замеры. Дело резко замедлилось.

К вечеру мы настолько вымотались, что еле передвигали ноги. Сашок уже не напевал и не насвистывал. От холода и пыли у нас воспалились глотки, подсел голос, мы сипели, как два алкоголика. Руки были сбиты, пальцы в порезах и ушибах.

Обессиленные, мы сели в проходе, привалившись спинами к нижнему ряду ящиков. Над нами горели мощные лампы. К запаху пыли примешивался какой-то остренько-сладковатый запашок — то ли озона, то ли фтора. Тут и там на пыльном полу видны были странные бороздки, полосочки, крючочки, которые складывались в замысловатый рисунок. Влево и вправо по широкому проезду тянулись однообразные ряды стеллажей. Черные изломанные тени искажали перспективу, в сумрачных концах Хранилища мерещились искореженные фермы, остроконечные призмы, надолбы, а сверху — серенькая кисея паутины.

— Ну, давай, напой мотивчик,— попросил я, подтолкнув Сашка локтем.

Сашок сипло откашлялся, помолчал, собираясь с духом, потом тихо затянул свое «Ой-ё-ё-ё-ё-ё-ё...». В незатейливом сплетении звуков, в их спокойном, плавном чередовании ощущались северные сибирские просторы, дали без конца и края, ничем не заслоненное небо, и я подумал, что, наверное, эта открытость земли и неба не может не влиять на характер живущего здесь народа: тут и люди, должно быть, открытые, честные, прямые... Сашок вытягивал ноту за нотой, зажмурив глаза и чуть покачиваясь в такт музыке. Мелодия возникала вольная, широкая, какая-то суровая. «Ой-ё-ё-ё-ё-ё-ё...». Я закрыл глаза и увидел низкое хмурое небо, неоглядные пространства, болотистые низины с чахлыми кустиками ольхи и корявыми березами. Услышал, как завывает ветер, дующий из синих северных далей, несущий с собой запахи студеного моря, рыбы и близкого снега, как шуршит, перекатывая мелкую прибрежную гальку, сильная полноводная река, как всплескивает на быстрине крупная рыбина и звенит висящий сплошным серым слоем над землею гнус...

Сашок вдруг умолк, приткнулся плечом.

— Глянь! Что там?

Я с трудом разодрал слипавшиеся глаза. Сашок показывал на противоположный, стоящий перед нами ряд стеллажей.

— Вон, вон,— нервно зашептал он, весь как-то подбираясь.— Да вон, между ящиками, в самом низу.

И тут я увидел прямо перед нами, через проход, в щели между ящиками, одна над другой семь, нет, восемь крысиных морд — острые носы, поблескивающие точки глаз, уши. И еще две влезли поверх этих восьми. Нижние запищали, задергались, вся пирамида повалилась, отпрянула дружно, как по команде, в черноту щели — писк, возня, вскрики, яростное гырканье. Меня передернуло: какого черта им тут надо! Это же не продовольственный склад — Хранилище! Что им тут грызть — ящики, в которых металл? Стальные стеллажи? Бетонные полы? Странно, странно... А может быть, они грелись? Спасались от мороза? Может быть, здесь, в этом месте Хранилища, самая теплая зона? Именно в том месте, где они сидели друг на друге... Самая теплая... Значит, и самая опасная! Значит, если когда-нибудь и начнется что-нибудь в Хранилище, то именно здесь, в этих вот мирно стоящих на полках ящиках...

Я включил прибор — рубиновый глазок задергался в бешеном переплясе под сухой непрерывный треск, смахивающий на беспорядочную морзянку. Пришлось переключиться на более грубый диапазон. Теперь можно было сосчитать импульсы и, умножив на сто, получить реальное число. Какая-то чертовщина! Давно ли лазали здесь с Сашком, обмеряли ящики — счетчик молчал, а сейчас... Особой опасности не было, мы могли находиться тут и час и два без всякого риска, но само появление импульсов — откуда? почему? что произошло? — было для меня загадкой. Уж не космос ли подкинул? Я взглянул вверх — из-за яркого света кровли не было видно,

мгла да и только. Выключив прибор, я прислушался. Какая-то странная возня доносилась и сверху — или мне почудилось?

Сашок в страхе не спускал глаз со щели, где только что были крысы. Страх его подействовал на меня успокаивающе. Ну что за беда — крысы! Постоянный спутник человечества с незапамятных времен. Самый живучий народец нашей планеты. Даже на атолле Бикини после испытания американской водородной бомбы крысы прекрасно продолжали жить и плодиться в трюмах оплавленных, искореженных кораблей. Тут опасность тоже есть, но разве можно сравнить с той. Если выдерживали ту, то эта для них что слону дробина...

Сашок показал на замысловатые переплетения линий и точек на полу.

— Следы! — шепотом сказал он.

— Ну и что?

— Жуть как боюсь. Сызмальства. У нас у соседки ребеночка задушили. В люльке лежал, а она пьяная, уснула, они забрались, язычок выгрызли, он и задохнулся. Я только в школу пошел... А у нас под полом жили, никак не могли выгнать. Чего только не перепробовали — и отраву разную, и кошек держали, и дыры цементом, и стекло толченое с тестом. Бесполезно. Как осень, они тут как тут. По ночам спать не давали. Мать даже колотушку приспособила. Слишком расшумятся или доски начнут грызть, она — тук в пол, они и притихнут. Потом — опять за свое, она — опять колотушкой. И так всю ночь. Мамке-то все одно, что день, что ночь, а нам все же спать надо, да и страшно.

Он скосил на меня глаза и долго не отводил, глядя пытливо и как-то жалобно. Сзади за нами раздались какие-то скрипы, и он резко выпрямился, пружиной вскочил на ноги. Я тоже поднялся, прислушался. Монотонно гудели лампы — ухо привыкло к звуку, и казалось, будто в Хранилище стоит полная тишина. Потемневшие огромные глаза Сашка нервно дергались, шарили по сторонам — он так по-детски, сильно испугался, что мне стало смешно.

— Эге-гей! — закричал я сиплым голосом.— Нечистая сила! Пошла вон!

И два эха, оттолкнувшись от противоположных концов Хранилища, повторили мой крик — «Он! Он! Он! Он!» Я обнял Слижикова за плечи, подтолкнул к выходу.

— Пошли! На сегодня хватит, а то уже мерещится черт знает что. Утро вечера мудренее. Верно?

Сашок кивнул, с виноватой улыбкой двинулся рядом, опасливо озираясь по сторонам. Мы шли по центральному проходу и через каждые пять рядов переключали освещение — пятно яркого света скачками следовало за нами.

Снаружи шел снег, и было тепло. За те несколько часов, что мы находились в Хранилище, резко потеплело. И снег валил крупный, сырой, мохнатыми хлопьями. Я машинально шагал вслед за Сашком и, озадаченный, думал про крыс и про странное поведение прибора — и то и другое не находило сколько-нибудь разумного объяснения...

6

Орало радио, голая лампочка под потолком раскаленно сияла. Лейтенант лежал, закинув руки за голову, глаза его были закрыты, казалось, спал.

Я выключил радио, потихоньку умылся, погасил свет, разделся и лег. Тени от падающего снега мельтешили на стенах, на потолке. Портрет генералиссимуса стал объемным, ожил: одутловатое старческое лицо с седыми усами подергивалось, меняло выражение, жило своей тихой ночной жизнью.

— Ты, видно, впервые на объекте,— вдруг заговорил лейтенант.

Я вздрогнул: показалось, что слова эти он произнес с акцентом, как Сталин.

— Должен предупредить,— продолжал лейтенант,— здесь у меня особая зона. Особая! Потому и права у меня особые! Если что, не с тебя спросят — с меня! И лучше, парень, не лезь, а то ненароком могу запечатать — никто не распечатает. В Хранилище... Понял?

Перед глазами плыли ящики, сумрачные проходы, крысиные морды. Я засыпал, слова лейтенанта тормозились, вязли в коротком пространстве, отделявшем нас друг от друга...

Вспоминался поезд, на котором ехал сюда. По билету нижнее сидячее, но когда протиснулся через забитый людьми тамбур, понял — не до жиру.

Их называли амнистированными — рваные бушлаты, прожженные телогрейки, пятна от содранных зэковских номеров на спине и ватных штанах, бескровные лица с мертвыми глазами — страх, тоска, усталость. Сидят, лежат вповалку плотной притихшей массой, переговариваются вполголоса, шепотом. Сизые пласты дыма колыхаются в проходе — нечем дышать.

Я присел с краю, чуть сдвинув чьи-то босые сопревшие ноги, откинулся на спинку сиденья. Поезд тронулся. По проходу, перешагивая через сундучки и котом-

ки, двое милиционеров провели оборванного, заросшего человека в галошах, подвязанных веревочками. Он прижимал к груди холщовый мешок комом, неестественно радостно улыбался, истово кивал налево и направо, порываясь сдернуть с головы драный треух. Милиционер, подталкивая его в спину, повторял: «Иди, ты! Иди, ты!»

Старик, сидевший напротив с толстой книгой, проводил взглядом странную троицу, вздохнул. Сосед его, лысый, с красными пятнами на лбу, сказал шепеляво:

— Шпятил от радошти.

Старик покосился на него.

— Надорвался...

Поезд прогрохотал по большому мосту через реку. За окном открылись заснеженные поля, затянутые сизой дымкой, черные деревушки, редкие перелески в сумеречных далях. Сибирь выпускала из своих объятий еще один эшелон. Мне уже не раз приходилось ездить в таких вот поездах, до отказа набитых людьми, которых свобода больше пугала, чем радовала.

Я вынул бутерброды с сыром и с колбасой, что сунула мне с собой мама, протянул соседям: «Берите, угощайтесь!»

Старик, поблагодарив, отказался. Лысый, вытерев глаза, осторожно взял бутерброд двумя пальчиками, отломил немного, остальное положил обратно. Потянулись и другие — брали, боясь, как бы не взять слишком много. Я подавал бутерброды и наверх, тем, кто, свесившись, следил за нами. Люди отламывали по крошечке, благодарно кивали, отводили мои руки, указывали на других. В конце концов вся эта горка бутербродов так и осталась почти не тронутой. И мне они не полезли в горло. Я растерянно держал их на коленях, пока лысый решительно не свернул бумагу, в которой они лежали, и не сунул обратно мне в портфель.

Пять с половиной часов в вагоне, забитом хмурыми, молчащими, о чем-то думающими людьми. Людьми, которые устали друг от друга, от тесноты и спертости неволи, от чужого глаза, чужого уха, чужого тела. Людьми, которые разучились говорить, улыбаться, радоваться...

То ли во сне, то ли наяву я увидел отца — бежал за поездом, размахивая руками, выкрикивая что-то, спотыкаясь и чуть не падая. Лицо его было в слезах. Господи! Хоть бы отстал, не свалился бы под колеса!

— ...Солдат должен быть занят,— бубнил свое лейтенант,— и ты ничего не смыслишь...

— Слушай, дай поспать,— пробормотал я.

Лейтенант затих, но сон не шел. Мысль снова и снова возвращалась к отцу...

В начале марта пятьдесят третьего, досрочно сдав пару зачетов, я приехал на несколько дней домой. Третий год я учился в институте, дома бывал наездами, как нынче. За эти годы отец совсем сошел на нет, я просто испугался, когда увидел его. И опять он был пьяный...

Помню пьяного отца зимой, весной, летом и осенью. Почти не помню трезвого. Они пили втроем — он, дед и бабушка. Спасение от них было в бегстве из дома, и мы убегали — мама, сестра и я,— убегали в тишину кабинетов маминого училища, где мама начинала секретаршей еще до войны, а во время войны и после, все годы, пока в здании располагался эвакогоспиталь, проработала медсестрой. Мама печатала на машинке, подрабатывала на жизнь — сколько лет провела она, согнувшись над пишущей машинкой, чтобы мы с сестрой могли нормально питаться, выглядеть «не хуже других», учиться в институте! Я мог только догадываться о том, что происходило между матерью и отцом. Десятилетия страданий и унижений.

Вообще-то это было для меня загадкой. Почему так долго и упорно мама держалась за него? Ради нас? Боялась оставить без отца? Но что, кроме скандалов, пьянства и душевной опустошенности мог он нам дать? Деньги? Но это были такие крохи! Многие годы, еще надеясь победить, мама мучительно боролась за него — водила по врачам, устраивала на лечение, отбирала зарплату. Все было тщетно. С ним одним она, может быть, и справилась бы, но с тремя... Уходить от мужа значило для нее уходить и от собственных родителей, а это было ей совсем не под силу...

В тот день я встал довольно поздно. Умывшись, вышел в коридор. Держась за стеночку, из своей комнаты в кухню прошла пьяненькая бабушка. Вчера допоздна они там пили со случайными уличными собутыльниками, теперь бабушка зашла опохмелиться остатками. Ссохшаяся, уже тяжко больная, с раскосмаченными седыми волосами, она стояла, покачиваясь на тоненьких ножках, возле стола, за которым, уронив голову на руки, спал отец, и сливала из бутылок какие-то капли. Увидев меня, она хихикнула, виновато прикрылась ладошкой, выпила собранное и бочком-бочком, как бы не замечая меня, юркнула из кухни.

Я включил радио — проверить часы. Тяжелая траурная музыка была на излете. После долгой-долгой паузы раздался торжественно-печальный голос Левитана: «От Центрального Комитета... Ко всем гражданам Советского Союза...» Я кинулся к отцу, схватил за плечи, растормошил. Левитан продолжал свою мучительную работу: «...скончался Иосиф Виссарионович Сталин...»

Отец воздел руки к небу и как-то дико, фальцетом прокричал: «Что?! Что?! Что?!» Уронив руки на затылок, он все с тою же дикой улыбкой ошеломленно повторил: «Умер?! Умер?! Умер?!»

Из репродуктора лилась траурная музыка. У меня перехватило в груди, глаза заволокло. Отец рухнул лицом в стол, завыл, заголосил. Голова его каталась по окуркам, рыбьим костям, остаткам пищи. Он выл, хрипел, рвал на себе рубаху, с пеной на губах, опухший, небритый, серый от седины и перепоя. Казалось, вот-вот умрет, задохнется от мучительных спазм. Я стоял над ним, беспомощно опустив руки. Он вздрагивал, тихонько подвывал. Разодранная рубаха сползла с плеч, и меня вдруг резануло — какие у него острые худые лопатки, какие синие выпирающие ребра, какая серая костлявая голова... Я обнял его, прижал заросшее колючее лицо и на какой-то момент оглох и ослеп от нахлынувших слез. Что с ним происходит? Что с нами со всеми происходит? Отчего так горько плачет отец? Он же всю жизнь не любил Сталина! Всю жизнь не любил, а теперь жалко! Или жалко себя? Свою пущенную в распыл жизнь? Но в чем спасение? Как удержать, оттащить его от края? Как уберечь маму?

Я заставил отца умыться, отвел в комнату, напоил горячим чаем, уложил в постель, укрыл вторым одеялом. Долго сидел возле него, но не так-то просто было побороть многолетнюю отчужденность. Постепенно, слово за словом, с трудом мы разговорились. Я не знал, о чем его спрашивать, боялся поранить,— кругом были минные поля. Видно, он это чувствовал, потому спрашивал сам, впервые за многие годы он поинтересовался, как я учусь, с кем дружу, какие перспективы после окончания... Я отвечал односложно: учусь нормально, в удачные семестры получаю повышенную стипендию, дружу со всеми, врагов нет, ребята все как на подбор (и действительно отбирались самые способные!), перспективы... трудно сказать, ведь я мечтаю о больших делах... Отец помолчал, спросил: «А сколько же это, повышенная стипендия?» Это было шестьсот пятьдесят в тех, дореформенных рублях. «Ого! — рассмеялся отец.— Ты — богатый, у тебя можно брать в долг. Нашим студентам платят в два раза меньше». Я объяснил, что у нас особый факультет, секретность, очень важная работа после окончания... «Да, ты прав, что пошел в физику,— сказал отец.— У нас нет науки истории... При узурпаторе, как помнишь, я не одобрял тебя, а теперь — одобряю. Дело не в узурпаторах — были, есть и будут — дело в России! Россия не должна быть слабой. А Россия — это от Балтики до Тихого, от Северного Ледовитого до Турции... Правда, не уверен, даст ли физика людям, кроме силы, еще и счастье... Но ты прав, прав. Я ошибался, я». Ни о чем подобном, признаться, я не думал, когда поступал на физтех, просто был влюблен в физику, верил, что физика станет для человека истинной панацеей, спасет жизнь и душу человечества. И не только потому, что прибавит силы, а потому еще, что покажет массам, как изумительно прекрасно устроена природа, призовет к совершенству через постижение красоты и гармонии мира. И правда, посмотрите на таблицу Менделеева: какая поразительная стройность! Какая гармония, какой порядок! Как, должно быть, изящны и совершенны в своем многообразном единстве атомы! А как изобретательна природа в стремлении к обновлению, к поиску форм, имеющих устойчивую жизнь лишь в гармонии с меняющимся содержанием! И если человек, познав основы физики, поймет наконец, в каком прекрасном и гармоничном мире живет, то, несомненно, и сам постарается быть прекрасным и гармоничным. Значит, есть надежда, что, изучая физику, будет меняться к лучшему и все человечество!

Когда-то отец хотел, чтобы я стал врачом, убеждал, как это благóродно и необходимо во все времена и у всех народов! Может быть, единственная по-настоящему полезная профессия...

А я стал физиком. Теперь отец доволен, что я выбрал свою дорогу, и благословляет на подвиги. И снова плачет...

Ну что же ты плачешь, отец? Узурпатора больше нет. Теперь ты сможешь заниматься своей любимой историей так, как подсказывает совесть. И сын твой рядом с тобой — пробита стена отчуждения, мы снова вместе! Покаюсь, грешен, и я виноват, что мы так долго не слышали друг друга, уплыли так далеко. И вот встретились, словно завершили кругосветное плавание. Раньше я прятался в свою физику, казалось, всю душу отдавал ей, но теперь я с тобой, отец, и никогда не оставлю тебя! Тоненькая ниточка, связывавшая нас, оказалась крепче всех тех канатов, которыми привязывала меня к себе «другая» жизнь...

Так что не плачь, отец,— радуйся! Ведь это сама История со скрежетом сделала шаг вперед, в будущее, которое, конечно же, прекрасно! Но отец плакал...

7

Снег падал сплошной рыхлой массой, в трех шагах ничего не было видно. Термометр за окном показывал всего пять градусов ниже нуля.

Лейтенант забрал Сашка на очистку дорог и проходов вдоль забора. Весь личный состав «точки» с утра до позднего вечера боролся со снегом. Я в одиночестве боролся с ящиками.

Приходилось исхитряться: то привязывать конец рулетки к стойке стеллажа, то прижимать ее к полу, а самому карабкаться с журналом за пазухой по ящикам. Пуговица на полушубке давным-давно оторвалась, я опоясался солдатским ремнем. Полушубок распахивался на груди, журнал выскальзывал, падал, сцепить края было нечем. Руки плохо слушались, карандаш выпадал, закатывался под стеллажи, не раз я хватал вместо карандаша крысиные хвосты.

Вечером во время ужина я потребовал у лейтенанта, чтобы он вернул Слижикова. В расстегнутом кителе, со слипшимися от пота волосами — тоже весь день отбрасывал снег,— лейтенант выставил фигу:

— А это не хошь? Начальник нашелся! В шарашке своей командуй, а здесь я буду командовать!

Он быстро доел кашу, выпил залпом чай, встал и, двигаясь рывками, как механизм, вышел, хлопнув дверью.

Сашок, убиравший со стола, присел напротив меня. За этот день он еще больше осунулся, рот обтянуло, зубы выставились вперед, как у жеребенка.

— Стрелять пошел,— сказал он, кивнув на выход.— Как психанет, так стреляет.

— А где стреляет? — спросил я.

— А в сарае. У него там плахи вот такие вдоль стены, мишени, он и бабахает. Метров с двадцати.

— Такой большой сарай? — удивился я.— Почему не видел?

— А за снегом, только крыша и торчит.— Сашок перегнулся ко мне через стол, зашептал, настороженно поглядывая в проход, боясь, как бы вдруг не вернулся лейтенант.— Вы узнайте у него, все ребята просят, почему не дает бульдозер. У нас бульдозер, новенький, а он с лопатами гоняет. Спросите.

— Бульдозер? Где?

— А в сарае, в этом же.

— Новый?

— Как игрушечка! Летом обкатку делали.

— И водители найдутся?

— Ой, да конечно! У нас трое с МТС.

— А почему не дает? Сержант обращался?

— Да все обращались, еще в ноябре, после первого снега.

— Ну и что? Он-то что говорит?

— Ничего не говорит. Не дает и все.

— Без всякой причины?

— Ага.

Сашок прислушался, повернувшись ухом к окну и раскрыв рот. Вытаращенные голубые глаза, белобрысая челочка, жеребячьи зубы — весь ушел в слух, весь внимание.

— О! — воскликнул он, вскинув палец.— О! Слышите?

Как я ни прислушивался, ничего не слышал — звуки радио, орущего на солдатской половине, казалось, заглушали все.

— О! О! — Сашок мотнул головой, засмеялся.— Дуплетом шмаляет. Патронов у него навалом, в полушубке таскает, заместо игрушек.— Сашок вынул из кармана патрон, показал мне.— Вот эти. Они что к пистолету, что к автомату...

Я взял патрон, повертел в пальцах. Когда-то в годы войны патронов разных было у нас, мальчишек, видимо-невидимо — и от «ТТ», и револьверные, и от винтовок, и немецкие. Теперь — унификация: один патрон к любому оружию. Я вернул патрон Сашку, спросил:

— Они на учете? Патроны-то?

— А бог их знает. Лейтенант высаживает сотнями. И нам дает пострелять — по пять—десять выстрелов, на это не жмот.

Проворно уложив миски и кружки в рюкзачок, Сашок ушел. Я оделся и двинулся к сараю. Теперь звуки выстрелов доносились отчетливо — то подряд, то одиночные, как бы раздумчиво — бах... бах...

Дверь была приоткрыта, я вошел. Свет бил слева, правая стена, как в каком-то диковинном театре, вся покрыта мишенями — силуэтами: человек-фас, человек-профиль, человек стоящий, человек бегущий... Грохот выстрелов оборвался. Яркий свет мешал разглядеть лейтенанта, я улышал его голос:

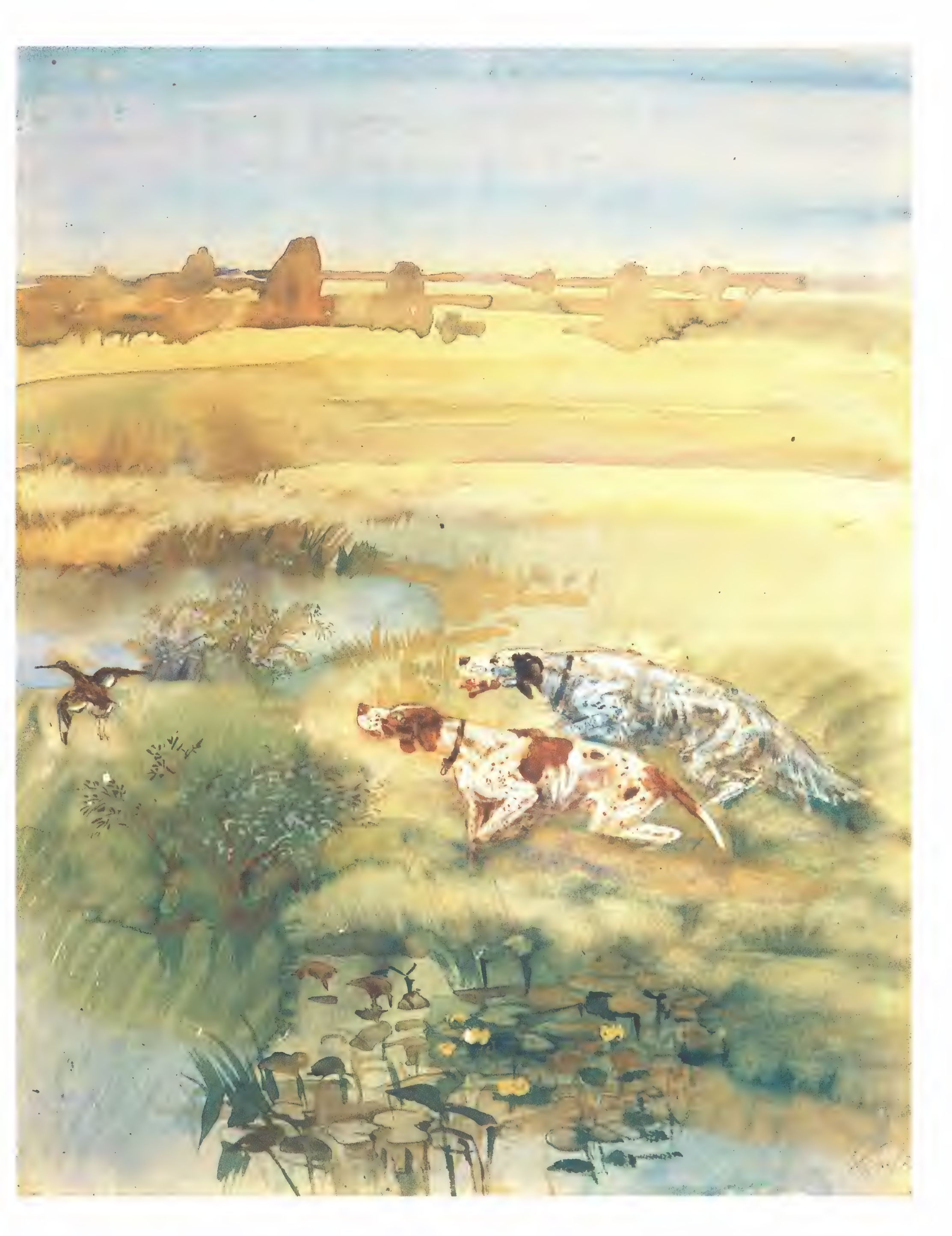
— Какого черта! Кто звал! — Он вышел на свет — глаза волчьи, горят азартом

НАРОДНЫЙ ХУДОЖНИК РСФСР
ВАЛЕНТИН ИВАНОВИЧ КУРДОВ

Рисунок из цикла «Всадники революции».
Михаил Васильевич Фрунзе

Старый дом на тракте. Псковщина

Скворец



На стойке

Венецианский мотив

Село Шемаха

и злобой, пистолет стиснут, побелели костяшки пальцев.— Не слышал? Глухой, что ли? Вылез, как...— Он выругался.

— Да брось ты! Лучше дай пострелять.

Он вернулся на огневой рубеж. Я остановился чуть сбоку. Он старался не глядеть на меня, желваки так и ходили вверх-вниз, будто он жевал жвачку. Мы стояли под гудящими прожекторами, у левой стены. Лейтенант рывками перезарядил пистолет, взвел курок, показал стволом на среднюю мишень: «человек стоящий» с концентрическими кругами и яблочком на груди.

Я взял пистолет, покачал в руке, ощущая внушительную тяжесть и слитность его с рукой. Конструкторы этой штуки недаром потрудились — пистолет очень удобно укладывался в ладонь. Соединяясь с рукою, он произвел какой-то странный, не сразу осознанный мною эффект. Ясно было, что «я» и «пистолет» порознь друг от друга и «я с пистолетом» — совсем разные существа.

Лейтенант не спускал с меня злых глаз.

— Ну! — прикрикнул он.— Инженер!

Я почувствовал какую-то чуждость в себе самом, стоящем сейчас здесь с пистолетом в руке. Не я, а кто-то другой медленно поднимает оружие, целится в изображение человека — совсем незнакомого, один лишь силуэт, но человека же! Так ли уж безобидна стрельба по символам? Мне показалось, что если я нажму на курок и выстрелю, то уже не буду самим собой, поддамся лейтенанту, что-то во мне нарушится...

Я целился в мишень и кожей ощущал, с каким жадным нетерпением следит за мной лейтенант, ждет выстрела. Я опустил пистолет, протянул лейтенанту.

— Не хочется.

Явно обескураженный, скривив губы, он взял пистолет, навскидку, с яростью, выпустил в «мою» мишень подряд всю обойму. Пули легли кучно, прямо в грудь «человека стоящего».

— Лихо,— сказал я, впрочем, без восторга.

— Слабак! — с презрением сказал лейтенант, вгоняя в рукоятку новый магазин.

— Ты же прекрасно понимаешь, что дело совсем не в этом.

— А в чем? — изобразил он удивление.

— Сам знаешь...

— Э, пошел-ка ты со своими интеллигентскими штучками!

— Это не штучки и не интеллигентские...

— Фигня! — отмахнулся он, но по тому, как хищно взблеснули его глаза, было ясно, что он все понял.

На тумбочке под левой рукой лейтенанта стояла большая коробка с патронами. Рядом — двумя ровными стопками — штук десять магазинов, набитых патронами. Глаза привыкли к яркому свету, я разглядел внутренность сарая.

В левом углу, где мы стояли, у самой стены посверкивал краской новенький бульдозер, стекла запылились, резина нехожена, с глубокими канавками. Дальше вдоль стены в открытых отсеках — бочки, мешки, тачки, лопаты, метлы, ящики, ломы, пилы и прочий хозяйственный инвентарь.

Я подошел к бульдозеру.

— Послушай, лейтенант,— сказал я,— почему не используешь технику? Солдат загонял...

— А это — не твоя забота, инженер. Считай ящики

— Но все-таки. Смысл какой-то есть?

— Есть.

— Объясни.

Лейтенант поднял пистолет, другую руку закинул за спину, поудобнее расставил ноги. Медленно повел пистолетом вдоль мишеней.

— Солдат должен работать!

Грохнул выстрел.

— До седьмого пота!

Еще выстрел.

— Чтобы никаких мыслей!

Выстрел.

— Никаких желаний!

Выстрел.

— Кроме одного — спать!

Выстрел.

— Жрать, работать и спать. Остальное — к черту!

Выстрел.

— К черту хандру!

Выстрел.

— К черту сомнения!

Лейтенант нажал на спуск, но раздался лишь глухой щелчок. Он с удивлением вынул магазин — патронов не было, значит, одного не хватало. Кинул магазин в коробку у ноги, куда сметал веником стреляные гильзы.

— Ну, инженер, понял, почему гоняю солдат, а техника стоит?

— Сам додумался? Или это по уставу?

От порохового дыма у меня першило в глотке, слезились глаза.

— Уставы пишут дундуки в академиях, не способные мыслить творчески. А тут кое-что есть! — Самодовольно усмехаясь, он вставил новый магазин, передернул затвор.— Ну, будешь?

Я повернулся, пошел к воротам.

— Эй! — крикнул лейтенант.

Я остановился в дверях. Обернулся. Лейтенант, оскалясь в странной улыбке, поднимал на меня пистолет.

— Не боишься? — гортанно расхохотался он.

— Я — нет. А ты? — сказал я.

Он резко отвел руку, выстрелил.

— Десятка! — прокричал весело, как-то дико.

Я вышел, побрел по дорожкам. Снежинки опускались на лицо, таяли. Я очень любил такую погоду, любил кататься на коньках, когда идет снег.

Мне вспомнился наш институтский каток, ярко освещенный гирляндами ламп, исполосованное белыми росчерками ледяное поле. Вспомнились звучавшие там изо дня в день одни и те же песни, одни и те же голоса — Шульженко, Утесова, Ружены Сикоры. Мы катались с Юлькой вдвоем, держась за руки, она без конца падала — поднимать ее и ставить на коньки было для меня счастьем... Там, на катке, мы впервые неловко поцеловались, и Юлька, ошеломленная, с пылающими глазами, заковыляла от меня к раздевалке. Я догнал ее, потащил на буксире по полю, подальше от света, в сумеречный уголок, где было совсем пусто. Она катилась, взмахивая рукой, выделывая замысловатые кренделя ногами. Я резко затормозил, она наехала на меня, и мы обнялись... Юлька, Юлька, как ты там? Как наша маленькая говорунья?

Стихли выстрелы в сарае. Угомонились солдаты, наконец вырубилось радио и погас свет на их половине. А я все бродил и бродил по заснеженной дороге, с грустью думая о Юльке, о дочурке, об отце, о матери, о всех нас...

8

Хотя и сильно уставал за день, но засыпал я плохо, вообще со сном случилось что-то непонятное: исчезло то сладкое забвение, которое возвращало силы и свежесть, сон стал каким-то прозрачным, словно все передо мной было затянуто марлей, вроде бы сплю и в то же время слышу, ощущаю себя лежащим напротив лейтенанта, под сталинским холодным прищуром, на узкой койке со сбитым комкастым матрасом. То, что грезилось, трудно было назвать снами, скорее какие-то причудливые зрительные фантазии, на тему «Хранилище, ящики, крысы...»

Мешал заснуть, тревожил странный тихий звук, похожий на жалобное ауканье заблудившегося в ночном лесу ребенка, еле-еле долетающий зов о помощи, а может быть, какой-то отдаленный гул или вой, то усиливающийся, то замирающий. Вслушиваясь, копя этот звук в себе, я никак не мог разобрать, откуда он, что звучит, живой он или машинный. Никогда прежде не бывало у меня ни звуковых, ни зрительных галлюцинаций. Мне вдруг пришло в голову, что это звучит во мне Хранилище, это Голос Хранилища! Мои нервные струны настроились в резонанс с его струнами... И вот звучат — даже на расстоянии... Его струны? Мои струны? Голос Хранилища? Что за бред! Какие там могут быть струны? Какой голос? Грубое складское помещение, набитое ящиками, в которых... *нечто.*

Мысль моя запнулась об это *нечто*, и я снова отчетливо услышал Голос. Да, бесспорно, именно этот звук существует, висит, запечатан в Хранилище. Причем в первые дни он недоступен, его как бы нет, ухо еще слишком грубо, не слышит. И лишь на пятый-шестой день начинает различать его среди других вполне реальных звуков, источники которых можешь потрогать рукой — лампы, дроссели, датчики на колоннах... Да, да, однажды я вырубил свет, и какое-то время мы сидели с Сашком в полной темноте — вот тогда он и прорезался в чистом виде — Голос Хранилища! Но что звучит?

Может быть, дело в содержимом ящиков, в этом *нечто*? Ни главный инженер, ни сивоносый из главка ни словечка не сказали о том, что же в этих проклятых ящиках. И, конечно, не по забывчивости, просто об этом не принято говорить, секретные вещи подразумеваются сами собой. На то мы и физики...

Физики... Физик — это ученый, хранилищами и прочей подобной чертовщиной не должен заниматься, его призвание выше: наука, открытие нового, расширение

познанного, разумеется, для блага человечества, во имя прогресса и так далее. А здесь? А я? Какое отношение имею к этим ящикам, к этому чудовищу, притаившемуся в глухой тайге, под неослабным оком лейтенанта? Зачем вилять? Не ты ли рвался в закрытый «ящик»? Не ты ли мечтал о СУПЕРБОМБЕ? Чего хотел, то и получай! Хранилище, лейтенанта, крыс и эти распрекрасные сновидения впридачу...

А может быть, это вовсе и не оружие? Ящики с гвоздями или с дамскими шпильками... Лейтенант охраняет дамские шпильки — смешно! Продукт универсален! Чем лучше он очищен, выше обогащен по легкому изотопу, тем ближе к оружию. По сути, здесь хранятся расчлененные на части те самые СУПЕРБОМБЫ, к которым ты стремился. Вот и вся хитрость... В приказе Министра черным по белому...

Мысли мои путались, но сон не шел. Снова и снова наплывали стеллажи, ящики, черные щели между ними, крысиные морды, жалобная песня Сашка...

Мне вспомнился мой голубой аккордеончик — полторы октавы справа, двенадцать басовых кнопок слева, хромовые ремешки, игрушечка! Уберегла меня от воровской судьбы...

1945 год, лето. Мне — тринадцать. Во дворе нашего пятиэтажного дома большая лужайка, напротив — бывшее культпросветучилище, теперь в нем госпиталь, мама там старшей сестрой. В погожие дни на лужайке кипит жизнь. Раненые, кто может и не может, на костылях, в колясках, поддерживая друг друга, чуть ли не ползком, через дыры в заборе устремляются в наш двор. На ящиках, кирпичах, на досках, на газетах — широким кругом, уложив на костыли загипсованные ноги, подперев палками загипсованные руки в рамах, сидят на солнце тридцать-сорок молодых увечных мужиков со всех краев России и травят кто во что горазд. Тут не только байки, анекдоты, розыгрыш и хохот, но и обмен опытом — лечебным, житейским и, конечно, любовным. У каждого, кто выползает на лужайку, рано или поздно появляется подружка, зазноба, просто «баба», приходящая сюда за тем, чтобы хотя бы так, мимолетно усластить свою бобылью долю и горькую долю увечного парня, которого она выберет себе сама. Лужайка, двор наш вообще, но особенно — потайное местечко между госпитальным забором и стеной конюшни, где полно сена, соломы и досок на все варианты,— все было пропитано любовной страстью, чувственным зудом, раскалено и вздыблено с утра до поздней ночи. Несмотря на костыли, гипс, коляски, рамы жизнь требовала свое и получала его в трепетном и обнаженном от нетерпения виде — у всех на глазах, иной раз при содействии какого-нибудь «старичка», если пара при всем старании не могла управиться с гипсами, костылями и собственной страстью. Это никого не смущало, казалось естественным.

Лужайка была не только местом для любовных встреч, но и рынком, театром, цирком, балаганом. Тут шел товарообмен, показывались карточные фокусы, разыгрывались спектакли, каких не увидишь ни в одном театре. И в карты тут играли не на щелчки, не на фантики, а на вещи, баб, деньги и «особые услуги», например, проехать на проигравшем до палаты или до укромного местечка, а там стоять «на васаре», пока выигравший не сделает свое мужское дело. А по вечерам тут частенько выступала местная приблатненная самодеятельность — рыжий переросток из соседнего «особнячка» Жоржик, по кличке «Муля», с поросячьими бессовестными глазками, ловко бренча на расстроенной гитаре, с хрипотцой, с придыханием исполнял классическую «Мурку», «Гоп со Смыком», «За поцелуй в смородине» и прочий подобный репертуар.

Летом по вечерам я свободен — мама с утра до ночи в госпитале, отец — хотя и в тылу, но на военной службе, дед — кладовщик, на складе за городом, бабушка на огороде возле дедового склада, сестра с ней. Нет, я не оболтус, с утра у меня полно забот: во-первых, отоварить карточки, значит, отстоять в четырех очередях — за хлебом, за жирами (гидрожир и постное масло), за крупами, за повидлом или подушечками. Потом надо вывести со второго этажа во двор, попасти́ и вернуть в дом трех наших курочек с петушком, живущих под столом на кухне. Дело это весьма непростое — на живность есть большие охотники: и люди, и кошки, и собаки, и коршуны, с голодухи промышляющие в центре города. В-третьих, начистить и сварить картошки к возвращению деда, бабушки и сестры. Но прежде чем сварить, за ней надо сходить в овощехранилище, что зеленым бугром высится за домом, между конным двором и госпиталем. Там у нас своя клетка под замком, закрома для моркови, картошки, полки для капусты. Сейчас середина июля, осталась одна картошка, на дне закрома — она уже изрядно проросла и приходится перебирать ее при тусклом свете свечи, обдирать «усы». Это неприятно еще и потому, что в щелях дощатого потолка и в проходе появляются крысы — то ли из любопытства, то ли в надежде чем-нибудь поживиться. Они ведут себя смирно, лишь глазеют и тихо попискивают, но так они близко и так их много, что становится не по себе. Не дай бог погаснет свечка, вот-вот, кажется, набросятся и тогда... Еле дыша, в одной руке оплывший огарок, в другой — ведро с картошкой — пружинящим шагом вон из мрачного

погреба на солнечный свет. Каждый день испытание воли, закалка характера, а может быть, трепка нервов? Так или иначе, картошка всегда за мной и с картошкой я справляюсь.

Опасностей, кроме погреба, было полно. Раненые за хлеб с маслом, за кусочек сахара или дольку шоколада посылали нас на рынок воровать у теток махорку, семечки, орехи, лиственичную серу. Тех, кто постарше, подговаривали заманивать на лужайку женщин — тут тоже было не чисто, шла откровенная купля-продажа: женщины после укромного угла уносили хлеб, сахар, немецкие трофейные блузки, наборные перламатуровые авторучки, деньги...

Но главную опасность для нас, дворовых мальчишек, представлял продовольственный склад в подвале нашего дома. Это был какой-то странный склад, ведомственный, секретный. Охранялся он милиционерами, которые откровенно побаивались раненых и потому держались незаметно, у опечатанных с черного хода подъездов, где им были сколочены на скорую руку будки из досок и фанеры. Нам было доподлинно известно, что́ завозили в подвалы крытыми грузовиками — ящики с дичью, копчеными колбасами и окороками, какое-то дорогое вино с красочными этикетками, картонные коробки с плитками шоколада, печенье, американские галеты, папиросы «Северная Пальмира», «Казбек», «Дюбек», сигареты... Склад снабжал начальников, машины и конные подводы по несколько раз в день мотались через наш двор. Раненые давно заприметили это дело и потихоньку вели обработку великовозрастных парней, подговаривая их «ломануть» склад. А парни в нашем дворе были самая что ни на есть отчаянная городская шпана, безотцовщина, кормильцы и добытчики, с утра до ночи промышлявшие «насчет пожрать», не брезговавшие ни куском хлеба, ни морковкой, ни сухариком, готовые стащить белье, развешанное для просушки, банки за форточкой, кошелек из кармана. Мы, шпана помельче, были на побегушках, сопровождали великовозрастных в набегах на Центральный рынок, мельтешили в толпе, орали, свистели, путались под ногами, помогая парням обделывать делишки. Никаких особых планов не вынашивалось, просто в одну какую-нибудь темную ночь надо было отогнуть прутья решетки на подвальном окне, остальное — за самым гибким, вертким, смекалистым и бесстрашным. На эту роль единодушно предложили меня.

Мы не сомневались в правоте дела: не тыловым крысам, а славным защитникам Родины, пролившим за нее кровь и получившим страшные увечья, положено было иметь такой роскошный харч.

Ждали пасмурной погоды, дождя, но день за днем с утра выкатывалось солнышко и уплывало к вечеру за горизонт по ясному без единой тучки небу. Как раз в эти знойные дни на лужайке появился новичок — на костылях, левая штанина пуста, на голове, как чалма, белая повязка, правый глаз укрыт, над левым белокурый чуб, руки крепкие, сильные и рот до ушей, полумесяцем. На спине — ремешки через плечо — болтался аккордеончик, переливающийся тончайшими оттенками голубого перламутра с черными полосками мехов посередине. Парень, а звали его Виталиком, уселся на свободный ящик (раненые только-только выползали после ужина), стряхнул аккордеон, влез плечами в тесные лямки, растянул меха и — поехало: разухабисто, сбиваясь и перевирая мелодию, пропиликал, как на гармошке, деревенские страдания. Затем — с еще большими завираниями — «Синенький скромный платочек», за ним — «Эх, Андрюша!».

Меня поразил инструмент — аккордеонов такой красоты, такого изящества я никогда еще не видал. Стояли в городской комиссионке огромный красный «Хонер» и еще несколько — то ли итальянские, то ли румынские — ободранные, потрепанные, со щелястой клавиатурой, а этот — молочно-белые плавно скругленные клавиши основных тонов, искристо-черные ребрышки диезов и бемолей, ярко-синие меха в голубеньких цветочках — ну просто загляденье! Исполнение же вызывало у меня тошнотворное чувство. Особенно когда он заиграл якобы «Землянку» — эти знаменитые переборы: «Бьется в тесной печурке огонь...» — я не вытерпел, подскочил к нему, прокричал в самое ухо: «Не так! Не так! Врете вы!» Он сомкнул меха, вперился в меня удивленным глазом. «А ты можешь?» — спросил и охотно потянул с себя аккордеон. Я смутился, дома была гитара, на которой мы с сестрой изредка бренчали, а тут — но аккордеон как бы сам собой запрыгнул на меня и повис нелепо и пугающе. Надо было с ним что-то делать — одной рукой тянуть меха, другой нажимать на клавиши. Раненые, видя мою растерянную физиономию, засмеялись, засмеялся и Виталик. Они смеялись, а я стоял красный, потный, одеревеневший. Однако вдруг что-то во мне вскипело, толкнулось, пошло в раскрутку. Я лихо прикрякнул, двинул Виталика плечом — он чуть не загремел со своими костылями. Я уселся рядом с ним, пристроил на коленях аккордеон, уперся подбородком и... заиграл. Сначала неуверенно, тыкаясь и не в лад дергая меха, пальцы путались в клавишах, звуки вырывались то придушенные, то рявкающие, то визгливые. Но довольно скоро я освоился и с левой и с правой рукой: левая тянула туда-сюда, правая отыскивала мело-

дию — по одной нотке, рывками на ощупь. И вдруг — откуда, как, ничего не понял — чудо: открылась связь между слухом, рукой и клавишами, пальцы сами попадали в нужное место, и с третьего раза «Бьется в тесной печурке огонь» прозвучало чисто, в ритме медленного вальса. «На поленьях смола как слеза» сыгралось почти без запинки — пальцы шли дальше все проворнее, увереннее. Первый куплет дался так легко, что я попробовал подхрюкивать правой руке басами.

Раненые следили за моей игрой уже всерьез — понимали, что я впервые взял в руки инструмент. Сам Виталик одобрительно и гордо посверкивал глазом, словно я был его учеником.

Я забыл про время и про все, что окружало меня. Чувствовал только, как струился по спине пот, дрожали руки, да ныл подбородок, упираясь в какой-то выступ на верхней крышке аккордеона. Руки сами собой отыскивали те звуки, которые плелись в голове. А сам я исчез, вырубился — лишь мелодия в голове, две руки, коленки, подбородок и звуки, излучаемые этим волшебным, сказочным инструментом. Не знаю, сколько я возился с этой песней, но раненые потихоньку затянули «Землянку» под мой аккомпанемент, и я заиграл еще увереннее. После «Землянки» потребовали, чтобы я подобрал «Темную ночь». Я подобрал и «Темную ночь», правда, левая рука явно не справлялась, не те выскакивали басы, я морщился, с досадой дергал меха, но никто не замечал, все пели. Потом я почти сходу подобрал «Распрягайте, хлопцы, кони» — песню эту любил петь дед, когда был подвыпивши, а подвыпивши он бывал каждую субботу и воскресенье регулярно, поэтому мелодия и слова уже давно прочно сидели в моей голове. Потом — без труда — сложилась «Катюша», за ней — «Соловьи», «Рябинушка», «Славное море, священный Байкал». У Виталика был сильный, вернее, громкий голос, но никакого слуха, он орал громче всех, сбивая меня и других. В конце концов раненые начали ворчать, покрикивать на него, он обиделся, отобрал аккордеон и покостылял к дыре в заборе. Я кинулся за ним, поймал за хлястик халата.

— Дядя Виталий, погодите! — взмолился я, удерживая его у самой дыры.— У меня мама в госпитале, Нина Игнатьевна, старшей сестрой. Дайте домой поиграть, на один вечер. Ничего не сделаю, не испачкаю, не порву. Честное всех вождей! Дядя Виталий!

Он повис надо мной, сгорбившийся на костылях, плечи двумя холмами, голова в повязке, красный затекший глаз смотрит из-под чуба то на меня, то на лужайку, теплеет.

— На! Держи! До завтрашнего вечера. Но смотри!

Я бережно, двумя руками принял бесценный инструмент, прижал к груди. Виталий неловко пролез через дыру, поковылял на коротких, не по росту костылях. Я тут же убежал домой.

В тот вечер мне чуть не влетело от деда — картошка не чищена, куры с петухом не кормлены, пол не метен. Если бы не бабушка-заступница, погулял бы по моей спине тяжелый дедов ремень. Спас опять же аккордеон: деда изумил не сам аккордеон, а то, что ранбольной (так их называла мама) доверил его мне, сопляку. Заступничества бабушки не потребовалось — поворчав, дед ушел в свою комнату, завалился на кровать в ожидании ужина. А я, счастливый, что избежал порки и оставлен наедине с аккордеоном, спрятался в дальнюю, отцовскую комнату и до позднего вечера, пока не пришла мама, тихо пилил, подбирал мелодии, какие приходили в голову.

Мама уже знала про случай на лужайке. «Смотри-ка, может, талант растет,— сказала, ласково обнимая меня и прижимая к себе, к белому халату, пахнущему лекарствами и человеческими страданиями.— Играй, сыночек, играй...»

В тот вечер испортилась погода, поднялся ветер, пошел дождь. Я играл дома на аккордеоне, а рыжий Муля и Вовка Вишневский, вместо меня, проникли через подвальное окно в склад, но были пойманы возле ящика с шоколадом. Муле дали восемь лет, он вернулся только в пятьдесят шестом — кожа да кости, пошел учиться в седьмой класс вечерней школы, но через год его убили, зарезали прямо возле нашего дома, на лужайке. Вовка Вишневский прошел через колонию, стал вором в законе, дважды через годы мелькал в нашем дворе, потом след его затерялся, никто не знает, где он и что с ним...

Аккордеон мне удалось выклянчить. Мама втайне от домашних продала набор серебряных довоенных ножей и вилок, заняла немного и, кажется, за тысячу тех, послевоенных рублей купила у Виталия инструмент...

...А шестнадцатого июля, в пять часов по местному времени в пятидесяти километрах от авиабазы США Аламогордо в пустынном штате Нью-Максико расцвел зловещими переливами первый на планете Земля ядерный гриб. Мне было тринадцать лет и с утра до ночи я играл на трофейном немецком аккордеоне — полторы октавы справа и двенадцать басовых кнопок слева...

9

Утром, после завтрака я при лейтенанте сказал Сашку, что оба идем в Хранилище, чтоб, как и в прошлые разы, захватил с собой еду и чай. Сашок кивнул, лейтенант промолчал. Открыв дверь Хранилища, лейтенант вошел вслед за нами, подождал, пока я включу освещение, потом хмуро сказал, повернувшись к Сашку:

— А теперь шагом арш убирать снег.

Я взял Сашка за руку и повел за собой по левому проезду.

— Рядовой Слижиков! — заорал лейтенант.

Я кинулся бегом, не выпуская руку Сашка. Он сопротивлялся, пытался вырваться, но я держал крепко. Правда была на моей стороне, Сашок это чувствовал и, наверное, потому дал себя увести. Грохнула дверь, заскрежетал металл. Видно, в сердцах лейтенант забыл про резину, которой придерживал дверь.

В тот день мы прошли восемнадцать рядов. Раскладка ящиков оказалась не в нашу пользу. Но и при такой раскладке наверняка смогли бы больше, если б не наше с Сашком состояние. Он отчаянно боялся крыс и каждый раз, когда надо было лезть на стеллаж, сначала шуровал по щелям палкой, которую прихватил из казармы. А после обеда совсем скис я: от боли раскалывалась голова, набухли гланды, трудно стало глотать — по всем признакам начиналась ангина. И как назло остановились часы. У Сашка часов вообще никогда не было, в деревне жили по солнышку, в армии за временем следит начальство — даже если захочешь опоздать, не дадут. По моим разумениям прошло не менее двух часов с той минуты, как остановились часы — пора было закругляться. Мы закончили еще один стеллаж, последний в ряду, и потопали к выходу.

Когда я вернулся в жилой отсек, лейтенант уже лежал под одеялом, закинув тонкие жилистые руки за голову. Ярко горела лампочка. Радио орало невыносимо. Я убрал громкость, выключил свет, разделся, залез под одеяло. Освещенный боковым светом фонаря над зоной, на меня пристально, с подозрением глядел со стены генералиссимус.

— Не вернешь Слижикова, подниму шум,— сказал я.

— Ты вообще-то имей в виду,— лениво цедя слова, сказал лейтенант,— я ведь могу тебя арестовать... В любой момент...

— Арестовать? Меня?

— Ага. Тебя.

— За что?

— Есть за что...

— А именно?

— Нарушаешь установленный порядок — раз. Подстрекаешь личный состав к неповиновению — два. С вредительскими целями проводишь вербовку среди личного состава — три. Вызываешь подозрение своими действиями и умонастроениями — четыре. По каждому пункту — хоть сейчас под арест. Имей в виду, я три года работал следователем...

Я приподнялся на локте, заглянул ему в лицо — оно казалось в сумерках бугристым, словно все покрылось волдырями: нос — волдырь, глаза — волдыри, рот — черная полоска между волдырями...

— Тогда все ясно, законы у тебя тут еще те! — сказал я.

Лейтенант зашипел, как кот, которому наступили на хвост. Резким рывком отбросив одеяло, он вскочил, прошлепал босиком в кабинет, включил там свет. Появился с книжкой, раскрыл на закладке. Глаза его шныряли по странице, лицо дергалось. Книга прыгала в руках, но мне удалось прочесть на корешке: «Вышинский».

— Вот. Слушай, законник. «Надо помнить указание товарища Сталина о том, что бывают такие моменты в жизни общества и в жизни нашей в частности, когда законы оказываются устаревшими и их надо отложить в сторону».

Захлопнув книгу, он отнес ее в шкаф, выключил свет, вернулся, лег.

— Ты забыл указать год этого гениального высказывания,— сказал я.

— А зачем? — приподнялся он.— Сталинская формула — на века!

— Да, пособие капитальное — для таких, как ты,— сказал я.

Он зевнул, отвернулся к стене. Вскоре дыхание его успокоилось, он стал похрапывать.

Наша взаимная неприязнь нарастала и мы не скрывали этого. Пренебрежение и спесь, которые явно демонстрировал лейтенант, сильно задевали меня. Сам себе я казался если и не ангелом с крылышками, то очень близким к нему существом, не пил, почти не курил, не лгал ни ближним, ни дальним, вообще в жизни своей никого, как мне казалось, не обидел, не оскорбил, пальцем не тронул. Мне и в характеристику записали: характер вспыльчивый, но отходчивый, не злой, пользуется уважением товарищей. Короче, герой нашего времени, лучший представитель самого гуманного в мире общества, воплощение светлых чаяний человечества...

В характеристику не записали, а сам я лишь смутно ощущал до этой вот самой минуты, что обладаю еще одним качеством, определить которое я бы не взялся. Что это было? Упрямство? Чувство собственного достоинства? Зловредность? Жажда справедливости?

Что порой толкает нас на те или иные поступки, которые другим кажутся безрассудными? Идея, пришедшая на ум, родилась в душе, проявила суть моей натуры...

Лейтенант спал крепко. Я встал, оделся. Тихо, стараясь не скрипнуть, вышел в коридор, прикрыл дверь. Быстро перешел на солдатскую половину, растолкал спящего Сашка, выманил в прихожую. Мне нужен был тракторист, надежный парень — Сашок тотчас понял, что к чему. Страх мелькнул в его глазах, но я объяснил, как все будет, и Сашок с готовностью юркнул мимо спящего дежурного будить Петра Копаницу, тракториста, надежного парня...

Втроем мы подошли к сараю. Ключ от замка сняли с доски у дежурного. Копаница, со сна решивший, что выполняет приказ лейтенанта, теперь вдруг задумался: что-то тут не совсем так. Я тихо закипал, видя его робость, а он, верзила под метр девяносто, действительно, с грузным, как у базарной бабы задом, по-детски упрямился и никак не хотел входить в сарай. Пришлось поговорить начистоту: он заводит бульдозер, показывает, как управлять, все остальное — без него, он тут же возвращается в казарму и — ничего не видел, ничего не слышал, спал. Кое-как вдвоем с Сашком мы уговорили его.

Солярки в баке было достаточно, аккумулятор в порядке, двигатель завелся легко, от стартера. Копаница показал, где какие рычаги и педали, научил плавно поднимать и опускать нож, и я самостоятельно рывками выполз из сарая. Копаница опасливой трусцой побежал в казарму. Сашок хотел остаться со мной, но я заставил его уйти — рисковать я имел право только собой.

Странно, удивительно, но бульдозер тоже был заодно со мной, подлаживался под мои желания — так легок и послушен был в управлении. Я выехал на прямую — почти три километра! — и погнал вдоль Хранилища на полной скорости. Густой снег, несущийся навстречу, в один миг залепил переднее стекло. Я не знал, как включается «дворник», откинул дверцу и высунулся из кабины. Мокрая масса хлынула в лицо. Приходилось одной рукой управлять, а другой защищать от снега глаза.

Эта гонка на бульдозере глухой ночью по особой зоне вдоль Хранилища, сквозь роящиеся хлопья снега, а главное, как я считал, во имя торжества справедливости на этом оцепленном колючей проволокой кусочке земли, вызвала во мне такой подъем, что от полноты чувств я замычал, замурлыкал и наконец запел во все горло:

А ну-ка песню нам пропой, веселый ветер!
Веселый ветер! Веселый ветер!
Моря и горы ты обшарил все на свете...

И там, дальше, мне нравились слова припева:

Про мускулы стальные,
Про смелых и больших людей!

Именно таким я и ощущал себя сейчас — смелым и большим! Я понимал, что поднимаю бунт против лейтенанта, что он этого мне не простит, возможно, кара будет жестокой, ведь он тоже вырос на словах припева: «Про мускулы стальные, про смелых и больших людей...» Но песня, звучавшая во мне, все же, как мне казалось, хотя и с теми же самыми словами, в принципе была другой! Она несла не закабаление стальными мускулами, а освобождение — ведь для борьбы за свободу тоже нужны стальные мускулы...

Это был ночной полет! Бой, сражение, битва! Бульдозер слушался меня и я был счастлив.

Кто привык до победы бороться,
С нами вместе пускай запоет!

До подъема я успел расчистить обе длинные дороги вдоль Хранилища, площадь перед ним и главную дорогу от проходной. Когда я проезжал мимо казармы, направляясь в сарай, лейтенант в одних плавках обтирался снегом. Он явно торопился, движения его были резкими, судорожными. На меня он не обратил внимания или мне так показалось из-за густо падающего снега.

Я загнал бульдозер на место. Едва успел сбить веником снег с крыши и крыльев, как в дверях появился лейтенант — уже в форме, скулы сведены, в глазах тусклый блеск, как у голодного зверя.

— Кто позволил использовать технику в особой зоне? Кто помог?

Я показал ключи:

— От сарая снял с доски, а этот — торчал здесь, в замке зажигания.

— Врешь!

— Ты давай полегче на поворотах.

Мне показалось, что вот-вот он меня ударит, и я инстинктивно отступил к стене.

— Ты за это ответишь! — прошипел он, все поправляя, поправляя, поправляя кобуру трясущимися пальцами.— И назовешь всех! Всех!

Смотреть на него было неприятно и страшно, я отвернулся и снова занялся очисткой бульдозера. Выругавшись, лейтенант ушел. Меня разобрал смех — отчего, сам не пойму.

Вернувшись в казарму, я неторопливо разделся, вытер замасленные руки об полотенце — умываться сил уже не было. Залез в кровать и уснул с чувством выполненного долга.

10

6 и 9 августа — Хиросима и Нагасаки — восприняты были на лужайке однозначно:

— Братцы, слыхали? Американцы япошек припекли...

— Ага. Говорят, какую-то газовую бомбу сбросили, пожгли, как тараканов.. Так им и надо, пускай не залупаются!

— Умник! А дитев-то сколько погибло! Дитев-то за что?

— М-да, это он прав, детей надо бы пощадить...

— А наших щадили? Щадили?! Больно добренькие!

— Так то фашисты...

— А эти? Не фашисты? Та же самая сволочь!

— И чего не сдаются? Гитлеру уже третий месяц капут, а эти все кусаются..

— Вот и докусались. Два города как не бывало!

— Правильно шарахнули! Как с нами, так и с ними. Война!

— Нам бы такую газовую...

— Наверняка есть.

— А че же медлим? Еще пару гвоздануть и — банзай-харакири!

— Значит, не время...

Учитель физики Иван Устинович объяснил на первом же уроке, что бомбы, сброшенные на Хиросиму и Нагасаки, никакие не газовые, а атомные· одна из урана, другая из плутония. Причем, урана и плутония было истрачено всего по несколько килограммов — клади в портфель и неси! Чудеса! Значит, в войну включились физики...

В ту осень мы с Витькой Потаповым записались в физический кружок. За нами хвостом потянулись и другие — почти весь класс. Хотелось узнать, каким это образом такие крошечные частички, невидимые даже в самые сильные микроскопы, могут производить такие жуткие разрушения. Война, которую мы пережили, отбила у нас страсть к военным играм, но бомба, которая в один миг испепеляет целый город, будоражила наше воображение, казалась чем-то вроде фантастического гиперболоида. Мы еще не понимали, в какую игру нас затягивало Время...

Иван Устинович был в затруднении — кабинетик тесный, приборов мало, а те, что есть, не действовали, столов не хватало, проводка сгорела. Однако мало-помалу дружными усилиями проводку починили, столов натаскали, приборы раздобыли. Первые опыты — вольтова дуга и вращение рамки с током в магнитном поле — не вызвали особого восторга. Часть «физиков» отсеялась. Зато свечение трубок, заполненных инертными газами — аргоном, неоном, криптоном — было действительно чудом! К стеклянной трубке, в которой ничего нет, кроме «следов» какого-то странного газа, подносишь два проводничка под высоким напряжением, и трубка вспыхивает сине-голубым, оранжево-красным, ярко-белым светом. И свет этот, как живой — трепыхается, ходит волнами, дробится на полоски, пульсирует. А еще красивее — разложение белого света на спектр, радуга, которую можно получать в любой момент. когда захочешь, и любоваться ею, сколько хочешь.

Физика захватывала меня красотой и чудом, обманчивой простотой получения чуда: казалось, стоит лишь чуть-чуть пошевелить мозгами, и вот оно — небывалое, неслыханное, невиданное. Отложены «Отцы и дети» Тургенева и «Казаки» Толстого, взяты в библиотеке «Занимательная физика» Перельмана, книги о звездах, о свете, об атомах и частицах. Судьба моя стала закладываться — кирпичик за кирпичиком — открытиями давних и не очень давних лет, далекими и неведомыми мне людьми, их азартным поиском истины, напряжением ума и души...

Пока я рос, за двенадцать лет было сделано все: получена тяжелая вода, открыты изотопы урана и плутония, найдены замедлители нейтронов — графит и бериллий, соединены три ядра водорода в ядро трития, пущен первый ядерный реактор, создана первая ядерная бомба... И все это без нас, без меня! Обидно, досадно, но впереди, как говорил Иван Устинович, самое интересное, самое главное — использование атомной энергии на жизненные нужды человечества. «Посмотрите,— говорил он,— как мы

живем. Ютимся в бараках, в тесных сырых коммуналках. С утра до ночи работаем, не имея ни нормальной пищи, ни приличной одежды, ни свободного времени для саморазвития. Как первобытные люди, питаемся лишь плодами земли — картошкой, морковью, свеклой, капустой. А многие до сих пор едят мякину и крапиву. В деревнях дети пухнут с голоду...»

Разумное, доброе, вечное... Да, мы были «за», готовы были служить многострадальному человечеству, но ведь нам еще не было и пятнадцати, мы мечтали о таинственных лабораториях и сверхсекретных заводах (говорят, есть и подземные!), о рискованных экспериментах и об отчаянных ситуациях, в которых оказываются инженеры-физики, об открытиях и изобретениях — ну если не гиперболоида, то чего-нибудь в таком же духе...

Разумное, доброе, вечное — для подростков ли, переживших голод, холод, унижение в очередях за куском хлеба и гидрожиром? Да и вообще, для подростков ли разумное, доброе, вечное?..

Витька Потапов, объявленный кадрами неполноценным из-за репрессированного деда, все-таки сумел побороть обиду. Год он отработал слесарем на «Сибэлектромоторе», после смены посещал лекции на вечернем отделении МФТУ. Потом перешел на дневное, уехал в Москву. Встретились мы с ним в НИИ на Урале, он разрабатывал пусковой механизм, в подчинении у него было пять майоров и две дюжины солдат. Через год он погиб на испытаниях — ни орденов, ни памятника, ни газетного некролога...

11

Спать мне пришлось недолго — меня разбудил Сашок: пора! Я умылся, позавтракал, и мы с Сашком, нагрузившись, как обычно термосами с провизией, двинулись в Хранилище. Шел снег, было тепло. И подозрительно тихо. Оказывается, как сказал Сашок, лейтенант с утренним бронетранспортером уехал в гарнизон — зачем, никто не знает. Впрочем, у него ведь там жена, телефонистка на почте. Личный состав под присмотром сержанта изучал оружие.

К вечеру мы добрались до середины Хранилища. Конец его был все так же еле видим в сумеречном свете дежурного освещения — казалось, что Хранилище вытягивается по мере нашего продвижения вперед.

День выдался трудный, какой-то муторный, сказывались и потепление и бессонная моя ночь — я первый выкинул белый флаг. Собрав котомки, мы направились к выходу.

Дверь, к нашему удивлению, оказалась закрытой. Мы присели на доски у электрического шкафа. Сашок боязливо поглядывал по сторонам, всматривался в темные углы. Я сидел, откинув к холодной стене пылающую голову. Пульс то ускорялся до пулеметных очередей, то замедлялся до ленивого пугающего своей неспешностью буханья.

Прошел час. То Сашок, то я, по очереди подходили к воротам, и, послушав, не идет ли кто снаружи, принимались колотить руками и ногами. Глухой грохот откатывался вглубь Хранилища и гас там, поглощенный бесконечными углами и поворотами. По моим часам шел уже второй час ночи, а лейтенанта все не было. От ворот сильно несло холодом. Я стал уговаривать Сашка пойти в центральную зону, там потеплее, может быть, удастся подремать. Сашок отказывался.

— Смотри как несет,— сказал я.— Замерзнем.

— Не,— упрямо твердил Сашок.— Не пойду.

— Чего уперся, чудак. Я простыл и ты хочешь?

— Не. Идите, а я здесь.

Одному? Туда? Я посмотрел в сумрачную даль и мне стало не по себе.

— Тогда давай-ка сообразим ночлег,— сказал я, подымаясь.

Вдвоем, разобрав брусья и доски, мы соорудили нечто вроде настила, часть досок положили вдоль стены — все же не голый бетон.

Опустив наушники шапки, подняв воротник, я улегся на низкий этот топчан. Сашок лег рядом, спиной к спине. Едва я закрыл глаза, как тотчас пошел раскручиваться один и тот же гнетущий фильм: стеллажи, ящики, рулетка, щели, следы на пыльном полу, крысы... И вот уже стеллажи до самого неба, ящики свисают острыми углами, бесконечно разматывается рулетка, конец ее теряется где-то в страшной глубине — там, где земля, где люди, а тут все качается, ящики скользят, дергаются туда-сюда, сталкиваются, раскалываются, из них лезут крысы. И так делается страшно, вот-вот произойдет что-то непоправимое, ужасное...

— О! — дернулся вдруг Сашок.— Глянь!

Я привстал, повернулся. В углу, куда показывал Сашок, и вправду что-то шевелилось, какая-то шла там возня.

— Да плюнь ты, спи,— сказал я.

— О! — воскликнул Сашок,— Глянь, глянь!

Из угла, почти от самых ворот заскользила по полу вдоль стены прерывистая полоса — словно связанные друг с другом серые сардельки. Они текли вглубь Хранилища, огибая бетонные башмаки колонн, тыкаясь из стороны в сторону тупым своим концом и устремляясь все дальше и дальше. Сашок приник ко мне, подтянул ноги. Они текли четверть часа, а может быть, час — оцепенев, я следил за шествием, не в силах думать ни о чем, кроме них. Да, это были крысы.

Мы так и не смогли уснуть. Сашок вздрагивал при малейшем шорохе, всю ночь просидел как в дозоре, не спуская глаз с черного угла.

Задолго до рассвета мы услышали размеренные звуки — скрежет лопат и шарканье метел. Звуки приближались по главной дороге, значит, солдаты двигались в сторону Хранилища. Сашок поднял на меня умоляющий взгляд.

— Не могу больше,— просипел он.— За ради бога прошу, отпустите снег чистить. Не могу я тут...

— Немного осталось,— сказал я.— Потерпи, Сашок. Опять лейтенанту в ножки кланяться...

Сашок понуро покачал головой.

— Ради бога, прошу...

Голос его подсел, он отвернулся, спрятав заблестевшие глаза.

— Ну, ладно,— согласился я.— Жалко, так хорошо сработались, но что поделаешь, придется просить замену.

Солдаты дошли почти до ворот, когда у входа заскрипел снег, загремел замок. Дверь распахнулась, вошел сержант — шапка набекрень, рыжие вихры упругой волной над левым глазом. Скинул с плеча бачок, грохнул пустым ведром.

— Эй! Слижиков!

Слижиков вскочил, легкой припрыжкой кинулся к сержанту.

— Передай инженеру, ты и он, оба арестованы,— донеслось до меня.

— Эй! — закричал я.— Сержант!

Но сержант уже вышел и закрыл дверь. Слижиков рванулся за ним, заколотил кулаками по стальному полотну двери.

— Сержант! Сержант! Послушай! Товарищ сержант!

Я подбежал к двери.

— Эй, сержант! Какого черта! Открой! — кричал я, с яростью колотя ногами и руками.

Шорканье метел, скрипы шагов снаружи затихли — солдаты ушли. Ни один не подошел к двери! Ни один! В сердцах я пнул по ведру — оно с лязгом, с грохотом отлетело, покатилось дерганными полудугами. Слижиков опустился у двери, закрыл лицо руками, разрыдался. Я присел на корточки.

— Сашок...

Он отбросил мою руку.

— Из-за вас все!

— Успокойся, Сашок. Вот выйдем, поверь, он за это получит!

— Ага, выйдем...— плаксиво тянул Сашок, размазывая слезы и грязь по лицу.— Крысы сожрут...

— Глупости! Мы же не младенцы.

— Ага, вон их сколько! Как разом набросятся, не отбиться.

— Сирену включим, водой отгоним. Смотри, вдоль стены шланги — один пожарный. Как шуганем, только их и видели! Не бойся, Сашок!

Я подтянул поближе бачок. В отсеках была каша, чай и хлеб.

— О! Живем! Сашок! Пошли, порубаем. Жить-то все равно придется!

Сашок с кряхтением поднялся, пошел следом за мной к нашему логову. Мы подкрепились, меня потянуло в сон.

— А теперь — спать,— пробормотал я, чувствуя, что засыпаю на ходу.

— Спи, а я посижу,— решил Сашок.

— Да плюнь ты! Не тронут, у них тут свои дела, не до нас.

Сашок упрямо помотал головой. Я растянулся на досках, блаженно закрыл глаза. И хотя болела голова, саднило горло, ныли руки и ноги, я заснул вроде бы мгновенно.

Проснулся я от острого, небывалого чувства страха. Все тело сковано, волосы под шапкой дыбом, глаза вытаращены, дыхание прерывается. Кто-то тихонько поталкивал меня в бок. Я отпрянул, судорожным взмахом отшвырнул от себя что-то серое, мягкое, хищно пискнувшее. И в тот же миг пружиной поднялся на ноги — вся площадка передо мной шевелилась, дышала, кишмя кишела крысами. Похоже, они всё прибывали и прибывали откуда-то из темных глубин Хранилища. Котомка с бачком, стоявшая возле настила, походила на живой холмик — на ней тоже копошились, плотно прижатые друг к другу, крысы. И тут до моего слуха долетели какие-то жалобные всхлипы. Я поднял глаза. Сашок размахивал палкой с вершины первого ряда стеллажей — сказать он ничего не мог, только повизгивал, поскуливал, как перепуганный ребенок.

Я осмотрелся. Портфель, прибор, журнал — все куда-то исчезло. Но чем бы ото-

гнать крыс? Ведро тускло блестело возле входа — оно подергивалось, покатывалось туда-сюда, как живое, крысы внутри и снаружи непрерывно двигались, пытались взобраться на него, скатывались, лезли снова.

Пестрый ковер этот из морд, спин, лап, хвостов, ушей, усов колыхался перед мною и всеми бусинками глаз был нацелен на меня. Странно, но при всей кажущейся давке, скученности ни одна из тварей не пыталась взобраться на дощатый настил — мою территорию. Как будто те, кто осмелился на это, когда я спал, влезли с одной-единственной целью — разбудить меня. Теперь же словно ждали от меня чего-то или... пытались внушить мне какую-то мысль... Но какую?!

Шаг, другой назад, и я уперся спиной в стену. Вся крысиная масса колыхнулась на меня, первые ряды влезли на настил и, соблюдая строго известную им дистанцию, замерли, вскинув морды. Что они ждали? Чего медлили?

И вдруг погас свет. В полной тишине постепенно возникло на стене напротив меня слабое фиолетовое свечение.

— Э! — испуганно вскрикнул Сашок.

Я не спускал глаз со светящегося пятна, оно разгоралось все ярче и ярче, да и глаза привыкали к темноте.

— Э! — снова вскрикнул Сашок.

Такое же пятно возникло в глубине Хранилища левее на стене, примерно там, где находилась следующая колонна.

Тишина и чернота пространства, слитые в нечто единое, стали распадаться, разваливаться: светящиеся пятна на стене вызвали свечение и снизу — серебристое, дрожащее, нежное, едва различимое, готовое вот-вот исчезнуть при легчайшем движении воздуха. «Неужели свечение от крыс?!» — едва успел подумать я, как странное вкрадчивое потрескивание, пощелкивание со скрипами донеслось сверху, от кровли. Звук этот стал медленно перемещаться в глубину Хранилища и вскоре легкое дуновение, сопровождаемое низким тягучим вздохом, вернулось из дальнего конца. Мрак стал прозрачным. Расплывчатыми тенями обозначались глыбы стеллажей, а округлые, как туннели проходы затеплились нежно-нежно фиолетовым туманцем. Снова тягучий вздох выкатился из глубины, как будто что-то черное, бесформенное проплыло над стеллажами, мягко ударилось в торцевую стену, в ворота и упруго, вслед за звуком улетело обратно. И тогда внятно зазвучал Голос Хранилища — жалобное ауканье, зов о помощи.

— Сашок! — тихо позвал я.

Никто не откликнулся. Как бы пригодился сейчас фонарик! Но где он? Я осторожно сполз спиной по стене, присел на корточки, стал шарить вокруг себя. Серебристое свечение вдруг усилилось, пошло волнами. Я отпрянул от края настила. Крысы тыкались в ноги, пищали, хрипели, вскрикивали, подминаемые идущими поверх. Возня, прерывистое дыхание, злобная грызня, хруст, упорное целеустремленное шевеление — крысы явно рванулись на штурм. Я нащупал за собой широкую доску и тут же вспомнил о дежурном освещении: ведь кнопка пускателя где-то рядом, в нескольких шагах. Самые храбрые уже карабкались по валенкам, достигли колен. Они лезли по мне, напор все усиливался, я едва успевал стряхивать их — времени, я чувствовал, оставалось в обрез. Изловчившись, я бросил доску вдоль стены к тому месту, где, по моим предположениям, находился шкаф. Отчаянный писк, вопли придавленных, ушибленных. Я ступил на доску — она шаталась — побрел, одной рукой держась за стенку, а другой сбрасывая ползущих по мне крыс. Наконец, рука моя наткнулась на холодную сталь шкафа. Нащупав кнопку, я нажал на нее — вспыхнул свет, слабый, дежурный, но и это было как солнце.

Серая масса разом, как по команде, осела, конус вокруг меня растекся, верхние слои провалились, ковер пополз углами к стенам — боковой и противоположной. Доска подо мной выровнялась — я перебежал на настил.

Крысы уходили в двух направлениях: серые сардельки скользили вглубь Хранилища, а кишащий угол утекал в нору.

Когда пол передо мной очистился, я увидел то, что осталось от портфеля, от моего новенького великолепного кожаного портфеля! Замок, застежки да несколько заклепок. Журнал был весь изгрызан. Прибор, гайка, рулетка и фонарик валялись тут же.

Я схватил фонарик, прибор и в несколько прыжков оказался у первого стеллажа. Сашок лежал на спине, закатившиеся глаза блестели белками. Я кое-как привел его в чувство. Он никак не мог побороть страх и все не решался спуститься на пол. Надо было как-то выбираться отсюда, но как?!

Мне показалось не случайным то, что отключение света произошло в самый критический момент. Не знаю, почему, но я был убежден, что и нашествие крыс, и отключение света каким-то непостижимым образом связано с лейтенантом. Ну кому еще, кроме него, надо было мстить нам?! Теперь я, кажется, вполне мог оценить его возможности по этой части...

До первых звуков пробуждающейся «точки» мы просидели с Сашком на досках,

тесно прижавшись друг к другу и настороженно следя за черными углами площадки. Все, что было съедобного, сожрали крысы — бачок вычищен до блеска, рюкзак в дырах, ремешков как не бывало, не говоря уж о хлебе. Немного сохранилось чаю, но Сашок брезгливо отказался, я тоже не рискнул пить из термоса, по которому прошли полчища крыс. Да и вонь после них стояла такая, что обоих нас мутило.

Шаги марширующих солдат подняли нас на ноги. Мы бросились к двери, заколотили руками и ногами. Мы рвались к миру человеческому от нечеловеческого, жаждали помощи, тепла, но снаружи не торопились открывать. Слышно было, как по команде лейтенанта взвод начал отрабатывать парадный шаг.

— Р-ряз!.. Р-ряз!.. Р-ряз!.. Кру-у-гом арш!

Шаги удалялись, потом приближались, взвод разворачивался, шел обратно, потом снова к нам и: «Р-ряз!.. Р-ряз!.. Р-яз!»

Мы устали, вернулись на настил. Но едва сели, как распахнулась дверь, вошел лейтенант — в сапогах, длиннополой шинели и фуражке. Встал у порога, широко расставив ноги и закинув руки за спину.

Держась друг за друга, как два партизана, мы пошли с Сашком на выход, остановились перед лейтенантом. Он отвернулся на полоборота, чтобы не видеть меня. Нос, губы, подбородок вытянуты вперед, как у крысы, рот плотно сжат, в глазах усмешечка, дескать, ну-ка, теперь дошло, кто есть кто. Сашок резко шагнул вперед, вытянулся перед лейтенантом.

— Товарищ лейтенант, разрешите обратиться? — в голосе дрожь, вот-вот сорвется на слезы.

Лейтенант снисходительно кивнул:

— Слушаю.

— Дозвольте пойти на расчистку снега, товарищ лейтенант!

— Чего? — весело удивился лейтенант.

— Крыс боюсь, товарищ лейтенант. Крыс тут полно, а я сызмальства видеть их не могу.

Голубые глаза Сашка подернулись рябью, замерцали, тонко вздрагивая, как лужицы под ветром.

Лейтенант кинул на меня уничтожающий взгляд и снова Слижикову:

— Крыс боишься?

— Так точно, товарищ лейтенант! Смертельно!

— А когда отказывался выполнять приказ командира — не боялся?

— Извиняюсь, товарищ лейтенант, больше не буду. Клянусь, товарищ лейтенант!

Лейтенант повернулся ко мне:

— Что скажешь, инженер?

— Крыс действительно много,— сказал я.— Сашок с детства напуган. Поэтому прошу, замените кем-нибудь, пусть парень снегом займется.

— Снегом, говоришь? — тонкий рот лейтенанта искривила презрительная усмешка.— Потакать слабостям? Рядовой Слижиков, ты же солдат! А солдат должен воспитывать в себе волю, храбрость, непримиримость к врагам отечества. Какой же ты солдат, Слижиков, если боишься крыс! Нет, не солдат ты, Слижиков — тряпка! У тебя впереди два года службы и, даю тебе слово офицера, сделаю из тебя настоящего солдата! А теперь слушай мою команду.

Слижиков вытянулся, глаза затрепетали — вот-вот выплеснутся. Лейтенант смерил взглядом стоявшего навытяжку Сашка, отчеканил:

— В строй! Ша-а-гом арш!

Сашок шагнул в проем, запнулся, упал, в панике на четвереньках выскочил из Хранилища, выпрямился, побежал в строй. Пропустив меня, вышел и лейтенант.

Взвод стоял на плацу, в одну шеренгу. Сашок не сразу нашел свое место, тыкнулся раз, другой, наконец двое парней под общий смех поймали его за руки и поставили между собой. Должно быть, он плохо соображал, что с ним происходит.

Лейтенант прошелся вдоль шеренги, всматриваясь в солдат — те вытягивались, как перед генералом, тянули подбородки. Перед Сашком он лишь молча неодобрительно покачал головой, дескать, ну и ну! Встав перед шеренгой, чуть подальше, чтобы охватывать глазом оба края, он громко, во весь голос скомандовал:

— Взвод! Смирно! Слушай мою команду! Кто боится крыс — шаг вперед!

Пять-шесть человек вышли из строя.

— Слижиков! А ты? Крыс боишься?

Сашка подтолкнули соседи и он хрипло ответил:

— Так точно, товарищ лейтенант!

— А почему стоишь? Шаг вперед!

Сашок шагнул, закачался, чуть не упал. Солдаты снова засмеялись.

— А-ат-ставить смех! Слушай мою команду! Сми-и-р-на! — Лейтенант прошелся вправо-влево, полюбовался, как солдаты держат стойку, скомандовал: — Вольно!

Он снял перчатки, похлопал ими по ляжке, откашлялся, пригладил усы.

— По решению командования гарнизона сегодня в ночь, то есть с ноля, устанавливается новый пост. Внутри Хранилища. Сменность — каждые два часа. С боевым оружием, но без патронов. Разводку осуществляет сержант Махоткин. Первым на пост заступает рядовой Слижиков. Вопросы есть?

— Нет! — откликнулось несколько голосов.

— Разъясняю. Которые боятся крыс, пойдут в первую очередь. Потом — по круговой. Ясно?

— Ясно!

— Рядовой Слижиков! Повтори приказ!

Сашок замотал головой, приложив руки к груди, двинулся к лейтенанту, вдруг повалился на колени.

— Товарищ лейтенант! То-ва-а-рищ лейте-на-ант! — просипел он, умоляюще протягивая руки.— По-щаа-дите! То-ва-а-рищ...— Голос его совсем пропал, Слижиков ткнулся лицом в снег, согнулся дугой, плечи затряслись.

Солдаты гоготали. Лейтенант не смог сдержать самодовольной усмешки.

— Сержант Махоткин! Навести пор-рядок!

Махоткин подтолкнул соседнего Копаницу, и они вдвоем, подхватили Сашка под руки, отвели в строй, поставили на место. Рысцой вернулись в голову шеренги.

— Взвод! Слушай мою команду! Смирно! На-а-пра-а-у! В казарму... Ша-а-а-гом арш! За-а-а-пе-вай!

Вытянувшись цепочкой, взвод зашагал по искрящейся под солнцем площадке, очищенной от снега и аккуратно подметенной метлами. «Белая гвардия, черный барон снова готовят нам царский трон»,— вывел голосистый запевала. Лейтенант шел сбоку, помахивая перчатками в такт песни.

Было тепло как весной. На небе ни облачка. В воздухе стоял терпкий хвойный запах. Не верилось, что это в Сибири, в конце декабря...

Но от Москвы до британских морей
Красная армия всех сильней!

12

Я умылся под рукомойником в пищеблоке. Есть не хотелось — только спать. Едва я разобрал постель, как в комнату вошел лейтенант и, тыча пальцем, со злостью сказал:

— Это за бульдозер. А за солдата еще получишь.

— Послушай, лейтенант, прошу по-человечески, не посылай Слижикова в Хранилище. Там действительно страшно.

— Знаю!

— Ты не знаешь всего...

— Все знаю. Это ты еще не все знаешь, вот запечатаю на трое суток — тогда узнаешь!

— Не пугай! Смотри, как бы самому не запечататься — по уголовной части! Тогда спросят, для чего выдумал этот идиотский пост внутри Хранилища...

— Слушай, ты! Вошь интеллигентская! Чего ты все лезешь в мои дела? Неделю уже ошиваешься, а все не врубился. Тут своя жизнь, свои законы. И пост этот не я выдумал, он давно, до меня. Для чего, спрашиваешь? А вот таких, как ты, строптивых болванов ломать. Чтоб служили и ни о чем не размышляли! Понял, мыслитель? И не лезь, сука, в мои дела! По-хорошему предупреждаю!

Я сжал кулаки. Лейтенант все сдергивал и никак не мог сдернуть перчатку с правой руки.

— Послушай, ты! Солдафон! Думаешь, все это пройдет для тебя безнаказанно? Думаешь, не достать тебя тут в этой норе? Думаешь, все бессловесные скоты! Крыса! Крыса поганая!

— Молчать! Смирно!! — придушенно прохрипел лейтенант.— Да ты... Знаешь, что у меня в Хранилище? — Он замер с выпученными глазами, в оскале обнажились мелкие темные зубы, нос вытянулся, побелел.— Думаешь, лейтенант, две звездочки, пешка? Да у меня прямой провод, знаешь с кем! А приказ сорок дробь семнадцать знаешь? У меня тут кнопочка с цифровым кодом...— Он облизнул пересохшие губы, рот его сводило судорогой, он не мог говорить.— Я... я... только я допущен! Понял, ты, гниль интеллигентская! Наберу, нажму — к чертовой матери! Все, все — понял? И не трогай солдат! Им служить! А ты ни х... не знаешь в жизни! Тебя еще драть, мордой об стену, палки об тебя лыжные, бамбуковые! Валенком с песком по почкам! Окурки об тебя гасить! Застрелю!

Я сел на кровать. Лейтенант оцепенело держался за кобуру, на губах выступила пена.

— Выйди,— тихо сказал я.— Слышишь? Опомнись, лейтенант. Выйди.

Он круто развернулся на каблуках, застегнул кобуру и вышел. Я лег. Нервная дрожь била меня, тряслись руки, стучали зубы. Сбросив валенки, укрылся краем одеяла. Лицо казалось раскаленным, видимо поднялась температура. От боли раскалывалась голова, больно было глотать.

Я закрыл глаза, но и там, внутри меня плавала пугающе отчетливая физиономия лейтенанта — выпученные желтые глаза, крысиная морда, белый нос, хищные зубы. Значит, лейтенант уже кого-то ломал в Хранилище, а может, еще и до него... О каком это он приказе шипел? О кнопочке, цифровом коде... Может, и взаправду, Хранилище диктует свои законы? Делает всех, кто связан с ним, сумасшедшими... И меня в том числе? Какой идиотизм!

Вечером меня кто-то разбудил, потряс за плечо.

— Придется перейти в казарму,— тихо сказал Сашок.

— Почему? — пробормотал я запекшимися губами.

— К лейтенанту жена приехала...

Я долго выбирался из жаркого полусна-полубреда. До меня никак не доходило, к кому и зачем приехала жена. Разве у лейтенанта есть жена? У такого может быть жена?! Но при чем здесь я? Приехала, ну и пусть, я-то здесь при чем?

Сашок вдруг опустился на колени, зашептал мне в лицо:

— Поговорите с ним, пусть отменит приказ, не смогу, ей-богу! Пусть отменит, пусть куда хочет, хоть в тюрьму. Не вынесу я. Поговорите...

Я ничего не понимал. С огромным трудом оторвал от подушки распухшую голову, сел, расклеил глаза, увидел перед собой расплывчатое пятно. Кто это? Почему на коленях? Ах, да это Сашок!

— Встань,— попросил я.— Ну, пожалуйста, встань.

Сашок поднялся.

— Не становись на колени, плохо это,— сказал я.— Слышишь, Сашок?

— Поговорите с лейтенантом, а?

— Ладно.

Сашок благодарно закивал, проворно свернул мою постель, потащил на солдатскую половину. Я без сил опустился на голую койку. Со стены на меня смотрел генералиссимус. Еще совсем недавно я, как и многие миллионы, был им любим, отмечен его вниманием и заботой. Не было бы его, не было бы ни этого страшного монстра-Хранилища, ни гнусного лейтенанта, ни Сашка, с его голодной ободранной деревней и страхом, ни меня, запрограммированного на выполнение сверхважной секретной работы...

Вдруг вспыхнул свет, я зажмурился от боли, так сильно ударило по глазам.

— Как дела, больной? — раздался твердый женский голос.

Ответить я не успел, женщина прошла в пищеблок, мельком бросив на меня безразличный взгляд. Лейтенант чем-то занимался в первом отсеке. «Валерий!» — властно донеслось из пищеблока. Лейтенант быстро прошел на зов, неся полные сумки. Там у них затеялся какой-то негромкий разговор. Женщина напористо поучала лейтенанта, в голосе ее звучало раздражение, когда он начинал что-то объяснять ей, словно бы оправдываясь.

Я осмотрелся, где-то был чемодан, пиджак, журнал, прибор... Из пищеблока вышли лейтенант и его жена. Теперь я ее разглядел. Розовые стрелы от выщипанных бровей лезли круто вверх, как у сатаны, светлые волосы завиты мелкими кудельками, голова огромная, нелепая на длинной и тонкой шее. К тому же зеленый костюм — юбка и пиджак, а на ногах сапоги ярко-красного цвета. Кругленький маленький рот крепко сжат, словно она набрала воды и собиралась прыснуть.

— Лейтенант,— сказал я,— прошу, не назначай Сашка на ночной пост в Хранилище.

Лейтенант выразительно посмотрел на жену, дескать, видала!

— Это какой Сашок? Слижиков? — спросила она, глядя на меня так, как обычно глядят дежурные по вокзалу на транзитных пассажиров.— Почему?

— Парень боится крыс. С детства это, поймите,— ответил я.

— Как приказал, так и оставь,— сказала женщина лейтенанту и прошла в первый отсек.

Лейтенант кивнул в знак того, что думает так же, и вышел вслед за женой. Я поднял чемодан, взял со стула пиджак и пошел пошатываясь на солдатскую половину. Сашок встретил меня в прихожей.

— Ну, говорили? — опасливо косясь на дверь, спросил он.

Я махнул рукой:

— Не отменит. Баба велела.

— Как? — не понял Сашок.— Что велела?

— Оставить приказ в силе.

Сашок схватил меня за руку, губы его побелели. Остановившимися зрачками он глядел мне в лицо.

— Ну, ну, Сашок, продержись ночь,— промямлил я, чтобы хоть что-то сказать.

Его рука безвольно упала, он отодвинулся, давая мне дорогу, и я вошел в душный сумрак казармы.

Спаренные лампочки вполнакала над входом освещали помещение тревожным красноватым светом, придавая казарме неестественный вид театральных декораций: двухъярусные койки в три ряда, печь посередине, пирамида с оружием, закрытая на замок. У входа дневальный притулился к тумбочке в обнимку с телефоном. Окна заляпаны снегом, будто снежинками к Новому году — не хватает деда Мороза, да само помещение мрачновато для новогоднего праздника.

Сашок постелил в дальнем углу, на нижнем ярусе, напротив себя. Солдаты уже спали. Надо мной кто-то скрежетал, похрустывал зубами. Храп, бормотание, стоны, тяжкие вздохи — ночное дыхание натруженных молодых тел.

Я повалился на койку. Сашок накинул полушубок, и я забылся.

13

Отец пил давно, еще с довоенных времен. Помню шумные застолья у нас дома и на коллективных дачах, споры чуть ли не до драк между приятелями отца. Помню, как не раз мама плакала и упрекала отца: «Смотри, нарвешься, ох, нарвешься со своим языком... Я уже не спасу...» Я знал по ее рассказам, как в 1937 году ему пришлось скрываться в деревне от ареста. В тот год он заканчивал институт марксизма-ленинизма и вдруг мать узнала от подружки, которая работала в отделе кадров, что отец попал в «нехороший» список. Она заставила его срочно оформить командировку с лекциями по селам области. Три месяца — велик ли срок? Но когда отец вернулся, многих уже арестовали — и по этому списку, и тех, кто готовил список.

Пока он скрывался, арестовали трех его близких друзей. Он корил себя за то, что слишком поспешно уехал, не подумал о них, не узнал, есть ли и они в том черном списке. А они были. Вернувшись, он писал письма, ходил в горком, в обком, кругом были новые люди, на него смотрели как на сумасшедшего. Именно тогда он начал сильно пить. Помню ночные скандалы, выкрики отца, слезы матери. Он уже совсем было собрался в НКВД, но мать повисла у него на шее: «Спятил?! У тебя двое детей! Старики. Куда я с ними?» Не пустила или... он дал себя не пустить? Или понял, что смелость задним числом уже никому не нужна, бесполезна...

Он был гордым, даже строптивым. Говорили, что неуживчив, а он не хотел быть попугаем, искал свой взгляд на историю, это, конечно, не поощрялось. Долго на одном месте не удерживался. Однако, жалея мать и нас, детишек, его принимали то в один, то в другой институт на половину, на четверть ставки читать лекции по «советскому периоду». Он читал, студенты были довольны, но вдруг на лекциях появлялись какие-то люди с блокнотиками, внимательно слушали, кое-что записывали, потом отца вызывали на кафедру, требовали представить тезисы на весь курс. Он представлял и получал зубодробительные отзывы: лектор явно недооценивает роль товарища Сталина в победе колхозного строя, в индустриализации, в победе над фашизмом, в послевоенном строительстве... Требовали приведения лекций в соответствие с программой. Отец отказывался, спорил, его отчисляли, увы, поводов он давал более, чем достаточно и без «политической близорукости»: частенько являлся на лекции навеселе и хотя студенты любили его за живое слово, простоту, терпимость, всегда находились «бдительные», которые «сигнализировали» начальству. Выгоняли из институтов, с кафедр обществоведения, он брал лекции в обществе по распространению знаний, ездил по районам — в глубинке, перед бабами и старухами дозволялись и отклонения от жесткой программы...

Его любили за мягкость, покладистость, за щедрость — если уж кто и отдавал последнюю рубаху, так это отец! Презирал вещи, деньги. Да их у него никогда и не было, никогда он не заводил никаких сберкнижек, не носил бумажников, зарплату комом в карман и — пошел! Оттого-то и липла к нему всякая подзаборная шваль. И трусом, как мне кажется, он не был. Помню, мама рассказывала, как в двадцатых комсомольцем отец участвовал в раскулачивании и в одной из деревень в него стреляли из обреза. Нынче можно засомневаться, тем ли делом занимался, ту ли храбрость проявлял, но в те времена никаких сомнений не было.

Лето сорок второго я провел вместе с отцом в военных лагерях на берегу Томи. Однажды отцу срочно потребовалось по делам на другой берег. Плыть надо было на лодке, я увязался с ним. Только мы отплыли, поднялся ветер, разыгралась волна. Лодку качало и швыряло с волны на волну, она черпала то бортом, то носом. Ветер хлестал косыми струями дождя; все померкло кругом, полыхнула молния. Я сидел на корме, вцепившись руками в борта и затаив дыхание. И отец, не обладавший ни голосом, ни слухом, вдруг запел во все горло: «Муся-Маруся, открой свои глаза, а если не

откроешь, умру с тобой и я...» Он хохотал, налегая на весла. Нет, он не был трусом, но что-то когда-то в нем подломилось — что-то когда-то...

Помню однажды, я уже кончал школу, после очередной отцовской пьянки, дождавшись, когда он протрезвел, я, наивный идиот, завел с ним разговор о совести, человеческом достоинстве, чести. Он слушал, кивал понуро опущенной головой, потом поднял на меня тоскливые больные глаза и тихо-тихо сказал: «Ты еще многого не знаешь, сын, не обижайся. Но уважать себя сейчас, в это время, можно только в пьяном виде...» Тогда я возмутился, по-комсомольски сердито отчитал его — он не проронил ни слова...

Уже второй год шел поток из лагерей и отец словно помешался: писал во все инстанции, слал запросы о друзьях молодости. С получки часто ходил на вокзал, обязательно с бутылкой водки, обходил вагоны, надеясь встретить кого-нибудь, кто знал о них. Расспрашивал, угощал случайных людей, плакал. Нередко, в состоянии почти белой горячки он выскакивал на балкон, кричал на всю улицу: «Сталин — бандит! Сталина — судить!» Прохожие останавливались, показывали пальцами, боязливо расходились. Когда такое случалось при мне, я уводил его с балкона, порой силой, он вырывался, кричал, что надоело бояться, хватит трястись от страха. Все чаще приходилось вызывать «скорую».

Особенно боялась этих приступов Юлька — боялась за дочку, как бы не перепугать ребенка. А ведь отец клялся, что бросит пить, только поэтому мы с Юлькой решились жить вместе с родителями. Теперь что же, все время в постоянном страхе?..

14

...Сосны, теплая хвоя, горячий песок, деревянная лестница по обрывистому склону. С рулеткой в руках я взбираюсь по ступеням, как по ящикам на стеллажах. Конец рулетки где-то внизу, у самой воды. Без сил выползаю на берег. Солнечная поляна, порхают бабочки, проносятся голубые стрекозы, на краю поляны между сосен раскачивается гамак. В гамаке — Сашок. Напевает тот самый, раздольный сибирский мотив, который напевал ночью в Хранилище: «Ой-ё-ё-ё-ё-ё-ё...» Я кидаю ему рулетку, Сашок ловит ее, кладет себе на грудь — стальная лента тянется к лестнице и вниз, к реке. По ленте снизу из-под берега одна за другой, быстро-быстро перебирая лапками, бегут крысы — серыми сардельками — прямо к Сашку на грудь. Он поет, закрыв глаза, а крысы все лезут и лезут. Копошатся, ползают по груди, по шее. Я хочу закричать, предупредить его об опасности, но голоса нет, хочу броситься на помощь, отогнать крыс, но не могу пошевелить и пальцем. И вот огромная черная крыса заползает Сашку на лицо, тычется острым носом, осматривается, примеривается, скатывается на подбородок, хватает за кончик языка, жадно грызет. Сашок давится, пучит глаза и вдруг берет дудочку, крыса выскакивает у него изо рта, он прикладывает к губам дудочку — «шпок!» Странный мягкий звук! Как будто влетел через форточку... Как будто рядом за окном открыли бутылку шампанского или лопнул шарик... Пожалуй, шарик... Голубой... Летел, летел и — «шпок!»

...Алле! Алле! Юля? Юлечка! Девочка моя, как вы там? Держитесь! Я скоро вернусь. Еще дней пять-шесть... Главное — думай обо мне. А я — о тебе. Ты ведь моя жена... Алле! Юлька! Не слышу. Где ты? Юлька! Юлька!

...Промозглое зимнее утро. Туман скрывает длинный хвост очереди. Люди зябко ежатся, постукивают ногами. Лиц не видно — лишь согнутые спины, одна за другой, одна за другой. Я отбежал на секунду — вернулся, нет старичка, за которым стоял. Очередь плотной цепью, покачиваясь, подергиваясь, движется к магазину — там хлеб. Стискивая в кулаке карточки, а они в мешочке, мешочек на веревочке, на шее, я бегаю туда-сюда вдоль очереди — старичка нет. Очередь молчит, никому нет до меня дела. Главное для всех — узкая дверца в магазин. Меня не пускают, очередь как из камня — ни щелки, ни просвета. Ну как же, тычу я свою ладонь — вот номер! Выведен фиолетовым карандашом. А где старик? Номер расплылся, не разобрать, старика нет... И впереди не магазин, а дыра в заборе...

Я что, бредил? Или кто-то бредит рядом со мной... Я приподнял тяжелую голову. Койка Сашка пуста, значит, догадался я, он там, в Хранилище, заступил на этот идиотский пост...

Алле! Юлька! Куда же ты исчезла? Звоню, звоню тебе, а ты где-то ходишь... Сейчас ночь, ты должна быть дома... Почему молчишь? Как Елка? Мама как? Не слышишь? Я — тоже. Плохая связь. Здесь такая дыра — десять коммутаторов, тьма контактов. Понимаешь? Контакты окисляются, их надо чистить, протирать спиртом, а их никто не чистит, спирт выпивают... О чем ты? Я сплю. Кажется, сплю... Или это и есть жизнь? Алле! Юлька! Юлечка...

...Бреду по длинному коридору — налево, направо какие-то провалы, веет холодом. Ага, вот и дверь — распахнута, негромкие голоса. Вваливаюсь в первый отсек — пусто, голоса там, дальше. Иду. Страшная качка. Все в пищеблоке... «Но почему же на по-

лу?» — думаю я. На меня смотрят снизу — все склонились, окружили кого-то, лежащего на полу. «Почему на полу?» — спрашиваю я. Сова, похожая на жену лейтенанта, кивает клювом вниз и издает горловой звук. Махоткин водит над чьим-то лицом зеркалом. «Что вы делаете?» — говорю я. Махоткин качает головой и убирает зеркало. Я вижу разорванную гимнастерку в черных пятнах, плоское худенькое тело, обнаженное до пояса, под левым соском кратерок ожога с запекшимися краями...

Белое-белое лицо, глаза тускло неподвижны, поблескивают белками. Носик остренько целится вверх, щеки, рот стянуты последней маской, зубы как у жеребенка...

— Слушайте,— кричу я, будто все глухие,— это же Сашок! Слижиков!

— Не ори,— ворчит Махоткин.

— Слушайте,— говорю я шепотом,— ведь у него мать в деревне, слепая, бабка старая, братишка... Ему нельзя... Слушайте... У него был патрон, я знал!

Махоткин берет гимнастерку и набрасывает на лицо Сашка. Что-то во мне как бы выключается — ни голоса, ни мыслей, ни страха...

Проснулся в поту. Тянулась все та же ночь. Солдаты спали. Темным мешком сидел, навалившись на тумбочку, дневальный. Тускло светилось окно между рядами коек. В отсвете фонаря над зоной мельтешили на стекле рыхлые мохнатые тени — опять снег! В казарме жарко, душно. Солдаты спали...

Голову отпустило, с потом выходила и болезнь. Я посмотрел на часы, кое-как разобрал — двадцать минут первого. Значит, Сашок уже двадцать минут как в Хранилище...

Я знал, что должен был сейчас сделать: встать, одеться и пойти к Сашку, но время шло, а я не мог пошевелить ни рукой, ни ногой. Что это? Апатия? Усталость? Страх?

С тех пор, как началась война, я всегда чего-нибудь боялся: потерять карточки, пропустить свою очередь, боялся, что именно передо мной кончится хлеб, гидрожир, конфеты, чай, крупа и придется ждать следующего завоза; потом боялся, что отец придет снова пьяный и разразится скандал; боялся деда с его слезливой ласковостью, которая внезапно сменялась вспышками гнева; боялся, что что-нибудь случится с мамой: у нее часто болело сердце... Все это казалось теперь странным, потому что была и другая часть той же самой жизни, в которой я не боялся ничего — наш двор, улица. Я лазил по крышам и строительным лесам, когда наш дом во время войны достраивали пленные немцы; зимой мы цеплялись за грузовики крючками с веревками и целыми вереницами катались по городу; и дрался я бесстрашно, реакция у меня была просто бешеная...

Поступил в институт, на тот самый физико-технический факультет, о котором мечтал. Страхи вроде бы отступили. Однако через три месяца из нашей группы вдруг отчислили двух парней — Мишу Ложкина и моего школьного друга Витьку Потапова. Сказали «по анкетным данным» — и все. А мы с Витькой друзья, с пеленок рядом, нос к носу почти двадцать лет и вдруг — «по анкетным». Какие могут быть «данные», когда вот он, весь на виду, каждый день могу вспомнить и рассказать, когда, где и что делали. Я пошел в отдел кадров заступиться за него или хотя бы узнать, в чем дело. Начальник внимательно выслушал меня, кивнул и записал мою фамилию: «На всякий случай»,— многозначительно сказал он. И объяснил, почему Потапова отчислили с факультета. Оказалось, что Витька указал все, что требовалось в анкете, и про отца, и про мать, и про деда по линии отца — дескать, умер в таком-то году. И на этом поставил точку. А точку, как уверял начальник, ставить не следовало, а следовало еще дописать, похоронен на поселении там-то, то есть на Колыме... Вот этого Витька и не написал. Начальник видел далеко — без всяких телескопов...

И снова страх: а вдруг и меня отчислят «по анкетным», кто знает, какие сюрпризы приберегли для нас наши родители. За отца и мать я был спокоен, но вот дед... У него в сундучке бережно хранились царские деньги, причем очень крупные купюры... Однако обошлось, никто меня никуда не вызывал и ни о чем не спрашивал. Этот страх прошел, но на его место явился другой...

На третьем курсе нам показали секретный в то время фильм об испытании нашей атомной бомбы. Смотрел весь факультет. Кончился фильм, загорелся свет, в зале стояла гнетущая тишина — будущие физики-атомники сидели подавленные. Я — тоже. Это было потрясение, равного которому в короткой моей жизни еще не бывало. Нам показали то, к чему мы стремились, о чем мечтали, чему хотели посвятить себя — атомное оружие, физику в действии!

Однако сразу же после фильма моложавый полковник голосом страстного трибуна за полчаса поднял нам настроение: никаких сомнений быть не должно, это оружие против заклятых врагов, империалистов, наша задача — создавать больше, мощнее, надежнее! Кто сомневается, боится или не хочет — пусть сейчас же встанет и выйдет из зала. Слабаков нет? Молодцы! Вперед! Только вперед! Любое задание партии и правительства выполним!

Позднее нам давали альбомы с фотографиями разрушенных японских городов и искалеченных, заживо обуглившихся людей. Альбомы были с грифом «секретно».

Не помню, кто-то из ребят, когда просматривали альбомы, сказал: «Ну, все, братцы, это тупик...» Именно после этих альбомов меня стали мучить кошмары с атомными бомбардировками. «Комплекс Хиросимы» — страх перед ясным утренним небом, перед высоко летящим самолетом, перед молчащими уличными громкоговорителями. Я глушил этот страх, изгонял из себя, ходил в спецчасть специально рассматривать фотографии Хиросимы, чтобы избавиться от него совсем...

Я лежал в каком-то оцепенении, прислушиваясь к дыханию спящих солдат, всматриваясь в свою жизнь, полную страхов самых разных оттенков — страх за отца, за Юльку, за маленькую нашу девочку, страх перед будущей войной, перед самой жизнью, которая исторгла страшилище — *ядерную бомбу*. Но и страхи отца, матери и Юльки, кажется, тоже влились в меня в эти минуты и пригвоздили к койке...

«Шпок!» — что это: кто-то открыл шампанское или лопнул праздничный шарик? Я посмотрел на часы: прошло три минуты. Значит, Сашок двадцать три минуты там...

Страх, но уже другой, что не успею, заставил меня вскочить, лихорадочно одеться, выбежать в прихожую. Схватив первый подвернувшийся полушубок, нахлобучив шапку, я вышел из казармы, кинулся к Хранилищу.

Падал мохнатый липкий снег. Дорожку уже изрядно завалило, я то и дело спотыкался от тяжести налипавшего на валенки снега. Задыхаясь, я подбежал к воротам, забарабанил в дверь. Вскоре изнутри донесся слабый голос Сашка:

— Кто?

— Сашок! Я это, я!

— Ой, Леня,— радостно отозвался Сашок.— А чё это вы? Среди ночи...

— Друга проведать...

— Кого? — не понял Сашок.

— Тебя, тебя проведать пришел. Как ты там? Тихо?

— Тихо... пока...

— Ну, осталось недолго. Ты давай садись у двери, а я — здесь. И споем — твою, эту вот: «Ой-ё-ё-ё-ё-ё-ё...»

Сашок помолчал, потом, засмеявшись, сказал:

— А я думал, ты осерчал на меня.

— С чего взял?

— Ну как же, вас на досках оставил, а сам вон куда сиганул. Думал, рехнусь от страха.

— Да брось ты, я тоже здорово трухнул...

Мы поговорили о работе, о замерах — как ускорить дело. Сашок предлагал пожаловаться генералу, чтоб лейтенант дал еще хотя бы пару солдат. Я сказал, что жаловаться не буду, справимся как-нибудь сами. Сашок вздохнул.

— Сами так сами. Вы это, шли бы спать, а то на холоде...

— А ты?

— А чего я? Я нормально.

— Не будешь сигать?

— Не, не буду.

— Ну, смотри. А то я правда пойду...

— Ага, иди, иди, достою. Нынче спокойно...

— В случае чего — из автомата по ним. Патроны есть?

— Один.

— Один?! — поразился я, хотя помнил, что лейтенант приказал без патронов и что у Сашка был один патрон.— Тогда береги — на самый крайний случай. Шуганешь, если что. Понял?

— Да, да,— торопливо ответил Сашок.

По звуку шагов я понял, что он отошел от двери.

— Эй! Сашок! Ты что?

Он подбежал, сказал торопливо:

— Все нормально, идите спать.

— Не боишься.

— Не, не боюсь! Мне самому надо... Вы идите.

— Ну смотри, я пошел. Держись!

Сашок не ответил. Я постоял с минуту, прислушиваясь, но в Хранилище было тихо, и я медленно пошел в казарму.

Раздевшись, я забрался в еще теплую свою постель, укрылся с головой и тотчас заснул.

15

Через несколько дней после объявления о смерти Сталина мне надо было возвращаться в институт. Я решил уговорить отца поехать со мной. Мама не возражала, в ней снова что-то затеплилось, какая-то надежда. Заняла денег на дорогу, накупили продуктов. Я ждал, когда отец наберется сил. Почти сутки он не выходил из комнаты,

болел — и телом и душой. Я заходил к нему, предлагал поесть, он отмахивался, руки его тряслись, в глазах стояли слезы. И лишь на третий день он кое-как поднялся, вялый, еле живой, с провалившимися глазами, с торчащим колючим кадыком. Нетвердо ступая по продырявленному линолеуму, сходил умылся, позавтракал двумя картофелинами с постным маслом, выпил чаю. Я осторожно завел разговор о поездке — отец неожиданно согласился и добавил: «Хоть на месяц».

Прожил он у меня в общежитии две недели. Спал на раскладушке, которую я выпросил у кастелянши. Ребята-сокоммунники уже знали его — проездом после каникул останавливались у нас. Вел он себя смирно, много бродил по городу, встречался с друзьями молодости, возвращался трезвый, задумчивый, усталый. Он все думал о чем-то, а о чем, мне было неведомо.

В тот его приезд он впервые увидел Юльку.

Был прекрасный весенний день, по склонам в парк текли ручьи, ошалело чирикая, носились воробьи. Мы шли с Юлей, держась за руки, поглядывая друг на друга и улыбаясь. Я ловил ее взгляд и, кажется, был счастлив одним этим.

И вдруг впереди из боковой аллеи на дорожку, по которой мы шли, вышел отец и остановился перевести дух. «Вон он»,— сказал я шепотом Юльке. Она испуганно отдернула руку, сбилась с шага.

Отец стоял, подняв к солнцу лицо,— в старом потрепанном пальто нараспашку, с обнаженной головой — остатки седых волос торчали над ушами, кепку зажал в руках, руки закинул за спину. Мы подошли, поздоровались. Мягкая виноватая улыбка, очки с треснувшим стеклом делали его беспомощным. Он тоже смутился. Я что-то пробормотал, дескать, торопимся. Он кивнул, дескать, все понимает и, засмеявшись щербатым ртом, сказал: «Валяйте!» Мы «отвалили», вздохнув с облегчением. Юлька чуть погодя сказала: «А он у тебя ничего, не зануда».

На другой день он вдруг засобирался и, как я его ни уговаривал, не остался. Прощаясь на вокзале, он неловко ткнулся губами в лоб, закашлялся, отвернулся.

— Папа,— набрался я решимости,— прошу, очень прошу, ты только не пей. Пожалуйста...

Он глянул на меня с удивлением, диковато, глаза его казались огромными и вздрагивали.

— Какое там... Выдохся я...

— Не говори так! Возьми себя в руки! Вот подожди, окончу институт, вернусь...

Он махнул рукой:

— Вся жизнь ушла на ожидание. Нет, сына, не в укор тебе, я про другое...

Мы простились. А через несколько дней мама сказала по телефону, что он получил какие-то деньги и опять запил.

Помню, тогда написал ему очень злое письмо. Еще не понимал, что если я, молодой, так плотно начинен страхами, то что же говорить об отце, о матери, о стариках, которым досталась жизнь куда как похлеще, чем моя. Я не осуждаю и не оправдываю, хочу понять — особенно отца. С одной стороны, сохранял какую-то поразительную внутреннюю стойкость, честность, чувство человеческого достоинства, а с другой проявлял явное безволие, страх, малодушие. Может быть, поэтому, из-за этой его раздвоенности и пьянство, и резкие перемены в настроении: то буйная бесшабашность, то мрачная молчаливость, то болезненная вялость...

Дано ли сыну понять отца? Возможно ли это?

16

«Шпок!» — лопнул шарик. Затарахтел телефон у дневального. Опять сон? Или... Дневальный откашлялся, пробормотал что-то, прикрыв трубку рукой. Хлопнула дверь, кто-то пробежал мимо окон. Снова хлопнула дверь. Тихо-тихо по скрипучим половицам, ближе, ближе, вроде ко мне. Нет, мимо — в другой угол. Высокий, тощий складывается пополам — над койкой, где сержант Махоткин. «А? Что? Сейчас»,— шепот из угла. Тощий разгибается, скользит в красноватом тумане, исчезает. Махоткин с остервенением крутит портянки, рвет гимнастерку... Скрип половиц, натужные голоса: «Сюда, сюда» — «Тихо!» — «Клади...» — «Навылет...»

Куда они все? Что случилось? Отрываю раскаленную голову от подушки, в глазах темнеет, валюсь в ямину, скольжу, темно, мягко, горячо... Удерживаюсь на краю, таращу глаза. «Шпок! Навылет!» — что значат эти слова? Бред? Бессмыслица?

Солдаты спят. Меня морозит, зуб на зуб не попадает. С трудом поднимаюсь, нашариваю одежду, долго, миллионы лет, одеваюсь. Потом иду, хватаясь за койки. Качает, как на корабле — однажды довелось на Черном море, покачало от Сочи до Ялты...

Пробредаю через прихожую — лейтенантская дверь закрыта. В чем дело? Галлюцинации? Не он ли будил сержанта Махоткина? И что за странные разговоры? «Шпок!» — «Навылет»...

Я вышел наружу. Третье окно ярко светилось. Свет этот ударил по нервам, стало страшно. Держась за стену, еле передвигая онемевшие ноги, добрался до окна. Сверху стёкла оттаяли, но понизу держалась изморозь. Схватившись за решетку, я подтянулся на руках, заглянул внутрь и — отпрянул. Недавний кошмар был передо мной наяву: на полу, раскинув руки, лежал Сашок — узкая белая грудь, гимнастерка в черных пятнах, дымчато-серая, тяжелая, как ртуть, лужица под головой... Махоткин с обвислыми плечищами, рыжий чуб скомкан, лицо в морщинах. Лейтенант — китель на голом теле, губы прыгают, глаза косят — то на Сашка, то на жену, которая тут же, рядом, похожая на сову...

Ноги мои потеряли опору, я поскользнулся на покатой наледи и рухнул в снег, сильно ударившись локтем.

17

На другой день после гибели Сашка на «точку» нагрянула комиссия с зычным генералом во главе. Слышно было, как он грубо разносил лейтенанта за бульдозер. Вскоре затрещал пускач, взрыкнул и затарахтел двигатель — бульдозер выгнали из-под навеса, погоняли перед сараем и погнали на расчистку снега.

Генерал заглянул и в казарму, подошел ко мне, сняв папаху, присел, похлопал по плечу.

— Техника, понимаешь, стоит, а они тут,— он выругался,— развели! Ну, как самочувствие? Может, в госпиталь? Врач был?

Я поблагодарил, отказался и от госпиталя и от врача. Генерал сидел, склонив тяжелую лысую голову. Губастое тугое лицо его с поросячьими глазками застыло и казалось вырезанным из розового мрамора. От него пахло душистым табаком и вином, словно он только что выпил рюмку-другую.

— Значит, жалоб нет? — спросил он, сжав мое плечо.

— Мне нужны люди, шесть человек, закончить проверку,— сказал я.

— Да хоть тыщу! — почему-то обрадовался генерал.— Шесть! Поднимайся и командуй! Одно твое слово — и все будет. Ну, по рукам!

Неловко согнув руку в локте, он сунул мне свою лопатообразную ладонь. Я пожал. Генерал встал — невысокий, кругленький, с изрядным животиком, похожий на садовода или дворового забойщика «козла». Но едва надел папаху, как тотчас преобразился: выпятил грудь, вскинул подбородок, глазки прищурились, рот сжался двумя надменными складками. Козырнув, он ловко повернулся на каблуках и легким шагом вышел из казармы.

Когда я поправился, лейтенант предложил перейти снова в его отсек, но я отказался. Все эти дни он был сухо заботлив, иной раз чуть терял меру, и ухаживания его выглядели заискивающими. Его вызывали в гарнизон, солдаты надеялись, что его снимут, заменят, но он снова появился — хмурый, осунувшийся, весь какой-то изжеванный. Мне выделили шестерых солдат, и мы на вторые сутки к обеду закончили замеры. В последний раз прошел я от конца к началу весь этот тяжкий почти двухнедельный путь. Солдаты и лейтенант вышли наружу, а я задержался на разгрузочной площадке. Вот здесь, возле электрического шкафа, на досках, как мне сказали, нашли умирающего Сашка. Когда к нему подошли, он был еще жив и все силился что-то сказать, но что, так никто и не разобрал. Здесь мы сидели с ним в ту страшную ночь, когда пошли крысы.

Туннель между стеллажами черным конусом уходил вдаль. Тысячи, тысячи ящиков, набитых тяжелыми цилиндрами. Зеленые ящики, черные стальные каркасы стеллажей. Когда я ложился спать после многих часов, проведенных здесь, перед глазами долго плавали ящики, только ящики. Вот и теперь, закрыв глаза, начинаю покачиваться, а внутри — будто влезли в самую душу! — ящики, ящики. Вижу каждый ряд, помню каждый ящик, как стоит, как выглядит, на каком ярусе.

Я открыл глаза. Передо мной, распластавшись на бетонном полу, лежало тяжелое, неподвижное, теплое, живое. Я ощущал Его дыхание, слышал Его голос. Мне показалось, что Оно смотрит на меня и запоминает. Да, конечно, если я так хорошо запомнил Хранилище, то и Оно тоже запомнило меня...

Бедный Сашок! Решил побороть страх, схватиться с Хранилищем один на один и не выдержал. Неужели опять крысы? Или Оно вместе с лейтенантом выкинуло еще какой-нибудь трюк... Эту загадку мне предстояло еще разгадать. Но то, что лейтенант и Хранилище были повязаны единым зловещим сговором, я не сомневался. Зло не могло исходить только от лейтенанта или только от Хранилища — они действовали сообща и, похоже, не могли существовать друг без друга...

— Ну, что, никак не простишься?

Я вздрогнул от неожиданности. Как неслышно он появился рядом со мной! И вправду оборотень!

— Боишься... И правильно делаешь.— Лейтенант искоса заглянул мне в лицо.— Я тебя еще достану...

Я повернулся к нему.

— Ну и я не забуду про тебя. Имей в виду!

Да, с каким удовольствием запечатал бы он меня в этом Хранилище! Но руки коротки! Вот я выхожу на волю и небрежно хлопаю дверью — перед носом лейтенанта. Он чертыхается, торопливо выскакивает следом за мной. Значит, и он боится своего монстра!

Да, мы несовместимы с лейтенантом. И дело совсем не в характерах, а в чем-то куда более важном. Мои представления о жизни разлетелись вдруг на мелкие кусочки. Оказывается, рядом, вот он, существует мощный злобный мир, он глубоко враждебен мне, всей моей сути, каждой клеточке души и ума. Мир, о котором еще совсем недавно я мечтал как о каком-то особом фантастическом секретном царстве для избранных творить великие подвиги, открылся во всей своей неприглядной черной силе... И как же мне жить дальше? И дальше множить число этих монстров, которых и так уже изрядно расплодилось по нашей земле?

Наверное, впервые за все эти дни так объемно и так осязаемо я представил *всю* систему Хранилищ и лейтенантов. Всю целиком. Не только разумом, но и чувством охватил ее мощь и владычество. И что-то во мне как бы развернулось и прояснилось, словно я поднялся на много-много витков над самим собой и вот теперь гляжу на себя прежнего — маленького, наивного, глупого...

В гарнизоне я первым делом кинулся к связистам. Кое-как удалось дозвониться до Юлькиной работы — сказали, что Юля болеет, пятый день на больничном. Слышимость была плохая, я сорвал голос, но больше ничего не узнал.

В канцелярии гарнизона мне сообщили адрес Слижикова — деревню и инициалы матери. Что-то я должен был сделать для нее, а что — пока не знал.

Я рвался домой, к Юльке. До Нового года оставалась неделя. Через пять дней — кровь из носа! — расчет Хранилища должен быть сделан, а я еще и не представлял, с какого боку за него браться...

Из-за плохой погоды вылет вертолета откладывался на целые сутки. Мне предложили лететь на транспортном самолете через Юргу, и я согласился.

Я должен был думать о том, как справиться теперь с расчетами, но думалось совсем о другом. Во мне вызревало что-то новое — непримиримое, решительное, жесткое. План складывался, но не по тому, как произвести расчет. Складывался план моих будущих действий по отношению к лейтенанту и его Хранилищу. Мы — антагонисты на Земле: или он, или я, общего не дано! Отсюда — необходимость жестокой борьбы. Каким совсем иным стал бы мир без Хранилищ и лейтенантов!

Мы вылетели, когда солнце уже низко висело над черным мглистым горизонтом. Развернувшись, самолет пошел почему-то сначала на север. Вскоре под крылом в разрыве темного лесного массива длинным вытянутым прямоугольником в оцеплении мерцающих огней четко обозначилось на белом снегу Хранилище. Бурое, притаившееся, Оно, казалось, тянуло ко мне свои невидимые щупальцы,— тянуло, я это знал и знал, что от них мне никогда не освободиться. Конечно, мы будем помнить друг о друге, ведь я один из очень немногих, кто был допущен туда, был там, выведал у Него самые зловещие тайны...

Я подумал, что паломничество крыс не было связано с морозом. Минус пять, а не тридцать пять держалось тогда! При минус пяти наверняка и в норах рай, незачем целым скопищем тащиться ночью сквозь снег, чтобы погреть бока у сомнительного источника. Значит, крыс влекло туда не тепло. А что же? Может быть, уловив из времени сигнал тревоги, они готовят себя и будущее потомство к выживанию?

Самолет быстро набирал высоту. Далеко внизу в мутной предночной пелене едва светились огоньки периметра. Длинный вытянутый буроватый прямоугольник распластался подо мной. Случайный лучик бокового прожектора достал меня, разгорелся яркой вспышкой и вдруг странное вкрадчивое ауканье, как жалобный зов, раздалось над самой головой. Я вжался в угол между тюками и ящиками. Звук стал перемещаться к хвосту самолета — мне показалось, будто я снова в Хранилище, вместе с самолетом лечу под его необъятной кровлей...

Внизу все померкло, утонуло во мраке — ни дорог, ни поселков, ни огней. Тревожно дребезжала обшивка, ревели мощные моторы. Лоб холодило стекло иллюминатора. В ушах навязчиво звучало мучительное «Ой-ё-ё-ё-ё-ё-ё...» и белое, стянутое маской смерти лицо Сашка стояло перед глазами. И саднящее чувство вины томило душу...

Роберт КОНКВЕСТ

БОЛЬШОЙ ТЕРРОР

Действие второе

23 января 1937 года среди пышных колонн Октябрьского зала Дома Союзов началась еще одна отвратительная инсценировка. Стоял трескучий мороз, в зале было темновато и мрачно. Вскоре после полудня суд в составе Ульриха, Матулевича и диввоенюриста Рычкова, заменившего Иону Никитенко, занял свои места. Вышинский сидел там же, где во время процесса Зиновьева—Каменева — за столом слева. Бойцы НКВД были в зимней форме — длинных шинелях и шлемах с наушниками.

Подсудимые были теперь другого сорта, чем те, которых судили в этом же зале и расстреляли в прошлом августе. Ведь в то время удар обрушился, в числе прочих, на подлинных соперников Сталина — на Зиновьева, Каменева. Нынешние обвиняемые не могли бросить никакого вызова руководству. Но сами по себе они были фигурами внушительными. Пятаков никогда не входил в Политбюро, но, как мы видели, долгое время был выдающейся и уважаемой фигурой в партии. Сокольников, в прошлом кандидат в члены Политбюро, был одним из серьезнейших и уважаемых политиков. Серебряков, в недавнем прошлом секретарь ЦК, отнюдь не являлся мелкой сошкой. А Радек, по крайней мере, был хорошо известен широкой публике.

Цели нового процесса не были такими ясными и очевидными, как цели предыдущего. Причины же его довольно просты. Во-первых, месть. Большинство бывших ведущих троцкистов было теперь уничтожено, но месть, по идее Сталина, должна была совмещаться с мерами предосторожности и превентивными действиями на будущее. Даже если, по обычным человеческим представлениям, непосредственного повода к процессу и не было, то окончательная чистка представлялась нужной Сталину, всегда верившему, что только мертвые не кусаются и что лучше жить в безопасности, чем в тревоге.

Кроме того, Сталин временно не мог поживиться более крупной добычей — Бухариным и «правыми». Процесс, таким образом, был лишь бледной копией того, о котором он мечтал. Но в то же время Сталин упорно работал в намеченном направлении. И процесс Пятакова давал ему в руки козырь — последовательность. Этот процесс должен был быть использован — и фактически был использован — для «вскрытия заговора» бухаринцев.

По рассмотрении всех этих мотивов остается одна небольшая загадка: почему к делу не был привлечен Угланов? Ведь еще 21 августа 1936 года было сказано, что по его делу ведется следствие. Его имя не появилось вместе с Бухариным и Рыковым, «реабилитированными» в сентябре. И вот теперь его не было на суде. Сталину было бы в высшей степени выгодно привлечь к суду в январе 1937 года такого видного «правого», как Угланов, чтобы перекинуть своего рода мост к Бухарину и другим. Даже если предположить, что Ягода покрывал Угланова, то после снятия Ягоды у Ежова было достаточно времени, чтобы подготовить Угланова к процессу, открывшемуся 23 января 1937 года. Единственное объяснение тайны заключается в том, что Угланов не сдался, что он не согласился говорить.

Обвиняемые на январском процессе были обозначены просто как «антисоветский троцкистский центр». Среди них не было представителей никакой другой группы или фракции — в отличие от процесса 1936 года над «троцкистско-зиновьевским террористическим центром» или последующего суда над «антисоветским право-троцкистским блоком». Однако на предыдущем процессе Зиновьева—Каменева троцкистская сторона дела выглядела очень неубедительно. Теперь Радека заставили дать следующие показания:

«Если возьмете состав старого центра, то со стороны троцкистов там не было ни одного из старых политических руководителей. Были — Смирнов, который являлся больше организатором, чем политическим руководителем, Мрачковский — солдат и боевик, и Тер-Ваганян — пропагандист».

Поскольку под рукой не было настоящих троцкистов, как в свое время были подлинные зиновьевцы, а позже истинные правые, пришлось удовольствоваться более или менее известными бывшими троцкистами.

Обвиняемые на процессе Пятакова отличались от их предшественников и в других отношениях. Тогда, в 1936 году, говорилось о «центре», состоявшем из семи человек, окруженном различными «заговорщиками». На сей раз «центр»,

---

Продолжение. Начало см.: «Нева», 1989, № 9—12.

как было сказано, состоял из четырех человек — Пятакова, Радека, Серебрякова и Сокольникова. Радек и Сокольников обвинялись в менее серьезных преступлениях, чем другие двое. Обвинение против Пятакова и Серебрякова гласило, что они организовали три главные вредительские группы (в числе десятков других, тоже будто бы ими организованные): железнодорожную подрывную организацию, возглавляемую Лившицем; «западно-сибирский антисоветский троцкистский центр» в Новосибирске, состоявший из Муралова, Богуславского и Дробниса и руководивший действиями различных промышленных вредителей в этом районе; и группу из трех вредителей в химической промышленности, непосредственно подчиненную Пятакову. Впрочем, согласно обвинительному заключению, специализация заговорщиков была не очень четкой: например, железнодорожный вредитель Князев был также японским шпионом, а вредители на сибирских шахтах выступали и в качестве организаторов покушений на всех членов Политбюро, посещавших данные промышленные районы.

Как мы уже видели, «заговорщики второго ранга» на этом процессе были гораздо более внушительными фигурами, чем их жалкие эквиваленты на прошлом, зиновьевско-каменевском процессе. Все вместе взятые, они составляли крупную и совсем неподдельную группу старых большевиков, поддерживавших Троцкого во внутрипартийной борьбе после смерти Ленина.

Обвинительное заключение на процессе Пятакова тоже резко отличалось от соответствующего документа, зачитанного в том же зале в августе 1936 года. Тогда это было просто обвинение в терроризме. И в показаниях и в речи Вышинского тогда отмечалось, что обвиняемые не имели никакой политической линии, а стремились только к захвату власти и к устранению Сталина. Но такие цели могли быть довольно популярны в народе, и поэтому вскоре после казни осужденных в 1936 году газеты начали писать о том, что Зиновьев на самом деле имел политическую программу — он собирался реставрировать капитализм, но, естественно, старался это скрыть. На февральско-мартовском пленуме ЦК в своем заключительном слове 3 марта 1937 года Сталин говорил следующее:

«На судебном процессе 1936 года, если вспомните, Каменев и Зиновьев решительно отрицали наличие у них какой-либо политической платформы. У них была полная возможность развернуть на судебном процессе свою политическую платформу. Однако они этого не сделали, заявив, что у них нет никакой политической платформы. Не может быть сомнения, что оба они лгали, отрицая наличие у них платформы» [1].

Теперь эта тема была ярко выражена в обвинительном заключении. Обвиняемые были якобы намерены отвергнуть индустриализацию и коллективизацию страны, они якобы рассчитывали на поддержку немецкого и японского правительств. Они будто бы обещали сделать территориальные уступки Германии, дать доступ в страну германскому капиталу, а в случае войны с Германией проводить вредительство в промышленности и на фронте. Это все, дескать, было согласовано во время встречи Троцкого и Рудольфа Гесса.

Троцкий якобы намекнул также на желательность поражения в войне, ибо будто бы писал Радеку следующее: «Надо признать, что вопрос о власти реальнее всего встанет перед блоком только в результате поражения СССР в войне. К этому блок должен энергично готовиться...» [2]

В ходе судебных заседаний говорилось также о шпионаже в пользу Германии и Японии. Кроме того, так же как и в деле Зиновьева, фигурирует ряд террористических групп, якобы организованных «в Москве, Ленинграде, Киеве, Ростове, Сочи, Новосибирске и других городах» *[3]. Была будто бы предпринята попытка покушения на Молотова путем организации автомобильной катастрофы в Прокопьевске в 1934 году. Однако практическая деятельность этих групп не была, по обвинительному заключению, ограничена подготовкой покушений. В дополнение к этому они еще занимались организацией всевозможных аварий в промышленности и вообще вредительством.

Поскольку идея террора против руководителей могла быть популярна и не вызывать ненависти к обвиняемым, обвинительное заключение содержало ряд пунктов, специально рассчитанных на то, чтобы настроить общественное мнение против подсудимых. Например, цитировалось показание Князева: «Особенно резко ставился японской разведкой вопрос о применении бактериологических средств в момент войны, с целью заражения острозаразными бактериями подаваемых под войска эшелонов, а также пунктов питания и санобработки войск».

Хотя такие обвинения налагали на обвиняемых ответственность за очень неприятные действия, они имели тот недостаток, что выглядели менее убедительными, чем обвинения прошлого, 1936 года. Хотя

---

[1] Сталин. Доклад на Пленуме ЦК ВКП(б) 3 марта 1937 г. («О недостатках партийной работы и мерах ликвидации троцкистских и других двурушников»). Полн. собр. соч., т. 14, Станфорд, 1967, с. 199.

[2] «Дело Пятакова», с. 9/14.

[3] Там же, с. 16/—.

суд над Зиновьевым и другими был полон очевидных фальшивок, там, по крайней мере, можно было говорить о некоем подобии действительного дела, хотя и приукрашенного НКВД. По меньшей мере не выглядело диким то обстоятельство, что оппозиционеры могли убить Кирова; еще менее странным выглядело их желание убить Сталина. Обвинения же на этом процессе выглядели исключительно неправдоподобными с любой точки зрения. Вредительство со стороны Пятакова и его помощников — это звучало совершенно неубедительно. Более того, это было практически несовместимо с обвинениями в терроризме. Как мы уже говорили, заговор с целью свергнуть правительство средствами террора вряд ли стал бы распылять энергию своих участников или рисковать разоблачением, создавая сеть вредителей на шахтах и железных дорогах — якобы для того, чтобы ослабить экономику и посеять недоверие к правительству.

Однако, если не в политическом, то в экономическом отношении можно отыскать известный здравый смысл в подборе Сталиным жертв для этого процесса. Дело в том, что ведь катастрофы и ошибки действительно происходили, и нужны были виноватые, козлы отпущения. Можно было доказывать, что работники типа Лившица были расстреляны для предостережения нерадивых начальников против дальнейших аварий. Но даже такой своеобразный «здравый смысл» имеет свои пределы. Расстреливать лучших организаторов хозяйства с тем, чтобы второразрядные организаторы сделались от страха лучше, чем они были до сих пор,— политика сомнительная. Правда, в конце концов в Советском Союзе нашлись кадры компетентных администраторов, способных работать под угрозой ликвидации в любой момент. Однако нет сомнения, что руководители, работая в таких обстоятельствах, не могли полностью развернуть свои способности, и страна до сих пор лишена талантливых руководителей, работающих в полную силу.

Конечно, тема вредительства была уже не новой. Обвинять во вредительстве — то была старая традиция, идущая от шахтинского процесса — и, действительно, в показаниях подчеркивается, что прошлое поколение вредителей было как-то связано с новым. Использовалась также техника, применявшаяся в шахтинском процессе и на суде над инженерами фирмы «Метрополитен-Виккерс». А именно, в показаниях содержалось огромное количество путаных технических подробностей. В результате суд над нынешними семнадцатью обвиняемыми занял семь дней — против пяти дней, которые понадобились для процесса над 16-ю обвиняемыми по делу Зиновьева—Каменева.

На январском процессе 1937 года обвиняемые появлялись в более логичном порядке, чем в прошлый раз. Сперва четверо руководителей, потом семеро западно-сибирских «террористов и вредителей», после них трое железнодорожников и, наконец, еще тройка, действовавшая в химической промышленности.

Первым был Пятаков. Вид у него был все еще интеллигентный и порядочный, но он явно постарел, был худ и бледен.

Его показания оставались в определенных пределах. Принимая на себя ответственность за формирование террористических и вредительских групп, за планирование террористических и диверсионных актов, предполагавшихся на будущее, Пятаков в то же время не признавался ни в каком участии в актах насилия и особенно отрицал прямую связь с заговорщиками. После значительных «разоблачений» по поводу политических связей якобы существовавшего заговора, он перешел к показаниям об организации вредительства. Но его «вредительские акты» были все время такого типа: «На Украине в основном работал Логинов и группа связанных с ним лиц в области коксовой промышленности. Их работа состояла в основном во вводе в эксплуатацию неготовых коксовых печей и потом во всяческой задержке строительства очень ценных и очень важных частей коксохимической промышленности. Вводили печи без использования всех тех, очень ценных продуктов, которые получаются при коксовании; тем самым огромные богатства обесценивались». «...Марьясин проводил вредительскую работу по следующим направлениям. Прежде всего направлял средства на ненужное накопление материалов, оборудования и прочего. Я думаю, что к началу 1936 года там находилось в омертвленном состоянии материалов миллионов на 50... За последнее время вредительство приобрело новые формы. Несмотря на то, что завод с 2-, 3-летним опозданием начал переходить к эксплуатационному периоду, Марьясин создал невыносимые условия работы, создал склоку, одним словом, всячески затруднял эксплуатационную работу». «Прежде всего был составлен совершенно неправильный план развития военно-химической промышленности...». «...несмотря на то, что наша страна изобилует солью, и сырья для соды сколько угодно, и производство соды известно хорошо, в стране дефицит соды. Задерживалось строительство новых содовых заводов».

Иначе говоря, Пятаков признавал совершенно очевидные действия, проистекавшие от халатности или плохого планирования — и, действительно, его подчиненные могли допускать такие ошибки.

Зато определение обвинения он полностью отрицал:

Вышинский: Обвиняемый Пятаков, вы согласны с тем, что сказал Шестов?

Пятаков: Шестов, возможно, и говорил с кем-нибудь, но только не со мной. Он говорил, что некто с карандашом в руках подсчитывал стоимость руды. Такого разговора со мной не было *.

Еще эпизод в том же духе:

Вышинский: Теперь вы припоминаете разговор с Ратайчаком о шпионаже?

Пятаков: Нет, я это отрицаю.

Вышинский: А с Логиновым?

Пятаков: Это я тоже отрицаю.

Вышинский: Но эти члены вашей организации были связаны с иностранными разведками?

Пятаков: Что касается факта существования таких связей, я этого не отрицаю; но что я знал, что были установлены...*

Пятаков фразы не договорил. Неясно, принял ли он такую линию поведения на процессе самостоятельно (как за пять месяцев до него сделал И. Н. Смирнов на процессе Зиновьева—Каменева) или ему было разрешено избегать ответственности за наиболее острые обвинения, чтобы дать ему (и Орджоникидзе) подумать, что его преступления не поведут к смертной казни.

Даже в том, что касалось его отношений с Троцким, Пятаков сделал определенные туманные оговорки, как бы для того, чтобы посеять недоверие к своим показаниям. Вот, например:

Вышинский: в разговоре с Троцким в декабре 1935 года он изложил вам свои установки. Вы их восприняли как директиву или просто как ни к чему не обязывающий разговор?

Пятаков: Конечно, как директиву.

Вышинский: Следовательно, можно считать, что вы согласились с этими установками?

Пятаков: Можно считать, что я их выполнил.

Вышинский: И выполнили их.

Пятаков: Не «и выполнил их», а «выполнил их».

Вышинский: Здесь нет никакой разницы.

Пятаков: Для меня разница есть.

Вышинский: В чем?

Пятаков: Что касается действий, особенно уголовно наказуемых действий, разницы нет никакой. *

Упомянутая в приведенном отрывке из стенограммы встреча Пятакова с Троцким была центральным пунктом всего обвинения. На этой встрече Троцкий якобы изложил полную программу для заговорщиков — ей отведено шесть полных страниц в английском издании судебного отчета и соответственно три в сокращенном русском издании. Но трудность состояла в том, что Троцкий был в Норвегии, а Пятаков никогда не ездил дальше Берлина, где в декабре 1935 года выполнял поручения советского правительства. Его сколько-нибудь длительное отсутствие во время работы в Берлине было бы, разумеется, замечено, поэтому его показания на процессе о встрече с Троцким гласили примерно следующее. В берлинском зоопарке он встретил агента Троцкого, который подготовил ему полет в Норвегию. Утром 12 декабря Пятаков якобы взлетел на самолете с аэродрома Темпельгоф с фальшивым немецким паспортом, приземлился на аэродроме в Осло в 3 часа пополудни, добрался на машине до дома Троцкого и там вел конспиративные переговоры (в которых Троцкий впервые открыл ему, что встречал фашистского руководителя Гесса и договорился с ним о сотрудничестве во время войны и мира).

Эта история была немедленно разоблачена как фальшивка. Сталин, лично настоявший на прямом вовлечении Троцкого в заговор — отчего и попала в сценарий процесса встреча Троцкого с Пятаковым,— вновь столкнулся с трудностями фабрикации правдоподобного события, происшедшего за границей. 25 января 1937 года норвежская газета «Афтенпостен» опубликовала сообщение, что ни один гражданский самолет не приземлялся на аэродроме Хеллер в Осло на протяжении всего декабря 1935 года. 29 января норвежская социал-демократическая газета «Арбейдербладет» после дальнейшего расследования установила, что вообще никакой самолет не приземлялся на этом аэродроме между сентябрем 1935-го и маем 1936 года.

В свою очередь Троцкий теперь опубликовал требование, чтобы Пятакова спросили обо всех деталях этого якобы имевшего место полета, включая имя, на которое был выписан ему фальшивый паспорт, ибо по этому имени можно было легко сделать проверку въезда в Норвегию. Троцкий бросил и более серьезный вызов Сталину: он написал, что Сталин может потребовать у норвежского правительства высылки Троцкого из страны, если факт прилета к нему Пятакова будет юридически установлен норвежским судом.

Эту грубую фальсификацию было решительно нечем прикрыть. В руководящих партийных кругах скоро заговорили о норвежских разоблачениях.

Бывший посол СССР в Болгарии Ф. Ф. Раскольников в нашумевшем в свое время заявлении обвиняет Сталина, между прочим, в том, что он отлично знал, что Пятаков не летал в Осло.

В конце процесса, 27 января, Вышинский сделал исключительно слабую попытку противопоставить хоть что-нибудь неблаговидной норвежской истории:

Вышинский: Больше у меня вопросов нет. Ходатайство к суду: я интересовался этим обстоятельством и просил Народный

комиссариат иностранных дел обеспечить меня справкой, ибо я хотел проверить показания Пятакова и с этой стороны. Я получил официальную справку, которую прошу приобщить к делу. *(Читает.)*

«Консульский отдел Народного Комиссариата иностранных дел настоящим доводит до сведения прокурора СССР, что, согласно полученной полпредством СССР в Норвегии официальной справке, аэродром в Хеллере, около Осло, принимает круглый год, согласно международных правил, аэропланы других стран, и что прилет и отлет аэропланов возможны и в зимние месяцы». *(Пятакову.)* Это было в декабре?

Пятаков: Так точно [1].

Таким образом, еще одно советское учреждение «удостоверило» не факт, а просто техническую возможность полета Пятакова. Можно было думать, что один этот ужасающий провал дискредитирует в глазах иностранцев весь процесс. Но любой, кто на это надеялся, вскоре мог обнаружить, что расчеты Сталина на политическую наивность и доверчивость других имели более прочный фундамент, чем казалось.

Утром 24 января на суде устроил яркое представление Радек, который, как уже упомянуто, принимал участие в составлении сценария процесса. В то время как другие обвиняемые говорили вяло и угрюмо, он вложил в показания подлинные чувства. Радек развернул в своем выступлении историю троцкизма после 1927 года и сложные связи между обвиняемыми на процессе и расстрелянными зиновьевцами. Он затем перечислил целый ряд новых террористических групп, возвел обвинение на Бухарина, говорил о «бонапартистском» режиме, который Троцкий намеревался установить под фашистским контролем, и добавил, что Троцкий был готов пожертвовать Украину и Дальний Восток агрессорам.

Радек дал подходящее объяснение запоздалым троцкистским призывам к партийной демократии: «Люди начинают спорить о демократии только когда они расходятся по принципиальным вопросам. Когда люди соглашаются друг с другом, они не чувствуют нужды в широкой демократии, это ясно без слов» *.

Несмотря на свою готовность сотрудничать с обвинением, Радек сделал несколько нелогичных выпадов против обвинительного заключения, хотя и в туманной манере. Он восклицал, например: «Просто — „за здорово живешь", для прекрасных глаз Троцкого — страна должна возвращаться к капитализму!». Фактически это означало, что обвинение в желании реставрировать капитализм только для того, чтобы привести Троцкого к власти, было по меньшей мере странным. Особенно если обвинение это касалось, по словам самого Радека, «таких людей, как Яков Лившиц или Серебряков, у которых за плечами десятилетия революционной работы» *, чей духовный строй должен был быть полностью подорван, если они могли «опуститься до вредительства» * и «действовать по инструкциям классового врага» *.

В целом, Радек был наиболее полезным для суда и убедительным обвиняемым. Тем не менее, когда он закончил основную часть своих показаний, Вышинский стал его задирать и получил несколько острых отповедей вроде: «Вы глубокий знаток человеческих душ, но я тем не менее изложу мои мысли собственными словами» *. Или еще:

Вышинский: Вы это приняли? И вы вели этот разговор?

Радек: Вы это узнали от меня, значит, я и вел разговор *.

В конце концов, Вышинский напомнил Радеку, что тот не только не донес о заговоре, но также отказывался давать показания в течение трех месяцев, и сказал: «Не ставит ли это под сомнение то, что вы сказали относительно ваших колебаний и дурных предчувствий?» *.

Радек пришел в раздражение и выпалил то, что было слабейшим пунктом всего дела:

«Да, если вы игнорируете тот факт, что узнали о программе и об инструкциях Троцкого только от меня,— тогда, конечно, это бросает сомнение на то, что я сказал» *.

В ходе показаний Радека ему было велено заявить, что в 1935 году «Виталий Путна встречался со мной, передав одну просьбу Тухачевского» *.

Так и записано по меньшей мере в английском издании стенографического отчета о процессе, хотя комкора Путну звали не Виталий, а Витовт. Но это был уже второй намек на участие комкора в некоей преступной деятельности. Однако гораздо более поразительным было упоминание имени Тухачевского, хотя и в невинном контексте. Москва загудела, восприняв это как первый удар грома над головой знаменитого маршала.

Впрочем, на вечернем заседании Радек снова был вызван и в ходе длительного диалога с Вышинским отвел какие-либо возможные подозрения от Тухачевского. Тем не менее само упоминание этого имени прозвучало угрозой и было таковой воспринято.

В тот же день был вызван для допроса Сокольников. Он мало что имел добавить, разве только назвал несколько новых террористических групп. Из его слов следовало, что он имел весьма отдаленную связь с террором и вредительством, и тут, в отличие от допроса Пятакова, Вышин-

[1] «Дело Пятакова», с. 443/156.

ский не донимал его вопросами с целью установить обратное. Главным, так сказать, вкладом Сокольникова было его замечание относительно предыдущего поколения вредителей:

Сокольников: ...Указывалось на то, чтобы найти бывшие вредительские организации среди специалистов.

Вышинский: Среди бывших вредителей периода «промпартии», «шахтинского процесса»? [1] Какая же по отношению к ним была принята линия?

Сокольников: Троцкистская линия, позволяющая вредительским группам блока устанавливать контакт с теми, бывшими группами *.

Последовавший за Сокольниковым Серебряков «разоблачил» ряд руководителей железных дорог и сообщил, что организация железнодорожного транспорта до назначения Кагановича наркомом в 1935 году была равнозначна намеренному вредительству. В остальном он лишь добавил сведения еще о некоторых террористических группах — сведения, пополнившие и без того уже большой запас.

25 и 26 января проходил допрос «сибиряков». Их показания, с одной стороны, концентрировались на связях между ними и Пятаковым, то есть «Московским центром»; а с другой стороны — на подробностях задуманных ими катастроф и взрывов.

Дробнис начал показания с обычных примеров ошибочного планирования в промышленности:

«Одна из вредительских задач в плане — это распыление средств по второстепенным мероприятиям. Второе — это торможение строительства в таком направлении, чтобы важные объекты не ввести в эксплуатацию в сроки, указанные правительством.

Вышинский: Главным образом, по предприятиям оборонного значения?

Дробнис: Да. Далее частые перепроектировки, задержка расчетов с проектирующими организациями, из-за чего проекты получались очень поздно. Это, само собой понятно, задерживало темпы и ход строительства.

В действующих предприятиях по коксохимическому заводу сознательно был допущен ряд недоделок, которые очень серьезно отражались на работе завода, понижали качество продукции, давали кокс очень высокой влажности и зольности...».

«...Кемеровская районная электростанция была приведена в такое состояние, что если было бы необходимо для вредительских целей, если бы последовал приказ, можно было бы затопить угольную шахту. К тому же поставлялся уголь, технически непригодный для электростанции, и это вело к взрывам. Все это делалось намеренно» *.

Потом Дробнис перешел к случаю на шахте «Центральная». И после угроз и давления со стороны Вышинского закончил признанием, что заговорщики надеялись погубить взрывами как можно больше человеческих жизней. Хотя во время катастрофы Дробнис уже находился в тюрьме, он принял на себя ответственность.

Агент НКВД Шестов подтвердил показание Сокольникова и других «вредителей». Он сделал многозначительное предупреждение всем инженерам в стране:

«...хотя Овсяников и не был членом нашей организации, он представлял собой такого руководителя, который все передоверил инженерам и ничего не делал сам; его легко было обратить в троцкизм» *.

Если верить признаниям Шестова, то установленная им система проходки в Прокопьевске имела результатом не менее шестидесяти подземных пожаров к концу 1935 года.

Шестов объявил, что невыносимая жизнь рабочих была следствием не правительственной, а троцкистской политики:

«Была дана директива вымотать нервы у рабочих. Прежде чем рабочий дойдет до места работы, он должен двести матов пустить по адресу руководства шахты. Создавались невозможные условия работы. Не только стахановскими методами, но и обычными методами невозможно было нормально работать».

Такие же признания во вредительстве дали Норкин и Строилов. Норкин сказал, что «в соответствии с этим мной был задуман вывод из строя нашей ГРЭС путем взрывов. В феврале 1936 года было три взрыва». А «чтобы при больших капиталовложениях иметь меньше эффекта», он старался «капиталовложения направлять не на основные объекты, а на менее важные». Когда же Норкина спросили о мотивах его признаний, он попытался намекнуть на истинное положение вещей:

Вышинский: А потом почему решили отказаться?

Норкин: Потому что есть предел всему.

Вышинский: Может быть, на вас нажали?

Норкин: Меня спрашивали, разоблачали, были очные ставки.

Вышинский: Как вы вообще содержались, условия камерного содержания?

Норкин: Очень хорошо. Вы спрашиваете о внешнем давлении?

Вышинский: Да.

Показания Строилова интересны главным образом тем, что они отразили сталинскую точку зрения на сочинения Троцкого:

[1] В сокращенном газетном издании диалог здесь обрывается; в полной стенограмме процесса он продолжается.

Строилов: Я сказал, что я читал книгу Троцкого «Моя жизнь». Он спросил меня, понравилась ли мне эта книга. Я ответил, что с литературной точки зрения он как журналист пишет хорошо, но книга не понравилась мне потому, что в ней бесчисленное количество «я» *.

В конце допроса Строилова Вышинский, который, как мы помним, не очень старался проверить историю с аэродромом в Осло, пустился в долгие разговоры, чтобы установить реальность одного ничтожного контакта, якобы имевшего место у Строилова в Берлине:

«Тов. Вышинский просит суд приобщить к делу справку отеля „Савой“ о том, что Берг Г. В., германский подданный, коммерсант, жил в отеле „Савой“ с 1 по 15 декабря 1930 года. Номер телефона комнаты, занимавшейся Бергом, совпадает с номером, записанным в книжке Строилова» [1].

Суд удовлетворил ходатайство государственного обвинителя, после чего Вышинский проделал то же самое с адресом в Берлине, куда якобы ходил Строилов:

Вышинский: Я прошу суд приобщить к делу этот берлинский адрес и номер телефона, взятые из вот этой официальной публикации (вручает суду большую книгу в красном переплете). На странице 206, под номером 8563 значится имя Вюстера, Армштрассе и адрес этого Вюстера, который упоминается также в записной книжке Строилова *.

Суд удовлетворил и эту просьбу, и телефонно-адресная книга Германского Рейха, издание седьмое, том второй, по сей день составляет часть громадного досье, которое где-то в советских государственных архивах собирает пыль для будущих поколений.

Муралов так же, как и Дробнис, во время взрыва на шахте «Центральная» сидел в тюрьме. Но в отличие от Дробниса он отказался взять на себя ответственность за катастрофу.

Председательствующий: Знали ли вы, что на кемеровских угольных шахтах троцкисты загазовали штреки и создали абсолютно невыносимые условия труда?

Муралов: Дробнис работал на химзаводе — он находится под руководством одного треста, а шахтами руководит другой трест.

Председательствующий: Я понимаю. Я говорю о кемеровской шахте.

Муралов: Я не знал, что они взяли курс на загазовку шахты «Центральная», и Дробнис мне этого не докладывал. Это случилось, когда я уже был в тюрьме.

Председательствующий: В ваших показаниях содержится следующая фраза: «На кемеровской шахте троцкисты загазовали штреки и создали невыносимые условия для рабочих»

Муралов: Я узнал об этом, когда был в тюрьме, как о результате всей подрывной работы троцкистов *

На Муралове лежала якобы ответственность за организацию покушений. В его показаниях обнаруживается одно из самых слабых мест всей легенды:

Вышинский: А не говорилось ли, что террор вообще не дает результатов, когда убьют только одного, а остальные остаются, и поэтому надо действовать сразу?

Муралов: И я, и Пятаков — мы чувствовали, что эсеровскими партизанскими методами действовать нельзя. Надо организовать так, чтобы сразу произвести панику. В том, что создастся паника и растерянность в партийных верхах, мы видели один из способов прийти к власти.

Но, признаваясь в подготовке к покушению на Эйхе и Молотова, Муралов горячо отвергал обвинения в том, что следующей жертвой был намечен Орджоникидзе:

Муралов: ...относительно 1932 года и указаний Шестова о покушении на Орджоникидзе. Категорически заявляю, что это относится к области фантастики Шестова. Таких указаний я никогда не давал.

Вышинский: Он путает?

Муралов: Я не знаю, путает он или просто дает волю своей фантазии [1].

Вышинский был так раздражен этими словами, что вернулся к ним в своей заключительной речи, указав на очевидную странность: почему Муралов ни под каким видом не признает приписываемой ему попытки убить Орджоникидзе, сознаваясь в то же время в том, что организовал террористический акт против Молотова?

И это действительно странно. Трудно рассматривать это иначе, как демонстрацию лояльности к Орджоникидзе и надежду на его помощь.

Что касается покушения на Молотова, то оно интересно как единственное, казалось бы, реальное действие террористов, не считая убийства Кирова. Правда об этом событии была изложена в 1961 году в выступлении Шверника на XXII съезде КПСС:

«Вот еще один пример крайнего цинизма Молотова. При поездке его в город Прокопьевск в 1934 году машина, в которой он находился, съехала правыми колесами в придорожный кювет. Никто из пассажиров не получил никаких повреждений. Этот эпизод впоследствии послужил основанием версии о „покушении“ на жизнь Молотова, и группа ни в чем не повинных людей была за это осуждена.

---

[1] Цитируемый русский текст несколько сокращен в сравнении с английским изданием стенограммы процесса.

[1] В тексте газетного отчета последние вопрос и ответ отсутствуют.

Кому, как не Молотову, было известно, что на самом деле никакого покушения не было, но он не сказал ни слова в защиту невинных людей. Таково лицо Молотова»[1].

На суде Муралов показал, что по плану шофер должен был пожертвовать собой для уничтожения Молотова в катастрофе:

Муралов: Автомобиль должен был свернуть в канаву на полном ходу. При таком условии автомобиль переворачивается по инерции вверх ногами, машина ломается, люди...

Вышинский: Позвольте спросить Шестова. Подсудимый Шестов, вы подтверждаете в этой части показания Муралова?

Шестов: Да...

Вышинский: Получив прямое поручение от Муралова о подготовке террористических актов, что вы сделали практически?

Шестов: ...В подготовительном плане предусматривалось совершение террористического акта путем автомобильной катастрофы и было выбрано два удобных места. Это, кто знает Прокопьевск, возле шахты № 5, по направлению к рудоуправлению, и второе место — между рабочим городком и шахтой № 3. Там не канавка, как говорил Муралов, а овраг метров в 15.

Вышинский: «Канавка» в 15 метров! Кто выбирал это место?..

Шестов: ...На самом деле он (шофер) хотя и повернул руль в овраг, но повернул недостаточно решительно, и ехавшая сзади охрана сумела буквально на руках подхватить эту машину...

Председательствующий: Возвращаемся к допросу обвиняемого Муралова.

Муралов: Разрешите по поводу объяснения Шестова. Я не буду вступать в дискуссию с Шестовым — канавка или овраг...

Вышинский: Вы лично были на месте, где находится канавка?

Муралов: Нет, не был.

Вышинский: Если вы не видели места, не можете оспаривать.

Муралов: В дискуссию я не буду вступать...

Неприятное для обвинения показание Муралова относительно «канавы», а не «оврага», основывалось, очевидно, на знании обстоятельств дела. В обвинительной речи Вышинский сказал об этом следующее: «Но факт остается фактом. Покушение на товарища Молотова произошло. Эта авария на гребешке 15-метровой „канавки", как здесь Муралов скромненько говорил,— факт».

Любопытно еще, что единственный террористический заговор (помимо убийства Кирова), который достиг стадии хоть каких-то действий, был проведен не специально обученным верным троцкистом, а завербованным на месте мелким мошенником по имени «Арнольд, он же Иванов, он же Васильев, он же Раск, он же Кульпенен...», как представил его Вышинский. Хотя Троцкий якобы чрезвычайно настаивал на выполнении нескольких террористических актов более или менее одновременно, только один из них, против Молотова, был доведен хоть до каких-то действий. Правда, Молотов (даже согласно официальной версии) был лишь слегка испуган. Но никто из остальных будто бы намеченных жертв Пригожина или Голубенко или других профессиональных убийц не испытал даже этого легкого страха.

Дополнить ничтожный факт крупной дозой фантазии оказалось для суда нелегким делом. Поскольку была взята действительная авария, которую приказали раздуть до покушения на убийство, то убийцей выступал не заранее выбранный агент НКВД, а действительный водитель машины. И это обернулось ошибкой. Суд столкнулся не с Ольбергом или Берманом-Юриным, как на прошлом процессе,— отобранными и специально подготовленными провокаторами,— а с человеком, абсолютно не подходящим для той роли, которую ему выпало играть.

Допрос Арнольда, водителя машины, который якобы по приказу сибирских заговорщиков совершил покушение, Вышинский начал на вечернем заседании 26 января. Весь диалог между ними выглядел нелепым фарсом. На этот раз казалось, что Вышинский запутался сам.

Арнольд заявил, что его «остановила трусость» и вместо катастрофы он сделал лишь легкую аварию. Но было абсолютно ясно, что ни один заговорщик не мог ожидать самопожертвования от такого человека, как Арнольд. Между тем по показаниям других обвиняемых, план был именно таков. В конце своих показаний Арнольд заявил, что его убедили, что троцкистская организация сильна, что она будет у власти и что он в таком случае в последних рядах не останется. Но это прямо противоречило главной идее якобы планировавшегося покушения — идее самопожертвования шофера.

В ходе допроса (занимающего в стенографическом отчете около тридцати страниц) Вышинский столкнулся не с обвиняемым-сотрудником, как обычно, не с более или менее интеллигентным человеком, а с люмпен-пролетарием, мелким мошенником и авантюристом. Понадобилось пять или десять минут только для того, чтобы добраться до настоящего имени Арнольда среди его всевозможных псевдонимов и кличек, но даже после этого с именами продолжалась путаница.

[1] XXII съезд КПСС. Стеногр. отчет. т. II, М., 1961, с. 216.

В ходе допроса выяснилось, что обвиняемый уже с детства носил фамилию крестного, а не отца и не матери. Еще мальчишкой Арнольд перебрался в Финляндию, потом в Германию и Голландию под очередным псевдонимом, а потом, во время первой мировой войны, в Норвегию и Англию. По возвращении в Россию он был призван в армию, но дезертировал и получил по суду шесть месяцев дисциплинарного взыскания.

Вопросами и ответами на такие темы заполнены целые страницы стенографического отчета. Опять Вышинский путается в именах, в сложной неразберихе номеров и названий воинских частей, в которые Арнольд входил во время первой мировой войны и из которых дезертировал, по поводу воинских званий, которые были ему действительно присвоены или которые он присваивал себе сам, попросту добавляя нашивки на погоны. Ответы Арнольда противоречили жизнеописанию, данному им самим на предварительном следствии. Председатель суда должен был призвать его к порядку, но и это не очень помогло.

Мы узнаём, что Арнольд украл несколько железнодорожных литеров, добрался до Владивостока, а потом, уже опять под другим именем, очутился в Нью-Йорке, где вступил в американскую армию, хотя не говорил по-английски. В Америке он сидел в тюрьме пять или шесть месяцев — в этом месте Вышинский опять увяз в противоречиях относительно того, сколько раз вообще Арнольд сидел (выходило, что всего дважды). Создалась путаница и насчет того, сколько раз он зачислялся в американскую армию — то ли дважды, то ли вообще никогда. Арнольд заявил, что был во Франции с американской армией, а потом выплыл на свет его визит в Южную Америку. Он будто бы был масоном в Соединенных Штатах и в то же самое время членом коммунистической партии США. Такая мешанина идет на двадцати трех страницах стенограммы, и на протяжении всего этого выплывает единственное возможное обвинение против Арнольда — что он скрыл от партии свое членство в масонской ложе.

По-видимому, в СССР Арнольд попал с группой американских специалистов, которых пригласили в Кемерово, а уж там вступил в ВКП(б). В Западной Сибири он работал начальником канцелярии, потом возглавлял водный транспорт, работал в отделе снабжения и сбыта, а затем отвечал за телефонную систему на больших предприятиях Кемерова и Кузнецка. В 1932 году он, в конце концов, вступил в контакт с троцкистами и «сошелся» с Шестовым. К тому времени Арнольда уже уволили с работы за антисоветские высказывания, а кроме того, Шестов докопался до двух прежних имен Арнольда — хотя, чтобы это установить, Вышинский опять запутался в долгих спорах насчет того, сколько было имен вообще.

Единственное реальное свидетельство против Арнольда изложено приблизительно на полутора страницах. Оно заключается в том, что, по словам самого Арнольда, «мне конкретно Черепухин сообщил, что завтра приезжает Орджоникидзе. Смотри, ты должен будешь выполнить террористический акт, не считаясь ни с чем». Но он «не смог этого сделать», не выдержали нервы.

Когда приехал Молотов, план был точно таким же. Но «канава» превратилась теперь уже не в «овраг», а в «откос»:

Арнольд: ...На этом закруглении имеется не ров, как назвал Шестов, а то, что мы называем откосом — край дороги, который имеет 8—10 метров глубины, падение примерно до 90°. Когда я подал машину к поезду, в машину сели Молотов, секретарь райкома партии Курганов и председатель краевого исполнительного комитета Грядинский...*

Однако Арнольда будто бы опять «остановила трусость», и он только слегка свернул с дороги, когда его прижал грузовик, тоже, по-видимому, нанятый заговорщиками. Никто не пострадал.

Арнольд получил выговор за небрежное вождение, а потом устроился на работу в Ташкенте, позже вернулся в Новосибирск, стал заместителем начальника отдела снабжения и, наконец, зав. гаражом. И это было все.

После Арнольда допрашивались заместитель наркома путей сообщения Лившиц и другие железнодорожные заговорщики. Эта часть процесса была, очевидно, личным заповедником Кагановича. И Лившиц и Князев в заключительном слове упомянули, что обманывали доверие Кагановича — и это было, по их словам, особенно отвратительным преступлением. Лившиц говорил так:

«Граждане судьи! Обвинение, предъявленное мне государственным обвинителем, усугубляется еще тем, что я из рабочих низов был поднят партией на высоту государственного управления — до заместителя Народного комиссара путей сообщения. Я был окружен доверием соратника Сталина, Кагановича».

А Князев сокрушенно восклицал:

«...И всегда в этих разговорах я переживал чудовищную боль, когда Лазарь Моисеевич всегда мне говорил: „Я тебя знаю, как работника-железнодорожника, знающего транспорт и с теоретической и с практической стороны. Но почему я не чувствую у тебя того размаха, который я вправе от тебя требовать?“».

Лившиц, как наиболее заметная фигура, обвинялся, помимо прочего, в организации различных покушений. Но в основ-

ном показания обвиняемых-железнодорожников сводились к признаниям в организации крушений поездов и в шпионаже в пользу Японии. Масштаб «вражеского» заговора на железных дорогах несет явные следы, так сказать, стиля Кагановича: обвинять повально, вырывать с корнем. Все обвиняемые называли целые списки «вредителей», окопавшихся во всех звеньях железнодорожной сети. Вышинский особенно старался выявить вредительские убийства невинных граждан:

Вышинский: Вы не помните, эти 29 красноармейцев были крепко искалечены?

Князев: Человек 15 было сильно искалечено.

Вышинский: В чем же выражалась тяжесть ранений?

Князев: Были у них сломаны руки, головы пробиты...

Вышинский: Это по милости вашей и ваших соучастников?

Князев: Да.

Вредительская сеть на железных дорогах была якобы всеохватывающей, что видно, например, из списка участников единичного вредительского акта.

Вышинский: Но почему же возможно было такое нарушение правил железнодорожной службы? Не потому ли, что начальство станции было связано с троцкистами?

Князев: Совершенно правильно.

Вышинский: Назовите эти лица.

Князев: Начальник станции Маркевич, исполняющий обязанности начальника станции Рычков, помощник начальника станции Баганов, помощник начальника станции Родионов, главный стрелочник Колесников.

Вышинский: Пять.

Князев: Стрелочник Безгин.

Вышинский: Шесть.

Князев: Там постоянно находился также начальник службы пути на участке Бродовиков.

Вышинский: Да, а также сам начальник дороги [1].

Только на своей одной Южно-Уральской железной дороге Князев назвал длинный список соучастников, что в какой-то степени отражает исключительный размах террора среди железнодорожников всей страны. В дополнение к руководителям дороги были названы начальники службы пути на нескольких участках, начальники службы движения, инспекторы-движенцы, руководители службы тяги, мастера и инженеры паровозных депо. А также начальники станций, помощники начальников, машинисты, стрелочники. Всего Князев назвал тридцать три человека — и всех их представил как кадры своей троцкистской организации на Южно-Уральской дороге

Князев продолжал показания:

«Мы непосредственно организовали от 13 до 15 крушений поездов. Я помню, что в 1934 году всего произошло около 1500 крушений поездов и аварий...».

В депо Кургана были введены мощные паровозы «ФД». Пользуясь тем, что их слабо знали в депо, администрация сознательно ухудшала качество надзора в текущем ремонте, вынуждала машинистов часто выезжать с неполным ремонтом. Были доведены до разрушения почти все водопробные приборы. В итоге этой запущенности в январе 1936 года на перегоне Роза — Варгаши произошел взрыв топки.

Вышинский: ...крушение 7 февраля 1936 года на перегоне Единовер — Бердяуш совершенно по вашему заданию?

Князев: Да... Железнодорожники считают, что если лопнул рельс, то винить некого.

Вышинский: Иными словами, это считается объективными причинами?

Князев: Виноватых не нашли...

После железнодорожников наступила очередь химиков. Уже знакомые обвинения повторялись теперь в несколько ином контексте. Ратайчак сделал слабую попытку самозащиты:

Ратайчак: ...Нет, но я должен был это сделать, гражданин государственный обвинитель, потому что если бы мы не приняли мер предосторожности, то была бы опасность, что погибнут сотни рабочих. Поэтому я с самого начала руководил всеми работами на месте.

Вышинский: Вы руководили так, что 17 рабочих было убито и 15 ранено. Правильно?

Ратайчак: (молчит).

Вышинский: Вы руководили всеми работами так, что 17 рабочих было убито и 15 ранено.

Ратайчак: Верно, это была единственная возможность [1].

Обвинение завершилось тем, что были прочтены заключения различных экспертных комиссий. Все взрывы и пожары на шахтах эксперты приписали обвиняемым. Но по поводу экспертизы Строилов тонко заметил, что система проходки шахт, во внедрении которой с вредительскими целями обвинялись подсудимые, применялась и до них.

28 января, в 4 часа дня, Вышинский начал обвинительную речь:

«Вот бездна падения! Вот предел, последняя черта морального и политического разложения! Вот дьявольская безграничность преступлений!».

Он говорил о чувствах, которые каждый честный человек испытывал по отноше-

---

[1] «Дело Пятакова», с. 368/138. В сокращенном издании перечисление опущено.

[1] В сокращенном издании последняя реплика Ратайчака опущена.

нию к осужденным на прошлом процессе зиновьевцам. Теперь надо снова поднять голос. Ибо «превращение троцкистских групп в группы диверсантов и убийц, действующих по указанию иностранных разведок и генеральных штабов агрессоров, лишь завершило борьбу троцкизма против рабочего класса и партии, борьбу против Ленина и ленинизма, длившуюся десятилетиями».

Вышинский заявил, что обвиняемые «это не политическая партия. Это банда преступников, представляющих собой простую агентуру иностранной разведки».

Согласно Вышинскому, обвиняемые были хуже белогвардейцев: «...они пали ниже последнего деникинца или колчаковца. Последний деникинец или последний колчаковец выше этих предателей. Деникинцы, колчаковцы, милюковцы не падали так низко, как эти троцкистские иуды».

В качестве типичного заговорщика был выбран Ратайчак. О нем Вышинский заметил в довольно раздраженной форме: «Вот Ратайчак, не то германский, не то польский разведчик, но что разведчик, в этом не может быть сомнения, и, как ему полагается,— лгун, обманщик и плут».

Подобный анализ, определяющий антисталинизм как преступный фашизм, естественно, совпадал со сталинскими предсказаниями, ныне подкрепленными сталинским судом: «...Предсказания товарища Сталина полностью сбылись. Троцкизм действительно превратился в центральный сборный пункт всех враждебных социализму сил, в отряд простых бандитов, шпионов и убийц, которые целиком предоставили себя в распоряжение иностранных разведок, окончательно и бесповоротно превратились в лакеев капитализма, в реставраторов капитализма в нашей стране».

Но в речи Вышинского было и нечто более интересное, чем прямые оскорбления по адресу обвиняемых. А именно, указания на подготовку дальнейших действий. Он многозначительно говорил: «Я напомню вам о том, как, скажем, по делу объединенного троцкистско-зиновьевского центра некоторые обвиняемые клялись вот здесь, на этих же самых скамьях в своих последних словах,— одни прося, другие не прося пощады,— что они говорят всю правду, что они сказали все, что у них за душой ничего не осталось против рабочего класса, против нашего народа, против нашей страны. А потом, когда стали распутывать все дальше и дальше эти отвратительные клубки чудовищных, совершенных ими преступлений,— мы на каждом шагу обнаруживали ложь и обман этих людей, уже одной ногой стоявших в могиле.

Если можно сказать о недостатках данного процесса, то этот недостаток я вижу только в одном: я убежден, что обвиняемые не сказали и половины всей той правды, которая составляет кошмарную повесть их страшных злодеяний против нашей страны, против нашей великой Родины!».

Намек на обвинения, выдвинутые против Бухарина в следующем году, содержался в особенно зловещем абзаце речи прокурора: «Это Пятаков и его компания в 1918 году, в момент острейшей опасности для Советской страны, вели переговоры с эсерами о подготовке контрреволюционного государственного переворота, об аресте Ленина с тем, чтобы Пятаков занял пост руководителя правительства — председателя Совнаркома. Через арест Ленина, через государственный переворот прокладывали себе эти политические авантюристы путь к власти!».

Под конец Вышинский процитировал Сокольникова, говорившего о важном единстве всех участников оппозиции — о единстве, основанном на рютинской программе:

«Что касается программных установок, то еще в 1932 году и троцкисты, и зиновьевцы, и правые сходились в основном на программе, которая раньше характеризовалась как программа правых. Это — так называемая рютинская платформа; она в значительной мере выражала именно эти, общие всем трем группам, программные установки еще в 1932 году».

Был уже эскизно намечен персональный состав будущих процессов. В дополнение к Бухарину и Рыкову обвинение было выдвинуто против Раковского (в показаниях Дробниса).

Был назван по имени также грузинский партийный деятель Мдивани.

Вышинский заявил, что виновность подсудимых в данном случае была подтверждена с такой строгостью, какая не требуется в буржуазном суде: «Мы при помощи экспертизы проверили показания самих подсудимых и, хотя мы знаем, что в некоторых европейских законодательствах признание подсудимым своей вины считается достаточно авторитетным для того, чтобы уже не сомневаться больше в его виновности, и суд считает себя вправе освободить себя от проверки этих показаний, мы все же для того, чтобы соблюсти абсолютную объективность, при наличии даже собственных показаний преступников проверяли их еще с технической стороны и получали категорический ответ и о взрыве 11 ноября, и о горных пожарах на Прокопьевском руднике, и о пожарах и взрывах на Кемеровском комбинате. Установили, что не может быть никакого сомнения в наличии злого умысла».

Коснулся Вышинский и некоторых сомнительных пунктов прошлого судебного

процесса — над Зиновьевым, Каменевым и другими. Например, по поводу отсутствия документальных доказательств прокурор сказал следующее: «Приписываемые обвиняемым деяния ими совершены... Но какие существуют в нашем арсенале доказательства с точки зрения юридических требований?.. Можно поставить вопрос так: заговор, вы говорите, но где же у вас имеются документы?.. Я беру на себя смелость утверждать, в согласии с основными требованиями науки уголовного процесса, что в делах о заговорах таких требований предъявлять нельзя».

(Немного позже один из адвокатов обвиняемых — Брауде,— по-видимому, недостаточно подготовленный, одобрительно высказался по поводу «документов, собранных по делу» *[1].)

Особый упор в обвинительной речи был сделан на раздувание гнева против обвиняемых: «Они взрывают шахты, сжигают цеха, разбивают поезда, калечат, убивают сотни лучших людей, сынов нашей Родины. 800 рабочих Горловского азотно-тукового завода через газету „Правда" сообщили имена погибших от предательской руки диверсантов лучших стахановцев этого завода. Вот список этих жертв: Лунцев, стахановец, рождения 1902 года, Юдин — талантливый инженер, рождения 1913 года, Куркин — комсомолец, стахановец, 23 лет от роду, Стрельникова — ударница, 1913 года рождения, Моспец — ударник, тоже 1913 года рождения. Это убитые. Ранено было больше десяти человек. Погиб Максименко — стахановец, выполнявший норму на 125—150 процентов, Немихин, один из лучших ударников, который спустился в забой на шахте „Центральная", пожертвовал своими 10 днями отпуска, а там его подстрелили и убили, убит запальщик Юрьев — участник гражданской войны, старый горняк. И так далее и так далее».

В результате Вышинский получил возможность прокричать заключительную часть своей речи: «Я не один! Пусть жертвы погребены, но они стоят здесь рядом, со мною, указывая на эту скамью подсудимых, на вас, подсудимые, своими страшными руками, истлевшими в могилах, куда вы их отправили!

Я обвиняю не один! Я обвиняю вместе со всем нашим народом, обвиняю тягчайших преступников, достойных одной только меры наказания — расстрела, смерти!».

На этот раз, в отличие от прошлого, зиновьевского суда, некоторые из младших обвиняемых имели защитников. Точка зрения этих защитников на свои обязанности явно отличалась от взгляда адвокатов в буржуазном суде. Так, защитник Брауде начал свою речь классическим для сталинца-адвоката пассажем: «Товарищи судьи, я не буду скрывать от вас того исключительно трудного, небывало тяжелого положения, в котором находится в этом деле защитник. Ведь защитник, товарищи судьи, прежде всего — сын своей Родины, он также гражданин великого Советского Союза, и чувства великого возмущения, гнева и ужаса, которые охватывают сейчас всю нашу страну от мала до велика, чувство, которое так ярко отобразил в своей речи прокурор, эти чувства не могут быть чужды и защитникам...

...В настоящем деле, товарищи судьи, не может быть спора о фактах. Товарищ прокурор был совершенно прав, когда заявил, что со всех точек зрения — с точки зрения документов, собранных по делу, с точки зрения допроса вызванных в суд свидетелей и перекрестного допроса обвиняемых, мы лишены возможности оспаривать очевидность. Все факты подтверждены, и в этой части защита не имеет намерения входить в какое-либо противоречие с обвинением. Невозможно также оспаривать оценку прокурором политических и моральных аспектов дела. Здесь также дело настолько очевидно, политическая оценка, сделанная прокурором, настолько ясна, что защита может только целиком и полностью присоединиться к этой части его речи» * [1].

Когда окончилась «защита», начались последние слова обвиняемых. Пятаков, говоривший с опущенными глазами, закончил так: «Через несколько часов вы вынесете ваш приговор. И вот я стою перед вами в грязи, раздавленный своими собственными преступлениями, лишенный всего по своей собственной вине, потерявший свою партию, не имеющий друзей, потерявший семью, потерявший самого себя».

Радек в последнем слове сделал, так сказать, «полезный вклад», заявив, что есть еще много «полутроцкистов, четверть-троцкистов, троцкистов на одну восьмую, людей, которые нам помогали, не зная о террористической организации, но сочувствуя нам, людей, которые из либерализма, фрондируя против партии, оказывали нам помощь...» *. В этом заявлении фактически содержалась целая программа для расправы с любыми критиками террора, даже если они были «сталинцы на семь восьмых».

Последнее слово Радека было одновременно и жалким и убедительным. Выдвигая обвинения против Троцкого и против соседей по скамье подсудимых, он в то же время сумел сделать несколько двусмысленных, обоюдоострых замечаний. Так, он

---

[1] «Дело Пятакова», с. 517/—.

[1] В сокращенном издании второй абзац речи Брауде опущен.

продолжал отмежевываться от прямых связей с немцами и отрицать такие связи у своих сообвиняемых: «Но когда я прочитал об Ольберге и спросил других, знает ли кто о существовании Ольберга, то об этом никто не знал, и для меня стало ясным, что Троцкий создает здесь, помимо кадров, прошедших его школу, организацию агентуры, прошедшей школу германского фашизма».

И, наконец, он повторно упомянул тот факт, что все дело, весь процесс построены на его показаниях и словах Пятакова:

«Для этого факта какие есть доказательства? Для этого факта есть показания двух людей — мои показания, который получал директивы и письма от Троцкого (которые, к сожалению, сжег), и показания Пятакова, который говорил с Троцким. Все прочие показания других обвиняемых, они покоятся на наших показаниях. Если вы имеете дело с чистыми уголовниками, шпионами, то на чем можете вы базировать вашу уверенность, что то, что мы сказали, есть правда, незыблемая правда?».

Остальные обвиняемые выступали в более обычной манере. Дробнис, Муралов, Богуславский ссылались на свое блестящее прошлое и пролетарское происхождение. Сокольников говорил длинно, а Серебряков — очень коротко. Все «агенты», хотя и в разной степени, нападали лично на Троцкого. Арнольд упирал, совершенно справедливо, на свое низкое политическое развитие.

30 января в 3 часа утра был оглашен приговор. Смертная казнь всем, кроме Сокольникова и Радека (как не участвовавших непосредственно в организации и выполнении преступлений), а также Арнольда, получившего 10 лет, и Строилова, получившего восемь. В НКВД в то время рассказывали, будто Лион Фейхтвангер просил Сталина сохранить жизнь Радеку, обещая ему оправдать показательные процессы в своей книге («Москва, 1937»), чего Сталину очень хотелось, чтобы смягчить впечатление от «Возвращения из СССР» Андре Жида. Приговор Арнольду, который рассматривался на суде как активный террорист, вопиюще противоречит приговорам неудачливым убийцам на прошлом процессе — людям типа Фриц-Давида. Говорили, что показания Арнольда показались Сталину столь забавными, что он, когда писал заранее приговоры, решил по собственному капризу оказать милосердие.

Когда Радек выслушал приговор, на его лице отразилось облегчение. Он повернулся к другим обвиняемым, пожал плечами и виновато улыбнулся, словно был не в состоянии объяснить свою удачу.

Относительно Радека были затем пущены слухи, что он отбывал свое наказание в комфортабельных условиях на Урале, где жил в особняке, не более чем под домашним арестом. Возможно, его некоторое время действительно держали в таких условиях, но если так, то, по-видимому, лишь с одной целью — повлиять на обвиняемых в следующем, третьем процессе. Остальные имеющиеся свидетельства сходятся на том, что Радек был послан в лагерь на севере и был там убит уголовниками, разделив таким образом судьбу многих политзаключенных. Это было в 1939 году. В том же году умер Сокольников, очевидно в лагере [1].

Известно, что в тюрьмах и лагерях встречали многих родственников осужденных. Жену Радека видели в Сегежлаге среди двух тысяч других «жен врагов народа». Жену Дробниса видели уже в 1936 году в Красноярском изоляторе. Она почти полностью потеряла слух в результате «обработки» на Лубянке. Галина Серебрякова была женой двух ведущих обвиняемых поочередно — Серебрякова и Сокольникова. Со времени процесса она провела в Сибири 20 лет. Через все эти годы она, как говорится, «пронесла свою преданность партии» и после реабилитации, на собраниях писателей в 1962—1963 годах активно выступала против либеральных тенденций. В марте 1963 года, когда на свободомыслящих писателей оказывалось особенно тяжкое давление, Хрущев приводил Серебрякову в пример, сравнивая ее с Ильей Эренбургом, который при жизни Сталина, дескать, тепло восхвалял его и жил в комфорте, а теперь, мол, стал отходить от принципа партийности [2].

Неправдоподобность показательных процессов нарастала от одного к другому. На первом процессе (1936) партии предстояло согласиться только с тем, что Зиновьев и Каменев в сотрудничестве с некоторыми настоящими троцкистами замышляли убийство партийного руководства и были фактически ответственны за смерть Кирова. Хотя казнь Зиновьева и других вызвала большое отвращение, имелись и другие факторы. Вряд ли, конечно, кто-либо из членов ЦК буквально верил обвинениям против зиновьевцев или принимал на веру их показания (к тому же ходили определенные слухи насчет подлинной роли НКВД в убийстве Кирова). Тем не менее зиновьевская оппозиция реально боролась со Сталиным всеми имеющимися у нее средствами, и в этой политической борьбе почти весь состав тогдашнего Центрального Комитета был на стороне Сталина. Было совершенно очевидно, что, пытаясь проложить себе

---

[1] XI съезд РКП(б). Стенографич. отчет. М., 1961, с. 850 (биографическая справка).

[2] Н. С. Хрущев. Высокое призвание литературы и искусства. М., 1963, с. 184 (речь от 8 марта 1963 г.).

дорогу обратно в партию, оппозиционеры себя скомпрометировали. И было по крайней мере допустимо, что «объективно» за убийство Кирова мог нести ответственность Зиновьев. Что касается более очевидной фальши в ходе самого процесса, то в партии вполне привыкли к фальши, необходимой по партийным мотивам, и, если надо, к дутым судебным процессам, предназначенным произвести впечатление на публику. Можно думать, что Сталин таким путем просто отделывался от непримиримых врагов.

Ни одно из этих соображений не подходило к Пятакову или к кому-либо из обвиняемых на втором процессе. А в то же время странности и аномалии показательного суда были не меньшими, а бóльшими, чем в предыдущем случае.

Пятакову и другим обвиняемым так же, как зиновьевцам на предыдущем процессе, инкриминировалась организация широкого террористического подполья. Радек, возможно иронически, говорил в своих показаниях про «десятки бродячих террористических групп, ждущих на авось, чтобы ухлопать одного из руководителей партии».

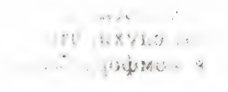
Было названо по меньшей мере четырнадцать групп или лиц, имевших задание убить Сталина (это задание было у нескольких из них), Кагановича, Молотова, Ворошилова, Орджоникидзе, Косиора, Постышева, Эйхе, Ежова и Берию. И опять-таки, несмотря на покровительство и соучастие высоких должностных лиц буквально повсюду, эти террористы оказались неспособны выполнить хоть одно покушение, успешное или безуспешное, за единственным исключением так называемой попытки убить Молотова — причем попытка эта, как мы уже видели, выглядела не очень профессиональной. Действительно, приговор Арнольду — 10 лет заключения — был фактически признанием, что его отнюдь не считали политическим борцом. Если среди участников заговора было полно фанатичных троцкистов, то почему они доверили подобной личности стать исполнителем операции, да еще убийцей-смертником? Никакого объяснения этому не нашлось.

Заговорщики не смогли устроить покушения даже на жизнь Кагановича, хотя несколько его ближайших сотрудников вроде Лившица, Серебрякова и Князева были якобы участниками заговора. Вышинский ссылался на то, что Зиновьев и его коллеги по предыдущему процессу, которые тогда будто бы показывали всю правду, на самом деле (как якобы выяснилось на процессе Пятакова) очень многое скрыли. Как мы уже упоминали, прокурор просто объявил, что «мы на каждом шагу обнаруживали ложь и обман этих людей, уже одной ногой стоявших в могиле». Но в этом случае, если признание обвиняемыми фактов ограничивалось лишь теми, какие они не могли опровергнуть, то их жалкие самообвинения должны были быть неискренними; иными словами, все, что говорили в своих последних словах обвиняемые на прошлом процессе, было задним числом аннулировано. Однако люди, которые верили в обоснованность процессов, без труда примирили или, скорее, игнорировали эти противоречия.

Укажем еще на одну аномалию, меньшего масштаба. Обвиняемые, как мы знаем, показали, что в сговоре с Зиновьевым и Каменевым намеревались убить Молотова так же, как и остальных вождей. Но Зиновьев и Каменев в свое время об убийстве Молотова не говорили, поскольку у них этого не требовали. На первом процессе Молотов не фигурировал в списке якобы намеченных жертв.

Перевод с английского
Л. ВЛАДИМИРОВА

Продолжение следует



«ЭТО ПРО НАС!»

Из откликов на статью

Л. Самойлова

«Путешествие в перевернутый мир» («Нева», 1989, № 4)

Спешу Вас поздравить с первой в СССР публикацией в официальном издании, содержащей ***конструктивную*** *критику в адрес существующей в СССР системы уголовных наказаний... «Дети Вышинского» живы и стоят у руля официальной юридической науки. Пресловутая статья 11 прим — это их рук дело, и они готовы всегда, по любому указанию, начать 37-й год.*

А. В. ДЕМИДОВ
Ижевск

Спасибо за публикацию... Талант и правда на 15 страницах показали больше, чем тонны наших газет со статьями специалистов-юристов. Я считаю, что смертную казнь и большие сроки заключения надо отменить. Жестокость рождает озлобленность, а унижения, о которых рассказывает Л. Самойлов, превращают людей в нравственных калек, и многих — навсегда... «Путешествие в перевернутый мир» надо издать отдельным выпуском в серии «Человек и закон», и обязательно для молодежи. Книга сдернет тряпье ложной романтики, в которое рядят преступление организаторы банд подростков.

М. В. ЛЫСЕНКО
Москва

Не кажется ли Вам, что наше общество, и так не особенно здоровое нравственно, периодически пополняется неполноценными людьми, которые, отбыв наказание, освобождаются? Ведь те отверженные, изгои, к которым даже подходить запрещено по лагерным нормам, те, которых насилуют, бьют и т. д., не могут быть полноценными людьми и хорошими работниками на воле. Как и те, кто издевался над ними... Надо срочно что-то предпринимать... На ближайшей сессии Верховного Совета надо решать.

Н. П. ГРОЗДОВ
Ленинград

Прочитала статью Льва Самойлова. Поддерживаю его полностью. Если нужно, мы соберем подписи к требованию перестроить систему судов и «зон». Люди же гибнут на глазах — как на это смотреть? Сердце разрывается от боли. Давайте же действовать. Долой главворов и лагеря! Будет очень жаль, если после статьи «Путешествие в перевернутый мир», после откликов на нее ничего не изменится.

М. Е. КОРНЕВА
г. Серебрянск, Вост.-Казахст. обл.

Я пережил ужасные минуты, читая записки Л. Самойлова о «перевернутом мире». Неужели это происходит у нас, в «самом передовом обществе в мире»?! И это сегодня, в наши дни! Стоило ли совершать великую революцию, чтобы спустя 70 лет иметь у себя в стране такие чудовищные заведения и царящие там адские порядки? Даже в самом кошмарном сне не привидится подобное. Приходится сожалеть, что редакция не обратилась к руководству МВД с просьбой прокомментировать эту публикацию. Спасибо Л. Самойлову за жуткую правду, за смелость.

К. ВСЕСВЯТСКИЙ
Москва

Я в корне не согласен с нынешним поветрием (которому отдаете дань и Вы) в основном обходиться без заключения уголовников или предельно сокращать им сроки заключения. Согласен: большими сроками их не исправить. Полагаю также: их не исправить никакими сроками. Но считаю, что дело не столько в исправлении уголовников, сколько в охране общества от уголовников. Жизнь неоднократно показывала (и в который раз показывает как раз сегодня), что очередные акты гуманности по отношению к насильникам, грабителям, хулиганам и т. п. оборачиваются трагедиями многих тысяч других людей. А с этой точки зрения мне все равно, где будут изолировать отребье человечества — в лагере или в одиночном тюремном заключении. Лишь бы подольше.

Скажу Вам больше, хотя знаю, что Вы со мной не согласитесь, как не согласен практически никто. За элементарное хулиганство, которое в нашей стране на деле и преступлением не считается, я бы не сажал, а физически уничтожал. Почему, черт возьми, в христианской цивилизации священна только жизнь и отнюдь не священна честь, достоинство и т. п. вещи?

А. П.,
доктор истор. наук
Москва

Уважаемый товарищ Самойлов, по прочтении вашей статьи «Перевернутый

мир» хочется обратиться к вам именно с эпитетом «уважаемый»...

Я был осужден в 1985 г. за то, что сейчас приветствуется (ст. 93, ч. 3), через 2,5 года ушел на «химию»... Ради бога, дочитайте! Я ничего просить за себя не буду.

Я сидел «паханом» у малолеток (мне в камере исполнилось 50). За год через мои руки прошли десятки пацанов, и ни одного из них я не мог признать преступником. Спрашиваю: «За что сидишь?» — «Мопед украл»,— отвечает. «Возраст?» — «Четырнадцать с половиной».— «Зачем же ты украл? Ведь в вашей деревне сто дворов, все равно узнают».— «Ну и что, зато покатаюсь»... Другой случай: украл в заготконторе арифмометры. «Зачем они тебе?» — «Хотел разобрать и посмотреть, что внутри».

Сидят они потому, что мы, взрослые, не хотим их воспитывать. Проще всего поставить на учет в детскую комнату милиции, потом — спецучилище. Это как подготовительные курсы, этапы перед тюрьмой. Все опрошенные прошли такие ступени... Процентов 70 первоходов за колючую проволоку сажать не стоит; 10—15 процентов тех, с кем мы встречаемся в зоне, надо изолировать пожизненно — это они портят картину амнистии.

У нас правило: чем больше дать зэку, тем лучше. Товарищи юристы. В медпункте новые лекарства ученые испытывают на себе. Почему же из вас ни один не прошел, не вкусил, что это такое: арест, допрос, следствие, КПЗ, сизо, лагерь — уверен, заговорили бы о новом законе по-другому.

В нашей системе мы все что-то строим, потом перестраиваем. Выращиваем преступников, потом караем — все при деле, все заняты, а матушка Россия опускается все ниже и ниже.

Хочется закричать всевышнему: «За что же ты проклял одну шестую часть земли?! Господи, помоги...»

А. КРЮКОВ,
рабочий
Новосибирск

Очень многим нашим «добропорядочным» гражданам, так ретиво голосующим за «закручивание гаек» и за расстрелы направо и налево, полезно узнать, что происходит в «зоне» и как легко туда попасть в нашем бесправном обществе. Я тоже имел шансы туда попасть (по 190-й, кажется), но перестройка началась вовремя для меня. Не могу представить, куда, в какую категорию попал бы я в лагере. Скорее всего, благодаря книжному воспитанию и слабому здоровью, в петлю.

К Вашему выводу о необходимости одиночного заключения я пришел самостоятельно, прочитав «Крутой маршрут» Е. Гинзбург. Прошу Вас приложить все усилия для внедрения такой системы наказания и предупреждения преступлений... Но противодействовать этому будут силы, о которых Вы не упомянули в статье. Это «жирные коты» из бывшего Гулага. Это воры, которые сторожат воров и ради которых крутится это заведомо убыточное лагерное производство.

А. ЕДИНОВИЧ,
инженер
Запорожье

... Даже на такого человека, как Вы, лагерь действовал во вполне определенном направлении. Как честный человек Вы видели, что, ни во что не вмешиваясь и пользуясь статусом «углового», Вам будет трудно сохранить человеческое достоинство. Сначала Вы стали помогать жертвам беспредела — это нормальная реакция. Но затем Вы сделали то, что, как мне кажется, Вы бы не сделали, если бы лагерь в какой-то мере не притупил Вашего нравственного чувства, составной частью которого является и принцип «не навреди». Вы выбрали путь насилия, причем насилия не индивидуального, за которое несет ответственность только человек, сам совершающий это насилие, а насилия группового. Фраза «надо было запасаться союзниками и точить ножи» показывает, что какие-то элементы логики перевернутого мира стали и Вашими. В нормальном состоянии, мне кажется, Вы бы почувствовали, что Вы находитесь в лагере в роли случайного и временного «гостя» — как «прогрессор», герой романа Стругацких «Трудно быть богом»,— и не имеете права вмешиваться радикальным образом в жизнь чужого общества. Вы уйдете, а те, кого Вы толкнули на активное сопротивление с применением насилия, останутся, и последствия их действий не предсказуемы.

Впрочем, возможно, что сказалась не только лагерная атмосфера, но и общая обстановка с моралью активных действий в стране: не подобное ли значение имело и наше вмешательство в афганские дела? Трудно быть «прогрессором»...

А. Е., *доктор физ.-мат. наук*
Ленинград

Потрясен жестокой правдой и глубиной выводов. Хотелось бы увидеть правдивый ответ задетых лиц и инстанций — без увертках, чтобы каждый факт статьи был подтвержден или доказательно опровергнут. Ведь если все это правда, значит, в нашей следственно-судебно-тюремно-лагерной системе продолжаются под прикрытием закона массовые преступления против личности и общества.

Обеспечивается рост преступности в стране за счет подпитки «воли» преступниками, повысившими квалификацию в местах заключения. Если порядки в тюрьмах и ИТЛ действительно таковы, новому составу Верховного Совета следует заняться этим вопросом в числе первых...

Короткое тюремное заключение в одиночной камере вместо длительных отсидок в исправительно-трудовых лагерях — это яркая и убедительная мысль, от которой не следует отмахиваться без проверки.

О. ВИКТИМ, *инженер*
Днепропетровск

Мне приходилось слушать очень умных людей — академиков И. Е. Тамма, В. Л. Гинзбурга. Слушая Тамма, я думал: именно это я сказал бы, если бы был таким же умным. Слушая Гинзбурга, я думал: никогда я бы такого не сказал, даже если бы был таким же умным. Читая Вас, я думал: черт возьми! Он говорит почти то же самое, что думаю и я...

Ю. ХОХЛОВ
Москва

Отсутствие культуры привело нашу страну за 70 лет к развитию преступности, пьянства и т. п. Культуры нет как вверху, так и внизу. Лагеря отразили все это... Но то, что вы наблюдали в лагерях, я вижу и в детских домах...

О. В. ЖУКОВСКАЯ, *геолог*
г. Покров, Владимир. обл.

Я потрясен тем, что описанная Вами «зона» в каждой строке заставляла меня вспоминать армию... Когда человек приближается к любому армейскому КПП, его настроение становится резко подавленным, ибо он непременно видит высокий и гладкий забор. Очень часто поверх забора натянута колючая проволока. Ну, а дальше все идет прямо по тексту статьи Л. Самойлова: «зона небольших производств, столовая зона, несколько жилых зон — отдельно одна от другой... плац для построений и карантин — для вновь прибывших»... Очень похожую на описанную Вами картину можно наблюдать в армейском принципе распределения коек: нижний ярус — привилегия «дедов» и «черпаков»... И т. д. Или когда два «деда» лупят ночью в сортире «молодого» ногами и кричат при этом «Руки!» По лицу никто не бьет (наутро будут видны синяки), а вот по животу, печени, почкам — пожалуйста, и при этом нельзя закрываться руками... Ваша догадка о природе «дедовщины» (возрождение первобытных инстинктов, дефицит культуры) просто блестяща.

Д. ГОРБАТОВ, *студент*
Москва

Вчера пришел друг с горящими глазами. Навязал «Неву» № 4 — статью Льва Самойлова — со словами: «Это про нас! Прочти обязательно! Взгляд с неожиданной стороны, но точный». Я взял, полистал — об уголовщине. Меня это совершенно не интересует и не волнует. Ни я, ни мои друзья и родственники не сидели и сидеть не собираются. Отложил журнал в сторону, но реакция друга не давала покоя. Прочел — и ведь на одном дыхании, как о своем сокровенном, том, что касается лично меня! Я благодарю автора за великолепный анализ ситуации.

Слишком дик, необычен материал исследования. А исследование действительно про нас. Оно не о зэках, а о законах развития коллектива, общества. Мы все прошли армию и видели это своими глазами. Кто больше, кто меньше.

В подтверждении посылок о роли культурного уровня: дедовщина меньше в интеллектуальных родах войск, где служат европейцы, городские, т. е. при ракетах, в подлодках; она больше — во внутренних войсках, а особенно — в стройбате.

Это все прошло и отошло лет 10 назад. Сейчас подрастают наши сыновья... Я начинаю волноваться за сына. Я хочу, чтобы он был жив, но я хочу и чтобы он не сломался, не встал на колени. Я не знаю, как помочь ему, всем им. Низкий поклон Вам — Льву Самойлову, редакции. Не бросайте это дело. Видно, мало найдется людей, которые могут написать с таким знанием материала об этом полюсе, так четко вобравшем в себя черты общества, в котором все мы живем.

Мы ждем Ваших новых интересных публикаций!

А. БЕЛОУСОВ, *инженер*
Новосибирск

Криминолог проф. ***Я. И. Гилинский*** *сообщает о состоявшемся обсуждении статьи Л. Самойлова на совместном заседании секций социологии отклоняющегося поведения и социологии культуры Северо-Западного отделения Советской социологической ассоциации АН СССР. «Эффективность наших ИТУ минимальна, если не «минусовая»,— пишет он.— Однако, человечество не нашло пока мер самозащиты, альтернативных наказанию, и пенитенциарная система* ***вынужденно*** *сохраняется, вопреки здравому смыслу... Перестройка общества и перестройка пенитенциарной системы взаимосвязаны». Обсуждение статьи состоялось также в Ленинградском отделении общества «Мемориал». Журнал «Советская этнография» организует обсуждение материалов Л. Самойлова под заголовком «Этнография лагеря».*

Лев
САМОЙЛОВ

СТРАХ

Грустные заметки о крамоле и криминале

— Ты прав, ка-гэ-бэ надо бояться,— сказал дядя Сандро, подумав,— но учти, что там сейчас совсем другой марафет... Это раньше они все сами решали. Сейчас они могут задержать человека на два-три дня, а потом... Потом они спрашивают у партии... А человек из партии смотрит на карточки, которые у него лежат по его отрасли... И он им отвечает: «Это очень плохой человек, дайте ему пять лет. А этот человек тоже опасный, но не такой плохой. Дайте ему три года. А этот человек просто дурак. Пуганите его и отпустите»...

— Да мне-то от этого не легче, как они там решают,— сказал я,— страшно, дядя Сандро...

Фазиль Искандер. *Кутеж трех князей в зеленом дворике.— «Нева», 1989, № 3, с. 59.*

1. Я, Раздатчик Сахара. Для начала два документа. Привожу с некоторыми изъятиями, чтобы было не слишком узнаваемо. Первый:

«Утверждаю»
Начальник учреждения УС (номер)
Капитан (подпись, дата)

ХАРАКТЕРИСТИКА

На осужденного NN, (такого-то) г. р., еврея, б/п, образование высшее, осужденного (тогда-то, таким-то нарсудом) г. Ленинграда по ст. 121 ч. I УК РСФСР срок 1 год 6 месяцев ранее не судимого.

Осужденный NN содержится в местах лишения свободы с (такого-то времени), в учреждении УС (номер) УИТУ ГУВД ЛО — с (такого-то).

За период содержания зарекомендовал себя положительно. Трудоиспользуется в качестве сборщика на участке «молния». К труду относится добросовестно. Нормы выработки перевыполняет. Требования правил внутреннего распорядка режима содержания выполняет полностью. Замечаний и нарушений не допускал. Взысканий не имеет...

В общении с осужденными отряда бесконфликтен. Пользуется уважением и авторитетом. По характеру настойчив, принципиален, доброжелателен. Внешне аккуратен, чист. За собою следит...

Не признав себя виновным на суде, осужденный продолжает отстаивать свою непричастность к вменяемому ему преступлению. За время отбывания срока наказания в поведении осужденного проявлений гомосексуальности не наблюдалось.

Вывод: осужденный NN, не признавая за собой преступления, зарекомендовал себя с положительной стороны.

«Согласовано»
Зам. начальника УС (номер) по ПВР — Начальник отряда
л-т (подпись)
майор (подпись)

Участок «молния» не означает какой-либо секретной установки — просто в этом цеху делаются застежки «молнии».

Документ второй:

ОТЗЫВ
о серии рукописей NN, *посвященных проблемам* X.

Настоящая серия рукописей должна рассматриваться как крупнейший вклад в изучение X. Кроме того, они имеют выдающееся теоретическое значение для изучения (такой-то отрасли) вообще.

NN — всемирно известный советский ученый-теоретик (названа отрасль), печатающийся в СССР уже около 30 лет, автор нескольких монографий и около 150 статей. Его статьи переведены в восьми зарубежных странах как социалистического, так и капиталистического лагеря, в Англии по заказу ВААП в 1982 году вышла его монография (название). По словам французского рецензента, это — самая важная (в данной науке) книга десятилетия. В Англии выпущен... посвященный NN сборник статей. Другая его работа используется в ряде стран (Чехословакия, Польша, Канада) в качестве учебного пособия... Сильной стороной творчества NN является методологическая и методическая его направленность; некоторые впервые введенные им понятия стали всеобщим достоянием.

В последние годы NN обратился к проблемам (таким-то); им разработана совершенно новая исследовательская методика, с помощью которой ему удалось... (и т. д.).

Теория NN несомненно вызовет обширную литературу, в том числе несомненно будут и критические замечания, однако она построена столь основательно, что со-

вершенно отвергнуть ее будет, кажется, невозможно, да и поправки сколько-нибудь кардинального характера представляются маловероятными. Труд NN означает начало новой эпохи в (такой-то отрасли науки), приятно, что он появится в нашей стране...

Дата	Подпись
Подпись удостоверяю Зав. канцелярией Института... АН СССР Штамп и гербовая печать	Доктор наук Главный научный специалист Института... АН СССР, почетный член Американской Академии наук и искусств, член-корреспондент Британской Академии, почетный член Французского Азиатского общества, Британского Королевского азиатского общества, Итальянского и проч.

Оба документа написаны в первой половине 80-х годов с промежутком всего в несколько лет, сначала первый, потом второй. Оба характеризуют одного и того же человека. Этот человек — я.

Сетовать мне вроде бы не приходится: обе характеристики — вполне положительные (надеюсь, я достаточно закамуфлировал их содержание, чтобы затруднить их соотношение с реальным автором — тем, кто за псевдонимом,— и избежать обвинения в похвальбе). Но все же первая совершенно не вяжется со второй. Как дошло до столкновения столь разносторонних характеристик?

А если взглянуть отстраненным взглядом? Будто это вовсе не я.

Проще всего предположить не такое уж редкое жизненное противоречие — контрастное сочетание черт в одном человеке. Джекиль и Хайд. И простая мораль: даже большие заслуги не гарантируют добродетели и не спасают от суда и кары.

Смущает то, что и в первой характеристике нет черной краски. «Не признавая за собой преступления (то есть не повинившись, не раскаявшись!), зарекомендовал себя с положительной стороны». Далее, человек осужден за порок, который в преступном мире считается особо позорным; такой низводит до положения изгоя, парии — а тут в лагерной характеристике черным по белому: «пользуется уважением и авторитетом»! Что-то не так.

Да, когда я поступил в тюрьму, принимавший меня лейтенант, пробежав мое направление (а в нем указана статья), поглядел на меня с жалостью: «Ох! Пожилой человек, интеллигент, с такой статьей! Вы же пропадете: замучают. Давайте я проставлю вам в бумагах другую статью». Я поблагодарил, но отказался: «Все равно ведь дознаются. Будет только хуже». Как выяснилось позже, я угадал: по законам уголовной среды, сокрытие подобных обстоятельств карается мучительной смертью.

Не стану описывать, как я прошел через все испытания первого месяца. Это был сплошной многодневный, даже многосуточный суд — на манер средневековых или, скорее, первобытных, без адвоката и свидетелей защиты. Суд, в котором много значат характер, воля, выносливость подсудимого, но в первую голову — разум. Потому что судьи (они же следователи и в случае чего палачи) то вдумчиво, то запальчиво исследуют доказательства (документация по делу ведь с собой, в камере), взвешивают, обсуждают. Вот этот суд, долгий, суровый и дотошный, при всей своей готовности верить подозрениям, всему худшему, меня оправдал.

В камеру иногда кому-нибудь приходит передача. Ее содержимое, обычно сахар и кое-что еще, поступает в «общий котел». Разделив, можно пополнить скудный паек. К трапезе каждый обитатель получает добавку — по ложке песка. Когда я в камере получил пост Раздатчика Сахара, это было для меня великой победой: парии не подпускаются к общей пище, ибо их прикосновение осквернило бы ее. Они должны есть отдельно, в углу, из продырявленной миски («цоканая шлёмка»). Пост Раздатчика Сахара был как бы особым знаком общего признания. Ни один научный титул не значил для меня так много в реальности. Ну, а в лагере я сразу стал Угловым — это очень высокий сан.

После всего сказанного, надеюсь, не вызовут удивления мои слова, что суд, осудивший меня на воле, был неправедным, приговор — облыжным, что за его гладкими формулировками крылась обычная расправа. Впрочем, мы уже привыкли не удивляться подобным вещам, и это самое скверное, потому что *расправа с помощью права* стала обыденным злоупотреблением властью в нашей стране — о таких казусах то и дело пишут газеты, сокрушается радио, их высвечивает телевизор.

Механизм такой расправы — отдельная и очень важная тема. Но здесь меня занимает другой вопрос — о ее мотивах. За что? Имелись ли у властей причины на меня гневаться? Основательны ли были эти причины? Носили ли они политический характер? И почему вместо них нужно было подыскивать какой-то уголовный повод, криминал?

2. С песней по жизни. В разоблачительных статьях о диссидентах журналисты обычно ставили сакраментальный вопрос: как человек дошел до жизни такой? Так сказать, вскрывали логику его морального падения.

Ну, диссидентом в политическом смыс-

ле я не был: самиздатом не увлекался, тайных собраний не посещал (разве что в детстве), протестов не подписывал, с самодельными лозунгами не ходил. Делал свое профессиональное дело на своем месте. Но власти всегда раздражало то, *как* я это делал — слишком независимо, что ли, самостоятельно, по своему разуму, с тягой к новшествам. Дух крамолы?

Несмотря на ранний интерес к наукам, нелады мои с властями предержащими начались со школьной скамьи. Несмотря? Скорее именно благодаря интересу к школьным предметам мы остро чувствовали противоречия эпохи. С одной стороны, нас воспитывали на вольнолюбивых стихах Пушкина и звонких лозунгах революции, а с другой — требовалось раболепное поклонение вождям и карался любой помысел о свободе. Неприятно поражала запуганность взрослых. Когда я заводил с кем-нибудь речь о политике, мой осанистый отец косился на стены и немедленно начинал петь что-нибудь бравурное, чтобы заглушить мой голос. Мама иронически комментировала: «Он уже поет». Она знала эту слабость отца. Иногда он нервно пел и безо всякого повода: видать, его пугали собственные мысли. Я ловил себя на том, что и сам приучаюсь напевать, когда мысли уходят в опасную сторону, и сердито обрывал мелодию: уж мыслить-то я хотел без ограничений.

В школе мы с приятелями наладили выпуск стенгазеты «ПУП» — расшифровывалось: «Подпольный Усмиритель Педагогов». Шум был страшный, дошло до обкома: слово «подпольный» всех напугало. Списали на малолетство. Дальше — больше: компания была бойкая (ныне почти все эти друзья детства — профессора, доктора наук, один ушел в артисты — стал известнейшим кинорежиссером). В старших классах (8—9) мы организовали тайное общество «Прометей», выпускали рукописный журнал с либеральными статьями и стихами. Я был президентом общества. На сей раз для разбора нашей деятельности нас пригласили на закрытое заседание секретарей обкома в присутствии республиканского министра *очень компетентного* ведомства. Как мы тогда избежали тюрьмы — ума не приложу. И за меньшие прегрешения наши сверстники уходили на Колыму. Скорее всего, тогда нам помог страх местного начальства за себя: нас обнаружили лишь после того, как мы сами распустили организацию. Если счесть ее серьезной, то выходит, местные органы ее прошляпили? Вот и объявили всё озорством, детской игрой. Но ходил под надзором долго.

В студенческие годы дважды обсуждалось предложение сверху исключить меня из комсомола за еретические выступления. Но первый раз (я тогда был вторым секретарем вузовской организации в Белоруссии) вовремя слетел тот, кто предлагал меня исключить (первый секретарь горкома партии), а второй раз это уже в Ленинграде. Тут было так.

На четвертом курсе университета я, вместо того, чтобы сидеть над курсовой, увлекся опровержением теории академика Н. Я. Марра (тогда уже покойного), которая в те годы еще считалась «железным инвентарем марксизма». Мой руководитель обладал значительным весом в научном мире и умел выбирать нестандартные решения. Он сказал мне: «Вы посягаете на основы. Но так как наука наша зашла в тупик, ваши идеи, пусть и неправильные, могут способствовать расширению общего кругозора. Если хотите, вынесем их на обсуждение в академическую среду. Однако предупреждаю: риск очень велик». Я сказал: «Но ведь вы же идете на этот риск, выдвигая мой доклад?». Ответ был такой: «Я рискую благополучием, а вы — головой».

Все же я согласился: ставка была слишком высока, чтобы я мог отказатья. Такое испытание для моих идей — доклад студента в академическом конференц-зале! Оппонентами шеф наметил нескольких видных ученых: декана нашего факультета и двух профессоров (потом оба стали академиками). Все они были очень снисходительны, и обсуждение прошло успешно. В конце заседания ко мне подошел согбенный ученый, пожал мне руку и произнес: «Поздравляю вас, молодой человек, блестящий доклад. Этим докладом вы себе отрезали путь в аспирантуру. Еще раз поздравляю».

А вскоре пошли «сигналы» во все инстанции. Многие перестали со мной здороваться, при встрече переходили на другую сторону улицы. Потом ко мне подошел Коля С., наш комсомольский секретарь, и показал на потолок: «*Оттуда* велели созвать собрание, будем исключать тебя из комсомола. Ну, конечно, вылетишь и из Университета. По старой дружбе решил тебя предупредить. Может, заранее выступишь с признанием своих ошибок, покаешься. Правда, исключим все равно, но легче будет восстановиться...». Я примирительно заметил: «А я, тоже по старой дружбе, хочу предупредить тебя и тех, кто спустил тебе установку: отсылаю все материалы в ЦК. А уж как ЦК решит — кто знает...». Исключение отложили.

Ну, а тут грянула дискуссия в «Правде» по вопросам языкознания. Мой материал был передан в «Правду», и я поехал в Москву. В редакции меня вежливо приняли, сказали, что из Ленинграда поступило 70 статей, но только 2 — с критикой Марра, в том числе моя. Мне было сказано, что Сталин одобрительно о ней отозвался. «Он ее читал?» — спросил я. «Нет, для него были составлены выжимки». —

«Значит, моя статья будет напечатана?» — обрадовался я. Сотрудник редакции немного замялся и ответил: «Нет, видите ли, товарищ Сталин сам дает „Правде“ статью по этим проблемам, а после его выступления, как вы понимаете, дискуссия примет совсем другой ход». Я отправился в Ленинград с этой новостью, которая вскоре подтвердилась. Меня окружили сочувствием и вниманием. Возобновили со мною знакомство, справлялись, не теснил ли меня «аракчеевский режим» в науке (такая была у Сталина формулировка). Впрочем, симпатий в ученом мире это мне, начинающему, не прибавило.

Когда лет через десять я, окончив аспирантуру, подошел к тому старому ученому, еще более согбенному, и напомнил его пророчество, он развел руками: «Кто же мог знать, что вы окажетесь таким упорным! С которого захода вы прошли в аспирантуру?» — «С четвертого». — «Ну, вот. И вообще, это ведь не последняя ступенька...»

С дальнейшим подъемом было не лучше.

Хотя «отец народов» и выручил меня из трудной ситуации своей статьей, когда он умер, никто из нашей семьи не рыдал. Наоборот, трудно было удержать ликование. Перед тем до Белоруссии, где жили в то время родители, докатилась волна нападок на «врачей-вредителей». Отца сняли с поста директора больницы, в газете поместили фельетон о том, что он украл сорок тысяч, на митинге сотрудники заклеймили его как «убийцу в белом халате». Матери (она работала в другом учреждении хирургом) велели выступить и осудить его; она отказалась. Поздним вечером на тенистой улице к ней подошел офицер (высокий чин) и тихо сказал: «Доктор, вы спасли мне жизнь. Через две недели мы придем брать вашего мужа. Позаботьтесь, чтобы дома было чисто. Это все, что я могу для вас сделать». Отец лежал с сердечным приступом. Мать жгла семейные архивы и мою библиотеку (книги на иностранных языках) в ожидании гостей. Но они не пришли: через неделю умер Сталин. «Дело врачей» приняло другой оборот. Месяц спустя отец получил новое назначение — директором санэпидстанции. Оказывается, он лечил, а не убивал. Оказывается, не украл сорок тысяч. Опровержение в газете, впрочем, так и не появилось. И то сказать, кое-какие факты всетаки имели место: белый халат он и вправду носил.

Моя первая печатная работа вышла уже на рассвете новой эры — в 1955-м, и я сразу же попал в «маститые». Получилось это так. В статье шла речь о происхождении славян. Написал я ее, уезжая в деревню учителем. Написал, что́ думал, искренне — о плачевном состоянии исследований, о слабости доказательств официозной концепции. Всё это понимали, конечно, и более опытные ленинградские специалисты, но большей частью на открытую критику не решались. Все же после меня выступили и другие, а кое-кто и одновременно со мной. В Киеве, где сосредоточивались сторонники господствовавшей концепции, была созвана конференция по обсуждению нашей критики. Меня туда не позвали. Конференция, однако, проходила уже в 1956 году, и добиться осуждающей резолюции не удалось. Утешились тем, что поминали нас, критиков господствующей концепции, списком, который начинали с моей фамилии, а уже за ней помещали фамилии известнейших ученых-ленинградцев. Это, видимо, было предназначено уязвить их: идут, мол, за мальчишкой, да еще явно не славянином. За границей этих оттенков не понимали, а увидев мое имя во главе списка маститых, сочли, что это какой-то ускользнувший от их внимания авторитет (тогда еще к нам ездили мало), и стали поминать меня в числе «маститых советских ученых». Так я стал «маститым».

3. Золотая лихорадка. Молодым я много ездил в экспедиции, на раскопки. Тогда «великие стройки» обеспечили приток ассигнований в археологию, и у академических учреждений на летний период археологов не хватало. Многие физики, химики, художники, инженеры проводили там свой отпуск, я — каникулы, летний перерыв в преподавательских занятиях. Образованием и опытом я был неплохо подготовлен к такой работе. И то, что я прибывал во главе отряда университетских студентов, повышало спрос на меня как сезонного работника. В одной из таких экспедиций, отправленных из Академии наук, начальницей была пожилая женщина, о которой меня предупреждали, что лучше с ней не связываться. Но она в присутствии директора Ленинградского отделения института долго уговаривала меня, сулила интересную работу и право на обработку и публикацию материалов. «Все, что раскопаете, будет ваше», — обещала она. «Ваше» — конечно, в смысле авторских прав. Директор подтверждал. Я согласился, оговорив для своего отряда отдельный участок на большом расстоянии от остальной экспедиции.

Женщины этой давно нет в живых, и не надо бы поминать ее плохо, да ведь историю не поправишь. Постараюсь отметить и положительные качества своей начальницы. Это была одна из фигур научного деятеля, типичных для той эпохи, — выдвиженец. Внешность ее представить очень легко. Вообразите Хрущева в юбке, сильно потолстевшего и с короткой приче-

ской курсистки. Происходя из деревни, она приобрела образованность, защитила диссертацию, была остроумной, хотя и грубоватой собеседницей, пописывала стишки. Шоферюг усмиряла матом. В институте ее знали как энтузиаста всяческих чисток и проработок — и побаивались. Она была из тех, кто своего не упустит, кусок из горла вырвет. В то же время можно было подивиться, как эта пожилая, болезненно полная женщина моталась по степям на грузовиках, в зной и непогоду, организуя обследование края.

С основным составом экспедиции она обосновалась недалеко от крупного южного города, а моему отряду отвели захудалые курганы на окраине другого города, поменьше, в 40 км от первого. Но за 100 лет до того там были выкопаны царские сокровища огромной ценности. «Вот если найдете такие же,— шутила начальница,— тогда дарю вам машину в обмен на сокровища». Машины у нее и самой-то не было, так что этот не совсем бескорыстный дар мне не грозил. А вообще было не до шуток. Шел 1962 год, были резко подняты цены на мясо, и в этом небольшом городе только что произошли демонстрации и беспорядки, подавленные войсками. Войска стреляли в толпу, было какое-то количество убитых, сколько — никто не знал. Появившуюся в свободной продаже колбасу горожане называли «кровавой». Работать было трудно, хотелось скорей уехать.

Срок экспедиции уже истекал, когда в раскопе засверкали золото и цветные камни. Сокровища оказались исключительно ценными. Пока наш фотограф делал снимки, я вызвал милицию. Вызывать КГБ не потребовалось, они прибыли сами. Дал телеграмму Начальнице. Мой помощник сказал: «Вот обрадуется! Машиной не машиной, но чем-то уж точно наградит». Я невесело усмехнулся: «Насколько я успел ее узнать, этого ждать не приходится. Она примчится меня увольнять».— «?!» — «Ведь она всю жизнь мечтала о подобном открытии, а досталось оно не ей. Ее при открытии не было».— «Так ведь экспедиция ее, документ на право раскопок у нее».— «Да, но открытие числится не за тем, у кого документ, а за тем, кто реально руководил раскопками. Она это понимает, и в этом моя беда». Не веря моим опасениям, помощник все же спросил: «А вам нужно это золото?» — «К чему? Не моя тема».— «Значит, если потребует, отдадите ей и уедете. Чего же вам беспокоиться?» Я пояснил: «Рад бы, но нельзя. Ведь мое увольнение ей надо будет как-то мотивировать, а с ее нравом... После моего отъезда что ей стоит подстроить какую-нибудь подлянку? Пару раз копнуть не там — уже грубое нарушение, дисквалификация. Потом не отмоешься. Нет, надо доводить дело до конца».

Назавтра приехала Начальница — туча-тучей. Остановившимся взглядом вперилась в золото, потом отозвала меня в сторону и сказала: «Вот что. Мы с вами не сработались. Я не могу доверить вам дальнейшее руководство. Забирайте с собой своего помощника и немедленно уезжайте, передав мне всю документацию». Я сказал, что это исключается. За день до открытия — куда ни шло, а днем после открытия — нет. Поскольку я в штате, то увольнение — только через дирекцию в Ленинграде, а я, пока суд да дело, закончу работы. «Ах так, тогда с сегодняшнего дня,— объявила она,— я перестаю платить деньги вашим рабочим». Я созвал рабочих и сказал, что экспедиция не в состоянии далее оплачивать их работу, но кто согласен работать бесплатно, могут остаться в качестве моих личных друзей. Все захотели остаться и разошлись по рабочим местам. «Тогда,— выложила она последнюю карту,— я заявляю в КГБ, что вы вели антисоветские разговоры, возмущались расстрелом демонстрации». А кто же не возмущался? Я был несколько озадачен таким поворотом и сказал: «А я-то раньше не верил слухам о вас, что доносы строчили».— «Напрасно не верили,— отвечает,— в свое время я многих посадила. Фигуры были не вам чета!» И стала перечислять, загибая пухлые пальцы. Ни дать ни взять — ласковая бабушка из детской потешки «Ладушки»: кашку варила, детушек кормила; этому дала, этому дала, а этому (мизинцу) не дала. «А с вами и подавно справлюсь»,— свирепо закончила она, и на меня глянули волчьи глаза. «Что ж,— говорю,— сейчас не 30-е годы и даже не 50-е. По одному доносу не сажают. Разговор окончен». И прошу милиционеров (они знали только меня) удалить посторонних.

Тут Начальница базарным голосом начинает кричать, что вот-де уже незаконно сделаны цветные снимки сокровищ! Что снимки эти представляют государственную ценность! Что они могут ускользнуть на Запад, так как здесь есть люди, связанные с Западом! Что она требует выдачи фотоснимков ей (это — чтобы лишить меня возможности что-нибудь опубликовать). Услышав такие речи, незаметный человек предъявляет удостоверение, просит меня сдать ему все пленки, а фотографу говорит: «Прошу следовать за мной!» — и мы остались без пленок и без фотографа. Мне все это казалось дурным сном.

Откровенно говоря, я думал, что возможность доноса — пустая угроза, что отнятием пленок дело ограничится. Но скоро выяснилось иное. Как мне позже рассказал сотрудник экспедиции, которого она, запугав до смерти, взяла с собой как свидетеля, она отправилась с ним к самому большому в городе начальнику

КГБ. После событий в городе это начальство в нем переменилось. Вот этому новому начальнику она стала, пылая праведным гневом, повествовать о моих антисоветских высказываниях. «Я как коммунист и патриот не могла стерпеть...» Начальник слушал спокойно, а потом тихо так сказал: «Вы думаете, мы не в курсе того, что за спор возник в экспедиции, и не понимаем, чем вызвано ваше заявление? Хотите нашими руками расправиться с неугодным сотрудником? Мы иначе представляли себе облик ленинградского ученого. Уходите». Тотчас освободил фотографа, а через несколько дней вызвал меня и, извинившись, вернул пленки. К этому офицеру я проникся уважением: он был явно не из 37 года.

Пленки я сразу же сдал Начальнице. Она напоминала шину, из которой выпустили воздух. Предложила мне заключить письменное соглашение о разделе авторских прав, но я и не собирался лишать ее добытых материалов. Обжаловав ее неправомерные действия, я сделал небольшую публикацию об открытии (без иллюстраций), после чего отступился от всего на много лет.

А Начальница еще долго, показывая на своих докладах сокровища или их фото, патетически восклицала: «Вот этими самыми руками я доставала их из земли!». Ради возможности произнести эту эффектную фразу она готова была упрятать меня в лагеря.

Но история с золотом на этом не закончилась. По распоряжению Министерства культуры мы сдали все в местный музей. А через 8 лет часть сокровищ была оттуда украдена — по стоимости это несколько миллионов! Вот когда настал черед торжества бывшей Начальницы! Самое время убеждать всех, что у меня не экспедиция, а банда, и что золото уже уплыло на Запад по каналам международного империализма и сионизма. Да меня и без того (как всякого, кто был причастен к этим сокровищам) взяли под подозрение. Целый день меня допрашивали в Большом доме, перетряхивали мою экспедицию. А через месяц вора обнаружили там, на юге, и нашли украденные и, увы, переплавленные им сокровища. Это был рецидивист. Получил 13 лет.

А Начальницу, можно сказать, бог покарал за ведомые ему грехи. И покарал жестоко.

Ее разбило параличом — отнялись руки, ноги и речь. Одни глаза жили на мертвом лице. Уже не волчьи — страдающие, человеческие. В таком состоянии она провела последние годы своей жизни. Тогда я понял выражение: врагу не пожелаешь. Этого я ей не желал. За себя я все давно простил. Готов был и сам у нее просить прощения, оплакивая нашу общую беду: ну зачем мы такие?

4. Варяжская баталия. Преподавая в университете, я обзавелся учениками. Сначала создал при кафедре кружок школьников. Из школьников выросли студенты, которые писали у меня курсовые работы. Мои студенты. Их становилось все больше. Заинтересовался я, в числе прочего, ролью варягов (норманнов) в сложении древнерусского государства. У меня создалось впечатление, что роль эта сильно преуменьшена. Работая над этой темой, организовал семинар из активных и способных студентов, увлекшихся наукой всерьез (ныне это профессора и доценты, доктора и кандидаты наук). Слухи о наших занятиях обеспокоили идеологическое начальство: тогда «норманская теория» считалась чуть ли не фашизмом. Между тем хрущевская оттепель отошла в прошлое. На идеологическом небе взошла тусклая звезда Суслова. Мороз догматизма крепчал.

В конце 1965 года на факультете была запланирована публичная дискуссия по варяжскому вопросу. Наш семинар обязали представить докладчиков — с тем, чтобы мы подставились под удар. Как апологеты норманнов, то есть норманисты. Против нас должен был выступить известный специалист по этой теме из Академии наук. Разумеется, защитник патриотических позиций — антинорманист. Перед дискуссией он подошел ко мне и, держа меня за пуговицу, застенчиво сказал: «По-видимому, вы будете моим главным противником, но, надеюсь, вы понимаете, что не я буду вашим главным противником». О да, мы это понимали. По слухам, подлинным «главным противником» уже были получены санкции на ликвидацию семинара и на мое увольнение, а за увольнением могли последовать и более жесткие меры. «Я постараюсь,— сказал наш оппонент,— выступить так, чтобы не навлечь на вас политические обвинения».— «От вас мы их и не ожидаем,— ответил я любезностью на любезность.— Но вы не беспокойтесь. Излагайте ваши научные взгляды без оглядки. За себя мы сами постоим».

Мы, конечно, подготовили фактические доказательства своей правоты, но еще при подготовке я предупредил учеников, что наши недруги могут отвести любые факты, обвинив нас в неправильной их интерпретации. Поэтому в своем выступлении я сделал главный упор на вековые колебания в политической ориентации норманистов и антинорманистов: в идеологической расстановке сил они не раз менялись местами. И на сей раз политическая окраска древних норманнов в который уже раз «обновилась» — одиозность их ослабла. Изменилась и общая ситуация в зарубежной науке — наши доморощенные блюстители догм этого не знали. Мой студент Глеб (он тогда возглавлял фа-

культетское СНО) в своем выступлении напомнил аудитории популярную в учебниках цитату из Маркса о роли норманнов — конечно, мизерной. Это цитата из не опубликованной на русском языке работы Маркса, не вошедшей в собрание сочинений. Но ведь Маркс не в спецхране — и в подлиннике читать можно! Мы прочли. Цитату в общем приводят правильно, без искажений, признал Глеб. Но у Маркса перед ней стоят еще четыре слова, а именно: «Мне могут возразить, что...»! Эти слова в учебниках отсекают, и смысл меняется на противоположный. Аудитория забурлила. Послышались возгласы: «Какой позор!». Вот тогда мы выложили и факты... Санкции остались нереализованными, а нас долго звали «декабристами» (дискуссия была в декабре).

По материалам наших выступлений мы сделали большую статью о роли варягов, авторами которой были обозначены совместно мои ученики и я, статья была опубликована в 1970 году в сборнике под редакцией того самого специалиста, который был так любезен перед дискуссией. Не все противники проявляли такую порядочность.

Варяжская баталия еще аукнулась нам в 1974 году. Процитирую еще один документ — письмо, полученное Министерством и спущенное в Университет.

В Управление внешних сношений
МВиССО СССР
Отдел капиталистических стран
тов. А. С. С-ву

Глубокоуважаемый А. С.!

Мне сообщили, будто сотрудник (такой-то) кафедры (такого-то) факультета Ленинградского университета Г. С. Лазарев просит о командировке для стажировки в Швецию. В связи с этим считаю своим долгом сообщить следующее.

Глеб С-ч Лазарев известен как сторонник пресловутой норманской теории, самое существо которой противоречит марксизму-ленинизму, в частности, в вопросе о происхождении государства. Эта буржуазная теория давно разбита советской исторической наукой...

На кафедре... Ленинградского университета норманскую теорию возродили Лев С-ч Самойлов и его ученики Глеб С-ч Лазарев и Василий А-ч Белкин. Воспользовавшись тем, что там недавно сменилось руководство, группа Самойлов — Лазарев — Белкин целиком подчинила кафедру своему влиянию. Студенты ЛГУ открыто заявляют, что они — норманисты. Эта группа умудряется проталкивать свои статьи в кое-какие сборники, рассчитывая на дурно пахнущую сенсацию, особенно за границей. В буржуазной печати они развили особую активность. В этом отношении особенно отличается Л. С. Самойлов. В № 1 за 1973 г. в (название норвежского журнала) Самойлов, Лазарев, Белкин и некоторые выпускники кафедры... выступили с норманистскими статьями, причем сомнительно, что эти статьи прошли соответствующее утверждение для печати Министерством.

Позиция группы Самойлов — Лазарев — Белкин представляется мне противоречащей марксизму-ленинизму, антипатриотической. Поездка любого из членов этой группы за границу, тем более — в гнездо зарубежного норманизма — Швецию, послужит не на пользу, а во вред советской исторической науке. Она может лишь упрочить позиции зарубежных норманистов, всегда тесно связанных с антисоветчиками.

Профессор (такой-то) кафедры (такого-то) факультета Московского университета
(Дата)

(Подпись)

Разумеется, в письме назывались наши подлинные фамилии — моя и моих учеников. Я же, цитируя письмо, на место своей фамилии проставил избранный мною здесь псевдоним, изменил и фамилии своих учеников. Вообще здесь и далее я изменяю фамилии основных участников описываемых событий. Людей, косвенно к ним причастных, упоминаю под инициалами или под одними лишь титулами, фамилии же посторонних лиц оставляю без изменений.

Содержание письма нас не поразило. В те годы поступало немало подобных анонимок. Но под письмом четко выступала подпись весьма солидного коллеги, автора учебников! Вот что было поразительно.

Письмо разбирали в парткоме. Созданная по «сигналу» комиссия из трех профессоров проверила обвинения и пришла к выводу, что они не подтверждаются. К ответу комиссии декан добавил следующие слова: «Мы с сожалением отмечаем, что некорректный выпад профессора А. последовал тотчас за отрицательной рецензией ученых нашего университета на его книгу».

Как на самом деле воспринимали мою научную продукцию в Скандинавии, в частности в Норвегии, показывает отклик оттуда на мою обзорную работу о развитии мировой теоретической мысли в нашей отрасли науки. Работа вышла в международном издании в 1977 году, и тотчас пришло письмо от директора Национального музея Норвегии Гутторма Ёсинга. Процитирую это письмо, несмотря на неудобство снова приводить хвалебный отзыв о себе (надеюсь, я это компенсировал письмом московского профессора).

Мой дорогой Лео Самойлов,
я только что закончил читать Вашу великолепную работу, которая, с моей точки зрения, является, пожалуй, наиболее важным вкладом в теорию нашей науки из всех вышедших в свет, по крайней мере в послевоенный период... Так что я могу только поздравить Вас с этим замечательным достижением и надеюсь, что Ваши западные коллеги будут изучать его, напряженно продумывая...

Он не ограничился письмом, а выступил в том же международном издании, выходящем в Чикаго, и читатель простит мне, если я, уже много лет оторванный от цеховой науки, процитирую и этот отзыв:

Всеобъемлющая работа Самойлова является, по-моему, настоящей панорамой — и самой впечатляющей. Его ориентированность в литературе кажется почти неисчерпаемой... Пожалуй, некоторые из его западных коллег впадут в соблазн процитировать известное выражение из послания правителя Феста к Св. Павлу: «Твоя великая ученость повергнет тебя в безумие!»... Очень часто на Западе марксистскую общественную науку дискредитируют бойким замечанием, что это-де просто «политическая пропаганда»... В целом у меня сильное ощущение, что западные специалисты могли бы многому научиться у своих восточных коллег. Поэтому было бы чрезвычайно желательно, чтобы Самойлов снабдил нас еще одной статьей, в которой более подробно разобрал бы главные направления марксистской ...логии.

Я написал и такую статью, но о судьбе ее — дальше.

Для меня лично фоном варяжских дел была новая беда, которая в те годы постигла моих родных. Мой брат, оставшийся в Белоруссии, неодобрительно отозвался в вводе наших войск в Чехословакию и о брежневском руководстве. Он был за это исключен из партии, уволен из вуза, лишен степени и объявлен сионистом. Книги его исчезли с полок, имя было отовсюду вычеркнуто. По-видимому, дополнительным мотивом для гонений на брата была его дружба с известным белорусским писателем, творчество которого тогда считалось вредным. Через пять лет на заседании белорусского ЦК во главе с Машеровым брата восстановили в партии и на работе, вернули степень и звание (сейчас он профессор тамошнего университета).

5. Музыкальная история. Мои научные занятия и подготовка к лекциям поглощали массу времени. Я очень много работал, много и «выдавал на-гора», часто печатался у нас и на Западе. Однажды в факультетских инстанциях даже рассматривалось курьезное дело: поступил «сигнал», что у Самойлова слишком много печатных работ. Разбирательство пресек Ректор, который просто рассвирепел: он как раз сокрушался низкой производительностью ученых Университета.

Моим отдыхом была музыка. Я люблю и классику, но тогда особенно увлекался джазом и роком: сказывались пристрастия студенческих лет, когда я руководил самодеятельным ансамблем.

Будучи аспирантом, я курировал на факультете художественную самодеятельность, помогал ребятам и личным участием: аккомпанировал на рояле, пел, составлял сценарии капустников. Сочинил однажды шуточную новогоднюю песенку: «В лесу водилась елочка...». Бесхитростный сюжетец: елку притащили на факультет, и там пошла дискуссия: «Зачем она родилася? Куда она росла?». Елку передавали с кафедры на кафедру, и каждая отсекала какую-нибудь часть: хвою, ветки, корни. В конце осталась голая палка. Но завершающий куплет гласил:

И лишь одна из кафедр
Ту ель не взяла бы,
Поскольку принимаются
Туда одни...— —

Тут на репетиции певец делал паузу и отбивал два щелчка по микрофону.

Три кафедры приняли оскорбление на свой счет: две кафедры общественных наук и военная. Заседало партбюро факультета. Весь факультет уже знал текст. Постановили: песню исполнять без последнего куплета. Но без него ребята петь отказались. В конце концов со сцены исполнили одну мелодию без слов. Слова пел зал.

В зрелые годы я приобрел хорошую аппаратуру, и у меня было много записей. Вообще-то я жил довольно скромно — не имел ни дачи, ни машины, ни ковров, ни хрусталя. Только библиотека и фонотека (второе продал, когда остался без средств к существованию). Мои западные коллеги, зная мою страсть, присылали и привозили пластинки. В середине 70-х из ФРГ была отправлена мне большая посылка — 11 пластинок «Битлз» и «Пинк Флойд». Посылка, разумеется, не дошла. Такие посылки доставлялись через Москву. Я стал дознаваться. На мои неоднократные домогательства после многих отписок пришел ответ о том, что посылка конфискована, так как содержала запрещенные для ввоза в СССР вложения. Хоть в моих жалобах стоял домашний обратный адрес, ответ прибыл в университет и притом на открытке — чтобы мною занялись на работе? Наивные чиновники!

Они не знали, какая на факультете безалаберщина и неразбериха. Открытка прошла незамеченной. Я не угомонился и потребовал прислать мне, как положено, акт о конфискации и номер записи об уничтожении пластинок, а кроме того — указать инструкцию, по которой «Битлз» и «Пинк Флойд» в СССР запрещены (они тогда уже вовсю исполнялись по нашему радио). Конечно, не прислали, поскольку таких бумаг и не существовало. Я понял, что мои «пласты» ушли на пополнение черного рынка.

Меня это задело за живое. Обратился на Главпочтамт, узнал, сколько в среднем посылок с пластинками прибывает из-за рубежа, сколько пропадает (почти все), собрал товарищей по несчастью. Подсчитали — ахнули: доход расхитителей достигал многих тысяч в день. Я стал жаловаться — писал в московскую милицию, в прокуратуру, в Министерство связи и так далее. Отовсюду шли отписки: «Вам уже отвечено». «Пустое дело,— говорили друзья.— При таких доходах они всех вокруг держат на дотации». Стал направлять жалобы в партийные органы. И вдруг голоса «из-за бугра» сообщили: крупные аресты в Московской таможенной службе, и именно за связи с черным рынком пластинок. «Ох, и припомнят тебе эту историю, отомстят,— качали головами друзья,— и отомстят как раз те службы, которых ты лишил дотации» (тогда еще не говорили о мафии). Вот почему кое-кто из друзей воспринял мой арест как заключительный аккорд в этой «музыкальной истории». Не думаю, что они правы: ведь история была в 1975—1976 годах, а отзвук раздался лишь в 1981-м.

Но «музыкальная история» и впрямь получила продолжение, только иное. Все, чем я занимался, я старался осмыслить с позиций науки. Из размышлений о месте рок-музыки в перспективе истории культуры родилась книга: «Гармонии эпох». Я написал ее по договоренности с одним издательством. Но в 1978 году на Дворцовой площади в Ленинграде произошли многотысячные беспорядки, вызванные отменой запланированного рок-фестиваля с участием американских звезд. Рок-музыку стали давить с новым усердием, и издательство испугалось. Рукопись мне вернули. Но перед тем, видимо, кто-то ее скопировал. Так или иначе, она соскользнула в самиздат. А через год меня уже попросили представить оригинал в КГБ. Месяца два держали там рукопись, а потом улыбчивый молодой человек вернул ее, сказав, что у них весь отдел читал ее с увлечением, что никакой крамолы в ней нет, что как раз таких книг не хватает, отсюда и беспорядки, словом — что я могу ее издавать. Но у меня что-то пропала охота.

Я знал, что «компетентные органы» очень интересуются моей персоной. Кого бы из коллег туда ни вызывали, о чем бы их ни расспрашивали, всегда задавались вопросы и обо мне (и коллеги меня при всем испуге все-таки извещали). Это было, конечно, лестно, но жить, зная это, становилось все более неуютно. Из выпускников факультета некоторых брали на работу в органы. Встретив как-то одного из них, потолстевшего, приобретшего лоск и осанку, я спросил: «Если можно, скажи, пожалуйста, что во мне так интересует ваше учреждение — мои связи с заграницей, мое общение со студентами, мой чересчур молодежный быт?». Он прищурился, подумал, стоит ли отвечать, и все же ответил: «Ни то, ни другое, ни третье. Вы сильно удивитесь, но интересует, прежде всего, ваша позиция в науке».— «Вот как! А разве у вас так детально разбираются в науках?» — «Ну, запрашиваем отзывы у солидных авторитетов». Я печально сказал: «Тогда мне не светит ничего хорошего. Кто для вас авторитет, я догадываюсь». Он улыбнулся: «Конечно».

6. Теория и практика. Собственно, вряд ли консультировал их по нашей отрасли какой-либо один авторитет, но все авторитеты, которым государственные и партийные органы доверяли, были одной школы — той, что господствовала в нашей науке. Возглавлял школу и, следовательно, всю науку Московский Академик. Огромный, массивный, как глыба, с тяжелым лицом, он вздымался над нашей отраслью больше 30 лет и все это время давил всякое инакомыслие, искренне полагая, что делает благое дело. По его настоянию однажды несколько сотрудников провели сутки, вырезая мои тезисы из всего тиража сборника и заливая черным мою фамилию в оглавлении. Потом, получив этот сборник, ученые из соцстран слали запросы о состоянии моего здоровья — они-то понимали, что́ означает фамилия, залитая черным. Но это была ложная тревога. Академик забежал вперед.

Безусловно талантливый человек, даже ярко талантливый, честный в науке — чего же еще желать от лидера? Но в его образовании были сильные пробелы — он не владел иностранными языками, плохо знал мировую научную литературу и придерживался сугубо консервативных устоев. Чем дальше, тем больше он терял чувство самоконтроля. Человек страстный, он увлекался собственными гипотезами, и для него они быстро превращались в факты. А гипотезы вырастали из пристрастий, в частности из патриотических чувств и национальной гордости, а ведь эти чувства способны затуманивать

зрение. И то, что он страстно хотел доказать, превращалось в исходный пункт его рассуждений. Для него и — volens nolens — для всех. Как и во всех науках у нас, отрасль жила в режиме монополии.

По всем параметрам я не вписывался в эту систему. Я продолжал традицию моего покойного учителя — он противостоял, где мог, Московскому Академику. Но более всего Московского Академика раздражали мои стремления разработать для нашей отрасли специальную теорию. Я потратил на это много сил и добился в этом деле некоторых успехов, какого-то признания.

В библиотеку прибыл вузовский учебник одной из соцстран. В учебнике содержалась целая галерея портретов: пятьдесят ученых должны были представлять развитие нашей науки в мире с XVI века до современности. Полистав учебник, мой друг съязвил: «Твой портрет есть, а Его портрета нет. Это тебе так не пройдет». Другой добавил: «И в теоретическом сборнике (из той же страны) — я посмотрел указатель: на тебя полсотни ссылок, а на него — четыре. Такое не прощается». Я посмеялся: «Бросьте, ребята. Он такой мелочи и не заметит». И получил ответ: «Он не заметит — ему подсунут». Друзья и в самом деле были убеждены, что все дело в личном соперничестве. Это, конечно, не так: статус, вес фигур были несоизмеримы.

Не думаю, чтобы Академика так уж злило, что в теоретических исследованиях растет не *его* авторитет. На такой авторитет он и не претендовал. Он был против непомерного, по его мнению, увлечения теорией вообще.

Академик был убежден, что коль скоро есть исторический материализм, то никакая другая теория для социальных наук не нужна. Не нужны и какие-либо особые методы познания наших фактов — достаточно владеть здравым смыслом и методами, применяемыми, скажем, в истории. Такая установка предоставляла свободу для полета воображения. Я же доказывал, что исторический материализм — философская теория, а конкретным наукам нужны и собственные теории, из которых вытекают специальные методы этих наук. А если у наук есть свои строгие методы, то становится невозможным делать произвольные выводы. Полет фантазии ограничивается. Даже очень красивый полет, даже в очень желательном направлении.

Подозреваю, что общая активизация теоретических исследований и моя деятельность в частности побудили Московского Академика предпринять какие-то шаги в сторону теории. Своим заместителем он назначил пожилого украинского специалиста, обладавшего интересом к теории, но не отходившего от традиционных представлений о ее природе и роли. Один коллега ехидно заметил: «Академик завел себе Лейб-Теоретика». Переехав в Москву, этот специалист созвал на совещание всех теоретиков нашей отрасли в стране и предложил выйти на всесоюзный съезд отрасли с коллективным проблемным докладом. Разобрали темы для подготовки и разъехались. Разработав свою часть, я отослал ее в Москву. Когда прибыл на ознакомление сводный текст, я ужаснулся: все было переделано до полной неузнаваемости — сведено к банальности. Из елочки, как в моей песне, получилась палка.

На мой возмущенный запрос Лейб-Теоретик со столичной вежливостью ответил, что я, очевидно, не приемлю принципов коллективизма и что теорию наша наука получит от большого коллектива советских ученых, а не от какого-нибудь *теоретического льва.* Вспылив, я отправил ответное письмецо с требованием снять мою подпись с подготовленного текста. И добавил (цитирую по памяти): «В реальной жизни все знают, что золотое яичко снесла курочка-ряба, а не коллектив курятника. Теорию, как правило, создает индивид. Маркс — это не аббревиатура института. И вообще бывают ситуации, когда даже очень большой коллектив евнухов не может заменить одного мужчину». Отправив, пожалел о последних словах: грубовато вышло. Но мысль все же справедлива.

На съезд не поехал. Коллеги рассказали, что́ там происходило. Лейб-Теоретик прочел коллективный доклад, а затем сообщил аудитории, что ленинградский теоретик Самойлов, имя которого значится на отпечатанных тезисах доклада, снял свою фамилию по следующим основаниям... И, представьте, желая, видимо, показать, как я неуживчив и заносчив, огласил мое личное письмо. Полностью. К немалому удовольствию аудитории.

После этого эпизода моя теоретическая работа стала вызывать еще большее раздражение. Побывав на конференции в Москве, декан приказным порядком закрыл мне теоретическую тематику в планах работ. «О твоем же благополучии забочусь»,— сказал он. Положим, заботился больше о своем. Однако к тому времени в партячейке большинство составляли мои ученики. Ячейка вынесла рекомендацию продолжать работу над теорией. Декан смирился.

Иначе обстояло дело в Москве. На высоком совещании прозвучала сакраментальная фраза: «Мы проглядели, как в Ленинграде сложилась *школка* Самойлова». Раздавались и другие подобные фразы. Сам академик, как я полагаю, был корректен в приемах научной борьбы, но у его окружения чесались руки. Один из его учеников сказал Глебу: «Ваш шеф (это обо мне) много себе позволяет. Он

понимает, конечно, что *сейчас* мы не можем с ним разделаться». Сейчас — это в условиях разрядки и широкого международного общения. Верно. Правда, я использовал не только разрядку, но и наши бюрократические межведомственные барьеры и распри — несмотря на все трудности, все-таки печатался в отечестве и посылал по официальным каналам свои работы за рубеж, минуя усердный контроль Академии. Как долго это могло продолжаться?

Печататься в стране становилось все труднее, но выручали мои зарубежные связи. Это не всегда оканчивалось добром.

Вообще-то я был «невыездной», но в одной Очень Дружественной Стране побывал, делал доклады. Рассказал об открытии, которое никак не удавалось обнародовать в отечестве. Этим очень заинтересовался шеф нашей отрасли науки в той стране, Тамошний Академик. Может, удастся там опубликовать? Завязалась переписка, в коей я подробно изложил ему свои соображения, и через пару лет увидел их напечатанными — но в его книге. И без упоминания моего имени. Поделился обидой с моим Начальником. Он сказал: «Поделом тебе, не якшайся с иностранцами».— «Так ведь наш же иностранец!» — «Вот у него уже и хватка наша. А насчет жалобы провентилирую в инстанциях. Все-таки вопрос дипломатический — не дай бог, нарушишь отношения». Из высоких инстанций ответили: «Не запрещаем, но и не рекомендуем». Мой начальник истолковал это — «нельзя», я — «можно». И написал властям той страны. Но там усвоили и наш способ реагировать на жалобы — спустили вопрос на решение самому Тамошнему Академику. Он и написал мне вежливо, что недоразумение можно уладить в научной дискуссии. Я ответил не очень вежливо, и дипломатические отношения между нами прервались. Между странами — сохранились.

Неожиданная трудность возникла с публикацией моих выводов о могилах древних индоариев на Украине. «Ты что,— испугался мой Начальник.— Подумал, что из этого может получиться? А ну, как Индия предъявит права на Украину?» — «Окстись!— говорю.— Где Индия, а где Украина?» — «С тобой не соскучишься»,— отвечает. Уломал я его, опубликовали у нас и в Индии — и ничего. Украина по-прежнему управляется не из Дели.

Начальство очень беспокоила моя популярность на Западе. С языками у моего Начальника были традиционные для нашей номенклатуры нелады. Как-то после очередных слухов, что мое имя опять упоминалось в зарубежной печати, мой Начальник попросил: «Слушай, не мог бы ты сам переводить для меня все, что пишут о тебе на Западе? На всякий случай. Чтобы я был информирован и готов к любой проработке в инстанциях». С тех пор я аккуратно делал такие выписки. Вот уж подлинно — «досье на самого себя». И ведь пригодилось не раз — в том числе и для этого очерка.

7. Театр абсурда. На исходе 1970-х годов я готовил сборник по итогам методологической конференции. Великолепную работу принес молодой автор с ужасной фамилией: его дядя был незадолго до того лишен гражданства и выслан из страны. Включить такую фамилию было немыслимо: все шарахались. А напечатать работу очень хотелось. С трудом уговорил автора выступить под псевдонимом. Истинную фамилию знали очень немногие, в издательстве — никто. И вдруг тревога: готовый к печати сборник затребован в Смольный. Взволнованная главред лично повезла пухлую рукопись. Я обреченно сидел и думал: пропал сборник, да и я заодно, кто-то донес. К вечеру главред вернулась выдохшаяся. Никакой крамолы не нашли. Пронесло.

Однако время таких безнаказанных «проказ» кончалось.

Под новый, 1980 год эфир взорвался сенсацией: советские войска вошли в Афганистан. Весть эта повергла меня в оцепенение. Ближайшие последствия этой грубой ошибки наших правителей были совершенно ясны: разрядка окончилась. С учениками я поделился мрачными ожиданиями: теперь расправа надо мною недалека. Надо резко ускорить темпы работ, чтобы завершить, что успеем. Свою монографию, намеченную к изданию в Оксфорде, я отправил без последних глав (так она и вышла, но и то благо вышла, когда я был уже в тюрьме). Главы эти доделывал, чтобы дослать, если успею (не успел).

Обстановка на факультете тоже была гнетущая. Как-то зазвал меня к себе в кабинет бессменный секретарь партбюро доцент Марков, усадил за столик и спрашивает: «Что ты можешь сказать о своем новом студенте К.?» — «Пока ничего особенного. Он же новый, я еще не успел его узнать. Во всяком случае ничего плохого. А что?» — «Понимаешь, поступили сведения: участвует в тайных сборищах». Я ошарашенно спросил: «Что, организация? Или оргии? Пьют?» Спросил и осекся: Марков сам пил нещадно. Но он не обратил внимания. «Кабы пили! Хуже — стихи читают!» — «Запрещенные стихи?» — «Пока нет. Но сегодня Тютчева, а завтра — Гумилева и Бродского... Ты вот что, организуй ему на сессии пару двоек по разным предметам, и тихо избавимся». Я смотрел на него во все глаза и наконец не выдержал: «Да вы что, очу-

мели все?! Уму непостижимо! Объясни мне, что вами всеми движет?» Марков перегнулся через стол и, приблизив свое худое темное лицо с глубоко запавшими глазами вплотную ко мне, прохрипел: «Хочешь знать — что? Я скажу тебе: страх! Страх!!!»

По крайней мере, откровенно. Я решительно не понимал. Чего и кого боялся Марков и в его лице партия, государство? Боялся ли Марков за себя лично — что кто-то вышестоящий сочтет его недостаточно бдительным, недостаточно боящимся? А тот, кто выше,— боялся стоящего еще выше? А что же на самом верху? Страх заразителен, но я отказался участвовать в акции. А студент все равно из университета исчез.

Не хочу изображать черными красками всю нашу тогдашнюю жизнь. Были, конечно, и радостные переживания: с подъемом читались лекции, весело проходили студенческие капустники, шумные танцевальные вечера, с блеском (или без оного) защищались диссертации, выходили книги. Но за всем этим ощущался какой-то мрак, росла подспудная тревога.

Московский Академик был силен не только своим весом в науке, но и своими связями. Все говорили о его дружбе с завом отдела науки ЦК Трапезниковым. Тот никак не мог добиться избрания в академики: голосование-то тайное, вот и прокатывали каждый раз. Рассказывали, что только благодаря Московскому Академику, сколотившему группу поддержки, прошел хоть в член-коры. Позже мне рассказывали и другое: что именно звонок Трапезникова в Ленинград дал ход кампании по моему устранению. Так это или не так, проверить трудно. Я могу изложить только то, что знаю.

Вообще, чтобы возбудить уголовное дело, нужно какое-то ЧП или заявление. Тогда заводится дело: сначала — дознание (тут еще не следователи, а дознаватели), затем — формальное следствие. Но и дознание нельзя завести ни с того ни с сего. Так вот: первое, самое первое заявление на меня появилось, как я потом увидел в деле, 2 февраля 1981 года. А уже с конца предшествующего года, по моим впечатлениям, в университетской администрации знали, что я буду арестован.

С моим коллегой, заведующим соседней кафедрой, мы на пару устроили на факультете публичный диспут о природе нашей науки. Я отстаивал одну позицию, он — другую. Диспут имел огромный успех. Вернувшись из командировки, Начальник был испуган оглаской («Я уже в троллейбусе услышал о диспуте на факультете!»). Кто позволил диспут в отсутствие начальства! Какие две позиции? Что за плюрализм! Мой коллега был вызван на ковер, и ему было указано, что зря он связался со мной. Коллега азартно возразил, что дружбой со мной гордится. Начальник, в общем-то доброжелательно к нему настроенный, велел секретарю: «Не записывайте это в протокол». Мой коллега, человек обидчивый, побледнел и упрямо заявил: «Нет, я требую, чтобы мои слова были записаны в протокол».— «Хорошо,— тихо и зловеще проговорил Начальник.— Они будут занесены в протокол, но очень скоро у вас появится возможность об этом пожалеть».

Один из студентов нашего факультета был привлечен к разбирательству по поводу каких-то листовок. Преподаватель нашей кафедры, мой ученик, сообщил об этой факультетской неприятности заведующему нашей кафедрой. «Ах, Вася,— сказал тот,— это еще цветочки по сравнению с теми неприятностями, которые ожидают наш коллектив».— «Факультет?» — спросил Василий. Зав запнулся и прошептал: «Бли-же!».

А до первого заявления, по которому должно было начаться дознание в отношении меня, напоминаю, оставалось еще несколько месяцев.

Возле университета я встретил того улыбчивого молодого человека, которого когда-то очень интересовала рок-музыка. Прежде он всегда вежливо, первым здоровался со мной, а тут холодно поглядел своими светлыми глазами куда-то поверх моей головы и с каменной физиономией прошествовал мимо. «Плохи мои дела»,— подумал я.

А шел я на обсуждение моей обзорной статьи о состоянии нашей отрасли науки. Обсуждение проходило очень напряженно, лихорадочно. В статье содержался в числе прочего откровенный критический анализ концепции Московского Академика (наравне с анализом других концепций).

По теперешним меркам это была статья вполне в перестроечном духе, только дело-то было за пять лет до перестройки. Напечатать статью в СССР не представлялось возможным, и все же публикацию я считал своим долгом. Я наметил отослать ее (по накатанному официальному каналу) в международное издание — «Мировая ...логия» («Уорлд ...лоджи»). Этот журнал как раз запланировал отвести два полных номера обзорным статьям о состоянии данной науки в разных регионах мира. Я состоял (и состою) в редколлегии, и было логично, чтобы я и позаботился об освещении нашего региона, СССР. Когда я отправил проспект статьи редактору, члену Королевского общества Т., он отозвался:

«Я верю, что работа об СССР будет лучшей и наиболее ценной из всех в этом издании... Уверен, что Ваш подход приведет к более тщательному пересмотру западных

позиций среди тех, кто не настолько предвзято относится к марксизму, чтобы автоматически отвергать любые идеи, исходящие из Вашей страны. Лично я нахожу Ваши идеи подлинным источником вдохновения для моей собственной работы...».

Текст обзора написал в основном я сам, но советовался с учениками и планировал использовать некоторые их советы, указав, конечно, их соавторство. При обсуждении нам пеняли за критику советских авторитетов — в зарубежном издании! Указывали, что это непатриотично, близко к клевете на советскую действительность... Один за другим соавторы обращались ко мне с просьбами убрать из статьи их фамилии. О сужении круга авторов планируемой статьи я регулярно сообщал за океан редактору, не понимавшему, в чем дело. Для меня, в нашем отечестве, резоны несостоявшихся соавторов звучали гораздо убедительнее, чем для редактора в его заокеанской дали. Заколебался и последний соавтор — неужели я останусь один? С текстом, который прошел все положенное тогда оформление — получил все отзывы, был выправлен и одобрен коллективом кафедры, ученым советом, экспертной комиссией, Министерством и так далее (чего это стоило!) — и, наконец, был готов к отправке. Оставалось только поставить печать университета и написать отношение на Главпочтамт, когда я был арестован.

Перед моим арестом месяц таскали на допросы моих знакомых, вымогали у них позорящие меня показания, «компромат». Спасением в эти трудные для меня дни была духовная поддержка друзей, коллег и учеников. С ними я советовался, как быть. Но оказалось, что не все они обладали крепкими нервами и не все были готовы к стрессовым ситуациям.

Вскоре меня постиг тяжелый и совершенно неожиданный удар: пришло по почте письмо от одного из самых близких учеников. Он объявлял мне о своем отречении, возмущался моими доселе скрытыми от него пороками и бурно изливал мне свое презрение. По почте. Хотя мог бы сказать обо всем мне прямо в глаза. Если неудобно, то вручить свою декларацию лично или оставить для меня на кафедре. Дело ясное: коль скоро я под следствием, можно было полагать, что почта моя просматривается, так что письмо сочинялось не для меня. Скверное было письмо. Написанное эмоционально, оно выдавало нетрезвое состояние автора (видимо, он искал прибежище от стресса в алкоголе). Но, как я потом узнал, назавтра он повторил свое отречение устно, пусть и с похмелья, декану и парторгу.

Через несколько дней я столкнулся с автором письма в коридоре факультета. Чтобы подавить возникшую неловкость, я сухо известил его: «Твое письмо получил». «Вот и отлично,— задиристо ответил он, широко улыбнувшись, но одними губами, как оскалился.— Значит, можно избежать излишних объяснений. Отныне мы только сослуживцы». Я одеревенело прошел мимо. Вдруг он громко окликнул меня по имени и отчеству. Подойдя ко мне, он внятно и отчетливо, как-то даже торжественно произнес ошеломляющие в этих условиях слова: «Забудьте все, что было в письме. Вы необходимы нашей науке, и вы — неотъемлемая часть моей жизни. Я люблю вас. Сейчас самое главное — спасти вас, вытащить из этой беды». И уже другим тоном, деловым и стеснительным: «Объясните, ради бога, толком, в чем, собственно, вас обвиняют...».

Он и другие бросились по начальству, предпринимали какие-то хлопоты, искали влиятельных знакомых. Все было тщетно, и скоро я оказался в тюрьме.

То, что произошло после моего ареста, по тем временам почти невероятно. Но это факт. Двое из тех, кто планировался в соавторы (Глеб и Василий), взяли старый текст, где их фамилии стояли рядом с моей, и отнесли его и все документы в ректорат — заместителю проректора Владимирову, ведавшему отправкой рукописей за рубеж. Основной автор арестован, честно признали они, но есть еще два автора и они готовы отвечать за каждое слово статьи. Зампроректора все понимал. Он подумал и спросил: «Приговор есть?». Нет, приговора еще не было. «Значит, по закону, человек еще не может считаться виновным. Только подозреваемым». Подпись и печать легли на документы, и статья ушла за рубеж. В той обстановке это был акт гражданского мужества. Всех троих — администратора и обоих ученых.

В Москве появление этой статьи вызвало бурную реакцию. Очевидец недавно рассказывал мне о сцене в одном из руководящих органов Академии наук в то время. Московский Академик, обращаясь к академическому начальству, возмущался тем, что из Ленинградского университета продолжают поступать за рубеж порочные статьи, дискредитирующие советскую науку. «Есть ли у Академии наук средства пресечь, наконец, эту деятельность?» — патетически вопрошал академик. «У *Академии*,— с нажимом отвечал председательствующий,— таких средств нет». Несчастная Академия!

В завершение процитирую письмо редактора журнала, опубликовавшего нашу статью. Письмо датировано 10 июля 1982 года и адресовано моему соавтору Глебу (я был уже в тюрьме, и всю переписку вел Глеб). Из текста я убираю конкретные указания.

Дорогой доктор Г. Л.,

я получил массу писем о нашем изда-

нии. Во многих из этих писем добавлено, что *наиболее* интересной работой во всей серии была Ваша совместная статья о советской науке (названа дисциплина). Знаю, что они правы. Конечно, на Западе есть люди неизменно враждебные ко всему, что исходит из Советского Союза. Большинство специалистов просто очень мало знает о том, что делается в науке Советского Союза. Из откликов, которые я получил, ясно, что Ваша статья возбудила огромный интерес к тому, что у Вас делается. У многих ученых на Западе она порождает сознание, что в советской науке происходит много интересного, о чем нам следовало бы получше знать. Читатели, в частности, осознали силу и возможности советской науки (названа отрасль) и перемены, которые в ней начинаются — о чем раньше они мало знали. Благодаря Вашей статье у многих ученых на Западе и в Третьем мире будет больше интереса и уважения к советской науке.

Я буду очень благодарен, если Вы сообщите обоим Вашим соавторам новость об этом успехе Вашей статьи в пробуждении интереса к советской науке и очень благоприятного впечатления о ней в Международном сообществе ученых.

Искренне Ваш Б. Т.
профессор, член Корол. об-ва

В те дни Глебу казалось, рассказывал он мне позже, что он участвует в каком-то театре абсурда.

Он только что ознакомился с высказыванием виднейшего британского специалиста. Перечислив созвездие блестящих имен американцев, произведших революцию в нашей науке, англичанин радовался тому, что и в Европе появилось несколько ученых, способных «принять интеллектуальный вызов» Америки. В числе этих нескольких был назван я.

Я не сумел оправдать эту слишком лестную для меня надежду. Подготовленная мною книга с критическим анализом американской науки осталась ненапечатанной, а сам я надолго был занят делом, конечно, более важным для страны: обрабатывал вручную застежки «молнии» на лагерном заводике. И хотя я выполнял и перевыполнял, может быть, такое использование ученых — одна из причин, по которой «молний» и многого другого не сыскать в наших магазинах?

8. **Право мертвой руки.** Я был бы неблагодарным и необъективным, если бы умолчал о той общественной поддержке, которую все время чувствовал. Ее не оттолкнули ни позорные обвинения, свалившиеся на меня, ни ощутительная политическая подоплека гонений.

Мои коллеги и ученики собрали деньги на организацию моей защиты, и в этом участвовали даже непосредственные подчиненные Московского Академика, несмотря на его неудовольствие. Они же, а также сотрудники Эрмитажа направили письма и ходатайства в суд.

Когда я вышел на свободу и оказался без средств к существованию, некоторые журналы взялись пробивать мои статьи, несмотря на противодействие властей. Словом, в моем случае власти натолкнулись на солидарность интеллигенции.

Конечно, были и такие, которым мой арест оказался только на руку. Это те нахрапистые неучи и бездари, которые в условиях застоя чувствовали себя как рыба в воде и поднимались наверх с удивительной быстротой и легкостью. В брежневском истеблишменте парад ценился выше окопной правды, а имитация науки — выше науки.

Об одном таком имитаторе, назовем его Хватенко, стоит рассказать. Бодрый, полный, щекастый, с быстрой речью и живыми цепкими глазками, он, посверкивая лысиной, носился по Институту, растопырив руки, и то тут, то там мелькала его густая борода. Английским он владел плохо, прочих языков не знал вовсе, но специализировался по изучению англоязычного зарубежья и часто туда ездил; там его принимали как видного советского ученого. С наукой же у него не ладилось, тем не менее кандидатскую сварганил. А уж общественной работой занимался с бешеной активностью. Очень скоро он стал секретарем партбюро Ленинградского отделения Института и, пребывая на этом посту 7 лет, приложил всяческие усилия к избавлению Института от наиболее видных ученых. На пенсию, на пенсию. И преуспел в этом, расчистив места для себя и своих друзей.

Однако он так спешил, что разгневал Московского Академика: стал было его заместителем (по Ленинграду) без его ведома! Он получил уже утверждение в Смольном, но разгневанный Академик примчался в Ленинград, появился в Смольном, и дело было переиграно. Для защиты докторской диссертации в Москве Хватенко обеспечил себе поддержку другого академика, ленинградского, и был уверен в успехе. Настолько уверен, что заранее заказал шикарный банкет, да и сам хорошо «поддал» перед самой защитой. На заседание явился навеселе, текст отчитал по бумажке, выслушал оппонентов (конечно, «за»), но, когда ему стали задавать вопросы, растерялся, полез за ответами в туго набитый портфель и стал в нем рыться, приговаривая: «Сейчас... сейчас...». Ответы не находились. Многие присутствовавшие рассказывали мне, что хоть защита частенько сводится к спектаклю, такого фарса они не припомнят. После объявления итогов голосования Хватенко, красный и потный, стал приглашать всех на

банкет, но председательствовавший Московский Академик прервал его замечанием: «Вы не поняли, Александр Иванович: необходимого большинства Вы *не* собрали, Вам *отказано* в докторской степени...» Хватенко жаловался в ЦК, но тщетно.

Когда я вышел из лагеря и взялся читать накопившуюся за эти полтора года научную литературу, мне попался на глаза сборник теоретических статей с критикой западных учений. Текст одной из статей показался удивительно знакомым. Ба, да ведь это мой текст! А над статьей стояла фамилия Хватенко! Неужто он считал, что я ушел на долгие годы и теперь можно располагать моими работами как выморочным имуществом? В средневековой Франции сеньор так распоряжался имуществом умерших крестьян, и эти привилегии сеньоров назывались «правом мертвой руки». Наложил, значит, на меня мертвую руку. Ну и хватка! Потом выяснилось, что он проявил еще большее нахальство: сдал статью в печать еще до моего ареста, то есть когда он еще быстро продвигался наверх и ему был сам черт не брат.

Прочитав статью более внимательно, я обнаружил, что мой текст взят из трех моих работ — учебного пособия, рецензии и вышедшей на английском языке обзорной статьи. Но примерно половина текста его произведения — не моя. Неужели сам сочинял? Непохоже: тут высказывания, до которых ему бы не додуматься. Меня охватил азарт: вот и проверка моей эрудиции, которую так хвалили,— неужели не найду источники, откуда что украдено? Должен найти, не все ведь перезабыл за «молниями» в лагере! Засел за книги и в несколько дней разыскал все. Оказалось, что, кроме меня, Хватенко ограбил двух этнографов, двух философов и одного индийского археолога. Лихо сработано — без чернил, не притрагиваясь пером, все — только ножницами и клеем! Лишь самый конец статьи опознать я не сумел. Но в телефонном разговоре редактор сборника, крупный ленинградский ученый, смущенно признался: «А конец дописал ему я».— «Как?!» — «Да понимаете, чувствую, что текст как-то неловко обрывается, повисает в воздухе, ну и дописал».

Добавления самого Хватенко в мой текст были только одного рода: огромное количество ошибок грамматических и... уж не знаю, как их назвать — ну, таких, которые появляются, когда малограмотный человек щеголяет научными и философскими терминами, безбожно их перевирая. Вместо энвиронменталистов у него «инверменталисты», номотетическая тенденция оказывается в его передаче «номатической». Это не опечатки: гиперскептики, став «гипроскептиками», остаются таковыми на протяжении всей статьи.

Моя англоязычная статья переведена у него на русский язык ужасающе. «Индетерминизм» передан словом «беспричинность», аддитивное понимание стало «адаптивным» и так далее. Английского страдательного залога переводчик не признавал, поэтому деятели и объекты действия у него поменялись местами. Сами понимаете, что́ при такой передаче получилось из смысла статьи! Правда, Хватенко, вероятно, и так перевести бы не смог. Переводил для видного специалиста по англоязычному зарубежью кто-то другой, возможно, студент. В некоторых случаях переводивший колебался, как перевести, и, написав, скажем, «предложил», ставил в скобках синоним: «выдвинул». А Хватенко так и перекатал все подряд, и в статье стоит: «N предложил (выдвинул) ... гипотезу».

В предисловии к сборнику указано, что на заседании Отдела академического института Туркмении, где эта статья была предложена как доклад, «все выступавшие подчеркнули высокий уровень докладов». Все! А там были и специалисты из центра. Значит, и такой абракадаброй о гипроскептиках, инверменталистах и номатической тенденции можно, оказывается, произвести впечатление на заседании, «посвященном теоретическим вопросам методологии и методики» науки (цитата из предисловия).

Обратившись после анализа статьи к книге того же автора (его докторской диссертации), я обнаружил те же приемы работы, только обкраденных авторов прибавилось (оппоненты вообще не заметили кражи). Более того, я приведу из книги один пассаж, из которого явствует, что сей член ученого совета, кандидат наук, руководитель научного коллектива, специалист в области древних культур, представляющий нашу науку за границей,— что он вообще, простите, некультурный человек. Он пишет об «эпохе до вторжения А. Македонского». Если он считал, что это фамилия, то уж писал бы тогда инициалы полностью — с отчеством: А. Ф. Македонского (надо надеяться, он имел все-таки в виду Александра Филипповича, занимавшего некогда македонский престол).

Как подумаешь, что этот невежда распоряжался целым коллективом ленинградских ученых, что он решал, кому продолжать исследования, а кому уходить вон! Что он увольнял прославленных корифеев! Это его мертвая рука лежала на живом теле науки. Как рука Лысенко, только захват поменьше. До широкого — не дорос, не дали.

По моему заявлению, написанному в конце 1982 года, была в начале 1983 года создана комиссия, которая разбирала сей казус на пяти заседаниях. Факты полностью подтвердились. Хватенко сначала говорил, что его подвели помощники, редакторы, корректоры. Потом признал, что

идея принадлежит ему: как коммунист он привык выполнять задания в срок и надежно, а тут не успевал, ну и... Комиссия не приняла этих оправданий. Хватенко покаялся, подчеркнул, что «не руководствовался расчетом или злым умыслом» (?!), и выразил готовность принести извинения обкраденным. И мне, значит. Стороной он расспрашивал коллег, за что я на него так рассердился. Ну, словчил, ну, слямзил, так ведь никому же не во зло. Самойлову-то что до этого? От него же не убудет — наоборот, пусть радуется, что на его работы такой спрос! Наверное, это лагерь его так озлобил...

Самое интересное, что Хватенко недоумевал искренне. Он искал лишь то, чем он мог оскорбить лично меня, и не понимал, что оскорбляет и унижает науку. А тем самым и меня.

Надо сказать, я поставил администрацию Института в чрезвычайно трудное положение. Зэк, только что выпущенный из лагеря, лишенный степени и звания, отвергнутый государством и официальной наукой, уличил процветающего научного деятеля, руководящего сотрудника (правда, не сумевшего защитить докторскую диссертацию). Как поступить?

Я потребовал четкой публикации об этом происшествии в головном журнале нашей отрасли науки (редактором его был все тот же Московский Академик). А между тем в это время редакторы даже ссылки на мое имя еще вымарывали. Московский Академик и сам весьма недолюбливал Хватенко, но высветить мое имя, да еще как пострадавшего от скандальных действий, позорящих его Институт... Академик долго не мог решиться на публикацию. Но два влиятельных члена ученого совета заявили, что выйдут из совета, если это позорище не будет прекращено, если меры не будут приняты. Кроме того, я дал знать, что в этом случае мне остается подать в суд (плагиат — статья 141, ч. 1 УК РСФСР), а тогда процессом косвенно будут задеты редактор сборника и директор учреждения, где работает виновный. Редакция журнала также опасалась (и не без оснований), что, если моя просьба не будет удовлетворена, я смогу предать гласности всю эту историю на страницах зарубежного издания (хотя бы того, где я значусь в составе редколлегии): терять мне было нечего. И вот весною 1984 года акт комиссии был подготовлен к публикации (полностью) в головном журнале нашей отрасли в СССР.

В последней надежде задержать публикацию Хватенко пустился во все тяжкие. Ко мне подошел старый сотрудник Института и предупредил: «Берегитесь. Хватенко при мне сообщил, кому следует (ну, сами понимаете), что вами нелегально отправлена за рубеж статья, порочащая советскую науку, то есть о вашем конфликте с ним. Не боитесь снова оказаться в лагере? И потом, вы ведь знаете, *кто* его жена?». О том, что Хватенко женат на близкой родственнице крупного чина из КГБ, говорили давно. Возможно, он сам распространял эти слухи, чтобы упрочить свою репутацию.

Не помогло. Публикация вышла.

А результат? Хватенко получил выговор по административной линии и выговор по партийной, которые были сняты через полгода. Его вывели из ученого совета и больше не избирают в партбюро. Но кандидатом наук и заведующим подразделением Института АН СССР он остался. Это я, лишенный степени и звания, так и ходил без работы.

Хватенко продолжает, растопырив руки, бегать по Институту и удивляться моей озлобленности на него за такую пустячную проделку. В каком-то смысле он прав. Моя злость близоруко сосредоточилась на нем, хотя по-настоящему следовало ненавидеть те силы, которые его создали и подняли, тот порядок, который настойчиво двигает каждого на отведенное ему в этом порядке место: меня — вниз, его — вверх.

9. Жизнь под колпаком. Оглядываясь назад, я должен признать, что частенько беспокоил и раздражал всякого рода начальство самой сутью своей деятельности, а порою и формой. Но достаточно ли этого было, чтобы оценить мою позицию как политически враждебную, опасную для государства, вредную? Связана ли с такой оценкой расправа надо мной? Кто ее организовал?

Всемогущий случай пролил свет на эти загадки. Когда я сидел в тюрьме, в компанию моих друзей затесалась особа, весьма гордая тем, что ее муж работает «в органах». Арест Самойлова был у всех на устах, и дама дала понять, что супруг ее причастен к этому делу. Мои друзья стали усердно подливать в ее бокал, а затем спросили о причинах гнева «органов» на Самойлова. Ответ был: «Ну, там пришли к выводу, что мышление его развивается в направлении к диссидентству, и решено было нанести упреждающий удар». Конечно, дама могла и прихвастнуть в упоении общим вниманием — преувеличить свою осведомленность, а проверить эту информацию невозможно. Но некоторые другие сведения, сообщенные заодно, подтвердились...

Превентивная стратегическая операция завершена успешно. Можно подвести итог — оценить результаты.

После выхода из заключения я не имею официальной работы (никуда не брали). Из моих курсов в университете читаются лишь один-два, в остальных замену мне не нашли, и курсы просто сняли. Теорети-

ческие исследования в стране по нашей науке захирели (понимаю, виновато здесь не только мое отсутствие; сказались и другие факторы). «Интеллектуальный вызов Америки» остался без ответа (как, впрочем, и в ряде других наук).

По-моему, это означало ущерб для развития нашей науки. Я понимаю, по масштабу этот ущерб не идет ни в какое сравнение с тем, какой нанесло ей «обезвреживание» Вавилова или Чаянова, но направленность ущерба та же. И те же причины.

Лично я, возможно, больше приобрел, чем потерял: мне открылись новые стороны жизни, новые сферы деятельности. Оторванный от прежней профессии, я, работая дома, освоил новую научную специальность; мои рукописи, отзыв о которых приведен в начале статьи, относятся уже к ней и сейчас преобразуются в книги (запланированы к публикации в издательстве «Наука»).

Но в превратностях моей личной судьбы есть общественный аспект. Я о нем.

Всю жизнь за мной бдительно и настороженно наблюдали чьи-то немигающие глаза. Всю жизнь слухи обо мне стекались в чье-то огромное ухо, собирались и накапливались в тайных досье. Почему в собственной стране, работая на ее пользу и во славу своего народа, я все время должен был заботиться о том, чтобы меня, не дай бог, не приняли за предателя или иностранного наймита? Почему подозрение всегда ходило за мной по пятам? Почему меня боялись? Почему мое мышление находили крамольным, а крамолу возводили в криминал, приравнивали к криминалу (и, чего греха таить, подменяли криминалом)?

Инакомыслящим я не был, потому что не было в стране самостоятельной мысли, которой я бы составлял оппозицию, мысля «инако». Я был не инакомыслящим, а просто мыслящим, и, кажется, в этом была вся моя беда. Я разделял эту беду со многими. Требовалось не мыслить самостоятельно, а верить, веровать. И даже не в какие-то постоянные догмы, а просто слепо доверять всему, что вещает очередной партийный лидер. И менять веру тотчас и без оглядки, если он сменит свои лозунги. Верить сегодня в одно, а завтра в нечто прямо противоположное. Верить не тому, что видишь, а тому, что тебе внушают. Это была та «игра в бисер», правила которой я не мог усвоить — возможно потому, что они противоречили моей натуре.

Постепенно до меня стало доходить, что бравурный страх моего отца и мой скрытый наследственный страх — ничто по сравнению с тем всеобъемлющим страхом, который, как ни странно, я внушаю моему государству. Я и мой сгинувший студент К., читавший не те стихи и не в том кругу. Иногда, несмотря на естественный озноб, мне льстило, что мною, в общем-то безобидным человеком, всерьез занимаются такие грозные органы — не чего-нибудь, а Государственной Безопасности! Что мощное государство меня и таких, как я, чурается, опасается, да попросту боится. Что всю пирамиду власти, весь государственный механизм сверху донизу бьет мелкая-мелкая дрожь — от страха. Чем, как не страхом, вызвана тбилисская трагедия? Десант с саперными лопатками и газами был послан потому, что власти смертельно испугались молящейся толпы юношей и женщин перед зданием ЦК. Страх мы найдем в подоснове событий Новочеркасска и Алма-Аты, Минска и Куропат.

Порою у меня закрадывалась догадка, что этот государственный страх порожден тайным неверием. Что столпы государства там, наверху, возможно, сами не отдавая себе в этом отчета, сильно сомневаются в прочности собственного режима, в его устойчивости и внутренней силе — потому и стараются подпереть его изнутри штыками и лагерными вышками. Не верят в естественную (по законам истории) повсеместную победу социалистического строя — потому и посылают танки для его утверждения. Не верят в его (и свои) достижения — потому и не выпускают наших граждан за рубеж (не прельстились бы!). Не верят в силу и убедительность коммунистических идей — потому и стремятся заглушить любые голоса, подавить любое инакомыслие, любую тягу к самостоятельности. Не верят в способности своей партии соревноваться с другими — потому и запрещают все остальные. Не верят, не верят, не верят!

Нельзя нанести большего ущерба идеалам, чем защита их такими средствами и в таких целях. Нельзя придумать ничего более унизительного.

Помню, американский марксист Ф. К., будучи у меня в гостях, страшно удивлялся явному для всех третированию меня на родине. «Вы же развиваете марксизм в этой науке, развиваете марксизм! — повторял он.— Для западных ученых вы и есть его главный представитель в этой науке, главный защитник, и главный их оппонент». Он не понимал, что как раз за это меня и третируют. Под марксистской теорией у нас уже давно понималось всего лишь начетническое жонглирование цитатами из классиков. Под теорией — их талмудическое толкование, экзегеза. Не понимал мой гость и того, что *развивать* марксизм стало у нас самым опасным делом. Для наших «попов марксистского прихода» *развивать* значило только одно — *ревизовать*. Ведь всякое развитие означает изменение: нельзя развивать, не двигаясь с места и ничего не меняя. А для самомалейшего изменения марксизма у нас был только один термин — ревизия. Ну, а ре-

визионист — это уж, ясное дело, враг народа.

Мы не заметили, как наше общество из самого революционного превратилось в одно из самых закостенелых и консервативных в мире. Как наши власти обуял страх — озноб от революционных идей, паническая боязнь реформ, опасение любых перемен. Авангардное искусство, лавина свежих идей в науках, готовность к социальному эксперименту отошли в прошлое, были забыты, даже искусственно изгонялись из памяти. Часто Москва и Ватикан запрещали одни и те же фильмы. Очень позитивной оценкой стало у нас выражение «здоровый консерватизм». Как будто консерватизм бывает только здоровым и нет в мире консерватизма больного, старческого, маразматического. А вот о «здоровом радикализме» у нас что-то не было слышно. Радикализм всегда награждался эпитетами «крикливый», «ультрареволюционный», «экстремистский».

Кроме того, считалось, что нельзя показывать врагам, да и друзьям, наши разногласия. Надо, чтобы наше общество, включая науку, представлялось друзьям и врагам непременно сплошным монолитом. Эффект был прямо противоположным — на Западе пугались этой унылой монотонности, этого устрашающего единообразия, понимая, что за этим стоит подавление личных мнений и свобод. Когда советские ученые единодушно, сплошной массой выступали за официально одобренную концепцию, с Запада на это смотрели таким же насмешливым и презрительным взглядом, как на лес рук в прежнем Верховном Совете с его единогласным «за́».

При таких условиях сугубая идеологизация, установка и сама по себе небезупречная, нанесла огромный вред нашей науке, лишив ее многих источников плодотворных идей. Предполагалось, что наша выверенная, как часы, идеология — единственный путь к научным открытиям, что нельзя, руководствуясь «неправильной» философией, прийти в конкретной науке к интересным и ценным результатам. Пора признать: многие философские учения показали свою плодотворность в разработке методов исследования и в осмыслении действительности. Многие немарксистские ученые сделали выдающиеся открытия не вопреки своим идейным позициям, как у нас привыкли говорить, а благодаря им. Марксистское учение, при всей его силе, не всеобъемлюще и не абсолютно.

Всякая монополия вредна — идеологическая и организационная. Более тридцати лет назад книга Дудинцева «Не хлебом единым» поразила меня смелостью и правдой. Автор вскрыл механизм вредного воздействия монополии в науке на ученых и на производство. А воз и ныне там. Я уж не говорю о том, что сам я, как оказалось, повторил судьбу дудинцевского героя из тех годов: за противостояние незримому «граду Китежу» (так окрестил эту крепость Дудинцев) — судебная расправа, даже сроки (вот провидец!) те же: 6 лет в требовании прокурора, а свелось все на деле к тем же полутора годам. Вышел — и все сначала. По-прежнему в каждой отрасли есть головной институт, есть один ведущий журнал (чаще журнал вообще единственный), есть официально признанная концепция, есть правящая элита, есть свой Московский Академик. Каждая отрасль науки вручалась такому ученому (иногда талантливому, иной раз — нет) на многие десятилетия. Как феодальное владение, удел. Суди, ряди и властвуй — обеспечивай порядок.

В результате наша наука попала под власть дряхлых старцев, которые, чтобы до самой смерти не утратить власть и влияние, приближали к кормилу лишь близких по возрасту, но менее перспективных. Им и переходило правление. Помню, стоял я в коридоре академического Института, когда совет подбирал ученого секретаря. Кандидат на этот пост, сильно за пятьдесят, выскочил из двери, весь трясясь от злости: «Слишком молод! — восклицал он.— Неопытен! Да мне на пенсию скоро! Сами-то какими заняли свои места!». А ведь наука движется в основном усилиями молодых. Когда я перебрал биографии всех светил нашей дисциплины, за всю ее историю, я удивился: каждый, кого мы привыкли видеть на портретах седым и морщинистым, пришел к своему главному открытию в очень молодом возрасте.

Академическая геронтократия сильно способствовала консерватизму нашей науки, ее малоподвижности, застою. В науке сложилось, в сущности, господство нетворческих ее кадров над творческими, отживающих сил — над полными жизни. Что ж, будучи частью общества, наука отражала его состояние. Такая система, чтобы устоять, нуждалась в поддержке извне науки, в бюрократическом режиме, в командно-административных методах и средствах. В то же время господствовавшие в обществе и в науке силы вынуждены были ради приличия делать вид, что «аракчеевского режима» нет, что все у нас демократично, что это от свободной внутренней убежденности такое единогласие. Поэтому значительная доля забот по обеспечению созданного порядка — идеологической непоколебимости, политической благонадежности, научной верноподданности, даже моральной чистоты — падали на тайные пружины этого бюрократического аппарата. И поскольку каждое уклонение от догм, утвержденных партийными верхами на данный период, от идейных установок и выводимых из них концепций расценивалось как политическое выступление против режима, в дело вступали органы государственной безопасно-

сти — «компетентные органы», самые компетентные во всем: КГБ.

10. Самые компетентные. Эта тайная государственная организация выслеживала и устраняла противников Лысенко, очищала страну от кибернетиков, она же держала под неусыпным надзором философские увлечения физиков и специалистов по античности и, конечно же, тенденции в поэзии и рок-музыке, живописи и скульптуре, драме и кино. Сфера деятельности КГБ всеобъемлюща, функции почти не ограничены. Монополия означает всевластие, всевластие родит произвол, произвол порождает эксцессы.

Если мы хотим иметь правовое государство и нормальное общество, пора покончить с этим положением. Тяжелые грехи Ягоды призван был искоренить Ежов, преступления Ежова «поправлял» Берия. Каждый был сатрапом Сталина и душителем народа. Не все руководители КГБ были такими и не все их подчиненные. Цели Дзержинского были другими, и методы Андропова — другими. Но роль этих деятелей в истории была иной не потому, что машина резко изменялась, а наоборот — машина меняла курс потому, что сменялись кадры, то есть все зависело от их личных качеств и от качеств лидеров, которым они подчинялись. Базу для произвола создавала (и сохраняет!) система — статус КГБ в структуре государства. Среди работников КГБ, встречавшихся мне на моем жизненном пути, были и люди умные, честные, праведные. Но не их личные качества определяли конечный результат их деятельности.

Я слышал, что ныне КГБ играет важную роль в разоблачении коррупции на самых верхних эшелонах власти, решающую роль в разгроме могущественных кланов мафии. Честь и хвала за это работникам КГБ. Но ведь, занимаясь этим, они вынуждены делать не свое дело. Это не от хорошей жизни, а потому, что те, кому этим ведать надлежит — ОБХСС, угрозыск, прокуратура,— оказались не на высоте. Это их надо укреплять, а не умиляться вездесущности КГБ.

В любом государстве есть органы разведки и контрразведки. Нужны такие органы и нашему государству, и они должны быть достаточно мощными, чтобы государство чувствовало себя уверенно в современном беспокойном мире. Своих служащих этого рода государство называет героями-разведчиками, служащих другим государствам — шпионами, работу своих разведчиков считает благородной, работу шпионов противника — грязной и позорной. Так или иначе, ни одно государство без них не обходится. В США это ЦРУ, в Англии — Интеллиджент Сервис, в Израиле — Моссад и так далее.

Гораздо более тонкую проблему представляет защита государства от внутренних политических врагов. Это совершенно иная функция. Ведь иной характер противника, иной состав, иная вооруженность требуют иных средств борьбы, и обычно эту функцию исполняет другой государственный орган, называемый по-разному: тайная политическая полиция, жандармерия, охранка и тому подобное. В США это ФБР. Всякое государство стремится предохранить себя от распада, обезопасить от взрыва. И нашему государству тоже иметь подобный орган не зазорно. Но возложить эти функции на тот же КГБ вряд ли было правильно. Исторический опыт показал, что это способствовало ужасным злоупотреблениям. Есть над чем поразмыслить.

Во-первых, нужно очень четко определить, от кого этот орган должен защищать государство. Ни в коем случае нельзя допустить, чтобы он защищал *любые* действия государственного аппарата от *всех* граждан, ибо это означало бы охранять деспотизм. Конечно, этот орган должен парализовать деятельность террористов, буде такие появятся, и разоружить, обезвредить других сторонников насилия над народом. Но нельзя допустить, чтобы этот орган подавлял всякое инакомыслие, всякое критическое выступление против властей. Любое идейное выступление против господствующих концепций должно считаться допустимым и не должно подавляться, если оно не содержит призыва к насилию, к насильственному свержению властей. Любое — в том числе и с критикой социализма, марксизма, советского строя, с доказательствами преимуществ свободного предпринимательства или многопартийной системы (думаю, наше общество к ней придет). Даже того, кто считает, что нам нужен другой строй, нельзя объявлять врагом народа. Ибо благо народа выше интересов любого строя, любого учения. Суббота ради человека, а не человек ради субботы. Если мы не признаем этого принципа, то законсервируем навечно наш нынешний строй, нынешнюю структуру государства и нынешний облик страны.

Во-вторых, надо разобраться в вопросе о том, все ли методы хороши для защиты от потенциального внутреннего врага. Можно ли тайным защитникам государства применять любые средства? Этот выбор стоит перед всякой тайной организацией — допустимо ли для благой цели применять подлые средства: террор, шантаж, подлог, фальшивки, нападки из-за угла и избиения, наконец, истязания, пытки, убийства? Но ведь здесь действует общий принцип, давно известный: при таких средствах перерождается сама цель.

Коль скоро так, необходимо выработать четкие критерии допустимости методов и строго определить их законом. Незаконные методы не должны применяться. Конечно, органу, на который возложена столь ответственная функция, нужно обеспечить достаточные полномочия, но они должны быть четко ограничены и должен быть налажен эффективный контроль за тем, чтобы границы их не нарушались.

В-третьих, надо ввести в разумные пределы и выполняющий эту функцию аппарат. Если в стране нет такого огромного количества врагов народа, если задачи этого аппарата гораздо уже, чем предполагалось, а допустимые для него методы не столь многочисленны, то к чему раздутые штаты? Это же азбука бюрократического развития: если есть разбухшие штаты, то их надо чем-то занять, а тогда, коли заговоров нет, они будут изобретаться. В царской России был один жандарм на уезд, а ныне в районе отделение КГБ занимает целое здание. Этому разрастанию способствовало объединение функций разведки и охранки в одном учреждении. А в основе лежит удобная привычка объяснять всякое критическое выступление против наших порядков происками иностранных разведок. Мы помним, к чему это привело. Миллионы расстрелянных, колючая проволока по всей стране, неисчислимый ущерб для экономики, науки и культуры.

Необходимо провести решительную, радикальную реорганизацию засекреченных защитных служб государства, если мы не хотим жить и дальше над пропастью и во лжи.

С тех пор, как статья эта была написана и сдана в редакцию, прозвучали на всю страну резкие и смелые выступления на Первом съезде и в Верховном Совете — речи Власова, Ельцина и других депутатов. О том же. Оказывается, это волнует всех.

Ну, а я после моих предшествующих статей, сдается мне, опять попал под колпак: письма от моих зарубежных коллег стали приходить с опозданием на полтора месяца и притом пачками — будто накапливаясь в каком-то отстойнике для регулярного просмотра. Или это просто почта барахлит?

По сообщению пресс-бюро КГБ, несколько месяцев назад Управление КГБ по борьбе с идеологической диверсией упразднено. *(Прим. редакции.)*

Александр
ЖОВТИС

ВОПРЕКИ ЭПОХЕ И СУДЬБЕ

Я — мечтавший и нощно и денно
О несносной своей правоте!

А. Галич,
из «Песни о последней правоте»,
посвященной Ю. О. Домбровскому

Когда в ночь на 30 марта 1949 года за Домбровским пришли, чтобы в очередной (четвертый!) раз арестовать его, он сидел у письменного стола. Дверь в комнату, как обычно, была не заперта. Увидев незваных гостей, писатель закричал: «Не мешайте работать!» — и запустил в них чернильницей. Свидетелем этой вспышки отчаяния был взятый в качестве понятого сосед Юрия Осиповича по коридору журналист А. С. Розанов.

Не арестовать Домбровского не могли — он, конечно, раздражал «дорогие органы» самим фактом своего независимого от «общепринятых» норм и руководящих циркуляров существования, решительно не вписываясь в систему всеобщего «единомыслия», приспособленчества и страха. И не то, чтобы он бравировал своей независимостью или вел разговоры, которые в незабвенную сталинскую эпоху расценивались как антисоветские. Нет, Домбровский просто не соотносил свой взгляд на мир с тем, что считалось в нем истиной. А этого было достаточно...

Юрий Осипович думал, например, что значение Мопассана в мировой литературе сильно преувеличено, и пространно критиковал идейные концепции Белинского, которого называл «колоссом на глиняных ногах». Нелюбовь к французскому писателю криминалом и в те времена не была. А вот что касается Белинского... Когда Домбровского судили, прокурор всерьез именовал это рассуждение враждебными высказываниями отщепенца, ненавидящего то, что обязан любить русский и вообще каждый гражданин и патриот.

...Впервые я увидел Юрия Осиповича зимой 1944—1945 года на одном из заседаний русской секции Союза писателей Казахстана, где читал свои переводы из Лонгфелло. Худой человек в каком-то очень старом пальто (в помещении было холодно, и мы не раздевались) поразил меня тем, что, оценивая перевод, заговорил о ритмическом строе оригинала. Английским языком он не владел, но английский стих знал, и это было удивительно. Так началось наше знакомство, продолжавшееся более тридцати лет. В 1946—1947 годы мы оба преподавали в студии при русском театре имени Лермонтова, где училась в то время моя будущая жена Г. Е. Плотникова (Ю. О. спустя годы утверждал, что именно он познакомил меня «со своей ученицей»). Знакомство с Домбровским перешло в дружбу.

В 1947—1949 годах так называемая идеологическая борьба «за чистоту» науки и искусства заполонила жизнь, озадачивая своей зачастую очевидной нелепостью меня и моих товарищей, начинающих литераторов. Приходя в ту пору к Домбровскому, я попадал в атмосферу высокой духовности, в которой от «пакостей» современной жизни хозяин уводил собеседников к проблемам, волновавшим человечество задолго до нас. И только спустя годы я осознал, что к собственному пониманию сталинизма и фашизма, социализма и демократии я приходил от этих бесконечных разговоров о Марке Аврелии, Христе, Иосифе Флавии, Радищеве и Большой комиссии Екатерины II. Смею сказать, что в компании, где бывали сосланный в Алма-Ату секретарь К. Радека Л. И. Варшавский, художник Вс. В. Теляковский, режиссер Я. С. Штейн, журналист В. В. Черкесов и другие, он не боялся говорить то, что думал. Но думал-то он не столько о подлинных мотивах преследования морганистов-менделистов или музыкантов-формалистов, проходившего на наших глазах, сколько о том, какие закономерности государственного и общественного развития и бытия вели к тому, чему мы становились очевидцами.

Юрий Осипович продолжал работать над романом «Обезьяна приходит за своим черепом», действие которого происходит в оккупированной фашистами Европе. Произведение это сейчас хорошо известно (впервые оно было опубликовано в 1959 году, а переиздано массовым тиражом совсем недавно «Советским писателем»). Тогда же шансов на публикацию было мало — роман мысли (а Домбровский писал только такие романы) вызывал подозрение. Считалось, что и в фашизме товарищ Сталин все уже объяснил и что сочинение советского писателя, жившего в Алма-Ате, должно быть напрямую посвящено казахстанской, а не какой-либо иной действительности. Я отнюдь не оглупляю те соображения,

которые были высказаны Домбровскому в Союзе писателей, когда он попросил обсудить свое произведение. Тогдашний председатель русской секции Союза в этом ему отказал.

Судьба романа «Обезьяна приходит за своим черепом» достойна детективной новеллы. Поскольку вокруг него уже складывается легенда (как и вокруг личности самого Домбровского), расскажу об этом то, что знаю.

Роман был завершен не позднее 1947 года. Друзья читали и обсуждали его. Рукопись после ареста автора как сочинение «вредное» следовало предать сожжению, и Юрий Осипович все годы пребывания в лагере оставался в убеждении, что экзекуция была совершена. Но уже после освобождения, когда писатель жил в Москве близ Колхозной площади (в комнате, которая прежде принадлежала поэту Н. Сидоренко), к нему пришел неизвестный человек и вернул рукопись. Это, как выяснилось, был сотрудник (в прошлом) Министерства государственной безопасности, проявивший здравый смысл и незаурядную смелость и сохранивший опальное произведение. К сожалению, я забыл его имя. Дело обстояло именно так, а не так, как об этом рассказано в очерке «Хранитель совести» («Казахстанская правда», 15 сентября 1988 г.) и телевизионном фильме «Факел Юрия Домбровского», автор которого передавал эпизод с чужих слов.

Я побывал в Москве вскоре после описанного визита, как раз тогда, когда Юрий Осипович занят был «обновлением» материала — он писал новую вступительную главу к роману.

...Вернусь, однако, в памятную для меня зиму 1948—1949 годов.

В эту пору разнузданной травли интеллигенции Юрий Осипович чувствовал себя обложенным со всех сторон. Но внешне образ жизни его оставался прежним. Лишь один эпизод вспоминается мне как такой, в котором проявились не присущий Домбровскому «философский» взгляд на вещи, а с трудом сдерживаемые раздраженность и злость человека, ясно осознающего скрытый смысл происходящего и свои перспективы.

В комнате Домбровского в 4-м «Доме Советов» (напротив здания МГБ) всегда толпился народ. Днем, вечером, ночью посетители сидели на диване у дверей, а хозяин невозмутимо занимался своим делом — писал, лишь изредка включаясь в разговор. Жил он на случайные заработки. Как острили мы, перефразируя строчку из каких-то мемуаров XVIII века, «он имел свое кормление от толмачного мастерства» и, конечно, нуждался...

Так вот, в это время и повадился к Юрию Осиповичу некий очеркист, жаждавший наставлений в писательском деле. Собственно говоря, у этого автора был всего один очерк, еще не напечатанный, тем для профессиональных бесед у него явно не хватало, да и широтой кругозора он не блистал, но стал появляться часто, усаживался на протертый диван, слушал очень внимательно, о чем говорили, и изредка вставлял ничего не значившее слово. Трудился «очеркист» то ли в горкоме партии, то ли в горсовете на какой-то маленькой, кажется, технической должности. Домбровский присматривался к нему месяца два, а потом принял решение.

Однажды вечером, когда на вышеупомянутом диване полулежали Виктор Черкесов, «очеркист» и я, а Юрий Осипович, сидя к нам спиной, продолжал писать свое, в комнате воцарилось продолжительное молчание. Очередная тема была исчерпана, и каждый из нас что-то читал или листал. Вдруг Домбровский, казалось бы, с головой ушедший в творческий процесс, резко повернулся на своем стуле и, глядя в лицо «очеркисту», сказал:

— Вы все ходите, ходите около... А ведь я знаю, что вам нужно! Вам нужно, чтобы я сказал, что я не люблю МГБ. Так вот — считайте, что я уже сказал: «Я — не люблю — Министерство — государственной — безопасности!» Идите и сообщите это своим хозяевам. Тут ведь совсем близко — только дорогу перейти...

«Очеркист» вскочил и рванулся к двери... Больше мы его не видели. Должен справедливости ради сказать, что в «деле Домбровского» он не фигурировал, хотя какую-то «информацию» инстанциям дал. Свидетелями на предварительном следствии и в суде выступили другие лица — начинающая бойкая журналистка (впоследствии новеллист, автор сочинений на тему коммунистической морали) Ирина С. и довольно известный в литературных кругах Алма-Аты поэт и переводчик, очень гордившийся одобрением самого В. И. Лебедева-Кумача, Николай Т. Но это было потом, месяца через три-четыре...

16 марта 1949 года в «Казахстанской правде» была опубликована статья под заглавием «Буржуазные космополиты на университетской кафедре», открывавшая погром гуманитарной интеллигенции в Казахстане, а 20-го в той же газете появился «подвал» — «Выше бдительность на идеологическом фронте!», представлявший собой изложение официального доклада одного из тогдашних секретарей Союза писателей республики.

Поскольку имя Ю. О. Домбровского причислено сейчас к именам самых замечательных русских писателей второй половины XX века, небезынтересно знать, как гнали, травили, терзали его в годы сталинской диктатуры — и не только сотрудники МГБ и работники

партийно-бюрократического аппарата, но и братья-писатели, поднявшие на своем знамени старинный лозунг «Чего изволите?» и верно служившие «культу».

Какого-либо «компрометирующего» (даже с тогдашней точки зрения) материала против Домбровского у газеты не было. Но он и не требовался — надо было просто довести до сведения общества, что человек это не такой, как все честные труженики литературы, обозвать его подходящими для данной кампании словами — и дело сделано.

Причислив к «лагерю буржуазных космополитов» Ю. О. Домбровского, автор упомянутого «подвала» доказывал свое обвинение тем, что в одном из очерков писателя речь шла о природе Илийского района, но ничего не было о местном колхозе. О других произведениях Домбровского («Смуглая леди», «Обезьяна приходит за своим черепом») говорилось, что под ними «не задумываясь подписался бы фашиствующий писатель Сартр» (!). И вообще «писатель» (в кавычках!) Домбровский — самая зловещая фигура среди антипатриотов и безродных космополитов, окопавшихся в Алма-Ате.

Остальная часть статьи была заполнена ругательствами и политическими обвинениями. Говорилось, что Домбровский с друзьями «пытались создавать в Алма-Ате подобие литературного подполья». Место в нем отводилось и мне. «Некий Жовтис», в частности, обвинялся в том, что ему «не по душе певец советского народа и его борьбы лауреат Сталинской премии Алексей Сурков. Жовтису не нравится, когда Алексей Сурков в партийной печати мужественно разоблачает формалиста и субъективного идеалиста Пастернака...»

Между опубликованием этой статьи и арестом Домбровского прошло всего десять дней...

Разумеется, участников «подполья» таскали «куда следует».

Некоторые подробности следствия Домбровский излагает в хранящемся у меня «открытом письме», посвященном в основном моей однокурснице и участнице наших встреч Ирине С.

Это большое письмо, написанное в 1973 году, пока не опубликовано. Я приведу из него ряд выдержек.

Следователь стремился доказать антипатриотизм Домбровского и для подтверждения этого факта устроил подследственному очную ставку с И. С.

«Она не краснела, не потела, не ерзала по креслу,— читаем мы в этом письме.— С великолепной дикцией, холодным стальным отработанным голосом диктора она сказала:

— Я знаю Юрия Осиповича Домбровского как антисоветского человека. Он ненавидит все наше, советское, русское и восхищается всем западным, особенно американским...

— А подробнее, Ирина Ивановна, вы мне сказать не можете? — спросил тихо улыбающийся следователь. Он любил и уважал чистую работу!

— Ну вот, он восхвалял, например, певца американского империализма Хемингуэя... Он говорил, что все советские писатели ему в подметки не годятся.

— А что он вообще говорит про советских писателей?

— Домбровский говорит, что настоящие писатели либо перебиты, либо сидят в лагерях. На воле никого из них не осталось...»

Не могу не прокомментировать это место рассказа Юрия Осиповича. Дело в том, что И. С., с которой мы вместе учились в университете, первой среди нас «открыла» для себя Хемингуэя и всюду носилась с единственным в те времена изданием его рассказов. Хемингуэй был излюбленной темой ее рассуждений о словесном искусстве, и Юрий Осипович в цитируемом письме подтверждает, что с этим замечательным писателем его познакомила именно она. На следствии же оказалось, что все было «наоборот», и это «наоборот» определяло дальнейший ход событий для нашего арестованного старшего товарища.

В студенческой среде И. слыла человеком образованным и острым на язык. Когда мы «проходили» «Хождение по мукам» — она не раз обращалась ко мне с вопросом, который подавала вполне серьезно: «Скажи-ка, Сашка, где сейчас Катя и Даша? Не знаешь!.. Тоже мне сильный студент... На Колыме, в Магадане...» В другой раз я слышал от нее отнюдь не смешливое: «Большая часть русской интеллигенции в лагерях...» Когда Юрий Осипович вернулся из заключения и рассказал мне обо всем, меня больше всего потрясло, что наша приятельница приписала ему все свои неосторожные по тем временам реплики!

«Ее имя,— пишет Домбровский,— было первым в списках свидетелей (обвинения.— *А. Ж.*), но на суд, на заседание облсуда (сначала под председательством Некрасовой, а потом Нурбаева) она не пришла ни первый, ни второй раз, просто принесла справку, что она „в декрете“. Сейчас она пишет книги и учит ребят морали. Она очень моральный, даже ригоричный писатель. Не буду говорить о достоинствах или недостатках этих книг. Тут я могу быть сто раз неправ. Возмущение и омерзение — плохие советчики...»

Рассказывая о поведении И. С. на очной ставке, Юрий Осипович не мог сдержать себя: «Понимаете, это не был сломленный или подавленный происходя-

щим человек. Она давала показания спокойно, цинично лгала. Когда же ей в чем-то приходилось меня опровергать, она от усердия перед следователем прямо-таки выпрыгивала из юбки...»

Человек незлопамятный, способный, как никто, понять человеческую слабость и даже всеми осуждаемое малодушие, Домбровский простил поэту Н. Т. (позднее застрелившемуся) его трусость, его показания, которые легли в основу приговора — десять лет заключения. В 1958 году они столкнулись в коридоре Союза писателей Казахстана. Увидев перед собой Домбровского, Н. Т.... упал на колени: «Юра! Прости меня... у меня дети... Прости!» — «Черт с тобой,— сказал Домбровский,— пойдем выпьем и разберемся...»

Когда же речь заходила об И. С., Юрий Осипович бледнел и кулаки его сжимались. Насколько мне известно, он старался с нею не встретиться. Это ему удалось, хотя оба они жили в Москве...

Как я уже говорил, арест 30 марта 1949 года в жизни Домбровского был четвертым. По политическим мотивам он был сослан в конце 1932 года в Алма-Ату, был арестован 26 августа 1939 года и осужден («актирован» по состоянию здоровья в 1943-м). Да еще в 1937-м ему пришлось провести несколько месяцев в заключении по обвинению в растрате казенных денег в школе, где некоторое время Юрий Осипович был директором: бухгалтер-жулик присвоил себе какую-то сумму. Домбровского освободили с извинениями [1]. Эта история была, пожалуй, одной из больших его удач — в том памятном году попавший за уголовщину в узилище советский гражданин был хотя бы гарантирован от статьи 58 УК РСФСР.

О своем последнем «деле» рассказывать он не любил. Все шло, говорил Юрий Осипович, до примитивного традиционно и нелепо. Единственным светлым пятном в этом эпизоде было поведение адвоката Василия Ефимовича Васильченко, который требовал оправдания своего подзащитного, а не снисхождения к нему. Знаю, что впоследствии Домбровский встречался с Василием Ефимовичем и благодарил его за честность и мужество. Ведь в те времена адвокаты, имевшие «допуск» к подобного рода делам, как правило, признавали факт антисоветской деятельности и в лучшем случае осмеливались искать «смягчающие обстоятельства».

Примерно в то же время в Алма-Ате был репрессирован историк профессор Е. Бекмаханов, «неверно» трактовавший восстание под руководством Кенесары Касымова (первая половина XIX века). Его судили, кажется, почти одновременно с Домбровским. Разумеется, на закрытом судебном заседании. «Дела» эти пытались связать в один узел.

...Как «член подполья» я тоже переживал тогда трудные времена. Впоследствии я спросил Домбровского: «Почему меня не посадили?»

— Видите ли, Саша,— объяснял мне искушенный во всех перипетиях энкаведевской кухни будущий автор «Факультета ненужных вещей»,— здесь все делалось согласно руководящим указаниям. Было указание — сажать националистов — посадили Ермухана: он подходил под эту рубрику, поскольку чего-то в истории напутал; велено было брать космополитов — посадили меня (или наоборот — это неважно). Кому-то пришло в голову, что можно создать «Объединенный центр казахских националистов и буржуазных космополитов» — и стали вести следствие именно в этом направлении. Вы, Саня Жовтис, были подходящей фигурой в качестве связного между двумя «подпольными партиями» — дружили со мной, работали в одном вузе с Бекмахановым и даже иногда встречались с ним в доме Л. И. Варшавского. Готовый сюжет! Требуется только его бумажная реализация... Но в один прекрасный день я почувствовал, что моему следователю эта версия больше не нужна. Алмаатинские товарищи с улицы Дзержинского явно перестарались — и проект был отставлен. Ермухан получил свою четвертную, а я как непрофессор и человек для Казахстана менее вредный — свою десятку. К отчету вы оказались не нужны, затевать новое дело с привлечением новых свидетелей и новыми «преступлениями» было, вероятно, лень, а может быть, план по врагам в Казахстане был выполнен. Вот и перестали вас таскать...

Не знаю, насколько информация Юрия Осиповича отвечала истине (она ведь все-таки основывалась на умозаключениях подследственного), но чаша сия меня миновала...

Домбровский был отлучен от нормальной человеческой жизни, от творчества и литературы еще раз на долгие семь лет. В этом сказалась фатальная закономерность эпохи, выбрасывающей на острова ГУЛага тех, выражаясь словами протопопа Аввакума, кто «живал духовно», а не принимал на веру аксиомы сталинского «Краткого курса». Неверно было бы объяснять трагические перипетии жизни писателя стечением неблагоприятных обстоятельств или доносительством И. С. В этой связи мне хочется вспомнить краткую характеристику Домбровского, которую в давние годы дал ему известный переводчик, а

[1] Об аресте в конце 1936 года использую данные Арк. Арцишевского.

зачастую и просто сочинитель джамбуловских дифирамбов «вождю народов» Павел Кузнецов в одной из своих высокоидейных статей. О товарище по писательскому цеху он выразился так: «Юродствующий богемщик!» («Правда», 21 сентября 1946 г.). Конечно, «юродствующий» — ведь только юродивый, с точки зрения этого образцово-показательного приспособленца, мог мучить себя проблемами добра и зла, вины и преступления или права человека на собственную индивидуальность. Конечно, «богемщик»,— ибо только богемщик мог быть столь кричаще плохо одетым, столь несобранным в жизни, столь «неправильным» в быту и нелогичным в своем поведении! Тому миру, в котором жил и пожинал плоды трудов своих П. Н. Кузнецов, Домбровский противостоял, и семь лет за это противостояние, за это неприятие сталинизма — видимо, не самая полная расплата.

Среди его стихотворений есть и такое:

...А что, когда положат на весы
Всех тех, кто не дожили, не допели,
В тайге ходили, черный камень ели
И с хрипом задыхались, как часы?
А что, когда положат на весы
Орлиный взор, геройские усы
И звезды на фельдмаршальской шинели?
Усы, усы, вы что-то проглядели,
Вы что-то недопоняли, усы!..

Какое счастье для русской литературы, что «усы» (Усач, как именовала Сталина А. А. Ахматова) «проглядели» Домбровского, что он вынес все и дал миру свой «Факультет»...

В середине 50-х годов Домбровского освободили из лагеря, но еще несколько месяцев он оставался на поселении в поселке при станции Чуна на севере Иркутской области. Адрес его мне сообщила жившая в Москве мать Юрия Осиповича, и я дал ему поздравительную телеграмму, на которую тотчас же получил ответное письмо. Приведу его в выдержках.

«Дорогой друг!

Спасибо Вам за Вашу добрую телеграмму. Я очень рад, что мой привет столь неожиданно, но как-то дошел до Вас. Я об Вас часто думал, как и о всех прочих моих друзьях. Что Вы делаете? Над чем работаете? Пишете ли Вы чего-нибудь? Как Ваша работа о Вяч. Шишкове? (Видите, помню все-таки!) Где наши общие друзья Я. С. Ш. и Л. И.?» (Речь идет о режиссере Якове Соломоновиче Штейне и об уже упоминавшемся Л. И. Варшавском.)

Далее Юрий Осипович упоминает об одной из знакомых, которая, «бедняжка, в минуту испытаний оказалась не на высоте», и, отметив, что «тяжкий млат дробил и не такие стекла», продолжает: «За последние годы много работал, здорово подогнал Шекспира (в частности, вплотную познакомился с Донном, его современником, и кажется, это действительно один из величайших философских лириков мира) [1]. 3 года вплотную занимался Римом с тремя европейскими профессорами, овладел латынью и читаю Тацита. Ну, а что я писал, Вы знаете, мечтаю о романе об Спартаке!..

...Гуляю по тайге, привожу в порядок свои вещи и бумаги, готовясь к отъезду, и крепко-крепко скучаю по Алма-Ате — все это можно свести к словам Гамлета: „Живу как хамелеон, питаюсь воздухом и обещаниями“. От пережитого стал страшно худ и похож не то на химеру, не то на грифона со стильной мебели — таким и хожу на посиделки, где кокетничаю с деревенскими девчатами, но к жизни, кажется, возвращусь со щитом...

Пишите мне, дорогой, коли уж другие молчат. Если быстро, то 1) Иркутск. обл., Чунский р-н, станц. Чуна п/я 90/2—210, мне. 2) Москва и т. д.

...А в общем у меня чувство (выражаясь словами Ульриха фон Гуттена), что „расцветают науки, поют искусства“, и кажется, на этот раз я не ошибаюсь.

Я крепко-крепко жму Вам руку.

Ваш Домбровский».

И приписка, немножко смешная, но до сих пор, когда я перечитываю это письмо, заставляющая меня содрогнуться: «Саша, я, верно, „пройдоха“.— Выжил. А?»

Вот такое удивительное письмо младшему товарищу после долгих страшных лет заключения!

В следующее письмо Юрий Осипович вложил свое стихотворение «Гнедич и Семенова», аккуратно переписанное кем-то для него на двух вырванных из школьной тетрадки страничках, и среди прочего сообщал: «У меня есть на руках ряд неизданных стихотворений Ахматовой, Пастернака, Цветаевой и т. д.— интересует ли это Вас? Есть квазиблатные. Шлите свои...»

Среди присланных им тогда стихов названных поэтов у меня сохранилось ахматовское «Один идет прямым путем, Другой идет по кругу...», скопированное его рукой с какого-то ходившего среди заключенных списка. (Любопытная деталь лагерного быта в те времена — заключенные знали то, чего мы, находившиеся на свободе, не читали!)

Вскоре Юрий Осипович вернулся в Москву, и мы встретились уже в Доме литераторов в первый мой приезд в столицу в конце 1957 года. За столиком в знаменитом подвальчике мы просидели

[1] Первое русское издание Донна вышло в 1973 году.— *А. Ж.*

тогда недолго и отправились в гости к солагернику Домбровского — старому большевику и герою гражданской войны в Сибири Израилю Моисеевичу Губельману (брату небезызвестного «атеиста» Е. Ярославского). Он только что был освобожден после восемнадцатилетнего пребывания в тюрьмах и лагерях и жил у дочери в одном из переулков старого Арбата.

С этого времени и вплоть до кончины Домбровского 29 мая 1978 года мы встречались в Алма-Ате и в Москве, сначала в комнате у Колхозной площади, а затем и на Просторной, где несколько раз я у него останавливался, приезжая на научные конференции или в отпуск.

Надо сказать, что любовь к Алма-Ате, этому «необычайному городу, не похожему ни на один из городов мира» [1], Домбровский сохранил на всю жизнь. Он часто приезжал сюда, уступая настойчивым просьбам казахских друзей — перевести новую повесть, что-то прочитать, оценить и тому подобное. Добрые отношения и многолетние профессиональные контакты связывали его с Сабитом Мукановым и Ильясом Есенберлиным, а Мухтару Ауэзову он посвятил великолепную статью, опубликованную в «Дружбе народов» еще в 1958 году. Статья была одной из первых его работ, выполненных после возвращения из Сибири. В этой связи мне вспоминается одна подробность нашего разговора после того, как я прочитал ее. Я сказал: «Как бы Ауэзов не обиделся на Ваши критические пассажи...» Он ответил: «Может быть...» — подумав, добавил: «Да нет! Масштаб у Мухтара не тот, чтоб обижаться...» Встретив позднее Домбровского, Мухтар Омарханович заметил: «А знаете, Юра, ведь обо мне никто так не писал». Главное в статье Ауэзов оценил.

Среди казахских писателей, навещавших его, был Зеин Шашкин, медик по образованию, который провел много лет в заключении и появился в Алма-Ате во второй половине пятидесятых годов. В лагере судьба свела его со знаменитым русским профессором В. Ф. Переверзевым, имя которого вошло в печальную историю наших идеологических кампаний («борьба с переверзевщиной»). Зеин фактически спас жизнь ученому. Выполняя обязанности лагерного врача, он сделал Валериана Федоровича своим санитаром. Именно Переверзев, наизусть читавший целые страницы из романов Достоевского, приобщил Шашкина, как он рассказывал нам, к литературному творчеству.

Во время одного из приездов Шашкина в Москву произошло какое-то недоразумение, послужившее поводом к возникновению занятной переписки между Сергеем Николаевичем Марковым (поэтом, прозаиком, географом) и Юрием Осиповичем. Письмо Маркова и свой ответ ему Домбровский прислал мне «на память» в сопровождении такого комментария: «Посылаю Вам любопытную вещь — письмо Сергея Маркова ко мне и мой ответ на фоне 16 века. Дело идет о З. Шашкине и о том, что он уехал, не зайдя к Маркову, на курорт; в моем же ответе о том, что я ходил по его поручению в геогр. о-во и там узнавал о его книге „Земной круг“ — так что читать надо его письмо, а потом мой ответ...»

Эти шуточные письма, ориентированные на язык XVI столетия двумя замечательными писателями, достойны того, чтобы привести их полностью [1].

От Маркова — Домбровскому:

«Назад тому ден десять выбежал из Казачьей Большой Орды человек ихней Зеин и вскорости на Москве найден был без животов своих и коробья свои с бумагами басурманскими нивесть где позабыл. А Зеинка тот земским приставам тако сказывал. Повстречал де он на Москве близ Сретенских ворот бываго своего дружка Юшку из полоненников польских. И тот де Юшка Осипов сын учал того Зеинку из кружала в кружало водить, зернь метать и с ним вино пить, и с девки и бабы бесовскую игру чинить. И тот Зеинка-бесерменин тому Юшке поддался, и слаб учинился, и коробья свои потерял и наг остался, при одном гашнике кармазинном да аракчине. И где тот Юшка по сей день скрывается — того никто не ведает. А пусть тот Юшка себя обелит. А писано о сем в скудельном дому, иже по латыне санаториум кордиялес зовется. А писал Сергушко, стрелец выбылой. И того Юшку он к себе ждет, чтобы о Зеинке-бесерменине доподлинно все прознать».

От Домбровского — Маркову:

«Боярину Сергею сыну Маркову: яз послание твое честное получил и ответствую.

А тот человечишко выбеглый Зеинка-бусермен ни мало от нас никакую тесноту не имел, ни в какую прелесть прельщен не бысть — зернь не меташа, со девки и бабы не валяшася, животы свои скудельныя не утратиша да и в иное воровство, волховство вовлечен не бысть.

---

[1] «Хранитель древностей».

[1] Ниже даю перевод некоторых вышедших из употребления слов. Кружало — кабак, зернь метать — играть в кости, гашник — пояс, кармазинный — красного сукна, аракчин — тюбетейка, скудельный — в данном случае хрупкий, скудельница — кладбище.

А сказался тот Зеинка-бусермен телом немощен и на уды зело слаб, и выправи он себе ярлык и уеха за Дикое Поле в Ногаи на сладкие Воды в некую скудельницу бесовскую. Тамо жены с девки сладкие воды пьют и со нагими перси и зады ходят. И там де я Зеинка снова здрав буду; мне де бесермену одной чесной жены мало — я их семь имал. А ждать его Зеинку ровно месяц, разве его там бабы со девки до смерти убьют.

А яз, Юшка сын Осипов по слову твоему ходих в некое бесованьице и с мужем честен речи водил. И он мне рече: „Зайди в четверток, я де тогда вернее скажу“. И яз Юшка ему: „Слушаю, государь мой, зайду“. Тем мы и речи наши кончили.

Здрав буди,

К сей грамотке раб твой скудельный Юшко сын Осипов руку приложил».

...Писательская судьба Домбровского складывалась непросто. Хрущевская «оттепель» была недолгой, и надежды на то, что расцветут, по Ульриху фон Гуттену, науки и искусства, не сбылись. История с «Доктором Живаго» всех отрезвила. Переводы с казахского по-прежнему отнимали у писателя львиную долю его времени — надо было зарабатывать на жизнь. Но он продолжал работать над «Хранителем древностей», начатым еще в конце сороковых годов (главы, написанные тогда, пропали при аресте).

Вначале Домбровскому казалось, что произведение это будет почти автобиографичным. Однажды он даже писал мне: «„Алма-атинскую повесть“ пишу, пока дело касается моей службы в музее и археологических раскопок, но далее будут все, и Вы, и я, и враги, и друзья, и „незабываемый 49-й“». Однако постепенно писатель уходил все дальше и дальше от действительных событий, от фактов, складывались новые сюжетные ситуации, в которых уже не оставалось места лишенным обобщающего значения конкретностям. Читатель помнит, что действие обоих алма-атинских произведений Домбровского — «Хранителя древностей» и «Факультета ненужных вещей» — происходит в 37-м году. Правда, в 60-е годы он прочитал нам несколько великолепных отрывков, в которых события приурочены уже к более позднему времени. Из них мне запомнились два. В одном рассказчик (Зыбин) встречается в лагерной бане с бывшим заместителем наркома, с которым имел когда-то дела на воле. В насыщенном, как всегда у Домбровского, диалоге выясняются идейные позиции сторон — философа-гуманиста Зыбина и партийного ортодокса, убежденного в том, что все идет правильно и что людей, подобных его собеседнику, «надо, надо, надо, надо сажать!» Юрий Осипович далеко протягивал биографию своего эпизодического героя, верного служителя «культа». В последний раз Зыбин встречается с ним в родном городе. Он навещает пережившего лагерь функционера в маленьком домике на окраине Алма-Аты и... застает его за чтением Евангелия, ибо замнаркома уверовал в Христа и занят теперь осмыслением его учения. Когда совсем недавно я узнал о подобной же эволюции не кого-нибудь, а самого ближайшего соратника вождя Г. М. Маленкова, то мог только в очередной раз подивиться таланту Домбровского-психолога, сумевшего почувствовать в людях этого склада возможность подобной неожиданной на первый взгляд метаморфозы.

О «незабываемом 49-м» (вспомним Вс. Вишневского!) Домбровский не успел написать. Нашей приятельнице И. С. повезло — дотошным литературоведам будущего не придется выяснять, кто был прототипом «отрицательной героини» его третьего антисталинского романа. А ведь какие живые и броские черты личности тут вырисовывались — от «холодного стального отработанного голоса» до «выпрыгивания из юбки» юной сексотки перед спокойным и серьезным следователем! И все же, перечитывая сейчас «Факультет...», я узнаю в стиле поведения Тамары Долидзе нечто от всегда деловой, циничной и умной И. С. Забыть ее Юрий Осипович не мог!..

В действующих лицах «Хранителя древностей» легко узнаваемы черты некоторых наших друзей и недругов, даже случайных знакомых и чиновников от культуры, с которыми Юрию Осиповичу приходилось встречаться. Зоркость взгляда Домбровского была прямо-таки ошеломляющей.

Читатель помнит, конечно, одного из персонажей романа — Даниила Ротатора (Добрыню): «Поблескивало пенсне, мягко лоснилась эта самая лысина, руки с бескостными кистями висели, как ласты, и весь он, круглоголовый, грузный, с перетянутым животом, походил на дрессированного динозавра средней величины».

Героя этого, преподавателя педагогического института, мы все хорошо знали. В общем-то невредный человек, он воспринимался Домбровским как воплощение неких начал пошлости, претенциозности и поверхностности. Воспроизводя его на страницах повести, Юрий Осипович как-то по-детски радовался точности найденных характеристик, сходству своего персонажа с оригиналом. А сходство было поразительным. Сам Н., конечно же, прочитал роман (за журналами он следил). Приехав в очередной раз в Алма-Ату (кажется, на съезд писателей), Юрий Осипович сказал мне,

бравируя своим озорством, как нашкодивший школьник: «Как вы думаете — поздоровается со мной Н. или нет?» Но когда, спустя несколько лет, я сообщил ему о смерти восьмидесятилетнего Н., он искренне опечалился и повторил несколько раз с сожалением: «А я ведь обидел его, обидел...»

Роман, как известно, был напечатан А. Т. Твардовским в «Новом мире» в 1964 году (№ 7 и 8). Рассказывали, что в это время Александр Трифонович пытался опубликовать «Новое назначение» А. Бека, произведение это «не пущали», и тогда он подсунул цензорам «Хранителя», в философских хитросплетениях и иносказаниях которого они не стали разбираться.

В октябре того же года на посту Генерального секретаря Хрущева сменил Брежнев. Медленное, вначале не вполне ясное, «ползучее» наступление реакции сказалось на Домбровском прежде всего в том, что произведение его почти не получило откликов в советской прессе. Роман словно не заметили, о нем не писали, и только Игорь Золотусский сумел опубликовать свою рецензию «Говорящая древность», да и то не в центральном журнале, а в «Сибирских огнях» (№ 10 за 1965 г.). Между тем за рубежом «Хранитель» был оценен как нечто принципиально новое в литературе.

Вот что писал, например, югославский литературовед Александр Флакер: «Если же речь идет о месте Домбровского в современном литературном процессе, происходящем на наших глазах в советской литературе, то его нельзя причислить к писателям, отличающимся „гармонизирующим восприятием действительности...“, его надо отнести к писателям, которые верят в человека, в его чувства, его разум и в возможность преодоления все еще существующих нелепостей. Именно в противоречии между фактографией и гротеском, в противоречии между гротескными нелепостями, происходящими в мире, и целостным видением рассказчика заключается сила нового явления в советской прозе — гротеска действительности в повести писателя Юрия Домбровского, до сих пор едва ли известного более широкой общественности» («Ческословенска русистика», XI, 1066, стр. 42). А. Флакер публиковал свою статью в Чехословакии эпохи Новотного; в подцензурном издании он не мог сказать все, что думал. Тем не менее основная мысль его ясна: у Домбровского не поверхностная критика «культа личности», а анализ осуждаемой художником действительности, которой противостоит рассказчик — носитель «непокоренного и скрытого иногда в чувствах и желаниях гуманизма».

«Несть пророка в своем отечестве!».. Первое изданное в Москве произведение Домбровского («Обезьяна...») было замечено сразу же после того, как его опубликовал «Советский писатель», и переведено на польский язык И. Шенфельдом, который потом бывал у автора в Советском Союзе и много сделал для популяризации неизвестного на родине большого писателя. На иностранные языки — английский, французский, итальянский, японский и другие — стали переводить и «Хранителя древностей». Но наши издательства не спешили выпускать его отдельной книжкой; она вышла спустя два года, причем наиболее «острые места» новомировской публикации в книжном варианте отсутствовали.

Пресса не замечала Домбровского. И только бывая в Москве и встречаясь с Юрием Осиповичем, с его женой, другом и помощником Кларой, я узнавал, как широко стала известна в мире «Алма-атинская повесть». Помню, в одной из английских рецензий на нее подчеркивалось, что это — «бомба замедленного действия, подложенная под сталинскую систему!»

Тот же И. Шенфельд с грустью вспоминает: «Запад его уже знал, посыпались приглашения приехать, выступить, дать интервью, получить накопившиеся гонорары, но его упорно не пускали. Трижды посылал я ему приглашение из социалистической Варшавы — не пускали. Советский Союз не подписал еще конвенции об авторских правах, заграничные гонорары можно было получить только лично на месте, он жил в нищете, но его не пускали. Бездарные, никому не известные, но приспособившиеся борзописцы по нескольку раз в год мотались по Европе, а Юрия Домбровского, писателя с мировым именем, не пускали, мстя ему за то, что предпочитал жить в скудости, чем продать свое перо...»

Летом 1967 года мы с женой побывали в Чехословакии, где сблизились с переводчиком произведений Домбровского Я. Короновским. В начале следующего года Юрий Осипович писал мне: «...Теперь вот какое дело — наши общие чешские друзья прислали мне чрезвычайно теплое приглашение — как мы с Вами будем им отвечать? Они пишут, что наиболее удобное им время это „чудесная пражская весна“. Срочно сообщите мне об этом свои соображения». Увы, «пражская весна» не состоялась для Домбровского.

В гости за границу его не выпускали, по родным городам и весям он тоже не ездил, то ли не любил путешествовать, то ли просто не было на это материальной возможности. Много лет собирался он в Ленинград, но так и не побывал там. А в Алма-Ате жил подолгу.

В том же 67-м году (в апреле) в

моем доме он познакомился с Александром Аркадьевичем Галичем.

В тот вечер у нас собралось много народа — мои друзья, соседи, коллеги по университетской кафедре, на которой я работал. Домбровский приехал в город накануне, и, естественно, я пригласил его «на Галича». Песни подпольного барда в авторском исполнении я слышал тогда уже во второй раз, а Юрий Осипович — впервые. Александр Аркадьевич пел песни своего тогдашнего репертуара: «Памяти Пастернака», «Аве, Мария», «С севера, с острова Жестева», цикл о трех Александрах, «Облака», «Мы поехали за город» и многое другое. Большую часть вечера, естественно, заняли песни. Но — помню я — был и большой разговор о человеке, личность которого нашла впоследствии отражение в последнем романе Домбровского,— о Льве Романовиче Шейнине, одном из активных помощников Вышинского по «делам» 37-го года. Галич рассказал о своей встрече с ним после смерти Михоэлса. Шейнин ездил в Минск, и когда он вернулся, Александр Аркадьевич, живший с ним в одном доме, при встрече стал спрашивать следователя о трагической гибели артиста. Знаменитый криминалист и «инженер человеческих душ» помолчал, а потом сам спросил Галича: «А вы, Саша, как думаете, что там могло произойти?» Тема была для Домбровского актуальной — он писал в это время своего Штерна.

Спустя несколько лет еще раз сошлись мы втроем — Домбровский, Галич и я.

В феврале 1971 года, в пакостные «застойные» времена в моем доме побывали с обыском представители соответствующего ведомства, жаждавшие найти у меня так называемый «самиздат». Я находился в это время в научной командировке в Ленинграде, и когда жена сообщила мне о случившемся, позвонил Юрию Осиповичу в Москву и договорился о встрече. Домбровский встретил меня на Ленинградском вокзале, и мы, созвонившись с Александром Аркадьевичем, отправились к нему. Дело в том, что «гости» забрали из дома записи его песен — и нас интересовало, имеет ли этот визит какое-либо отношение к «диссиденту» Галичу. Мы провели у него часа полтора, переходя от частных, «паскудных», как говорил Домбровский, проблем к самым общим. Галичу уже было «худо». Тучи сгущались над нашими головами, никто не мог бы нам сказать, какие перспективы нас ждут... Но когда мы расставались у станции метро (я улетал в тот вечер в Алма-Ату расхлебывать предстоящие неприятности), Юрий Осипович сказал: «А я иду к своему факультету...» — и в моем сознании мелькнула его тетрадочка, исписанная неуклюжим прерывистым почерком...

И, снова появляясь в Москве, я слушал куски из писавшегося романа, на публикацию которого тогда не было никаких надежд.

Однажды я обратился к Домбровскому с просьбой, но на исполнение ее не очень надеялся. Вместе с М. Ю. Белоцерковским мы задумали собрать книгу воспоминаний о скульпторе Иткинде, замечательном мастере и человеке, умершем в Алма-Ате в возрасте девяноста восьми лет. Юрий Осипович знал его, но писать мемуары об Иткинде можно было, ясно представляя себе, что и они свет увидят неведомо когда, а для этой работы пришлось бы отвлечься от очередного перевода, дававшего хлеб насущный. Вот почему я удивился и обрадовался, когда он не только откликнулся на просьбу, но сразу же написал большой, необыкновенно интересный очерк «Ваятель масок».

Некрасов когда-то признавался друзьям, что писать что бы то ни было, заведомо зная, что написанное не будет напечатано, он не может. Я слышал однажды, как один современный поэт с грустью сказал о себе: «Не могу писать в „стол“. Знаю, что многие пишут, что настанет день, когда все это будет опубликовано и притом первым опубликуют того, кто первым добежит до издательства... Знаю, а не могу...» Надо было обладать не только огромной силой воли и мужеством, чтобы годами писать, как это делал Домбровский, «в стол», но и твердо верить в свою правоту, в истинность своих лишенных орвелловского двоемыслия убеждений. Недаром слово это — «правота», прозвучавшее в песне Галича, так часто встречается в статьях, посвященных «Факультету ненужных вещей».

Над романом Юрий Осипович работал больше десяти лет, вплоть до 1975 года, да и позднее кое-что дописывал и доделывал. Писатель не хотел публиковать его в «тамиздате», и я до сих пор не знаю, как решился он, наконец, уже в 1977 году передать эти 800 машинописных страниц на Запад. Быть может, предчувствие близкой кончины подтолкнуло его к этому шагу... Для нас же, друзей его, свидетелей всего того, что происходит сейчас (посмертно) с именем Домбровского на его родине, великим утешением служит: он успел еще подержать в руках парижское издание — на русском языке — «Факультета ненужных вещей», произведения, которое пришло к советскому читателю лишь спустя десятилетие («Новый мир», 1988, № 8—11).

О «Факультете ненужных вещей» пишут сейчас много. Я подчеркну лишь то, что, как всякий подлинно большой и честный художник, Домбровский был впереди своего времени — как Булгаков, как Платонов, как Гроссман.

Еще в 1978 году в послесловии к французскому переводу романа Жан Катала, один из самых серьезных его ценителей, писал: «В потоке литературы о сталинизме эта необыкновенная книга, тревожная и огромная, как грозовое небо над казахской степью, прочерченное блестками молний, возможно, и есть тот шедевр, над которым не властно время».

Тот же И. Золотусский, который был одним из немногих, писавших о феномене Домбровского при его жизни в СССР, говорит: «Критика идеи насилия как идеи прогресса — вот что на сегодня составляет нерв нашей независимой литературы...» («Крушение абстракций», «Новый мир», 1989, № 1).

Конечно, за последние три года к советскому читателю пришло множество честных произведений, посвященных тому, что пережил наш народ в эпоху сталинских репрессий, коллективизации, идеологических шабашей и вакханалий. Но роман Домбровского отличается от них тем, что он связывает «все со всем», что он дает глубочайший анализ массового ослепления — не менее страшного, чем ослепление миллионов людей в Италии Муссолини и Германии Гитлера. Сталинский террор интерпретируется здесь как одно из звеньев в истории деспотизма.

Этот очень субъективный «алма-атинский» роман, быть может,— самая объективная картина советской действительности 30-х годов. Автор «Факультета...» (как, впрочем, и «Хранителя древностей») мог бы сказать о себе словами Тютчева:

Все во мне, и я во всем...

5 марта 1965 года (обратите внимание на дату — годовщина смерти «вождя народов») Домбровский писал в своем обращении «К историку», своеобразном эпилоге к книге, который не вошел в основной текст: «Сталинский конвейер — это сфинкс без загадки. Если уничтожать не за что-то, а во имя чего-то — то остановиться нельзя...» И в другом месте: «Во всей нашей печальной истории нет ничего более страшного, чем лишить человека его естественного убежища — закона и права... Падут они, и нас унесут с собою. Мы сами себя слопаем. Нет в мире более чреватого будущими катастрофами преступленья, чем распространить на право теорию морально-политической и социальной относительности. Оно — вещь изначальная. Оно входит во все составы нашей личной и государственной жизни. Пало право — и настал 37-й год. Он не мог не настать».

И еще Домбровский пишет: «Теперь последнее — почему я 11 лет сидел за этой толстой рукописью. Тут все очень просто — не написать ее я никак не мог. Мне была дана жизнью неповторимая возможность — я стал одним из сейчас уже не больно частых свидетелей величайшей трагедии нашей христианской эры. Как же могу я отойти в сторону и скрыть то, что видел, что передумал? Идет суд. Я обязан выступить на нем. А об ответственности, будьте уверены, я давно предупрежден».

...Когда-то, размышляя о людях, чья жизнь пришлась на годы николаевского царствования, Герцен восклицал: «Поймут ли грядущие поколения весь гнет, весь ужас нашего существования?..» Нет у человека другой возможности рассказать о себе и своей эпохе, кроме как обратиться к слову.

Свидетелем обвинения, которое никто уже не в силах опровергнуть, выступает перед нами автор романа. И мы, жившие в одно время и рядом с ним, должны быть бесконечно признательны ему за это...

Отечественная критика игнорировала писателя при его жизни [1]. Но некоторые из людей, знавших Юрия Осиповича и все, им написанное, проницательно оценивали масштабы этой творческой личности. Виктор Лихоносов написал небольшую повесть «Люблю тебя светло» (первая публикация — «Наш современник», 1969, № 9), в которой в образе Ярослава Васильевича Домбровский легко угадывается. И закончить мне хочется словами В. Лихоносова, прозревшего прозрением друга сегодняшний день в судьбе автора «Факультета ненужных вещей»: «Кто захочет услышать его, да не услышит больше? Кто рад бы пожать ему руку, да не пожмет? И там, куда стекают дождевые воды, он никогда не узнает о сиянии своего полного имени и о поздней благодарности поздних сынов».

Февраль, 1989 г.

Алма-Ата

---

[1] К сожалению, вокруг имени Ю. О. Домбровского, как вокруг имени Галича и ряда других протестантов минувшей эпохи, уже началась мелкотравчатая, вдохновленная отнюдь не благородными побуждениями возня псевдомемуаристов. Так, мало знакомый покойному писателю Н. П. Кузьмин в своих во многом искажающих факты литературной жизни Алма-Аты воспоминаниях («Молодая гвардия», 1989, № 7) неожиданно приписывает Домбровскому якобы произнесенный им целый антисемитский монолог. Люди, близко знавшие Юрия Осиповича, никогда не сомневались в том, что он не был ни антисемитом, ни русофобом, ни великодержавным шовинистом и вообще был бесконечно далек от низменной устремленности некоторых современных литераторов. Очень боюсь огорчить Н. П. Кузьмина, но замечу, между прочим, что отца писателя звали Осипом Гедальевичем.— *А. Ж.*

ПИСЬМА
ИЗ ЭМИГРАЦИИ

Е. ЭТКИНД

ВО СЛАВУ СТАРИННОГО ДРУГА

К семидесятипятилетию Ильи Захаровича Сермана

Души высокая свобода...
Анна Ахматова

Писать об Илье Сермане мне не намного легче, чем о себе — а уж труднее, чем о себе, не бывает. Встретились мы полвека назад, в 1937 году. Я учился на втором курсе филологического факультета Ленинградского университета,— тогда еще ЛИФЛИ. Серман был гораздо старше (так казалось в ту пору) — года на три, а то и четыре. Он внушал к себе особое почтение желторотым перво- и второкурсникам: был солиден (в свои 24 года), нетороплив, смеялся редко, на анекдоты (их было много — несмотря на террор) реагировал сдержанной оценкой: «Это смешно». Он уже печатался, в научных кругах у него было имя. С Григорием Александровичем Гуковским, нашим любимым — недосягаемым — профессором, он был, как тогда мне казалось, близок. Гуковский создал вокруг себя особую атмосферу: научного энтузиазма и академического равенства. Его семинар по литературе XVIII века был учебным, однако уже и исследовательским — участники его приглашались в научные сборники и «Ученые записки» на равных правах с именитыми учеными. Больше на моей памяти такого не бывало: полной демократии для молодых; естественного, без натуги и рекламных амбиций участия студентов в совместных с учителями исследованиях. Тогда родились ученые, которым суждено было будущее: Лидия Лотман, Георгий Макогоненко, Анатолий Кукулевич, Галина Битнер, Илья Серман. Они были полны нетерпеливого любопытства: русский XVIII век, только что заново открытый Гуковским, оказался неведомым материком; «гуковисты» делали одно открытие за другим — обнаруживали поэтов, журналистов, новые тексты, забытые ссоры или просто дискуссии, пересматривали устоявшиеся репутации, перечитывали эпопеи и трагедии, слывшие скучными, а оказавшиеся живыми.

Надо ли комментировать цифру, обозначающую тот черный год? То и дело кто-нибудь исчезал, о нем молчали — если только начальство не созывало собрание, чтобы заклеймить тех, кто был близок к новосхваченному врагу народа, и выгнать их из комсомола. Было непонятно и тревожно, иногда жутко. Но зловещая тень, падавшая на нашу жизнь, не мешала нам с ликующим воодушевлением копаться в старых книжках и ходить в «Мушкетерку» — была такая пивная на Садовой, где вместо столов и стульев стояли большие и малые бочки и где мы спорили по вечерам, впрочем, без всякого ожесточения. Мы — это несколько филологов соседних, но разных курсов: изысканно-остроумный добряк и эрудит Владимир Шор, занимавшийся Гонкурами, одессит-шутник, пугавший нас наигранным цинизмом Ахилл Левинтон, изучавший Гейне, внешне невозмутимый Илья Серман, уже, кажется, увлеченный Батюшковым, и автор этих строк, учившийся французской литературе у А. А. Смирнова, немецкой — у В. М. Жирмунского, а в семинаре Гуковского сопоставлявший Сумарокова с Расином. Еще приходил к нам историк Давид Прицкер, тогда только что вернувшийся с испанской гражданской войны, где был переводчиком, и рассказывал о Гвадалахаре, а еще пел: «Донья Марикита, донья Марикита — де ми корасон...» — Испания волновала нас всех, это была наша общая боль. Наверно, столетие назад так горевали о судьбе Греции, за свободу которой погиб Байрон. Пусть не учат нас задним числом уму-разуму сегодняшние умники; для нашего поколения Испания останется полем сражения демократии с фашизмом и нашей романтической любовью.

Ничего не было в то время опаснее, чем создать организацию, даже шуточную. Поймут ли современники-«неформалы», что за студенческую игру в «Арзамас» или «Зеленую лампу» в 1937—1939 годах расстреливали без следствия и суда? Не потому ли, что нам нравилось ходить по самому краю, мы придумали пародийную партию «коллабораторов» (не путать с коллаборационистами — тогда еще этого зловещего слова не было)? Имени каждого из нас соответствовала анаграмма: Шор был Орш, Левинтон — Лонтвейн, Эткинд — Кнейдт, Серман — Рамнес (своей анаграммой я до сих пор иногда пользуюсь как литературным псевдонимом). У нас даже был гимн, исполнявшийся на мотив «Отречемся

от старого мира» — он начинался нахальными строками:

Наше солнце встает на востоке,
Наши реки впадают в моря...

— причем ударение приходилось на слово «наше». Почему мы уцелели? Бывают удачи, близкие к чудесам. Благодаря этой случайности трое из нас еще живы. Нет Шора, нет Левинтона — но и они умерли своей смертью три десятилетия спустя.

А Илья Серман и позднее ходил по краю пропасти. Во время войны он был солдатом — настоящим, без дураков, не штабным писарем. Редкие письма, которые он присылал на Карельский фронт, где я издавал немецкую газету и листовки для войск противника, будили во мне чувство стыда: мне казалось, что я отсиживаюсь в безопасном убежище. Он уцелел, только контузия повредила ему слух. В послевоенные годы жизнь, казалось бы, стала налаживаться: его брак был на редкость счастливым, дети на редкость удачными, работа — редактором в Гослитиздате — интересной. Серманы жили в профессорской — некоммунальной, на зависть почти всем вокруг — квартире на проспекте Добролюбова с его, Ильи Захаровича, родителями: с матерью, умнейшей и благороднейшей Генриеттой Яковлевной, в прошлом революционеркой, а теперь согнутой пополам старушкой, обладавшей неисчерпаемой добротой, неукротимым духом и неиссякаемым любопытством — к людям и событиям. Главой семьи был отчим Сермана, Иван Иванович Векслер, профессор русской литературы, автор, между прочим, монографии об Алексее Н. Толстом. Воздух в доме Векслеров-Серманов казался легким, книг на стеллажах громоздилось множество, разговоры были оживленные, открытые (вскоре обнаружилось — слишком!), прямые (тоже — слишком), содержательные. Мы с женой охотно приходили, Руня, жена Ильи, тоже в свое время вернувшаяся из Испании, неподражаемо пела под гитару испанские песни,— нас связывало все больше нитей. Можно ли забыть, что, когда в ноябре 1949 года я провожал жену домой из родильного отделения больницы Эрисмана — по набережной Карповки,— новорожденную Машеньку нес рядом с нами Илья Серман?

Обстановка однако, накалялась. Не успела отшуметь бушевавшая в 1946 году ждановщина, как началась так называемая борьба против низкопоклонства перед Западом и кампания против космополитов-антипатриотов. Эти хитрые перифразы значили: еврейский погром. Время от времени мне давали понять, что я — не Григорьевич, а Гиршевич, Серману — что он Зеликович, а не Захарович.

Мы встречались по-прежнему часто, но уже говорили вполголоса, уже накрывали телефон подушкой (наивно веря, что так мы спасемся от подслушивающих ушей); мы уже меньше обсуждали теоретические проблемы эстетики, нежели сообщали друг другу зловещие новости. На университетских собраниях оплевывали наших учителей. Подлость все меньше пряталась — теперь дневной свет ей был не страшен; ее приверженцы обладали подавляющим численным превосходством, поддержанным властью. На многолюдных митингах разоблачал космополитов Георгий Бердников, один из наших соучеников 〈...〉 Мы с ужасом наблюдали за лавиной,— казалось, не сегодня-завтра она накроет и нас. В один из таких дней мы узнали об аресте Григория Александровича Гуковского,— незадолго до того мы были у него, после университетских проработок он страдал сердечными болями. Мы понимали: долго ему не выдержать. Он и не выдержал — умер под следствием. 〈...〉

Мы подрабатывали лекциями — например, в библиотеке Выборгского Дома культуры; Серман говорил о русской литературе, я — о западной. Лекции бывали по средам: сперва он, потом я. Однажды (я помню этот день — 6 апреля 1949 года) я вошел в аудиторию, где ждали наши общие слушатели, и застал их в смущении. Один из них, который был похрабрее, отвел меня в сторону и рассказал: во время лекции вошел человек, забрал портфель профессора и потом — дождавшись, кажется, перерыва — на глазах у всех увел лектора. Каково мне было говорить с той же кафедры...

Мы потом узнали, что в тот же день, даже в тот же час, на улице Добролюбова шел обыск, после которого арестовали Руфь Александровну Зевину, жену Ильи Захаровича. Дети остались с бабушкой. К счастью, Генриетта Яковлевна обладала мудростью и бесстрашием: шесть лет она поднимала Нину и Марика и подняла, не надорвавшись.

А Серманов между тем допрашивали и подвергали издевательским очным ставкам. До них был арестован Ахилл Левинтон. В чем их обвиняли? Трудно поверить, но мужу и жене в основном инкриминировалось то, что они говорили друг другу. У меня чудом сохранился приговор по делу всех троих. Вот этот фантастический документ — привожу только ту часть, где идет речь о Сермане.

ПРИГОВОР

Именем Российской Советской Федеративной Социалистической Республики
7 июля 1949 года Судебная коллегия по уголовным делам Ленинградского Городского суда в составе:

Председательствующего: Ровина

Народных заседателей: Яковлева и Аркадьевой

с участием прокурора Кабанова

и адвокатов — Шафир, Кулакова и Мазель,

при секретаре Черноусовой

рассмотрела в закрытом судебном заседании дело, по которому обвиняются:

1. ЛЕВИНТОН Ахилл Григорьевич, 1913 г. р., урож. гор. Одессы, женатый, имеет высшее образование, член ВКП(б), служащий, до ареста работал главным библиотекарем Государственной публичной библиотеки, не судимый;

2. СЕРМАН Илья Зеликович, 1913 г. р., урож. гор. Витебска, женатый, имеет высшее образование, беспартийный, служащий, до ареста работал редактором Ленгослитиздата, не судимый;

3. ЗЕВИНА Руфь Александровна, 1918 г. р., урожд. мест. Калараш Молдавской ССР, замужняя, имеет высшее образование, до ареста не работала, не судимая —

в преступлении, предусмотренном ст. 58—10 ч. II УК

Судебным следствием и материалами дела вина подсудимых установлена в том, что, будучи враждебно настроенными по отношению к ВКП(б) и Советской власти, они проводили среди своего окружения антисоветскую пропаганду...

(Следует часть приговора, касающаяся А. Г. Левинтона; я ее опускаю)

2. СЕРМАН — в 1946 году, у себя на квартире, в присутствии Зевиной и Левинтона, клеветал на национальную политику Советского правительства;

в 1947 году, в присутствии Зевиной, с антисоветских позиций критиковал Постановление ЦК ВКП(б) о журналах «Звезда» и «Ленинград»;

в 1948 году, в присутствии свидетеля Брандиса, в контрреволюционном духе истолковал интернационалистические взгляды Маркса и восхвалял писателей-космополитов;

в феврале 1949 года, в присутствии Левинтона, клеветал на национальную политику Советского правительства;

в марте 1949 года, в присутствии Зевиной и свидетеля Исакович, с антисоветских позиций критиковал политику ВКП(б) по вопросам идеологии и клеветал на национальную политику Советского правительства.

Указанными действиями Серман совершил преступление, предусмотренное ст. 58—10 ч. I УК.

Вина его доказана показаниями подсудимых Левинтона и Зевиной, свидетелей Исакович, Брандиса и его личным признанием.

. . . .

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 319, 320 УПК, Судебная коллегия

ПРИГОВОРИЛА:

1. ЛЕВИНТОНА Ахилла Григорьевича,
2. СЕРМАНА Илью Зеликовича и
3. ЗЕВИНУ Руфь Александровну

по ст. 58—10 ч. I УК каждого к десяти годам лишения свободы в исправительно-трудовом лагере с последующим поражением прав по пп. «а» и «б» ст. 31 УК сроком на пять лет.

Таков этот документ, сквозь который просвечивают эпоха и режим: ученый позволил себе дома, у себя дома, в присутствии собственной жены и, иногда, одного близкого приятеля выразить неудовольствие по поводу того, что его называли жидовской мордой... Ведь это и есть: «...клеветал на национальную политику Советского правительства». Заметим, что И. З. Серман к этому времени стал крайне осторожен: все эти разговоры он вел при одном-единственном постороннем, никогда не при двух. И вот за четыре разговора такого рода в течение трех лет — десять лет лагерей плюс еще пять лет бесправия. Но это еще не все.

Обвиняемые подали кассацию, прокурор тоже. Через два месяца, 8 сентября 1949 года, Судебная коллегия Верховного суда пришла к еще более фантастическому решению: «...Левинтон и Серман проводили контрреволюционную агитацию с использованием национальных предрассудков, высказывали о превосходстве одной из наций над другими нациями Советского Союза Мера наказания избрана мягкая, без учета характера совершенного преступления. Поэтому протест прокурора ⟨...⟩ подлежит удовлетворению, а просьба в кассационных жалобах Левинтона и Сермана удовлетворению не подлежит».

В результате пересмотра — то есть, фактически, собственной кассационной жалобы, И. З. Серман получил уже не десять, а двадцать пять лет лагерей.

В решении Верховного суда каждая деталь заслуживает внимания. «...*Агитацию*»: вспомним, что цитированные в приговоре речи велись в присутствии жены и, в лучшем случае, одного гостя. Кого же «агитировал» Серман? Сотрудников госбезопасности — через ими установленные подслушивающие устройства? *«...О превосходстве одной из наций»:* даже здесь, даже в этом секретном документе Верховного суда нельзя произнести запретное слово «ев-

рей» — если так и написать, «еврейской нации», то не будет ли это — «агитацией с использованием национальных предрассудков»? *«Мера наказания избрана мягкая...»:* до каких пределов людоедской свирепости надо было дойти, чтобы приговор к десяти годам лагерей (за четыре разговора в домашнем кругу) счесть «мягким»!

Документ коллегии Верховного Суда кончается таким «Определением»:

«Приговор суда в отношении Левинтона и Сермана отменить и дело о них передать на новое рассмотрение в тот же суд, в другом составе со стадии судебного следствия.

Подписано: Председательствующий — Круглов. Члены — Моряков и Крапивин».

Где они сейчас, эти трое? Наверно, живут себе спокойно на пенсии, забивают козла, ходят на рыбалку. А помнят ли они, как по их «определению» ни в чем не повинный человек, увлеченный своими исследованиями ученый, отец двоих маленьких детей, сын престарелой матери был — одновременно со своей женой — ни за что ни про что упечен на четверть века в концентрационный лагерь? (И сколько таких жертв на совести товарища Круглова...)

...Нацисты называли свою империю «тысячелетней», они продержались у власти двенадцать лет. М. А. Суслов обещал Гроссману, что его роман «Жизнь и судьба» увидит свет не ранее, чем через двести пятьдесят — триста лет; роман вышел на Западе через двадцать, а в Москве — через тридцать лет. Илью Сермана приговорили к двадцати пяти годам лагерей, просидел он шесть. Не правда ли, у нас все основания для оптимизма?

Когда — по выражению одного юмориста — «вождь отдал свои мудрые концы», И. З. Серман вернулся. Извинились перед ним? Черта с два. Он еще долго исполнял негритянскую работу: печатался под чужим именем, составлял примечания (мог бы и начинающий),— словом, изнывая, работал в четверть силы. Его потом взяли научным сотрудником в Пушкинский дом,— трудно уж было не взять, он был лучшим знатоком русского XVIII века,— но докторскую его диссертацию оттягивали, сколько могли: сперва не ставили на защиту, потом, после защиты, не утверждали в ВАКе; куда деваться, он ведь по-прежнему был не Захарович, а Зеликович. Ему пытались помогать и П. Н. Берков, и Г. П. Макогоненко — однако злопыхатели были сильнее, они в ту пору и составляли «аппарат».

А потом они, злопыхатели, с ликованием ухватились за козырную карту: дочь Ильи Захаровича уехала в Израиль. Вот, оказывается, кого мы пригрели в Институте русской литературы: отца изменницы родины. Ясно, что он и сам затаенный сионист — раз так воспитал свою дочь! Но ведь дочь — взрослая... Но ведь профессор Серман отдал жизнь на изучение русской поэзии... Но ведь он и так по ложному (идиотскому!) обвинению в национализме отсидел шесть лет в лагерях, готовясь протрубить на лесоповале еще почти двадцать... «Аппаратчиков» все эти гуманитарные глупости не смущали: они изгнали профессора Сермана, который теперь уже был ученым со всемирной репутацией, изгнали его из Пушкинского дома — с запретом печататься.

«Как это может быть, чтобы он не умер пять раз, десять раз от инфаркта?» — спросил меня один американский ученый, когда я рассказал ему такую советскую биографию — биографию его коллеги. Он не понимает, этот благородный и благополучный американец, какие мы тренированные, какую железную выдержку воспитала в нас наша «диктатура пролетариата».

Понятно, что И. З. Серман уехал. Потерял он много: русские архивы были ему необходимы, да и научная среда тоже. Выиграл он тоже немало: унижения, травля, насилия, которым он был подвержен тридцать с лишним лет, ушли в прошлое. За годы эмиграции — какие только университеты не приглашали его наперебой! Его лекции слушали студенты и профессора в Иерусалиме, Париже, Венеции, Бонне, Нью-Йорке, Бостоне — повсюду в мире. Его новые исследования посвящены не только писателям XVIII века, но и нашим современникам: Бабелю, Булгакову, Ильфу и Петрову, Пастернаку, Мандельштаму, Добычину, Заболоцкому. Он стал одним из четырех руководителей многотомной «Истории русской литературы», выпускаемой французским издательством «Файяр» и итальянским «Эйнауди»; кстати, для этого издания он написал волнующую главу о своем учителе и старшем друге Г. А. Гуковском (не говоря о многих других главах). Он принимает участие во множестве симпозиумов в разных странах — последний, на котором мы встретились, был мандельштамовский в Бари (Южная Италия). Теперь предстоит симпозиум о Лермонтове,— И. З. Серман кончает книгу о нем, естественно, что он представит доклад о Лермонтове в Норвичском университете (Вермонт, США).

Хорошо? Конечно. Так хорошо, что плакать хочется. Почему, чтобы уйти от клеветы и травли, избиений и лжи, надо решиться на изгнание? Почему, чтобы встречаться с коллегами по науке во всем мире, надо заплатить феноменальную, неправдоподобную цену — надо лишиться естественного для литератора права

общаться со своими читателями-соотечественниками? Почему, чтобы твое имя было признано повсюду, надо смириться с его запретом у себя на родине? Почему, чтобы печататься в иностранных научных журналах, надо, чтобы твои книги дома были уничтожены, даже библиотечные карточки изъяты, даже ссылки на твои труды запрещены цензурой? А ведь было так — до недавнего прошлого. Заметим: речь идет о трудах такого типа, как «Русский классицизм» или «Поэтический стиль Ломоносова» — называю только две книги И. З. Сермана, без которых все равно о литературе XVIII века не пишут и которые все равно постоянно цитировали — но без кавычек и без ссылок.

Есть у Ильи Сельвинского стихотворение (кажется, так до сих пор и не увидевшее света по-русски!) — оно начинается строфой:

Просидел в тюрьме семнадцать лет,
На лице грибы, морщины, нити.
А потом позвали в кабинет:
«Недоразуменье. Извините...»

И. З. Серману даже это пустое «извините» никто не сказал. Те же, кто зря держал его в лагере шесть лет («...за отсутствием состава преступления»), выдавили его из его страны и его литературы двадцать лет спустя. Не пора ли снова его реабилитировать («...за отсутствием состава преступления») и найти достойную форму, в которой страна могла бы отблагодарить старого ученого — за его заслуги перед русской литературой и еще за то, что никакие испытания его не сломали? Ведь вопреки невзгодам, катастрофам, крушениям этот семидесятипятилетний ученый продолжает работать с неутомимой молодой энергией, сохраняя верность своим теоретическим принципам, своим учителям и той научной школе, которую он представляет теперь одним из последних в своем поколении.

«патриотам», не будет вызывать ни ортодоксальных, ни шовинистических истерик, оправдываемых чьей-то мнимой ненавистью к России (ошибочно именуемой «русофобией», но «фобия» — это не ненависть, а страх). Ненависти у Гроссмана нет.

Михаил ЗОЛОТОНОСОВ

Гроссман Василий. Все течет. «Октябрь», 1989, № 6.

Написанная в 1955—1963 годах повесть впервые опубликована в 1970-м издательством «Посев» (Франкфурт-на-Майне). Из 27 главок шесть посвящены размышлениям над исторической ролью Ленина: ленинизм, чертами которого, как и личными чертами Ленина-политика, Гроссман считал нетерпимость к инакомыслящим, фанатичность, жестокость к противникам, интерпретируется как завязка трагедии, кульминацией которой была сталинщина. Характерно: справедливость формулы «Сталин — это Ленин сегодня» писатель доказывал в период разоблачения «культа личности», когда «персональное» злодейство Сталина должно было спасти в глазах многих систему. Впрочем, Гроссман шел в глубь исторических процессов до логического предела: и в ленинизме он обнаруживал следы предшествующей русской истории. Размеры заставляют именовать текст повестью, но по особенности внутреннего устройства это роман, точнее, его конспект. Главный герой, Иван Григорьевич, возвращается из лагеря. Встречи: с двоюродным братом, благополучно и подло жившим эти годы; с Пинегиным, написавшим донос на Ивана Григорьевича; с Анной Сергеевной, бежавшей в город из пораженной чумой коллективизации деревни,— дают романный охват жизни страны, которую облегла сталинщина. Впрочем, текучая вода повествования и без мотивировок вдруг может принести лагерный сюжет о тихой Машеньке («ее принудил к сожительству старший надзиратель Семисотов, выбил ей два зуба...») или беспощадном большевике Меклере, по-собачьи преданном власти, которая его уничтожает. Неизвестно, кто автор эссе о доносчиках — Гроссман или его герой. О Ленине думает и пишет Иван Григорьевич. Но писатель не прячется за его спиной. Желание понять первоистоки, откуда «все течет»,— объединяет бывшего зека и литератора, который несвободу ощущал, находясь на свободе.

Оставлен шифр в заглавии — надежда на эволюцию общества, на то, что наступит время, когда будут сняты табу, и о Ленине сможет размышлять не только партактив, а о России — даже писатель-еврей, и это не будет казаться кощунством

Борис Крячко. Битые собаки. Повесть и рассказы. Ээсти раамат, Таллинн, 1989.

Это книга усталой ненависти, горестного презрения, слез сквозь смех. Она набита народом, знакомым до пряной экзотичности. Странный маскарад, где маски люмпенов и алкашек напялены на людей совестливых, а благопристойно прилизанные физии скрывают полые от подлости болванки. Неандертальцы мечтают о «красивой» цивилизованной жизни, а люди цивилизованные не подозревают, что увязли в каменном веке. Те, которых всю жизнь курочили «властя́», заражаются от них методами и языком управления. Железную модель общества, сбитого страхом и предательством, как бы распирает изнутри незабытая христианская этика. Обыденное насилие соседствует с мукой покаяния. Похоже, что толпа героев Крячко жестокими приемами пробивается к добру.

Эта толпа говорит на многоручьевом языке, образующем единую реку русской речи застоя, все же текущую и живую. Перченый физиологичный сленг и плавная диалектическая сказочность, дебильно вывернутый канцелярит и простодушно-возвышенный лад молитвы промысловика Никифо́ра, что свою любимицу, сказочно необычную собаку, убил, практикуя невесть где усвоенное смертное битье подвластных тварей впрок.

«Господи правильный, Исус Христос, прими мою собачку пригодится, хорошая... да ты ее близко престола держи, мало ли, неровен час, а в небе, поди, как на земле,— чего не бывает. И ты, Господи Боже, муку мою маненько послабь, потому как ты сам того... недоглядел и знаменья мне от тебя никакого не поступало... И пошто ты народ свой боязненный тах-та невзлюбил, свет разума за́стил? А властя́, Господи, ты дал нам в наказанье куда хуже... замполиты-жулики, туды их поделом... Оно, может, и заслужили мы, не угодили чем, да больно долгая кара, жизни не хватает, Взял бы-от и полегчил, чего тебе станет...»

Так мучается совестью Никифо́р по прозвищу «Не тебя, Яврора, касаемо». И ее это действительно никак касаться не может.

Нонна СЛЕПАКОВА

Франц Кафка. Из дневников. Письмо к отцу. (Составление, перевод с немецкого и примечания Е. Кацевой. Предисловие Е. Книпович.) Библиотека журнала «Иностранная литература», М.: Известия, 1988.

Дневники Кафки — разговор вслух с самим собой человека, раздраженного скрежетами и стуками, сопровождающими приготовления к казни над ним, он обарывает эти звуки своим голосом. Сами приготовления, происходи они за стенкой и в тишине, ему бы не мешали. К тому же он страдает дальтонизмом — неразличением жизни и смерти. Неизбежная метафора претит ему, как гвоздика в петлице. Потребность в людях у него меньше, хотя отчасти и сравнима с потребностью в прогулке после длительного сидения за письменным столом. Литературный труд столь же естествен, сколь неестественно и противопоказано реальное существование. Источник вдохновения находится внутри его существа: куски тела разлагаются и отваливаются страницами исписанной бумаги. Настоящее отчаяние страшит его только возможностью исчезновения, возможностью не отчаиваться. От всякого жизнеподобия в искусстве у него болит голова: если актер играет «как в жизни», то зритель обязан стать человеком и, влезши на сцену, вмешаться в происходящее. Юмор в дневниках Кафки легкий, почти детски-наивный, таким пользовался Достоевский в рассказе «Бобок». Меньше всего Кафка ищет понимания. Описанные им семейные застолья напоминают сцену «мышеловки» в «Гамлете». Пантомима заканчивается хитроватым протягиванием разъяренному отцу кусочков рукописи. «Письмо к отцу» — попытка написать произведение от имени неприятного автору персонажа, склонного к реализму.

В предисловии к изданию указано, что дневники Кафки — типичная иллюстрация ленинской мысли о том, что буржуазная действительность лишает художника свободы творчества. Указано также, что издание позволит нам, наконец, дать принципиальный бой буржуазным оппонентам на международных конференциях, симпозиумах и литературных семинарах.

Боже, как стыдно! Ну что это за рок над нами?

Елена СКУЛЬСКАЯ

Сергей Довлатов. Рассказы. «Октябрь», 1989, № 7.

Согласно версии, изложенной в рассказе Довлатова «Куртка Фернана Леже», знаменитый художник завещал своей жене быть «другом всякого сброда». Не знаю, насколько ей удалось следовать этому наказу. Важнее в данном случае то, что куртку французского мастера она передала достойной этой аттестации личности — рассказчику и герою сборника «Чемодан», из которого редакцией журнала «Октябрь» в содружестве с Юнной Мориц извлечены три вещи: упомянутая «Куртка», «Приличный двубортный костюм» и «Шоферские перчатки».

С точки зрения официальных культуроохранителей застойных лет, довлатовского персонажа иначе как диссидентствующим охломоном не назовешь. Да и сам он чувствует себя в своей тарелке преимущественно среди публики идеологически нечистой. Возникает, однако, дилемма: кто чист и кто нечист на самом деле? По смыслу рассказанных Довлатовым историй можно удостовериться в одном несомненно важном этическом постулате: тот, кто считает лишь свои (на самом деле, конечно, благоприобретенные) воззрения истинными, никогда не подвергая их сомнению, нечист духом в большей степени, чем последний доходяга у пивного ларька. Не они, не те, кто стоят в похмельной очереди (рассказ «Шоферские перчатки»), являются у Довлатова носителями рабской психологии. Критическая подоплека его рассказов проникнута истинно демократическим пафосом.

Но политического характера довлатовские вещи все же не носят. Разочаруем и старых хулителей и новых адептов прозаика: его пером никогда не водила рука диссидента. По Довлатову, литература вообще никакого хорошего отношения к политике не имеет. Его кредо — честно рассказывать о том, *как* живут люди, а в идеале и о том, *ради чего* они живут. Повествуется об этом с улыбкой: ведь на самом деле жить мы все еще не научились и плохо знаем, ради чего живем.

Андрей АРЬЕВ

СЕДЬМАЯ ТЕТРАДЬ

Л. ЛЕВИН

НАУТРО ПОСЛЕ БЕДЫ

В январе 1968 года в Ленинградском Доме писателя имени Маяковского состоялся вечер, посвященный первой годовщине со дня смерти Юрия Павловича Германа. Председательствовала Вера Кетлинская. С воспоминаниями о Германе выступали его ленинградские и московские друзья.

Обдумывая свое выступление, я решил рассказать об одном, едва ли не самом драматическом эпизоде нашей многолетней дружбы. Действие его происходило в 1937 году.

Между тем «оттепель» давно кончилась, и тема 1937 года вновь оказалась под строжайшим цензурным запретом. Я решил рискнуть — не станут же прерывать меня на полуслове. Выступление было написано. Мне действительно удалось прочитать его без всяких помех. Кетлинская была в смятении — с одной стороны, она не могла не понимать, что я говорю чистую правду, с другой — опасалась, что за эту правду ей придется отвечать. Однако прерывать меня она все-таки не захотела. Недаром же она была автором романа «Мужество»...

Много лет спустя, готовя к изданию рукопись книги о Германе, я сделал попытку включить в нее свое давнее выступление. Куда там! В книгу вошли всего две-три фразы из того, что было написано в 1968 году.

Теперь я имею возможность предложить вниманию читателей то давнее выступление.

Длинной зимней ночью конца сорок первого или начала сорок второго, дежуря у телефона в штабной батальонной землянке на Невской Дубровке, я сочинил четыре стихотворные строчки:

И начинает мне казаться,
Что никогда не побывать
На Воинова, восемнадцать,
Или на Мойке, двадцать пять.

Отлично сознаю, что эти строчки не выдерживают никакой критики ни с художественной, ни с идейной точки зрения. Особенно с идейной, поскольку в них нет должного оптимизма.

Воинова, восемнадцать,— адрес Ленинградского отделения Союза писателей, где я очень часто бывал до войны.

Мойка, двадцать пять,— довоенный адрес Юрия Павловича Германа.

Герман переехал на Мойку за несколько лет до войны. Здесь мы встречались почти каждый день, так как я довольно долго ходил сюда обедать. Сюда я пришел 3 июля сорок первого года в солдатской гимнастерке и кирзовых сапогах, чтобы попрощаться с Германом. Здесь мне посчастливилось встретиться с ним после войны.

С особой остротой вспоминаются, однако, не более или менее благополучные годы, когда у всех нас — разумеется, по-разному и далеко не в одинаковой степени — дело шло на лад, когда все мы — опять-таки каждый по-своему — с увлечением работали и с неменьшим увлечением дружили. Особенно остро вспоминается мрачный и тяжелый год, который беспощадно проверил наши дружеские связи, заставил навсегда понять разницу между поверхностным приятельством и настоящей дружбой, показал, как отступает перед бедой приятельство и на что, оказывается, способна дружба.

Я говорю о тридцать седьмом годе. 16 мая этого года Ольга Берггольц, Ефим Добин и я были исключены из Союза писателей за связь с «врагом народа» Леопольдом Авербахом.

Утром 17 мая на Геслеровском, где я тогда жил, зазвонил телефон.

— Как ты там? — спросил беззаботный, необычайно бодрый и веселый голос Германа.— Неужели еще валяешься?

Я действительно еще валялся: во-первых, потому, что заснул только под утро, а во-вторых, потому, что делать мне было абсолютно нечего, все дела разом кончились.

— Представь себе, валяюсь.

— И долго еще будешь валяться?

— Не знаю.

Я и в самом деле не знал. Предстоял длинный пустой день, его надо было както прожить. А потом предстояла длинная ночь, и прожить ее было особенно трудно.

— Ну вот что,— сказал Герман.— Слушай меня внимательно. Я говорю от

своего имени и от имени моей жены Татьяны Александровны Герман, в девичестве Риттенберг. Мы тут кое-что обсудили и приняли некоторые весьма важные решения. Они непосредственно касаются тебя. Тебе надлежит немедленно сделать следующее: встать, тщательно умыться, съесть свой жалкий и ничтожный сиротский завтрак, положить в портфель зубную щетку и к часу дня быть в состоянии полной готовности. В час ноль-ноль мы за тобой заедем на нашем собственном элегантном автомобиле и отвезем тебя в Александровскую. Мы хотим, чтобы ты пожил у нас.

Я молчал. Если бы я раскрыл рот, то, вероятно, всхлипнул бы или сказал нечто невообразимо сентиментальное, чего никак нельзя говорить в двадцать шесть лет и слушать в двадцать семь. Поэтому я просто молчал.

— Судя по всему,— бархатным голосом продолжал Герман,— ты, кажется, заснул, мой котик? Ты спишь? Баюбаюшки-баю?

— Нет, нет,— наконец выдавил я из себя.— Спасибо, Юрочка. Но при нынешних моих обстоятельствах...

— Знаю,— перебил меня Герман,— наперед знаю, что ты хочешь сказать. Нам с Таней давно известна твоя феноменальная, переходящая все границы скупость. Ты, конечно, хочешь сказать, что у тебя мало денег и ты не сможешь нам платить. Не беспокойся, мы не возьмем у тебя ни копейки. Некоторое время ты будешь у нас на содержании. Уверяю тебя, это будет очень славненько. Мы обеспечим тебя совершенно бесплатно трехразовым питанием и по временам будем еще давать мелочь на трамвай и автобус. И ничего не потребуем взамен. Никаких услуг. Я обещаю не читать тебе своих маловысокохудожественных творений. Ни романов, ни пьес, ни сценариев, ни даже памфлетов. А ты, если захочешь, будешь изредка читать нам вслух. Что-нибудь, скажем, из Антона Павловича Чехова или Льва Семеновича Фридлянда. Что-нибудь этакое литературно-медицинское. Договорились?

— Да,— ответил я. В эту минуту я ничего больше не мог выговорить.

— Вот и отлично. Ровно в час спускайся и жди нас у своей подворотни. Подниматься к тебе на пятый этаж я не буду — слишком много чести, да и возраст не тот.

Ровно в час у моей подворотни, лихо развернувшись, остановился элегантный собственный автомобиль Германа. Это был так называемый «козлик» — необыкновенно хлипкое и ненадежное сооружение с брезентовым верхом. Весь остов «козлика» ходил ходуном и ежеминутно грозил развалиться. По крайней мере, так мне всегда казалось. Но Герман любил эту свою машину как никакую другую. Ни одна машина не доставила ему столько счастливых минут, как этот его уродливый автомобильный первенец.

И мы поехали в Александровскую.

Тогда это была постоянная резиденция Германа — три крошечные комнаты, одна из них проходная, и маленькая терраса. Городской квартиры тогда у Германа не имелось.

Еще две недели назад мы встречали здесь первомайский праздник — Германы, Берггольц, Гринберг и я. Делали вид, что веселимся, но думали только о том, что нас ждет сразу после праздника.

Мне отвели койку в проходной комнате. На этой койке я уже спал не раз, в том числе и в первомайские дни.

Однажды вечером мы сидели на террасе, не зажигая огня. Настроение у всех было отчаянное, особенно у меня. Я уже довольно давно не ездил на Геслеровский. Кто знает, не являлись ли туда незваные ночные гости?

— Завтра поедем в город,— видя, что я не нахожу себе места и в глубине души, конечно, разделяя мое беспокойство, сказал Герман.— Все равно мне нужно на «Ленфильм» и в Роскомдрам.

Я точно знал, что вчера он был и на «Ленфильме» и в Роскомдраме.

— Но ты зря беспокоишься. Ей-богу, зря. Хочешь, объясню почему? У меня есть примета.— Он лукаво улыбнулся.— Тебя спасает то, что я посвятил тебе только рассказ. Понимаешь?

Незадолго перед тем в «Литературном современнике» появился посвященный мне рассказ Германа «Валюша».

— Улавливаешь мою мысль? Всего только рассказ! Бедным Полтавскому и Макарьеву я посвятил целые романы — и это их погубило. Понимаешь? А тебе — маленький рассказик. Есть о чем говорить! Понял?

Он продолжал улыбаться, и я смеялся вместе с ним, но нам обоим было не до смеха.

На следующее утро — и так много раз — мы ехали в город.

Герман останавливал своего «козлика» возле моей подворотни, а я, задыхаясь, бежал на пятый этаж. Но каждый раз все было спокойно. Никто меня не спрашивал, никто не звонил. Я кубарем скатывался по лестнице, чтобы успокоить Германа. Он сидел за рулем в черных кожаных перчатках, веселый, невозмутимый, с папиросой в зубах.

— Все в порядке? — небрежно спрашивал он.— А что я тебе говорил? За «Валюшу» ты уже поплатился. Из Союза тебя исключили? Исключили. Вот и все. Больше ничего не будет. Благодари бога, что я не посвятил тебе роман.

Три комнаты, которые Герман с семьей занимал в Александровской, помещались на первом этаже, а второй этаж маленькой

ветхой дачки оставался пока свободен. Но однажды появился грузовик со всяким домашним скарбом, и я с ужасом увидел, что из кабины вышел Н. Свирин, тот самый, который сыграл едва ли не главную роль в моем исключении из Союза писателей.

Вечером Германы приехали из города. Когда мы сели ужинать, я первым делом рассказал им неприятную новость и сказал, что сегодня же — в крайнем случае завтра утром — возвращаюсь на Геслеровский.

— Ты с ума сошел! — с жаром воскликнул Герман.— Ты просто сошел с ума! Почему ты должен бежать? Разве ты в чем-нибудь виноват? Вот если ты сейчас уедешь, это в самом деле будет выглядеть подозрительно. Как будто ты заметаешь следы.

И Герман с подробными ссылками на Бодунова, Берга и всех своих многочисленных друзей из милиции и уголовного розыска стал доказывать, что самым опасным и губительным не только для меня, но в первую очередь для него было бы мое поспешное бегство из Александровской.

Я понимал, что все это — святая ложь, но скажу честно, мне до смерти хотелось верить и соглашаться. Геслеровский меня страшил. Короче говоря, я сознавал, что не должен оставаться в Александровской,— и все-таки остался.

Как-то я заметил, что к Герману, сидевшему в садике, подошел Свирин. Некоторое время они о чем-то говорили. Затем разошлись в разные стороны. Герман не знал, что я за ним наблюдаю, и шел к дому с явно расстроенным видом.

Вечером я спросил Германа, о чем говорил с ним Свирин.

— О чем он со мной говорил? — как бы рассеянно повторил Герман. Мой вопрос застал его врасплох.— Господи, да ничего выдающегося.— Он чуть-чуть растерялся и, видимо, не придумал еще ничего путного.— Ты, конечно, считаешь, что он говорил о тебе. Верно? — Выход, видимо, был уже найден, и Герман улыбался весело и беззаботно.— Ты думаешь, что он предостерегал меня от общения с тобой. Ну, скажи правду, думаешь?

— Думаю.

— Так вот, представь себе, ничего подобного! — с торжеством, почти со злорадством заявил Герман.— О тебе не было сказано ни одного слова. Боюсь тебя огорчить, но ты не представляешь для него никакого интереса. У меня такое впечатление, что он просто плюет на тебя. Понимаешь, Танюша,— неожиданно обратился он к жене,— становится тяжело, когда на человека плюют до такой степени.

— Но о чем вы все-таки говорили? — спросил я, уже понимая, что толку все равно не добьюсь.

— Хочешь знать, о чем мы говорили? Обязательно хочешь? Без этого не можешь жить дальше? — Герман был уже полностью в своей тарелке и резвился.— Изволь. Он консультировался со мной по медицинской части. Как с крупным специалистом. Я дал ему множество полезных советов. В частности, рекомендовал древесный уголь. Тебе известно, в каких случаях применяется древесный уголь?

Лишь много времени спустя, когда я уже был восстановлен в Союзе писателей, Герман признался, что разговор шел, разумеется, обо мне. Оказывается, Свирин мельком видел меня в саду и подошел к Герману удостовериться, что это действительно я. Удостоверившись, он очень строго предостерег Германа от дальнейшего общения со мной.

— Его буквально каждый день могут изъять,— сказал Герману Свирин.— Вы же разумный человек, известный писатель. Посудите сами, в какое положение вы можете себя поставить.

А после смерти Германа Татьяна Александровна как-то рассказала мне, что подобные предостережения они слышали тогда отнюдь не только от Свирина. То же самое говорил им один писатель, которого я всегда считал если не близким другом, то во всяком случае добрым приятелем.

Но тогда, в Александровской, вдруг случилось нечто совершенно непредвиденное.

Ранним июньским утром я проснулся от какого-то шума. В проходной комнате, где я спал, стояли Герман в одних трусах и Татьяна Александровна в голубом халатике, который я запомнил на всю жизнь. Вид у них обоих был очень странный — то ли растерянный, то ли испуганный.

— Что случилось? — спросил я, вскакивая с постели.

— Ничего, ничего,— поспешно ответила Татьяна Александровна, кутаясь в свой голубой халатик.— Кажется, за Свириным приехали,— после некоторой паузы добавила она.

Все стало мне сразу ясно. Приехали, конечно, не за Свириным, а за мной. Свирин был прав, когда предостерегал Германа. Мне нужно было тогда же немедленно уехать. По крайней мере, меня арестовали бы на Геслеровском, и у Германа не было бы никаких неприятностей. А теперь...

Между тем время шло, а к нам никто не приходил. Со второго этажа в самом деле доносился глухой шум. Там двигали мебель, кто-то тяжело переминался с ноги на ногу, раздавались голоса.

Сколько времени прошло — час, два, три,— никто из нас не мог бы сказать. Наконец, на лестнице послышались шаги, и вскоре мы увидели Свирина. В низко надвинутой на лоб фуражке, с узелком в руке он шел к машине, которая тем

временем откуда-то подъехала к нашей калитке. Сзади и спереди шли солдаты с винтовками.

Конечно, Свирин был так же ни в чем не виноват, как и я. Много лет спустя он был полностью реабилитирован — увы, посмертно.

Но в то раннее утро никто из нас, честно говоря, не думал о том, виноват Свирин или не виноват. Мы думали только о том, что машина может вернуться.

Снова прошло немало времени — час, два, три. Мы продолжали ждать. В конце концов стало ясно, что приезжали действительно за одним Свириным, а мы — по крайней мере, в ближайшее время — можем жить дальше.

Никто из нас не симпатизировал Свирину. У меня были все основания относиться к нему с особой и вполне обоснованной антипатией. Но мы еще долго сидели в скорбном молчании, глубоко подавленные тем, что свершилось на наших глазах.

Неизвестно, сколько времени просидели бы мы так, если бы Герман не вскочил и не воскликнул с той непередаваемой юмористической, укоризненной и в то же время ласковой интонацией, с которой он часто обращался к жене:

— Танечка! Ну, посмотри на себя! В каком ты виде? Как ты могла в таком виде показаться постороннему мужчине? Кроме того, я умираю от голода. Ты собираешься нас чем-нибудь кормить?

И хотя мы совершенно не знали своего завтрашнего дня, нами овладело состояние лихорадочной, почти истерической веселости. В этом состоянии мы умылись, оделись и стали жадно есть яйца всмятку и чашку за чашкой пить черный кофе, который так прекрасно умел готовить Герман.

Свое тогдашнее состояние я вспомнил через пять с лишним лет дождливой осенней ночью сорок второго года.

Дело было в топких, непросыхающих синявинских болотах. Мы с моим фронтовым другом батальонным комиссаром Михаилом Сырцовым оказались в гвардейской дивизии, которую немцы пытались окружить. На рассвете это им удалось, а ночью мы в составе маленького отряда во главе с капитаном Подбароновым (я навсегда запомнил эту фамилию) успели с боем выйти к своим.

Когда мы поняли, что находимся вне опасности, нами овладело уже знакомое мне состояние лихорадочной, почти истерической веселости. И хотя никто не мог предсказать нам завтрашнего дня, мы поняли, что — по крайней мере, в ближайшее время — можем жить дальше. Мы хлопали друг друга по плечам, обнимались и в конце концов, конечно, стали пить водку, заедая ее черными сухарями.

Тридцать седьмой давно отодвинулся в далекое прошлое. За годы, прошедшие с тех пор, в жизни каждого из нас было много разного — и веселого и печального, и светлого и мрачного, и прекрасного и тяжелого. Много, очень много разного было за эти годы и в жизни Юрия Павловича Германа.

Но как бы ни складывалась его собственная судьба, он всегда готов был прийти на помощь человеку, с которым случилась беда.

Сколько людей могут, подобно мне, рассказать, как на следующее утро после беды у них звонил телефон, и беззаботный, необычайно бодрый и веселый голос Германа спрашивал:

— Как ты там? Неужели еще валяешься?

Петербург — Петроград — Ленинград

В. ТРЕТЬЯКОВ

ТРИ АДРЕСА

Чудесно видеть наш город — «Петра творенье» — обворожительно красивым и в белую ночь и в дождливый осенний день. А каких-нибудь сто лет назад тот же город, те же площади, дворцы, дома воспринимались как однообразные давящие громады. В моде были картины Семирадского и постройки в псевдорусском стиле. «Любопытно, что мнение о безобразии Петербурга настолько укоренилось в нашем обществе, что никто из художников последних 50-ти лет не пожелал, очевидно, пользоваться этим не „живописным“, „казенным“, „холодным“ городом»,— писал Александр Николаевич Бенуа в начале века.

Уровень вкуса в 80—90-е годы прошлого века настолько низок, что даже царская спальня украшается иконами, поясками, четками, пасхальными яйцами,

продававшимися не дороже пятачка на любом рынке России. Не мудрено, что через призму копеечной иконы барочная пышность Зимнего дворца не впечатляла, она была не нужна, и равнодушная рука замазала ее бордово-красной краской.

Целая плеяда ярких, удивительно энергичных деятелей русской культуры возродили вкус, подарив нам прелесть восприятия эстетических ценностей, и тонкая пастельная окраска сегодняшнего Невского проспекта — это и их заслуга. Бенуа, Добужинский, Лукомский, Курбатов, Остроумова-Лебедева, Рерих, Лансере, Сомов, Билибин — вот далеко не полный список тех людей. Нам теперь не видна их черновая работа: ведь взгляд на эстетические ценности, прививаемый мирискусниками, нужно было сделать общим. И он стал таким; не случайно первые постановления Советской власти включали охрану памятников искусства, и эти постановления были поняты и приняты всеми.

Прогуляемся по Ленинграду. И остановимся у трех домов, чья биография связана с культурой начала века, постараемся воссоздать историю одного из культурных явлений тех лет, оказавшего особенно сильное влияние на формирование вкуса современников, да и на наш с вами — тоже.

Первый наш адрес — набережная Фонтанки, 118 — хорошо известен любому ленинградцу как Дом Державина. Парадный двор, закрытый кованой решеткой, обращен к реке. Заглянем во второй двор, где скрытый домами от любопытных взглядов сад тянется до Первой Красноармейской. Этот большой, несколько запущенный сад, как и сам дом, принадлежал тогда Римско-католической духовной коллегии.

В 1900 году молодой художник и искусствовед Александр Николаевич Бенуа снимает квартиру рядом с Домом Державина в 1-й роте Измайловского полка, 4 (ныне — Первая Красноармейская). У него две маленькие дочки, им надо гулять. Сад — идеальное место для прогулок, но он закрыт для частных лиц. И вот — удача: в Доме Державина живет «милейший» Иван Михайлович Степанов, служащий духовной коллегии; он получает разрешение для Бенуа гулять в саду. «Весь Петербург за 1901 год» представляет Степанова так: «коллежский асессор (майор, если перевести на язык военных.— *В. Т.*), Римско-католическая духовная коллегия, Комитет попечительства о сестрах милосердия Красного Креста, Троицкая приходская попечительность при церкви святой Троицы». То есть — чиновник на поприще благотворительной деятельности, в одних организациях секретарь, в других — делопроизводитель, в третьих — просто член комиссии. Бенуа часто встречает во время прогулок по саду этого человека, на пятнадцать лет старше его самого. У Степанова «уже тогда... в черных, как смоль, волосах и в такой же бороде начинает пробиваться седина». За его плечами уже пять лет работы в искусстве и издание полутора сотен художественных открыток таких художников, как Самокиш-Судковская, Бём, Визель, Овсянникова, Соломко, Виллис. С благотворительной целью, разумеется...

«Однако,— вспоминает Бенуа,— если Иван Михайлович уже и приближался к старости, он при первых же встречах со мной стал выражать такую жажду „у меня поучиться" и через меня „просветиться", что это, скорее, я стал в себе чувствовать какую-то почтительность. Впрочем, должен покаяться, в это первое время знакомства я „бегал" от него... Уж очень агрессивно выражалось это его почитание». Невысокий молодой мужчина, энергичный и быстрый, с оживленным лицом, смотревший на Степанова через стекло пенсне внимательными карими глазами, постепенно разгадал в Иване Михайловиче золотое сердце, признал ум и втянулся в роль идейного руководителя — ментора, и, как говорит Степанов, «энтузиазм, которым горели молодые художники, передался и мне, и я впервые понял, что популяризация произведений искусства открытыми письмами не только служит целям благотворительности, но и является культурным делом первостепенного значения».

Прогулки в несколько запущенном саду, где когда-то гулял Державин, делают Степанова одним из активных распространителей идей «Мира искусства».

С 15 апреля 1886 года Иван Михайлович занимает должность секретаря Санкт-Петербургского комитета попечительства о сестрах милосердия Общества Красного Креста. Комитет был создан 22 апреля 1882 года для оказания поддержки нуждающимся сестрам милосердия. Комитет создал «убежище для престарелых сестер милосердия имени Александра III», были открыты двухгодичные курсы медсестер, а 7 января 1893-го была создана Община сестер милосердия Красного Креста, поступившая под покровительство великой княгини Евгении Максимильяновны Ольденбургской, имя которой и было присвоено Общине. Вот таким образом возникла Евгенинская община, при которой к 15 апреля 1896 года, к началу службы в Комитете Степанова, работали амбулатория, аптека и небольшая лечебница.

Иван Михайлович сотрудничает с Красным Крестом давно. Начало его безвозмездной службы — это формирование отрядов и лазаретов, а также организация сбора пожертвований во время русско-турецкой войны. В дальнейшем он актив-

ный участник организации сборов средств в годы общественных бедствий (голодные годы, наводнения). Организатор благотворительных концертов и выставок — то есть в основном специалист по сбору средств. Средства молодой Общине нужны на строительство больницы.

Изыскивая способы получения средств на строительство больницы, Иван Михайлович обращается к популярному тогда художнику Н. Н. Каразину с просьбой издать в виде открыток четыре его акварели. Художник соглашается, открытки изданы в апреле 1898 года, и долгое время филокартисты считали их первыми русскими художественными открытками. Опыт оказался удачным, принес доход, и Степанов продолжает начатое дело.

Больница построена, это — наш второй адрес: Старорусская улица, 3 (а одна из выходящих на нее улиц носит, между прочим, название Евгенинской). Аккуратное здание с огромным стеклянным фонарем эркера (ныне больница имени Я. М. Свердлова). Именно здесь зародилась издательская деятельность Евгенинской общины, о которой и современники и потомки так дружно скажут: «Вы, как никто, послужили нашей образованности» (А. Н. Бенуа); «Эти издания в свое время сыграли огромную культурную роль в нашей стране» (А. П. Остроумова-Лебедева); «Впервые так широко стало популяризоваться отечественное искусство» (Н. И. Тагрин); «Издательство... внесло большую лепту в дело служения русской культуре» (М. С. Забочель).

За тридцать один год существования издательство выпустило примерно шесть тысяч четыреста пятьдесят открыток общим тиражом миллионов тридцать. Значение открытки в культуре было хорошо понятно: это самый демократичный вид художественного издания, цена ее — от пятачка до гривенника — доступна многим. Именно таким путем легче всего просвещать огромную Россию. Отсюда — и задача: издавать репродукции картин и скульптур лучших музеев и познакомить россиян с родиной и миром.

Открытки печатаются гелиогравюрой на меди, автолитографией, автотипией, фототипией, даже техника офорта использована. Удивительно высокое качество печати, отмеченное высшими наградами всемирных выставок в Париже, Сан-Луи, Бордо и на Всероссийской кустарной выставке, позволяет достоверно представить оригиналы произведений, в том числе таких, чье местонахождение не установлено.

Секрет качества во многом определяется «индивидуальным подходом» к каждой открытке, что при почти семи тысячах изданных открыток поражает. Как этот подход реализовался на практике, хорошо видно из письма М. В. Нестерова в издательство: «Милостивый Государь! Корректурные оттиски моего рисунка „Христова Невеста“ я получил. Тем более благодарен Вам за них, что до сих пор о судьбе рисунка не имел никаких сведений.

С заметками А. Н. Бенуа я совершенно согласен и нахожу, что Вам еще не вполне удалось то, на что указывает Александр Николаевич. Поставив отпечаток рядом с оригиналом, без труда можно заметить существенную разницу. Общий тон оригинала серовато-зеленоватый, отпечаток розовато-рыжеватый — слащавый. Разбирая в подробностях, можно указать на следующее:

1. Лицо следует делать менее розовым, более бледным, как восковым... (Далее еще 9 пунктов.— *В. Т.*)

Надеюсь, что под Вашим руководством все поименованные недостатки будут исправлены, за что буду Вам признателен...

С совершеннейшим почтением остаюсь Мих. Нестеров
1905. 12 февраля».

Таким образом — двойной контроль: сначала — кто-то из сотрудников комиссии, затем — автор.

Издатели активны в реализации своих целей. На железнодорожных станциях появляются киоски Общины, открытки можно купить в салон-вагонах скорых сибирских поездов. Это дает возможность издательству «еще больше расширить свою просветительскую деятельность и, как свидетельствуют многие художники, воспитавшиеся в лишенной музеев и выставок провинции, лишь при помощи открытых писем Красного Креста (как их принято было называть) они узнавали о том, что делается в художественных музеях обеих столиц».

Современники говорят об открытках Общины как о справочниках по искусству, начинают собирать их. Это не «поветрие», это — осознанная планомерная деятельность издателей журнала «Открытое письмо», издававшегося Общиной под редакцией Ф. Г. Бернштама с 1904 по 1906 год. Журнал не только обучает тому, как коллекционировать открытки, помещает статьи не только об истории открыток и о способах их печати, но и об открытках как учебных пособиях: «Некоторые учительницы делали очень полезное применение открытых иллюстративных писем: они употребляли эти письма как наглядное пособие при классных занятиях и при народных чтениях. Так, одна учительница географии собрала большую коллекцию открытых иллюстрированных писем с изображением видов различных местностей, с изображением типов народов и т. п. Эти письма употребляются как картины для наглядного обучения на уроках географии в одной

приходской гимназии. Другая учительница собрала коллекцию открытых писем с изображением сцен из детской жизни и употребляет их с детьми 1-го отделения сельской школы, что доставляет детям большое удовольствие» (Открытое письмо, 1905, № 5).

Автор статьи «Портретная выставка и открытки в пользу Евг. общины» в следующем номере утверждает, что открытки лучше каталога, так как дают возможность выбирать то, что понравилось, более доступны и вообще — «пособие для русского юношества».

Последовательность в реализации просветительских целей особенно хорошо видна на примере открыток Петербурга. «Лансере первым начал рисовать Петербург, проникаясь поэзией его строгой архитектуры, угадывая красоту, бившую сквозь уродливые изменения и добавления современности»,— писал Сергей Маковский, известный критик начала века. Евгенинская община издает буквально все петербургские виды Лансере, а вместе с ними — открытки Добужинского, Остроумовой-Лебедевой, Бенуа и Яремича на ту же тему. Одновременно выходят серии портретов Петра I и его соратников, «Уличные типы», «Виды Петербурга в гравюрах Патерсена». Начинают издаваться путеводители, лучшие из них — путеводитель В. В. Курбатова с двумястами восьмьюдесятью автотипиями и двадцатью тремя гравюрами на дереве Остроумовой-Лебедевой и его же путеводитель по Павловску. И вся эта деятельность продолжается с завидным упорством из года в год.

Издательство никогда не преследовало целей наживы. Иван Михайлович, вспоминая те годы, пишет, что всем им было присуще «стремление... вести издательское дело, хотя бы не в большом масштабе, но силами самого учреждения без привлечения в него посредников и капиталистов; такая постановка дела немало способствовала тому душевному сочувствию, которым издательство пользовалось со стороны лучших представителей русской мысли и русского искусства»...

Мы несколько задержались на Старорусской улице. Последний наш адрес — улица Герцена, 38, дом ЛОСХа, построенный по проекту И. С. Китнера, бывшее Общество поощрения художеств. Вход — как и прежде, с набережной Мойки, 83. Сюда на собрание сотрудников журнала «Художественные сокровища России» Бенуа привел однажды Степанова. «Постепенно, однако, его страсть просветиться как-то растормошила меня и мой педагогический инстинкт, и я все более стал втягиваться в отношении к нему в привычную мне роль ментора»,— вспоминает Александр Николаевич. Степанов тоже не забыл эти времена: «Кстати сказать, эти „вечера“ были удивительно уютны... Таким образом укрепились дружеские связи с выдающимися художниками, в то время еще не получившими признания и известными не столько своими заслугами, сколько по насмешливой кличке „декаденты“».

Эти «удивительно уютные» пятницы в кругу художников дали Степанову долгую и прочную дружбу с Яремичем (Степанов написал в 1913 году монографию о Яремиче, не изданную тогда, а мы ведь и сегодня не имеем о Яремиче не только монографии, но даже и статьи), а Комитету — помещение для главного магазина.

Идея создания магазина встретила понимание со стороны председателя Общества поощрения художеств Н. К. Рериха. Николай Константинович принял живейшее участие в организации магазина и в разработке проекта его оформления. 15 апреля 1904 года он писал И. М. Степанову: «Многоуважаемый Иван Михайлович. Сообщаю Вам некоторые сведения, т. к. завтра не могу быть в заседании Комитета Общины, ибо идет „Вишневый сад“. Мои проекты об отделке помещения я уже передал Вам. Мне представляется светлая отделка (которая увеличит помещение), стены — шкафы, причем внешние стенки их убраны открытыми письмáми. Дерево — береза. Потолок светлый, можно мягкий орнамент из листьев. При хорошем свете помещение должно быть очень уютное».

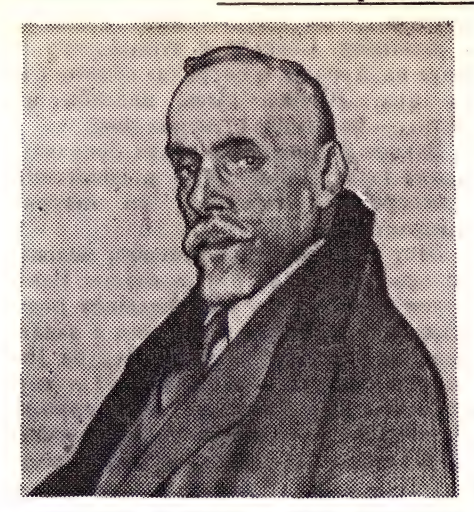
Магазин был открыт в первых числах мая 1904 года, и оформление его было выполнено по проекту Рериха, позже, в 1914 году, магазин переоформили по проекту молодого Н. Е. Лансере. Впечатление от его витрины оставил нам французский искусствовед, профессор Луврской школы искусств Луи Отексер, перед чьим взором предстала разом «вся старая Русь с ее боярами в роскошных костюмах, женщинами в золотых кокошниках, деревянными церквами Архангельской и Вологодской простотой когда-то Великого Новгорода». Примерно о том же писал венский корреспондент Грабаря, получивший от него открытки и с восторгом отозвавшийся в ответном послании, что «нигде в мире ничего подобного нет».

1914—1929 годы — расцвет издательской деятельности Общины. В 20-е годы Община превращается в Комитет популяризации художественных изданий, а красный крест на обороте ее открыток сменяется издательским знаком с Ростральной колонной. Открыток теперь, правда, выпускается мало, но зато издается серия монографий о русских художниках (Рерих, Сомов, Бенуа, Серов), печатаются уникальные, становящиеся буквально по выходе библиографическими

редкостями книги «Медный всадник» с иллюстрациями Бенуа, «Цыганы» с рисунками Л. фон-Найделя и статьями Б. Л. Модзалевского и П. Е. Щеголева, альбомы автолитографией Остроумовой-Лебедевой «Петербург», Добужинского «Петербург в двадцатом году». Тридцать одно издание за девять лет! И это — в годы разрухи, когда, как сейчас может показаться, было не до них. Легкость трансформации учреждения аристократического оттенка (Община была под покровительством принцессы Евгении Ольденбургской) в советское, находящееся под официальным покровительством Академии материальной культуры, поражала еще современников.

Через много лет Бенуа расскажет в своих воспоминаниях: «В дни, когда... все так ужасно растерялись, и особенно растерялся как раз чиновничий мир, И. М. Степанов не только сохранил свою природную ровность духа и весь свой здравый смысл, но он как раз тут развернул особенно бурную деятельность, благодаря чему он спас и себя лично, и семью, и свое жилище, и свое издательство. Мало того, он это «свое издательство» как-то расширил и возвеличил... Но не надо думать, что он принадлежал к той особенно предосудительной категории бюрократов, которые в таких случаях старались выслужиться посредством угождения власти». Бенуа прав. Степанов не приспосабливался к новой власти, он считал, что, «благодаря накопленному издательскому опыту, намеченные планы не только не нарушаются, но как раз наоборот, именно в период первых годов революции достижения издательства находят высшую форму своего выражения».

Энергичный Иван Михайлович, его помощники С. П. Яремич, А. А. Ильин, П. И. Нерадовский, Ф. Ф. Нотгафт, Н. А. Сергеев, Н. Д. Эттингер, Р. С. Эрнст, продолжая работу издательского отдела Евгенинской общины, закладывают фундамент советской культуры. На международной выставке в Париже в 1925 году — «русская сенсация», нет, уже не русская — советская. Мельниковский павильон. Весь Париж говорит о новом советском искусстве. Издания Комитета здесь — органичная часть экспозиции, и серебряная медаль — достойная ее оценка.



И. М. Степанов. Портрет работы П. И. Нерадовского, 1921 г. Публикуется впервые

В 1929 году деятельность Комитета по популяризации художественных изданий была прекращена. Деятельность же Степанова и его помощников, так послужившая «нашей образованности», не забыта. Редкая книга по филокартии и библиофилии обходится без упоминания открыток и книг, изданных за тридцать лет.

Воспоминания

К. БОРОДУЛИНА

НОЧЬ НАД ГОРОДОМ

Из записок блокадницы

Лето 1941 года мы проводили в Павловске, на даче.

...Воскресенье, 22 июня. Все потрясены. Уезжать надо немедленно, сегодня, сейчас.

Дня через два, три — все разъехались, дачи опустели. Вокруг напряженная тишина. Ни детских игр, ни песен, ни смеха. Изредка, где-нибудь на углу, соберется стайка мальчиков-подростков, пошепчутся о чем-то, опустив головы, и снова разлетятся по домам. Горе разлуки с отцами и братьями легло и на их молодые плечи.

Потянулись грузовики со всяким снаряжением, с какими-то пирамидами, еще и еще, днем и ночью.

Толпами шли молодые женщины,

грустные, сосредоточенные, некоторые с лопатами. Сначала я думала, что они идут на огороды, и спросила об этом одну из них. «Окопы рыть, надолбы ставить»,— не глядя, ответила она...

Вскоре в Павловске стали появляться какие-то странные люди, в допотопных косоворотках навыпуск, со шнурком вместо пояса.

Этот маскарад под русского человека только привлекал к ним внимание. Как-то утром к моему балкону подошел подобного вида мужчина и спросил с заискивающей улыбкой: «Как пройти на Подгорную улицу?» — «Подгорную? — переспросила я.— Не знаю, надо спросить у хозяйки»,— и пошла на ее половину. «Это старое название, а кто спрашивает?» — «Да тут какой-то человек».

Мы вышли на балкон, но человека уже не было. Прошли за калитку — его и след простыл.

«Да это, наверное, шпион! — воскликнула хозяйка.— Их тут пачками спускают за парком на парашютах. Как же вы не знаете?»

Я действительно не знала, но с этих пор стала внимательно ко всем приглядываться.

Наступил август. Надо было думать о переезде в город...

Итак, мы в Ленинграде. Враг в тридцати километрах. И с каждым днем все ближе.

Внешне все, как обычно. Только люди стали собранней, сдержанней, молчаливей.

Каждый сам решает уезжать или оставаться, одному или с семьей. Советоваться некогда. Детей эвакуируют в первую очередь, отдельно от матерей. Трагедия разлуки. Взрослые — то выезжают с учреждением, то живут неделями на колесах, то остаются в городе.

В то время не было человека, способного предвидеть блокаду. Кто сказал бы, что мы будем жить, с распухшими ногами, с отмороженными руками, с дистрофией, с цингой, с гнойными пальцами, с больным ребенком, с трупами на лестнице и рядом, в комнатах?

Моя мать, у которой было шесть дочерей, говорила, что я у нее ясновидящая — Кассандра. Куда девался этот дар в самый нужный для нас момент? Исчез бесследно.

Даже когда загорелись Бадаевские склады, мы, наблюдая с ужасом за этим зрелищем с крыши дома, не могли осмыслить до конца этой потери. Было больно, обидно, жутко: ведь Бадаевские склады — чрево Ленинграда, но что это смертная трагедия, мы не знали.

Необходимость остаться в Ленинграде вызвала новые заботы, а именно: дрова и питание. В магазинах только соль, кофе, лавровый лист. Введены карточки на хлеб, крупу и прочее. Как быть? Мы бродили по пригородным огородам, собирали листья капусты, шинковали, солили.

Раза два, три мы оставались ночевать в убежище, но с тех пор как огромная фугаска в нескольких метрах от нас разбила музей Суворова, и мы в этом грохоте и столпотворении подумали, что и нас засыпало, так как дверь убежища не открывалась,— я перестала вообще спускаться в убежище.

Мы решили, что лучше уж погибнуть сразу, чем умирать медленной смертью от голода и удушья под семиэтажной громадиной. Разбирать ее по кирпичику и откапывать нас было некому.

Город умирал постепенно. Сначала исчезли продукты питания, потом остановился транспорт — автобусы, трамваи; умолк телефон, погасло электричество. Было такое чувство, будто ты лишаешься то ноги, то руки, то собственных глаз.

Одно радио — верный неизменный друг — сопровождало жизнь и днем, и ночью. Дружеское пощелкивание метронома делало спокойным наш сон, и не менее дружеские, всегда спокойные и бодрящие голоса дикторов сопутствовали нам весь день. Один Левитан чего стоил!

Последней исчезла вода. Это уже к ноябрю. Бродили с ведрами по чужим дворам, чужим улицам. В конце концов осталась лишь Нева — два километра туда и столько же обратно с тяжелой, обливающей ноги ношей. Когда выпал снег, то стали возить на саночках, спотыкаясь и падая. В конце зимы вехами на этой ледяной дороге были человеческие трупы. На них никто уже не обращал внимания — только ворчали, если их надо было объезжать.

В начале осени город еще жил своей жизнью. Вечерами, после «сытного» обеда, соскучившись сидеть при коптилке, мы выходили пройтись по Суворовскому.

Как ни странно, но именно в это время, от 7 до 9, до традиционного налета, он был очень многолюден, настоящий променад. По-видимому, всем нужна была эта разрядка перед очередной трепкой нервов. И хотя ни людей посмотреть, ни себя показать нельзя было в этом кромешном мраке, но можно было громко говорить, смеяться и даже узнавать знакомых по голосу.

При первых звуках воздушной тревоги Суворовский пустел. Мы тоже торопились домой, но однажды, когда мы задержались на прогулке, в квартиру нас не пустили, а категорически предложили пройти в бомбоубежище. Оказывается, в третий двор у нас упала бомба. Разряжать

фугаску прибыла бригада МПВО, начальник которой, отважный юноша, ни за что не соглашался подвергать опасности приехавших с ним девушек, а хотел идти один. Фугаска разорвалась именно в ту секунду, когда он к ней прикоснулся: от него не осталось и следа...

Говорят, что жестокая зима спасла Ленинград от гибели. Она построила «Дорогу жизни», и она же охлаждала у немцев пыл, заставляя их отсиживаться в теплых норах.

Не знаю, справедливо ли это. Мне кажется, что если бы воскресить всех умерших и спросить, отчего они погибли, то все, как один, сказали бы, что их убил мороз.

Невозможно описать страданий, которые он нам причинял. Ведь почти у всех были выбиты стекла, заменить их было нечем. В лучшем случае вставляли фанеру и завешивали одеялами. Но чем покрываться в таком случае? Буржуйка у нас нещадно дымила, а тепла давала как костер — только во время топки. Топили бумагой: газетами, чертежами, журналами, всем, что попадалось под руку. Иногда уникальными книгами.

Спали мы не раздеваясь. Сначала оттого, что несколько раз за ночь приходилось спускаться в бомбоубежище, а потом потому что в комнате была минусовая температура, падавшая с каждым днем.

О мытье мы давно забыли: воды не хватало даже для питья. Обмороженное лицо и руки были в саже, пальцы распухли и растрескались, десны кровоточили.

Об обстоятельствах гибели моего мужа я ничего не могу писать. Это выше моих сил.

Скажу только, что он умер 25 января 42-го года, через семь месяцев после объявления войны. В одно время с ним, тоже трагически, умерла моя мать. Мы похоронили их, честь честью, в гробах, на хорошем месте, у входа на Охтинское кладбище, но когда мы весной пришли на это место, то там были уже чужие могилы.

Саша, мой сын, обожавший отца, долго не знал об его кончине. И наше общее горе не только не утихало со временем, а становилось все больше и больше по мере того, как уменьшалась надежда на собственную смерть. Ромен Роллан писал в «Очарованной душе», что печаль не сближает, а отдаляет тебя от людей. Он совершенно прав. Я осталась навсегда одинокой.

Когда пришла весна и принесла нам, наконец, теплые дни, мы, как сонные мухи, стали выползать из своих щелей и с ужасом смотреть друг на друга. Боже, до чего же мы все изменились! Из цветущих женщин мы превратились в скелеты.

Но жить надо было.

Тепло придавало силы и звало на улицы. К тому же, появилась травка, крапива, мокрица, клевер, лебеда и прочие деликатесы, буквально поразившие нас своим вкусом.

Нам так нравились зеленые щи из них, что мы давали себе слово после войны стряпать из них все эти каши и лепешки. Они на глазах восстанавливали силы, даже сбор их на воздухе и солнце был не менее полезен.

Мы стали ходить, а не ползать.

Все скверы и бульвары вдоль улиц засаживались картошкой. А нашим домам отвели участки в Таврическом саду.

А еще через год или два мы получили очень небольшие участки в Лигове, с предупреждением, что они не полностью разминированы и что ответственность за несчастные случаи лежит на нас самих. Будьте, дескать, осторожны. Посадив свой огород, я уехала по путевке в дом отдыха. Но сердце не камень. Улучив денек, я поехала пополоть и полить свои «плантации». Каково же было мое удивление, когда в самом начале моего участка, у дороги, я обнаружила громадную воронку, полную драгоценной воды для поливки. Когда я спросила у соседей, откуда взялась воронка, то мне объяснили, что работали минеры и благополучно взорвали мину.

Я порадовалась вдвойне.

Из нашего учреждения, по счастью, не пострадал никто.

Потрудившись все лето и даже переусердствовав с удобрениями — так, что картофельная ботва была у всех желтого цвета, мы все же к осени кое-что вырастили, собрали и развезли по домам. Хватило нам этого месяца на два, на три. И то хорошо!

Так закончился первый наш блокадный год. Весь он очень отчетливо сохранился в моей памяти.

А дальше — все как в тумане. События всплывают — то одно, то другое — без всякой логической связи. Был все тот же голод и холод, но чуть-чуть полегче. Зимы не были так суровы, а родная Ладога давала больше. Кроме того, Америка подбрасывала нам то одно, то другое. Одна дуранда, жмых, шроты, этот знаменитый эрзац питания, чего стоили! Они спасали нас в буквальном смысле. Трупов на улице уже не было.

Наверно, многим мои воспоминания могут показаться очень узкими, ограниченными личным мирком. Да, «стакан мой невелик, но я пью из своего стакана» (Р. Роллан). Я описываю только то, что пережила и что видела своими глазами. Жизнь фронта, заводов и фабрик была вне поля моего зрения, а описывать ее с чужих слов я не берусь.

Вернисаж «Седьмой тетради»

А. РОЖКОВ

СУДЬБА И СЛАВА ФАБЕРЖЕ

Изделия с клеймом фирмы Фаберже оцениваются сейчас на международных аукционах баснословными суммами. Виртуозность их исполнения восхищает не только специалистов, но и всех ценителей красоты. Ни одному ювелиру не удалось достичь такой популярности, какую приобрел Карл Фаберже. Что мы сегодня знаем о нем?

Предки Карла Фаберже были французами, покинувшими в 1685 году свою страну и поселившимися в Германии. Дед художника переселился в конце XVIII века в нынешний Пярну и принял русское подданство. Здесь в 1814 году у него родился сын Густав. В 1842 году Густав Фаберже, или, как его именовали адресные книги, Фаберг, переехал в Петербург и открыл на Большой Морской (ныне улица Герцена) магазин золотых и бриллиантовых вещей.

В 1846 году у Густава и его жены Шарлотты, дочери датского художника Юнгштедта, родился сын Карл. Мальчика отдали в немецкую школу — Анненшуле. С детства Карл проявил способности к рисованию, и друг отца Хискас Пендин стал обучать его ювелирному делу. Завершил образование Карл за границей: в Дрездене окончил торговую школу, в Париже — коммерческий колледж, во Франкфурте-на-Майне усовершенствовал практические навыки в мастерской известного ювелира И. Фридмана, в музеях Дрездена, Лондона, Парижа и Флоренции основательно исследовал крупнейшие ювелирные коллекции Западной Европы. В 1870 году, в возрасте 24 лет, Карл вернулся в Петербург и в 1881 году, после смерти отца, возглавил его мастерскую. Вскоре под маркой Фаберже Карл объединил ряд столичных мастеров и возглавил образовавшуюся фирму.

Человек с безупречным художественным вкусом, неуемной творческой фантазией, тонкий знаток технических приемов, Карл Фаберже провозгласил: важна не коммерческая стоимость материала, а художественное совершенство каждого изделия. «Меня мало интересует дорогая вещь,— говорил он,— если ее цена только в том, что насажено много бриллиантов и жемчугов».

Одним из ценных талантов главы фирмы было умение находить яркие дарования и создавать им такие условия, при которых они могли бы полностью раскрыться. В художественной студии фирмы работали выпускники Центрального училища технического рисования и черчения, основанного в 1882 году банкиром и меценатом бароном Штиглицем. Как правило, Фаберже приглашал лучших учеников и платил им от 6 до 10 тысяч рублей в год, чтобы «иметь всегда рисунки, которых у других нет». Разрабатывая свою продукцию, художники обращались к образцам прикладного искусства народов всех стран. Постепенно мастера Фаберже выработали свой почерк и особенный стиль, синтезировавший достижения русских и европейских мастеров.

Пасхальное яйцо с Гатчинским дворцом

Одним из первых сотрудников и помощников Фаберже был талантливый ювелир Эрик Коллин, известный своими композициями на античные темы. Главным ювелиром фирмы долгое время, начиная с 1857 года, оставался Август Хольмстрем, его дочь Хильма Алина считалась одним из лучших дизайнеров. В фирме работало множество талантливых людей: Михаил Перхин — мастер золотых дел, серебряник Юлий Раппопорт, резчики по камню Кремлев, Свешников, Дербишев. Замечательные композиции создавали Август Коллин, Виктор Аарно, Владимир Афанасьев, Генрих Вигстрем, Андерс Невалайнен, Андрей Горянов, Эдвард Шрамм и многие другие.

Наряду с производством традиционных женских украшений из золота, серебра и бриллиантов, мастера Фаберже, расширяя ассортимент, освоили изго-

Пасхальное яйцо с архитектурными памятниками московского Кремля

товление часов, биноклей, шкатулок, вееров, барометров, подсвечников, настольных ламп, ручек для тростей и зонтов, пудрениц... С годами Фаберже сумел привить покупателю вкус к красоте полудрагоценного и поделочного камня. Нефрит, лазурит, аметист, гелиотроп, топаз, горный хрусталь, халцедон, разнообразные яшмы, кварц, авантюрин, всевозможные агаты наряду с алмазами, рубином и сапфиром служили материалом для миниатюрных фигурок людей и животных.

В 1872 году Карл Фаберже женился на Августе Якоб, дочери управляющего одной из мебельных фабрик Германии. У них родилось четыре сына. Все они затем работали в фирме. Евгений возглавил коллектив художников, Агафон стал специалистом по камню, Александр и Николай — скульпторами и эмальерами.

С 1881 года фирма занимала участок на Большой Морской. В 1898 году Карл Фаберже приобрел на той же улице еще один участок № 24. Здесь в 1900 году архитектор К. К. Шмидт построил новое здание фирмы. Оно обошлось в полмиллиона рублей. Оно и сейчас стоит, это здание на улице Герцена, над входом в него красуется вывеска магазина «Яхонт». В первом этаже разместились торговые залы, специальным лифтом они соединялись с квартирой Фаберже. В кабинете главы фирмы, отделанном Мельцером, находилась обширная библиотека по искусству и собранная Фаберже коллекция японских подвесок — нэцке. Весь верхний этаж занимала художественная студия.

С работами Фаберже русская общественность впервые познакомилась на Всероссийской выставке в Москве в 1882 году. За них фирма получила первую награду — золотую медаль. Упрочилась ее известность. А когда во время коронации Александра III нижегородское купечество преподнесло императрице Марии Федоровне работу Фаберже — миниатюрную золотую корзиночку с букетом ландышей, выполненных из жемчуга и бриллиантов, фирма привлекла к себе внимание двора, и уже через год Фаберже по просьбе Александра III изготовил для подарка германскому канцлеру Бисмарку усыпанную бриллиантами золотую шкатулку с портретом императора. В 1885 году Михаил Перхин выполнил для царя пасхальное яйцо с сюрпризом: внутри золотого яйца, покрытого белой эмалью, находилась миниатюрная курочка с глазами из рубинов и бриллиантовой короной вместо гребня. Тогда же Фаберже получил звание поставщика двора его величества, а вскоре был назначен и оценщиком императорского Кабинета.

Одно за другим открылись отделения фирмы в Москве, Одессе, Киеве. Фаберже приступил к выпуску крупных изделий из серебра: братин, ковшей, настольных скульптур, призовых кубков, столовых и чайных сервизов. Фирма на глазах превращалась в крупное промышленное предприятие, ее продукция выходила на мировой рынок. На международной выставке 1885 года в Нюрнберге впервые демонстрировались золотые изделия, выполненные Эриком Коллином на мотивы скифских украшений, а уже через два года после «Северных выставок» в Копенгагене и Стокгольме Фаберже получил звание придворного ювелира королей Швеции и Норвегии. Всемирная выставка в Париже, где экспонировались изготовленные из золота и бриллиантов миниатюрные копии царских регалий, принесла Фаберже новую славу, золотую медаль и орден Почетного легиона.

Пасхальное яйцо с императорской яхтой «Штандарт»

В 1907 году Фаберже открывает магазин фирмы в Лондоне, в 1908-м совершает поездку по странам Центральной Азии и Дальнего Востока. К этому времени изделия фирмы уже занимают почетное место в собраниях европейских коллекционеров. В Зимнем дворце кабинет Николая II заполнен изделиями Фаберже. Представители европейских держав, прибывающие в Петербург, ча-

стенько заканчивают свой визит в столицу России в этом кабинете, где Николай II собственноручно выбирает гостю какую-нибудь из дорогих безделушек Фаберже.

Заокеанские коллекционеры раньше других обратили внимание на работы фирмы: американский миллионер Пирпонт-Морган младший первым приобретает миниатюрный золотой паланкин, отделанный золотом и перламутром, другой американский миллионер Генри Уолтерс, покидая в 1900 году на своей роскошной яхте «Нарада» невские берега, увозит в собой уже целую коллекцию работ знаменитого ювелира.

В 1900 году императрица Мария Федоровна принимала в Аничковом дворце наследницу американского железнодорожного короля Консуэлу Вандербильдт. Здесь богатая гостья обратила внимание на часы яйцевидной формы. Это был один из знаменитых пасхальных сувениров Фаберже. Страстное желание миллионерши заказать у Фаберже дубликат потерпело фиаско: фирма изготовляла пасхальные яйца только для членов императорского дома.

Идея же создания пасхальных сувениров, принесших Фаберже мировую известность, принадлежала главному мастеру фирмы Михаилу Перхину. Талантливый русский ювелир начал сотрудничать с Фаберже в 1885 году и вскоре стал его ближайшим компаньоном. Из 69 пасхальных яиц, изготовленных фирмой, 59 выполнены самим Перхиным и его мастерской. Среди них настоящие шедевры ювелирного искусства. Так, в 1903 году Перхин изготовил яйцо к 200-летию Петербурга. Снаружи яйцо украшено бриллиантами и миниатюрами с видами домика Петра I и Зимнего дворца, под крышкой — золотая копия Медного всадника, помещенного на пьедестал из порфира — таким был подарок Николая II матери. Его, как память о России, Мария Федоровна увезла с собой, покидая в 1919 году на английском эсминце свою крымскую резиденцию.

В Оружейной палате Кремля хранится серебряное яйцо с золотой моделью сибирского экспресса — подарок Николая II Александре Федоровне и яйцо из гелиотропа с платиновой моделью крейсера «Память Азова» — подарок Александра II сыну Георгию. В 1895 году по просьбе Николая II Перхин изготовил пасхальное яйцо с золотой копией королевского дворца в Дании. В 1901 году царь преподнес своей супруге яйцо с моделью Гатчинского дворца. Эту миниатюрную копию со всеми архитектурными подробностями и памятником Павлу I перед фасадом Перхин выполнил из многоцветного золота и вложил в золотой футляр, покрытый шестью слоями эмали. Подарок обошелся в тридцать тысяч.

Учеником и преемником Перхина был талантливый ювелир Генрих Вигстрем, автор пасхального сувенира с Александровским дворцом в Царском Селе, миниатюрной императорской яхты «Штандарт», вкладывающейся в яйцо из нефрита и изготовленной из золота, серебра и платины полуметровой модели волжского парохода, которую Николай подарил сыну Алексею (находится в частном собрании в США).

Пасхальное яйцо, посвященное 300-летию дома Романовых, украшено миниатюрными портретами представителей династии. Внутри яйца — глобус с морями из стали и материками из золота, на внутренних частях полушарий изображена Россия времен Михаила Романова и в год юбилея.

Известно, что Фаберже не повторял своих произведений. Но однажды петербургский миллионер, богатейший золотопромышленник Александр Кельх, владевший приисками в Сибири, попросил Фаберже сделать для него копии с некоторых царских пасхальных сувениров. Отказать промышленнику, снабжавшему фирму золотом, Фаберже не мог. И для него повторили семь пасхальных яиц. Но Фаберже от своего правила не отступил: композиционно новые сувениры несколько отличались от оригиналов. Отличались они и тем, что на них стояли монограммы Кельха и его супруги Варвары Базановой — «ВК».

Техника нанесения эмалей на пасхальные сувениры была доведена у Фаберже до совершенства, чистота и диапазон красочной гаммы не имели аналогов в практике европейского ювелирного искусства.

Перечень изготовленных фирмой изделий огромен: к 1914 году в ней создано около ста тысяч предметов — от бытовых вещей и безделушек до драгоценных украшений и роскошных златоэмалевых сервизов. Фирма богатела, но...

С началом первой мировой войны пришлось закрыть лондонское отделение. Свой последний сувенир в 1916 году изготовил Генрих Вигстрем. Пасхальное яйцо было стальным и опиралось на четыре артиллерийских снаряда. Однако война заставила пойти дальше изготовления ее символов: часть мастерских освоила выпуск ручных гранат.

После Октября 1917 года в помещении на Большой Морской образовался «Комитет служащих фирмы Фаберже». Он просуществовал недолго. Карл Фаберже, поделив капитал между компаньонами, в 1920 году уехал в Женеву. Там через полгода он скончался.

Старший сын Евгений

после смерти отца перебрался в Париж, где в 1924 году вместе с братом Александром открыл небольшую ювелирную мастерскую, которая вскоре закрылась. Третий сын Фаберже, Агафон, оставался в Петрограде и как специалист участвовал в комиссии по оценке сокровищ Романовых.

Итак, великой фирмы не стало. Сохранилось лишь ее наследство — бесценные творения мастеров. Многое из него, к сожалению, оказалось на Западе. Уже в 1920 году известному нам Генри Уолтерсу повезло: в Париже у русского эмигранта А. Половцева ему посчастливилось купить пасхальное яйцо с Гатчинским дворцом — происходило оно из собрания Кельха. Вскоре на антикварных рынках Европы появились и другие пасхальные сувениры из той же коллекции.

Незавидная судьба изделий Фаберже начала складываться чуть раньше. Связано это с гибелью многих частных собраний в послефевральский период 1917 года, когда уголовниками и анархистами были разграблены многие особняки и дворцы Москвы и Петрограда.

После Октябрьской революции почти все оставшиеся в стране богатства были национализированы. Императорские реликвии, собрание коронных драгоценностей, включавшее романовскую коллекцию Фаберже, перешли в Государственные хранилища и... стали добычей Наркомвнешторга и контор «Антиквариата». С легкой руки высокопоставленных чиновников у жены бывшего американского посла госпожи Пост, кроме купленной через «Антиквариат» лучшей в мире коллекции русского фарфора, оказались и редчайшие произведения Фаберже. В 1924 году в доме Вавельберга на Невском, 9, и в бывшем особняке Фаберже на Большой Морской открылись магазины Наркомторга. Здесь продавалось все: от трости Екатерины II до портсигара Александра III.

Ключевую роль в вывозе бесценных сокровищ за границу сыграл начинающий бизнесмен Арманд Хаммер и его брат Виктор. В своей книге «Мой век двадцатый. Пути и встречи» А. Хаммер вспоминает, что на заданный ему Полем Гети вопрос, как делаются миллионы, он ответил: «Это не так уж трудно. Надо просто дождаться революции в России. Как только она произойдет, следует ехать туда... и немедленно начать договариваться о заключении торговых сделок с представителями нового правительства» [1].

Зимой 1921—1922 года после вывоза из России мехов, платины и черной икры Хаммер принялся за скупку картин, бриллиантов, царских драгоценностей и императорских сервизов. Особняк Хаммера в Москве, принадлежавший ранее Фаберже, буквально ломился от изделий личного обихода Романовых и работ самого Фаберже. Особенно ощутимой утратой для русского ювелирного искусства явилась продажа Хаммеру тринадцати пасхальных яиц фирмы Фаберже, которые он тут же с выгодой реализовал через свои нью-йоркские магазины.

В 1933 году Хаммер преподнес президенту Рузвельту дар: коллекцию императорских драгоценностей, и среди них модель реки Волги из золота, бриллиантов и платины, выполненную в 1913 году в мастерских Фаберже.

На западных рынках «бум Фаберже» не утихает и до сих пор. Только на аукционах «Кристи» в 1975—1977 годах продано 325 работ — больше, чем осталось во всех наших музеях.

Большими личными собраниями Фаберже обладают английская королева Елизавета и голландская — Беатриса, король Швеции Карл XVI и многие другие титулованные коллекционеры Европы.

Одну из лучших коллекций Фаберже собрала в своем английском имении Лутон-Ху правнучка Пушкина Анастасия (леди Зия) — дочь Софьи Николаевны Меренберг и великого князя Михаила Романова.

В Америке романовскую коллекцию Фаберже из бриллиантовой кладовой Зимнего дворца поделили между собой четыре представительницы прекрасного пола: скульптор Матильда Грей, леди Митчел, собравшая все доступные ей работы фирмы вплоть до хозяйственных мелочей, госпожа Пост, заполучившая юсуповскую коллекцию Фаберже, и Лилиан Пратт. Собрание последней после ее смерти поступило в музей изящных искусств в Ричмонде, где стало главной достопримечательностью.

О непрекращающемся интересе к искусству Фаберже свидетельствуют выставки его работ, регулярно устраивающиеся на Западе, начиная с тридцатых годов. Одной из последних была выставка, организованная в 1987 году объединением мюнхенских банков. При соблюдении строжайших мер безопасности на ней экспонировалось более шестисот лучших работ фирмы из частных собраний Европы и Америки.

И вот, наконец, в апреле минувшего года Елагинский дворец-музей совместно с финской ювелирной фирмой «Тилландер» устроил и у нас выставку Карла Фаберже.

---

[1] А. Хаммер. Мой век двадцатый. Пути и встречи. М., 1988, с. 97.

Есть такой анекдот...

С. ОСОВЦОВ

БЫЛИ И НЕБЫЛИЦЫ

Маститый советский писатель В. Каверин, вспоминая о встречах с М. Горьким, рассказал такой эпизод: «Однажды за столом у Горького зашла речь об „Энциклопедии весельчака“ — было такое издание (как ни странно — многотомное) в конце XIX века. Горький отозвался об „Энциклопедии“ с похвалой как о занимательном и, отчасти, поучительном чтении».

Что же такое «Энциклопедия весельчака», которая давным-давно стала библиографическим раритетом? Некоторое представление о ней дает титульный лист: «Собрание 5000 анекдотов древних, новых и современных, извлеченных из: I. Специальных сборников, изданных до настоящего времени.— II. Книг редких и интересных: о жизни, нравах и обычаях знаменитых людей всех времен и всех национальностей.— III. Записок путешественников и исторических памятников.— IV. Сочинений известнейших русских и иностранных писателей.— V. Русской и иностранной журналистики.— VI. Неизданных рукописей и устных рассказов».

Конечно, к этой титульной реляции нельзя относиться с полным доверием: когда дело касалось рекламы, нравы дореволюционной прессы не отличались излишней щепетильностью (вряд ли составитель «энциклопедии» И. Попов штудировал «неизданные рукописи»). И все-таки Горький был прав: 5000 анекдотов «Энциклопедии весельчака» — чтение поучительное, а об увлекательности — и говорить нечего.

С тем, что анекдот — дело веселое, согласятся, наверно, все. Кто, не лицемеря, станет утверждать, что он равнодушен к анекдоту? Перелистывая газету или журнал, можно не добраться до иного очерка или романа, рецензии или статьи, но не соблазниться анекдотом — выше сил среднечеловеческих.

Анекдот — дело не только забавное, если отнестись к нему серьезно.

Анекдот — всерьез? Иной читатель пожмет плечами. У другого при слове «анекдот» возникает привкус чего-то пошлого, двусмысленного, гривуазного. Но давайте обратимся к толковому словарю Владимира Даля: «Анекдот — короткий по содержанию и сжатый в изложении рассказ о замечательном или забавном случае».

Быть может, Даль (девятнадцатый век!) устарел? Заглянем в современный Литературный энциклопедический словарь: «Анекдот — краткий устный рассказ злободневного бытового или общественно-политического содержания с шутливой или сатирической окраской и неожиданной остроумной концовкой». Не так уж мало для жанра гомеопатических дозировок.

О существовании политического анекдота, его функциях все наши советские энциклопедии — и общие, и отраслевые — за последние пять-шесть десятков лет скромно умалчивают. Между тем в первом издании БСЭ (т. 2, 1926) сказано и о политическом анекдоте, «приуроченном к конкретным явлениям современности»: «Политический анекдот получает в моменты общественных кризисов большое агитационное значение как своеобразное орудие политической борьбы. Социальные корни анекдота следует искать в общем росте городской культуры, создающей свою специфическую устную словесность».

Иногда трудно разграничить, где кончается история и начинается анекдот...

Иной анекдот лучше, и уж во всяком случае короче, целых томов повествований или исследований может передать быстро улетучивающийся аромат эпохи. Проспер Мериме, со свойственной великим умам отвагой, рискнул как-то признаться: «В истории я люблю только анекдоты, среди анекдотов же предпочитаю те, где, представляется мне, есть подлинное изображение нравов и характеров данной эпохи».

Именно такие исторические анекдоты, в которых запечатлелись характерные нравы прошлых эпох, дали возможность Михаилу Зощенко в излюбленной им сказовой манере создать знаменитую «Голубую книгу». Подлинное изображение нравов, да еще в сатирическом преломлении, оказалось явно не ко времени. Со страниц «Правды» (9 мая 1936 года) последовал резкий окрик: «мещанская прогулка по аллеям истории», «копилка исторических анекдотов на потребу обывательской пошлости» и так далее.

Впрочем, правда (без ковычек) взяла свое: высоко оцененная Горьким, «Голубая книга» снискала прочные читательские симпатии.

Конечно, любить можно не только анекдоты, но не любить анекдоты — невозможно.

* * *

Анекдот с политическим подтекстом стал криминалом только к концу двадцатых — началу тридцатых годов, когда утвердился культ сталинской личности в противовес безличности всех остальных ста восьмидесяти миллионов винтиков. До этого анекдоты, даже политические, даже обличительные, систематически появлялись на страницах газет и журналов.

Вот один из многочисленных анекдотов середины двадцатых годов под названием «Диалог бывших», напечатанный на страницах популярного журнала:

— Сколько еще продержится советская власть?

— До 7 ноября 1927 года.

— Почему вы в этом так уверены?

— Потому что по нашему уголовному кодексу срок лишения свободы не может превышать десяти лет.

Конечно, это анекдот. Но только ли анекдот? Еще Роза Люксембург, приветствуя победу Октябрьской революции, «железный кулак для подавления всякого сопротивления», в то же время пророчески предупреждала: «...если политическая жизнь в стране будет задушена, Советы тоже не смогут избежать прогрессирующего паралича. Без общих выборов, свободы печати и собраний, свободной борьбы мнений в любом общественном институте жизнь затихает, становится лишь видимостью, и единственным активным элементом этой жизни становится бюрократия».

* * *

Петр Чукарин, бывший одно время личным секретарем М. А. Шолохова, рассказывал, что классик советской литературы, читая газеты или журналы, непременно выискивал анекдотическую «вермишель». Немало анекдотов хранилось у него в запасниках памяти. А однажды они сослужили ему добрую службу (что засвидетельствовал секретарь Вешенского райкома партии Петр Луговой).

Дело было в 1937 году. Клевета подобралась даже к вешенской знаменитости. Когда над писателем сгустились тучи, ему удалось пробиться на прием к Сталину. Вождь встретил его сумрачно:

— Вы, Михаил Александрович, много пьете...

— От такой жизни немудрено и запить,— скромно согласился писатель.

И Шолохов рассказал «хозяину» о сотканной вокруг него паутине клеветы. Мудрый и всевидящий заметил:

— Напрасно вы думаете, что мы поверили бы клеветникам.

Приободрившийся писатель поведал отцу и учителю:

— Бежит заяц, встречает его волк и спрашивает: «Ты что бежишь?». Заяц отвечает: «Бегу, потому как ловят и подковывают». Волк говорит: «Так ловят и подковывают не зайцев, а верблюдов». Заяц отвечает: «Поймают, подкуют, тогда докажи, что ты — не верблюд».

Скольким миллионам доказать этого не удалось?

* * *

Вся страна жила в атмосфере слежки, подслушивания, доносительства. Можно было быть спокойным — да и то относительно,— если рассказал анекдот близкому, проверенному человеку. Если же при этом присутствовал кто-то третий, никакой гарантии не было.

— Неужели и тогда рассказывали анекдоты? — спросил молодой человек ветерана ГУЛага.

— Смех — это род мужества,— услышал он в ответ.

Рассказать анекдот и не попасть на Лубянку или в Большой дом — было делом не таким уж исключительным.

Существовали двустрочные анекдоты, где каждая строка тянула на «пятилетку»:

— Как жизнь?

— Как в автобусе: одни сидят, другие трясутся.

Или:

— Слышали? Теруэль взят. (Теруэль — испанский город, переходивший из рук в руки во время гражданской войны.)

— Теруэль? А где он работал?..

В 30-х годах был даже соответствующий анекдот: кто строил Беломорско-Балтийский канал? Левый берег — те, кто рассказывал анекдоты. Правый — те, кто их слушал.

* * *

Автор анекдотов, подобно тыняновскому поручику Киже, фигуры не имеет. Так заметил некогда Константин Паустовский.

На анекдотический вопрос: кто это сидит и сочиняет анекдоты,— существовал такой же анекдотический ответ: тот, кто сидит, тот и сочиняет. Впрочем, следовало бы уточнить: автор анекдотов — это не только тот, кто уже сидит, но и тот, кому это еще предстоит.

В свое время, например, авторство самых отчаянных анекдотов приписывалось блестящему публицисту-остроумцу Карлу Радеку. Это, надо думать, его и подвело. Вот анекдот об анекдоте, сгубившем Радека, в пересказе Анатолия Рыбакова.

Сталин вызывает Радека и говорит: «Слушай, Радек, ты любишь анекдоты сочинять, говорят, и про меня сочиняешь. Так вот, этого делать не следует, не забывай, я вождь!»

Радек отвечает: «Ты вождь? Вот этого анекдота я еще никому не рассказывал».

Конечно, это только анекдот — не больше. Но анекдот не без реальной подоплеки. В радековском кругу старых партийцев, ленинских соратников — журналистов, ораторов, литераторов — Сталин одно время не очень котировался, поскольку имел репутацию «самой выдающейся посредственности». Когда же спохватились, было уже поздно. Генеральный Дровосек привел в действие свой людоедский план: лес рубят — щепки летят. И щепки стали считать на миллионы, руководствуясь мудрым указанием: «Есть человек — есть проблема, нет человека — нет проблемы».

Сам дровосек не любил вспоминать о щепках. Видимо, он усвоил слова Сэма Уэллера из диккенсовского «Пикививкского клуба»: «Дело сделано и нечего об этом толковать,— как говорят в Турции, отрубив голову не тому, кому нужно».

* * *

В годы разгула сталинских репрессий в Ленинграде (впрочем, как и по всей стране) не было дома, где люди спали бы спокойно, не опасаясь рокового стука в дверь и «черного ворона» у подъезда. Но особенно одолевала паника обитателей дома-коммуны на площади Революции, известного ленинградцам под именем дома политкаторжан. (Теперь здесь на красном граните значится: «Дом построен в 1933 году для членов Общества бывших политкаторжан и ссыльнопоселенцев, основанного в 1921 году».)

Здесь коса репрессий свирепствовала особенно нещадно. Немногие уцелевшие обитатели дома горько шутили: «НКВД из нас извлек квадратный корень — из ста сорока четырех квартир неопечатанными остались двенадцать».

Однажды в опустевшем доме затрещали звонки, раздались громовые стуки в двери. Чудом уцелевшие остатки политкаторжан прильнули в оцепенении к дверям: на кого-то падет очередной жребий? И вдруг навстречу радостно-возбужденный глас управдома:

— Граждане каторжане, никакой паники! Все в порядке! Это пожарные! Горит первый этаж!

* * *

В знаменитой тюрьме Панкрац, где Юлиус Фучик перед казнью создал бессмертный «Репортаж с петлей на шее», с 1943 года выходил рукописный «Журнал казненных» (всего 41 номер). Каждый номер открывался рубрикой «Всегда с улыбкой» с неизменным антигитлеровским анекдотом.

Казалось бы, что может быть трагичнее самооговоров подсудимых на политических процессах тридцатых годов. Оболваненный народ заставили поверить в то, будто ленинские соратники — фашистские оборотни. В океане лжи не утонул только анекдот...

У Сталина пропала трубка. Он зовет Берию. Тот с готовностью рапортует:

— Ясно. Акция врагов народа. Допытаемся, кто именно.

Через несколько дней Сталин обнаружил трубку в кармане своего кителя. Снова зовет Берию:

— Нашлась трубка...

— Товарищ Сталин, мы тоже выполнили ваше задание: тридцать семь человек полностью сознались.

* * *

...А вот другой анекдот на ту же тему.

...В глубинах египетских пирамид обнаружили древнее захоронение. Но чья иссохшая мумия возлежит в саркофаге? Египетским археологам задача оказалась не под силу. Попросили помощи у англичан. Археолог-англичанин просидел наедине с мумией целые сутки, но установить ничего не мог. Обратились к знаменитому археологу-французу. Тот провел с мумией двое суток, но тоже оказался бессилен. Тогда воззвали к советскому специалисту. Не прошло и нескольких часов, как он доложил:

— Тутанхамон VI, фараон XVIII династии эпохи Нового царства, зять Тутанхатона, муж третьей дочери Эхнатона. Родился в 1402 году до Рождества Христова. Начал царствовать в 1385 году. Возродил культ Аммона, восстановил резиденцию Эхетатона...

— Простите,— воскликнули изумленные египтяне,— как вам это удалось установить?

— Сам признался...

* * *

Травля пресловутых космополитов весьма напоминала «охоту на ведьм». Как заметил писатель В. Тендряков, началось с того, что «Норд» стал «Севером», французская булка — московской. Кто сказал, что Эдисон изобрел электрическую лампочку? Ложь! Инсинуация!

Профессор Политехнического института Данилевский обнаруживает, что Россия — родина шарикоподшипника («гром-камень» под Медный всадник волочили с помощью медных шаров, заключенных в деревянные желоба). И вот уже защищается диссертация: «Россия — родина слонов». Доказательства? Кто предок слонов? Мамонт. А где впервые обнаружены эти доисторические гиганты-мастодонты? В вечной сибирской мерзлоте.

Но и это еще не все. Нашелся книгочий, который установил, что Россия — родина рентгена. Ибо вовсе не немец Рентген открыл рентген, а Иван Грозный, который, зело осерчавши на очередную жену, в гневе воскликнул:

— Я тебя, гадина, наскрозь вижу!!

* * *

В московской актерской среде Соломон Михйлович Михоэлс (1890—1948) был своего рода уникум. При весьма скромном росте и самой невзрачной еврейско-местечковой наружности он обладал поистине трагическим темпераментом и могучим интеллектом актера-философа.

Рассказывают, однажды театральный критик Виктор Феофанович Залесский встретил на улице Соломона Михайловича. Между ними состоялся такой диалог:

— Правду говорят, что вы в Еврейском театре ставите Шекспира?

— Да, это так. Готовим «Короля Лира».

— А кто будет Лиром?

— Эта роль поручена мне.

— Ну, знаете, Шекспир в гробу перевернется...

— Да, но это еще не все. Шута будет изображать Вениамин Львович Зускин. Вильям перевернется в гробу еще раз и таким образом ляжет на свое обычное место...

Судьба еврейского Лира оказалась чудовищной даже по шекспировским меркам. Его по бериевской указке — с ведома Сталина — зверски убили на минской улице. Потом для приличия достойно похоронили. А еще через пять лет приобщили к пресловутому делу «врачей-убийц», объявили еврейско-американским шпионом со всеми вытекающими последствиями для его памяти. Та же участь постигла и Зускина, и Еврейский театр.

* * *

Замечательный артист московского Театра сатиры Владимир Яковлевич Хенкин (1883—1953) обладал на сцене редким по нынешним временам даром комической импровизации. Он и в жизни удивлял своим остроумием, находчивостью в самых, казалось бы, непредвиденных ситуациях.

Однажды на репетиции артисту стало плохо. Вызвали «скорую». Прощупав учащенный пульс, врач спросил у Владимира Яковлевича:

— На что жалуетесь?

— Прежде всего, на репертком. Потом — на дирекцию.

И это была правда. Репертком действительно был самым больным местом актера, особенно сатирического. Честные люди стеснялись работать в реперткомах.

* * *

Бывает, на классический сюжет нанизывается современная ситуация.

Однажды к известному ленинградскому врачу явился некий пациент с жалобой на апатию, отсутствие аппетита, затяжные приступы меланхолии. Как выяснилось, перепробовал он все средства, все лекарства — ничего не помогает.

Внимательно выслушав, тщательно исследовав ипохондрика, врач предложил ему последнее радикальное средство — читать по одному рассказу Михаила Зощенко три раза в день: перед завтраком, обедом и ужином. Правда, добавил врач, теперь после сталинско-ждановского погрома произведения Зощенко под запретом, но он, доктор, во имя медицины рискнет дать больному книгу из собственной библиотеки.

— Увы,— грустно улыбнулся пациент,— мне это не поможет. Я и есть Зощенко.

* * *

Большим выдумщиком анекдотических реприз был любимец ленинградской публики эстрадный артист, фельетонист, куплетист Василий Васильевич Гущинский (1893—1940). Его имя на эстрадной афише всегда шло красной строкой. Лучшей приманки администраторы не ведали...

Едва кончился нэп и начался объявленный Сталиным «великий перелом», как опустели прилавки магазинов. И хотя где-то уже стали голодать, а где-то жить впроголодь, народ, по обыкновению, втихомолку скулил, а вслух безмолвствовал.

Тогда на эстрадные подмостки вышел Василий Васильевич. Вышел, весь увешанный муляжами колбас, окороков, батонов и прочей снеди. Вышел — и молчит. Проходит минута, две, три — а он все молчит. Из публики несутся возгласы:

— Василий Васильевич, чего же вы молчите?

— Почему *я* молчу — понять можно. А вот почему молчите *вы*?

...Прошел слух, что у служебного подъезда артиста поджидал агент ОГПУ.

* * *

Один из глубоких ценителей юмора, великолепный мастер этого дела, Карел Чапек утверждал, что «юмор — самая демократическая из человеческих наклонностей». Развивая свою мысль, чешский писатель пояснял: человек, восходящий по иерархически-бюрократической лестнице, «делает это ужасно серьезно и шутить на эту тему не намерен... Если бы император на троне острил о своем правлении, то заметил бы, что оно вовсе не такое уж великое и славное...».

Обладай Л. И. Брежнев юмором, реагируй он хоть на один анекдот по своему адресу, он вряд ли рискнул бы выдавать чужие произведения за свои, присуждать им наивысшие премии, присваивать себе через посредство теснившихся у трона подхалимов и лизоблюдов звания Маршала, Героя, лауреата, награждать себя орденом Победы, а заодно и всеми другими возможными звездами. Юмор, как мемуары, присвоить, увы, оказалось невозможно.

В годы брежневского застоя хищения с предприятий вошли в обычай. Учитывая грошовую зарплату основной массы тружеников («одни делают вид, что работают, другие — что им платят»), даже органы надзора стали смотреть сквозь пальцы на «несунов» (неологизм брежневской эпохи). Известный публицист Федор Бурлацкий — в прошлом референт руководства высшего ранга — вспоминал: когда Л. И. Брежневу доложили, сколь низок средний уровень зарплаты по стране, он простодушно отреагировал: «Кто же живет у нас на зарплату?».

А писатель В. Ардов как-то заметил своему приятелю, который много лет проработал в московском планетарии:

— Ты знаешь, почему тебя там так долго держат? Потому что ты не хапуга, не несун — звезд с неба не хватаешь.

* * *

Наследникам генералиссимуса народ достался воспитанный, вышколенный. Обращается звездоносец Леонид Ильич к народу:

— Как живете, товарищи?

— Живем хорошо,— отвечает народ.

— А хотели бы жить еще лучше?

— Если будет ваше указание, будем жить еще лучше...

Наконец, люди усвоили, что «окружены повседневной заботой», что все, что ни делается,— все для них и ради них.

О коррупции брежневского окружения во главе с самим генсеком, у которого не скудела и рука берущая и рука дающая, лишь теперь заговорила наша пресса. Что касается устной словесности, то она прозрачно намекала на это задолго до эпохи гласности.

...Со съезда партии, проходившего под руководством «верного ленинца», возвратился делегат чукча в свои родные края. Земляки накинулись на него с вопросами: что и как было на съезде, что слышал, о чем говорили?

— Очень хорошо было. Очень красиво говорили. У нас, говорили, все — для человека... Все — во имя человека, ради человека... Все для удовлетворения возросших потребностей человека... И я, вместе со всеми в зале, видел этого человека!

* * *

Как известно, бывший президент США Рональд Рейган — большой любитель русских пословиц, баек, анекдотов. Сатирик Михаил Жванецкий, вернувшись из Америки, утверждал, что у экс-президента был по этой части авторитетный консультант — бывший одесский массовик-затейник, ныне кумир американцев Яша Смирнов, сделавший карьеру на коллекционировании советских анекдотов.

Вот один из этих рейгановских (смирновских?) анекдотов, рассказанный, якобы, во время неофициальной беседы М. С. Горбачеву:

На приеме у Брежнева — древняя старушка:

— Мил человек, скажи за ради Бога, кто придумал развитой социализм — политики или ученые?

— Конечно, бабуся, политики. Я есть первый политик...

— Эх, жалко, что не ученые.

— Это почему же, бабушка?

— Ученые сперва попробовали бы на мышах.

Этому саркастическому анекдоту предшествовало трагическое пророчество — предсказание автора «Несвоевременных мыслей». Горький предостерегал «анархо-коммунистов и фантазеров», что, по его глубокому убеждению, люди, народ не «материал для жестокого и заранее обреченного на неудачу опыта».

* * *

Художественный руководитель Пушкинского академического театра Л. С. Вивьен рассказывал: в суровую годину Отечественной войны, когда театр пребывал в Новосибирске, явился к нему с просьбой о работе некий бедолага-художник, эвакуированный из бывшей черты оседлости. Ему попробовали было заказать оформление к задуманному шекспировскому спектаклю. Когда тот принес эскизы, режиссер развел руками:

— Послушайте, милейший, обстановка не та, мебель не та, природа не та, атмосфера не та...

— А питания та?..

Человеку свойственно интересоваться хлебом насущным. Поэтому тиражи «Поваренной книги» или «Книги о вкусной и здоровой пище» всегда намного превышали тиражи «Божественной комедии». Перспектива попасть в ад — отдаленна и не фатальна, а питаться нужно каждый день, да еще желательно раза по три.

...Могут ли у нас существовать две партии? Вопрос этот то и дело дебатируется на законных и незаконных митингах, всплывает на страницах печати. Официально признано, что пока рост демократии может обеспечить и одна партия, хотя

некоторые социалистические страны и сделали уже шаг к многопартийной системе: Венгрия, Польша...

Анекдот не остался в стороне и от этой щекотливой проблемы, да еще в годы застоя, когда и заикаться о ней было опасно. Небезызвестное «армянское радио» категорически отрицало возможность одновременного существования двух партий.

— Почему? — поинтересовались слушатели.

— Не прокормить.

* * *

Каждая литературная эпоха имеет своего коронного критика-лакея. В пушкинское время таким был знаменитый Фаддей Булгарин. Он удостоился бесчисленных злых эпиграмм, в том числе пушкинских. Они могли бы составить изрядный том.

В предреволюционные годы на ниве злопыхательства прославился нововременец-черносотенец Виктор Буренин.

Сталинская эпоха может гордиться Владимиром Ермиловым. Он был спущен с цепи РАППом против Достоевского, Маяковского, Есенина, Бунина, Булгакова, Платонова, Твардовского, Ильфа с Петровым и многих других. В предсмертной записке Маяковский именно Ермилову адресовал слова: «Надо бы доругаться!».

На гонорарные сребреники Ермилов построил подмосковную дачу. На калитке повесил дощечку: «Осторожно! Злая собака». Кто-то приписал: «...и беспринципная».

* * *

Борис Леонидович Пастернак (1890—1960), как теперь выражаются, очень «уважал» самый короткий жанр. Особенно любил слушать анекдоты из уст своего приятеля юмориста Виктора Ардова. Среди его маленьких шедевров числился анекдот о Марксе. Вот примерный сюжет.

У Маркса был заключен договор на издание «Капитала» с известной немецкой фирмой. Однако выход анонсированного издательством второго тома «Капитала» задерживался: слишком большой труд понадобился автору для второго тома. Марксу несколько раз пролонгировали срок представления рукописи. Наконец педантичный издатель не выдержал и послал Марксу извещение: «Если, г-н Макрс, текст второго тома „Капитала“ не будет представлен в оговоренный срок, я буду вынужден заказать рукопись другому автору».

...Однажды Пастернак куда-то торопился. Ушел, едва дослушав очередную порцию ардовских анекдотов. На следующее утро позвонил по телефону:

— Жаль, что пришлось уйти. Надо бы досмеяться...

Увы, вскоре Пастернаку, вынужденному отказаться от Нобелевской премии, было уже не до смеха. Впрочем, он все еще пытался шутить, что дал повод к единственному в своем роде анекдоту за всю историю самой престижной во всем мире премии.

Собрал, обработал, прокомментировал и опубликовал С. ОСОВЦОВ

Из писем в редакцию

ЭТО ОСТАЛОСЬ В ПАМЯТИ

Оказавшись в блокированном Ленинграде мальчишкой, я потерял мать и всех близких, пережил самую страшную зиму 1941/42 года. Как и многие оставшиеся в живых, впоследствии я не раз задумывался над целым рядом вопросов, искал на них ответы, но...

Известно, например, что большинство погибших в блокаду умерло от голода. И вот — первый вопрос: почему не было сделано запасов?

Хорошо ведь известно, что с первых же дней войны с Украины, из Белоруссии, из Прибалтики на восток страны шли сотни эшелонов с различными грузами, в том числе и с продовольствием. Почему хотя бы часть их не была направлена в Ленинград? Ведь это вполне можно было сделать. А при захвате города немцами, что не исключалось, продовольствие могло быть сожжено или взорвано, как это намечалось с заводами, электростанциями и другими объектами.

Ветераны блокады помнят, что в июле в городе были открыты так называемые коммерческие магазины — продуктовые магазины с повышенными ценами. Была ли в этом решении необходимость? И для кого они были открыты?

На последний вопрос ответить легче легкого: магазины эти были открыты для всех желающих. Но, как известно, многие граждане, не призванные в армию, в июле и августе были отправлены из Ленинграда к границам области для строительства оборонительных сооружений — противотанковых рвов, тран-

шей. Так могли ли эти сотни тысяч людей воспользоваться такими магазинами и создать для себя и своих близких какие-то запасы продовольствия? Конечно же, нет. И их дети, и старики-родители также не могли покупать в коммерческих магазинах продукты — из-за отсутствия денежных запасов: если до войны в свободной продаже были и осетрина, и стерлядь, и семга, и разного рода икра, и разнообразные копчености, и кондитерские изделия, то по своим доходам большинство населения покупало эти деликатесы в основном к праздникам. Жалованья хватало только-только, и попросить у соседей «пятерочку до получки» считалось вполне обычным явлением. При таком положении покупать по повышенным ценам продукты не первой необходимости (например, шоколад или крабовые консервы) мог только узкий круг высокооплачиваемых горожан. Помню, когда в городе уже вовсю свирепствовал голод, когда смерть ежедневно уносила тысячи и тысячи жизней, после бомбежек и артобстрелов при разборке руин иногда находили целые склады деликатесов. Кто были их владельцы? Вопрос чисто риторический...

Запомнились и блокадные рынки — толкучки, как их тогда называли. В каждом районе их было несколько, возникали они возле довоенных рынков и у наиболее посещаемых булочных. Мне приходилось видеть зимой 1941 года, особенно часто у Новодеревенского рынка, как здоровые молодые мужчины привозили на лошадях, реже на автомобилях, к таким толкучкам не только хлеб, но и сгущенное молоко, кофе, какао, мясные продукты, шоколад. Они меняли все это на драгоценности и картины, скупали дорогую одежду и красивую обувь, «договаривались» о патефонах с пластинками. А между тем все эти продукты, проданные летом 1941 года по коммерческим ценам скупщикам, могли быть зимою распределены по карточкам среди всех ленинградцев. И это сберегло бы многие жизни...

С той поры минуло почти полвека, многие детали забылись, многого рядовые граждане, тем более дети, не знали. Но вот что писал в своей книге «Ленинград в блокаде» Д. Павлов — уполномоченный Ставки по продовольственному снабжению войск Ленфронта и населения города: «Снабжение населения, хранение продуктов, их учет и тем более расход не отвечали требованиям создавшейся обстановки. Зерно, мука, сахар непредусмотрительно хранились в двух-трех местах, и за эту оплошность пришлось ч а с т и ч н о (разрядка моя.— В. М.) поплатиться. Пищевые товары находились в ведении десятка различных хозяйственных организаций. Не имея указаний от своих центров в Москве, они продолжали расходовать продукты в обычном установленном порядке, тогда как Ленинград в это время находился в чрезвычайных, а не в обычных условиях». И далее: «Коммерческая сеть столовых и ресторанов, где продукты продавались без карточек, продолжала функционировать». К тому же, как сообщает автор, вес скота определялся на глаз, а это вело к растранжириванию мяса, да и расход масла производился «неравномерно и несправедливо». Можно только догадываться о действительном масштабе просчетов...

Иногда, к сожалению, еще можно слышать, что «в период сталинизма в стране был порядок». Приведенное выше убедительно показывает, как этот «порядок» обрекал на гибель сотни тысяч людей. Кто же виновен в их преждевременной смерти?

Не все ясно и с Бадаевскими складами. Это название знал каждый ленинградец. После бомбежки этих складов в сентябре 1941 года они много дней горели, и над городом стояли черные клубы дыма. Расплавленная масса из сахара и масла медленно текла на улицу, и жители близлежащих кварталов кастрюлями и ведрами черпали это месиво. Именно после пожара на этих складах снижение нормы выдачи продуктов пошло особенно интенсивно. И вновь хочется спросить: почему?

Почему основные продуктовые запасы города были сосредоточены в одном месте? Ведь немецкая агентура, имевшаяся в городе, хорошо знала об этих складах и навела на них самолеты. Почему продовольствие не рассредоточили? Хранись оно в разных районах города — и мы, вероятно, испытывали бы лишь недоедание, но не тот страшный голод...

Да, война выявила массу просчетов, грубейших ошибок, недочетов во многом. Все это теперь вскрывается, анализируется, предается гласности. Вероятно, причины массового голода и безвременной гибели ленинградцев будут тщательно изучены и обнародованы. Это — долг перед погибшими. Это нужно и нам — живым.

В. МОТОВ

К сведению уважаемых авторов:

Редакция не рецензирует рукописи, а только сообщает о своем решении.

Рукописи объемом менее двух печатных листов редакция не возвращает.

95 коп.

Индекс 73276

«Нева», 1990, № 1, 1—208

НЕВА 1/1990